НЕВА

1·2026

Ценим прошлое.
Открываем новое

НЕВА

1
2026

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Елизавета ЕВСТИГНЕЕВА
Осенние ямбы. *Стихи* • 3

Михаил СЕРЕБРИНСКИЙ
Проводник Ангарский. *Повесть-гротеск* • 7

Борис КОВАЛЕВ
Искусство арьергарда. *Стихи* • 65

Вера ЗАМЫСЛОВА
Повесть о потерянном смехе. *Пред. С. Николаенко* • 69

Анна АЛИКЕВИЧ
Стихи • 90

Яна ИШМУХАМЕТОВА
Стихи • 94

Дарья МАНДУР
Время джиннов. *Рассказ* • 99

Саша НИКОЛАЕНКО
Па-де-Кале, 2025. *Рассказ* • 108

Галина КЛИМОВА
Сердце бьется, рвется с краю... *Стихи* • 114

НЕСТОЛИЧНАЯ РОССИЯ

Николай ИВЕНШЕВ
Где сидят фазаны. Лабиринт. Где сидят фазаны. Органика. Чучело жены. С последним приветом. Шеврон. Скелет в рассрочку. Свежатина.
Рассказы. Пред. Л. Звонаревой • 117

Ирина ДМИТРИЕВСКАЯ
Война в заливе. Рыцарь на черном коне. *Рассказы* • 153

ЛЮБИМЫЕ УГОЛКИ РОССИИ

Владимир СУТЫРИН
Царицыно. *Три визита в заповедный уголок* • 165

12+

МОЛОДЫЕ. О МОЛОДЫХ

ПУБЛИЦИСТИКА

Дмитрий ЛАНКО
Школа и финское экономическое чудо • 179

Михаил ГУНДАРИН
Приключения российского человека в его собственной стране. *Портрет прозаика Евгения Попова в трех историях и трех составных частях* • 203

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

К 250-летию Эрнста Теодора Амадея Гофмана
Альберт ИЗМАЙЛОВ
Петербургская гофманиана • 214

Вера КАЛМЫКОВА
Непосильно для наивной души, или Страх жизни в «Отражениях» Иннокентия Анненского • 219

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Территория памяти. *Александр Мелихов.* Да здравствует личная жизнь! **Рецензии.** *Дмитрий Бобылев.* Маг и шахтер из Тудыpки • 233

ПИЛИГРИМ

Архимандрит Августин (НИКИТИН)
У берегов Испании. *Часть 5* • 243

Издание журнала осуществляется при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы» запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать на почтовый адрес журнала (191186, Санкт-Петербург, а/я 9). Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор
Александр Мотелевич МЕЛИХОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Игорь Сухих *(шеф-редактор гуманитарных проектов)*. **Ольга Малышкина** *(шеф-редактор молодежных проектов)*. **Наталия Ламонт** *(редактор-координатор)*. **Дмитрий Зенченко** *(контент-редактор журнала, редактор интернет-сайта)*.

Дизайн обложки **А. Панкевича**
Макет **С. Булачевой**
Корректор **Е. Рогозина**
Верстка **Д. Зенченко**

© Журнал «Нева», 2026

Елизавета ЕВСТИГНЕЕВА

ОСЕННИЕ ЯМБЫ

1

Кошачья шерстка пахнет чистотой,
Как нежный август прелою листвой.
Но эта нежность — сочтена уже.
И эта нежность лета — на ущербе.
И слышно даже шерстяной душе,
Что август молвит сентябрю: «Ich sterbe».

Здесь нету Бога, сколько ни зови.
Лишь призрак Бога, память о любви
Приходит по утрам, глядит в глаза,
На сон дитяти в блузочке атласной.
И знают лишь на стенах образа́
То, как легко, по-взрослому прекрасно

Жить в дачном доме, ненавистном всем,
Смотреть, как рядом с кадкой хризантем
Восходит к небу августейший дым.
Дождь опускает в бочку жестом царским
Три капельки. И остаются с ним
Мгновенья до того, как стать сентябрьским.

...А солнце, что за солнце вдруг встает!
В нем август мал. И мал земной народ.
Смеется дочь, маячит рыжий кот
Под расписным, со ставнями оконцем.
И ни одна душа не сознает,
Как страшен мир, пронзенный этим солнцем.

...Наутро дождь себя переберет
(Он пахнет болью, точно в детстве — йод).
А в доме том, в студеном сентябре,
Не говори, что люди ненавидят.
Зажги огонь. Там в полночь во дворе
Коты и дети Ангела увидят.

Елизавета Евстигнеева родилась в 2003 году в Москве. Студентка. Публиковалась в журналах «Новый мир», «Звезда», «Дружба народов», «Плавучий мост», «Дети Ра» и др. В 2023 году стала обладателем Гран-при, а также приза зрительских симпатий IX Всероссийского фестиваля молодой поэзии им. Леонида Филатова «Филатов-Фест». Лауреат премии журнала «Этажи» (2023). Призер Международного конкурса хайку на русском языке (МКХ-13, 2021). Автор книги «Всемирная паутинка». Живет в Москве.

2

Заходит свет осенний вдоль стены,
Заходит, не здороваясь со мною.
Мы с ним одной и той же тишины,
И оба мы равны перед зимою.

Пора бы спрятать дождевик и зонт,
Достать побитый молью свитеришко...
Осенний свет глядит за горизонт,
Не зная, кто же он — старик? Мальчишка?

Сметает дворник яблоки в траве,
Стремясь постичь природы постоянство.
И птицы улетают буквой V,
Объем прощанья унося в пространство.

3

О, как же дождь сшивает страстно
С землею небо, дрожь и дрожь.
Куда ни глянешь: время — дождь.
И горизонт как шрам пространства.

Растет гроза, гремучей гривой
Ощерясь, рвется в дерева.
Какие могут быть слова?
Гроза мечтает стать счастливой,

Мечтает быть пронзенной бивнем,
Как дева — женщиною стать:
Полнеба — бросив на кровать,
Накрыться с головою ливнем.

И дождь идет: стеная, бредя,
Идет на вы, идет сквозь страх.
Гроза теперь в его руках.
И капли падают в столетья...

4

А свет живет, а свет необратимый,
Он даже в ноябре — все тот же свет.
Все тот же — тьмой и осенью гонимый,
Но все же — ускользающий от бед.

Я верю в свет — октябрьский и ноябрьский,
Сошедший с древнерусских образо́в.
Тот страшный свет — монгольский и татарский,
Тот свет — для этих будущих стихов.

Скажи мне: свет. А я скажу: помилуй!
Скажи мне: осень. Я скажу: прости!
Я, Боже, лист — я странствую по миру.
Ты, Боже, — древо. Ты есть Путь Пути.

...Уже рассвет. На небе звезды тают.
А я простой осенний человек.
И слезы, слезы медленно стекают,
Как талый снег из-под прикрытых век.

5

ПЕРЕД ИКОНОЙ

И голова болит от благодати,
И просишь ты прощения подати,
Но слишком цепки боль твоя и грех.
Так зябко... Взгляд в себя и взгляд на Бога...
Тебе бы отдохнуть еще немного
И в тишину закутаться, как в мех.

Потрескались объятия Марии,
И в полутьме так руки воспарили,
Что держат Сына надо всей землей:
Над ноябрем, над старым томом Китса,
Над истиною, что в груди двоится,
Над комнатою, ищущей покой.

Ну что ж Тебе мне, Мати, рассказати?
Все ближе осень к незакатной дате.
Все ноябрее, все протяжней страх.
В России жить — все время ждать распятья,
А русским быть — надеясь на объятья,
Зреть убиенный лик в Твоих глазах.

Небесных нет. Земные дети — рядом.
Обнимет ночь пространство снегопадом,
И только — по оконцу мерный стук.
А Ей — не больно. Ей почти не больно.
Спи, Мати, спи. Я помолюсь невольно
На теплый свет Твоих озябших рук.

6

воробушки
цвета прошлогодней листвы
моя родина
Полина Печерская

Пернатая душа свистела песни,
А после прикорнула у крыльца.

Как тяжко на краю осенней бездны
Все дни и ночи прославлять Отца!

Прозрачны перья, неподвластен ритму
Земному — лапок стук в глуби ветвей.
Возьми на радость серую палитру:
Цвет воробья — цвет родины моей.

Когда неслышным станет щебет звонкий,
Погаснет свет в кленовом витраже,
Ты помолись, Господь, о воробьенке —
О сероглазой крохотной душе.

7

Мне этот дождь прекрасно незнаком.
Но все же он траве и птицам — корм.
Когда смотрю на дождь, то в сердце ком.
Нам, людям, у него бы поучиться:

Всю ночь водой и воздухом цвести,
А поутру тихонечко уйти,
Оставив нам взрыхленные пути
И до небес умытую пшеницу.

Михаил СЕРЕБРИНСКИЙ

ПРОВОДНИК АНГАРСКИЙ

Повесть-гротеск

Говорят, что люди, имеющие около трех часов свободного времени в день, чувствуют себя счастливее тех, кто этих часов не имеет. Проводник Роман Ангарский, черноволосый молодой человек, небритый, с несколько топорными чертами и вздернутым носом, полудремал в своем законном купе отдыха. Эта поездная комнатка, также называемая на профессиональном жаргоне двухместкой, узкая и вытянутая вверх, вся была сложена из неаккуратных прямоугольников. Вертикальные прямоугольники бело-серых панелей на стенах, сдерживаемые металлическими углами, еще один вертикальный затертый прямоугольник окна — он же основной источник света (шероховатые мимозины тусклых лампочек — не в счет, к тому же они были выключены). Два горизонтальных прямоугольника — мягкие полки. И еще несколько подобных разбросанных фигур — полосатая, как штрих-код, наволочка, простыня, одеяло. У окошка откидной столик — единственный квадрат.

Вся ночь впереди была свободна. Пассажиры спали, до утренней пересмены дежурил напарник Ангарского Веня, жуткий малый: высокий, с жидкими русыми волосами и зашитой заячьей губой. Ангарскому полагалось спать. Но не спалось. Из-под полки он достал бутылку водки и стал размышлять, зачем живет.

Близкий (но если измерять в километрах, весьма далекий) друг Гриша Медяк по телефону однажды сказал, что у него, у Медяка, есть десять-двадцать счастливых дней, к которым он мысленно возвращается. Во время этого возвращения выбрасывается какой-то гормон радости, и Медяк испытывает вдохновение. Немудрено, Медяк — писатель, а потому Ангарскому казалось, что это всего лишь выдумка, писательский конструкт. Еще после выброса гормона Медяк якобы чувствует острое желание жить, работать, что-то созерцать и создавать. Ангарский забыл, как гормон называется, но помнил, что слово это походит на название немецкого бомбардировщика. Да это неважно. При чем здесь гормон? Важнее, что Медяк говорил: «Моя жизнь удалась, потому что в ней были те самые дни. Дни, к которым я возвращаюсь». Удалась ли жизнь проводника, если применить Гришину формулу? Было ли к чему возвращаться?

О детстве в Иркутске мало что удавалось вспомнить. Первое и самое яркое впечатление маленького Ромы — вид с Глазковского моста на самую красивую реку в мире —

Михаил Серебринский — поэт, переводчик с английского и французского языков. Родился в 2000 году в Санкт-Петербурге. Окончил филологический факультет ЛГУ им. А. С. Пушкина. Автор двух книг стихотворений и переводов («После империи», 2019, и «Желтый квартал», 2024), ряда подборок в литературных толстых журналах («Нева», «Звезда», «Алтай» «Бельские просторы», «Балтика», «Перископ» и др.), публикаций на интернет-порталах «Полутона», «45-я параллель». Лауреат премии журнала «Звезда» (2024), победитель всероссийских поэтических конкурсов («Русские рифмы», «Поэзия кино», «Экология души», «Зеленый листок» и др.), постоянный участник литературных фестивалей и литературоведческих конференций. Стихотворения переведены на китайский язык.

Ангару. Отец, обладавший лицом, растянутым вширь, рыхлым и пористым, как шарлотка, с неаккуратными пушащимися усами, состоящими из пучков коричневых, рыжих и седых волосков, в черном пальто, в коричневой шапке-формовке сперва стоял, держа Рому за руку и рассказывая о том, как люди издревле строили города на реках, а потом подхватил сына, усадил на шею и стал показывать виднеющиеся вдалеке здания. Маленького Ангарского больше всего впечатлил железнодорожный вокзал — бирюзовый с белыми вставками и двумя башенками, как праздничный торт с двумя свечками. На вокзале Рома сконцентрировал все свое внимание. О пожарной каланче, особняках и усадьбах он слушать не хотел — несколько раз перебивал отца, расспрашивая о том, как ездят поезда, кто и как работает на железной дороге и, наконец, сколько весят рельсы. Несколько дней спустя отец подарил Роме его любимую впоследствии игрушку — поезд на батарейках, идущий через Бруклинский мост, потом — по кругу, потом — в тоннель, а затем снова — через мост.

Бруклинский мост Ангарского не впечатлял. Поезд на батарейках — однозначно да. «Вот бы найти игрушечный Глазковский и пустить по нему мой поезд», — думал Рома и представлял, как пластмассовый состав пересекает четыре дугообразных пролета. На самом деле совсем рядом с Глазковским находился другой — Иркутный — мост, через который гусеницей в металлических латах ходил самый настоящий поезд, но маленький Рома либо этого не знал, либо уже в четыре года проявлял известное упрямство.

Эти первые воспоминания, безусловно, вырабатывали гормон, похожий на немецкий бомбардировщик. Память проводника Ангарского, набирая обороты, как локомотив, помчалась дальше, по дороге цепляя один вагон за другим.

После обретения бесценной игрушки маленький Рома просил и впредь дарить ему на праздники поезда (еще — мосты — в надежде на миниатюрный Глазковский). И Роме дарили. Но игрушки эти, так как не имели сакральной ценности, потерялись где-то в бесконечных переездах, а самый первый состав оставался стоять в детской и даже ездил, когда кто-то в семье вспоминал про покупку свежих батареек.

Потом отец несколько раз подрался с матерью. Было это совершенно внезапно, ничего подобного между родителями Роме прежде видеть не доводилось. В результате последнего столкновения мать долго плакала. Ангарский тогда весь вечер один просидел на красном ковре, рассматривая черные узоры, водя пальцем по ним, как по игрушечной железной дороге; тоже плакал из-за того, что его оставили на бесконечно долгое (как ему тогда казалось) количество времени. Наутро отец ушел и больше не вернулся. Жаль. До того вечера он казался Роме незлобливым и смешным. Коротко стригся. Ангарский любил, восседая, как царь-завоеватель, на отцовской шее, гладить черного морского ежа его коротких седеющих волос. Как-то отец взялся подстричь маленького Рому, не справился и обрил налысо. Рома плакал и с тех пор вмешиваться в свою шевелюру разрешал только тете-парикмахерше из дома напротив, которая стригла его одним-единственным образом: «под шапочку». Если парикмахерша болела, Рома наотрез отказывался идти к другому мастеру и капустообразно обрастал до выздоровления тети Нади, до появления свободной записи к ней. Все эти воспоминания (в частности — об отце) вызывали у проводника Ангарского одну только неприязнь и тоску. Застланные слезами глаза и расплывающиеся узоры красного ковра — что тут может быть приятного?

Перед началом школьной поры, заблаговременно, мать с сыном переехали в Петербург к родственникам, а потом приобрели собственную двушку. Мать в противовес отцу была собранной и чуть-чуть угловатой, как Рома. Блондинка с высветленными в неестественно белый цвет волосами, всегда убранными в тугой пучок; с острыми скулами, будто сделанными из листа какого-то металла (нечто среднее между титаном

и алюминием), и каре-зелеными глазами с выраженным жилкованием, сходящимся к середине, как у подорожника. Обыкновенно пристальный, даже суровый взгляд формировали маленькие узкие зрачки — казалось, радужки сжимают их в кулак.

Про школу вспомнилось больше, но в основном отрывками. Трехэтажное коричневое здание, квадратное, как шкатулка для пряжи, прямо под окнами только что сданного дома, куда, собственно, и заселилась семья, состоящая из двух человек. Мать контролировала каждый шаг маленького Ромы, отслеживала даже девочек, с которыми он дружил, настаивала, чтобы сын фундаментально учился. Если подружки мешали учебе — либо науськивала Рому разорвать отношения с ними, либо являлась в школу и разговаривала с девочками лично. Если не помогало — с их родителями. Никто не хотел иметь дело с Анной Семеновной (так ее звали), поэтому переговоры завершались точно так, как мать хотела: Рома возвращался к урокам. Поначалу он слушался — что оставалось? Всю среднюю школу просидел за учебниками. Единственный в классе на уроке истории наизусть ответил домашнее задание про Цусимскую трагедию: в пятнадцать лет обожал царя Николая II. То ли потому, что царь был себе на уме и целую Думу мог разогнать, проявить своеволие, то ли потому, что в ворон стрелял. Вороны по ночам постоянно каркали под Роминым окном (в кроне близрастущего дерева было свито гнездо), поэтому Рома конкретно этих пернатых искренне ненавидел. Купил в комнату имперский желто-черный флаг. Но не из политических соображений, конечно, а из-за того, что царь Николай был любимым книжным героем. Ему даже как-то снилось, что сам он спит, а царь Николай ночью выходит в его комнату прямо из черно-желтого флага, как из двери или какого-то портала, с охотничьей винтовкой в руках, идет на балкон, как в тире, сбивает шумное гнездо, воцаряется тишина. Тогда хозяин земли Русской возвращается к спящему Роме, садится у изголовья и начинает читать вслух учебник по истории. Конечно же, параграф про Цусиму.

В школьных занятиях было мало приятного и совсем ничего, провоцирующего выработку немецкого гормона. Надоело слушаться мать — Ангарский стал ругаться с ней, единожды пытался драться, как отец, — бесполезно — был оттаскан за волосы и выпорот ремнем. В личном дневнике написал «ненавижу маму». Мать нашла дневник, прочитала, но опекать сына не прекратила. Рома только лишний раз был оттаскан за волосы и повторно выпорот. Из протеста Ангарский на большой перемене ходил курить за трансформаторную будку со старшеклассником то ли Сальниковым, то ли Санниковым (Ангарский помнил: с похожим названием был фильм про невидимый остров в Ледовитом океане, но фамилия чуть-чуть отличалась). Неважно. В этом, рассуждая логически, тоже было мало приятного. Если обратиться к чувствам: покалывание в кончиках пальцев, горечь на корне языка, секундное чувство эйфории и некоторая отрешенность. За ней (поначалу) — легчайшее, быстро проходящее чувство тошноты. Забывалось даже, что рядом стоит и что-то непрерывно вещает кудрявый Сальников (или Санников), обтянутый черной косухой не по размеру (так длинная тесная наволочка пережимает вылезающую из-под нее подушку), курит по-пижонски и смотрит при этом куда-то в сторону.

Пачку сигарет Ангарский прятал в трансформаторной будке, а вторую, запасную, — в своем подъезде под лестницей. Перед возвращением домой обильно, чуть ли не с ног до головы обливался одеколоном, чтобы мать не уличила. Она тем не менее подозревала, но подловить Рому не удавалось: сын говорил, что это Сальников-Санников рядом курит.

В качестве протеста матери Ромой организовывались и другие акции. Наиболее мягкими были попытки Ангарского уйти ночевать на улицу или к Грише Медяку, но они,

как и все предыдущие, не увенчивались успехом. Мать либо сама находила Ангарского, либо звонила в полицию, и домой его забирали уже блюстители порядка. В любом случае все заканчивалось привычным ремнем.

Параллельно, чтобы не посещать поднадоевшие уроки, Рома начал ходить в театральный кружок (его руководитель был уполномочен давать записку от имени директора, освобождающую от занятий по случаю важной репетиции или выступления коллектива в другой школе). Там Рома подружился с Гришей Медяком (тот писал сценарии для кружка). Еще посещая кружок, Ангарский влюбился в девочку, старшеклассницу. Эту связь Роминой матери отследить не удалось, но девочка взаимностью не ответила. Говорила, что никого любить не готова, говорила, что отношения ей не нужны, а все ввиду полного отсутствия свободного времени: она якобы четко нацелена на поступление в театральный институт, а какие-либо прогулки под ручку несомненно помешают ее трансформации из куколки в бабочку: из рядовой участницы школьных спектаклей в актрису Московского театра и кино первого плана. Но буквально через полгода девочка, не сдержавшись, закрутила роман с каким-то выпускником и по случайности забеременела. В театральный так и не поступила. Ангарский злорадствовал, почитал сложившиеся обстоятельства справедливым отмщением: нечего было его обманывать, и вообще, если девочка не досталась ему, то пусть пирует за столом последствий. Вот он, Ангарский, сделал бы ее счастливой, сделал бы из куколки имаго (или как оно там называлось на уроке биологии).

Воспоминание было мимолетным, но неприятным. Проводник Ангарский отпил водку, не закусывая. Девочка тогда быстро исчезла из его поля зрения, театральный кружок тоже был плохой затеей: на сцене Рома торчал настоящим бревном. Что особенно показательно играл он дерево, но и с этой ролью не вполне справлялся: не знал, куда себя деть, кому именно рассказывать текст (другим горе-актерам или учителям в зале?), наконец, — в какую сторону поворачивать голову и как симметрично растопыривать руки-ветки. Эту чертову пьесу написал Медяк. В финале на дерево-Рому в довершение всех унижений падал театральный снег. Спасибо, что не птицы садились!

Но Гриша в отличие от улетучившейся пассии в жизни Ангарского остался. Не просто остался — закрепился, стал одним из немногих, кого Рома как человека полюбил надолго. Было в Медяке что-то резонирующее душевным порывам Ангарского: схожий образ мыслей, перетекавший во многочасовую болтовню по телефону и вполне любопытные литературные изыски, которые Гриша зачитывал прямо в трубку, чтобы друг не смог отвертеться от прочтения. Еще Грише был присущ схожий с Роминым задумчиво-отстраненный и немного взбалмошный характер единственного сына своих родителей и нежелание учиться в школе во имя чего-то большего. Все это вкупе вызывало у Ромы неизменную симпатию — а иначе как вообще можно было полюбить человека по имени Гриша? К тому же выглядел он забавно: весь тощий, сухой, небольшого роста, но с пухлыми щеками. Медяк в школе усердно посещал только русский язык, литературу и историю. С ним можно было поболтать о царе Николае. Из-за него же — поссориться. Все остальное время Гриша сбегал с уроков, сидел где-то на подоконнике и на обратной стороне тетради писал стишки, короткие рассказы или любовные записки. Учителя не сильно его ругали, знали: талантливый.

После перехода в старшую школу друзья оказались в одном классе. Стали плотнее общаться, иногда драться, если не могли что-то поделить (например, когда проходили Гражданскую войну, Гриша был за красных, а Рома, безусловно, за белых). В драках Ангарский был непредсказуем и даже опасен: быстро вспыхивал, распалялся, хватал любой инвентарь (швабру, лобзик, вполне возможно — стул), и понеслась душа в рай — раззудись, плечо, размахнись, рука! Медяку оставалось только уворачивать-

ся или валить Ангарского на пол, держа за руки (мог ведь и душить начать). Потом, на перемене, вместе шли курить или пить то, что Сальников-Санников припрятал в трансформаторной будке (если тому, конечно, удавалось достать).

Ангарский был внимателен на уроках физики, математики и обществознания. Уже ставшую ненавистной школу хотелось поскорее закончить и поступить в Петербургский университет путей сообщения, чтобы исполнить детскую мечту — работать на железной дороге. Еще Роме почему-то казалось, что во внутреннем дворе университета за стеклом обязательно должен стоять настоящий паровоз, совсем как на Финляндском вокзале. Отыграли последний звонок по сценарию Медяка, оба хорошо сдали экзамены и поступили, куда хотели: Ангарский — в железнодорожный, Медяк — в Институт культуры на филолога.

К тому моменту Анна Семеновна наконец-то поняла, что жить ей с сыном невыносимо, сыну с ней — тем более, и отправила чадо в качестве подарка на выпускной в квартиру покойной бабушки, в Московский район. С бабушкой в детстве у Ромы контакта не было, прародительницу он почти не помнил (в памяти всплывали только редкие визиты в гости в начальной школе). Со дня ее смерти к моменту заезда Ангарского в квартиру прошло уже несколько лет. Чувства, вызывающие холодок по спине, связанные с умиранием пусть даже неблизкого, любого, человека, улеглись. В день, когда Рома узнал о том, что к бабушке в гости он больше никогда не придет, ходил и размышлял: «Умер человек. Вчера он существовал, проживал на планете Земля, разговаривал, зимой — дышал паром изо рта и вдруг в одночасье покинул свой постоянный адрес без возможности вернуться». Несколько лет спустя маленькая, пусть и омраченная радость обретения жилплощади и долгожданного обособленного ведения быта все же присутствовала. К тому же проявился отец, на тот момент уже эмигрировавший в Израиль. Он обрадовался ссоре Ангарского с матерью и стал отправлять Роме деньги (лишь бы ссорились дальше, отец имел виды на сына). Деньги перечислялись строго на период обучения в институте, чтобы сын посвящал время одним только занятиям (в этом Ромины родители были схожи, несмотря на то, что тихо ненавидели друг друга). После учебы планировалось переманивание сына на землю обетованную в качестве помощника в кибуце (отец в тот период жизни решил попробовать себя в качестве фермера). Чтобы усугубить разрыв Ромы с Анной Семеновной, отец стал писать сыну письма, обличающие бывшую супругу. И неверной она якобы была, и сама Роминого отца всячески угнетала, а на любовные послания в стихах, будучи человеком практическим, реагировала сухо, если не с иронией, чем ранила душу драчливого романтика.

«Ведь было так, Ромочка: я сижу спокойно, суп ем, и тут она мне как даст по лицу! А я же — мужчина. Не ответить не могу, авторитет дома потеряю. Так все у нас и сломалось. Глупая она, Аня. Не понимает, кого потеряла. Сначала мужа изжила, потом — единственного сына (муж, может быть, и не единственный был). Я от нее подальше уехал, в другую страну, и ты, сынок, беги!» Рома, только-только съехавший от докучавшей родительницы, конечно, не верил в отцовские фантазии, но сам был рад в переписку выплеснуть накопившийся негатив по отношению к матери.

Ничего хорошего. Впрочем, какая-никакая независимость заставляла заветный гормон маленькой ящеркой, прячущейся под камнем, наконец показать голову. Это стоило закуски. Проводник Ангарский достал из-под полки припрятанную палку колбасы, откусил и положил на квадратный столик.

Московский район поразил Ангарского своей монументальностью. Каждая гранитная стена казалась исполинским гробовым камнем на могиле Иосифа Виссарионовича. Изучая дворы, Ангарский то и дело думал, что набредет на тело вождя, изъятое

из Кремлевской стены и помещенное в тематический паноптикум под открытым небом. Постройки, покрытые исторической пылью былого величия, нравились Ангарскому. Не нравилось только чувствовать себя песчинкой на их фоне, мушкой-дрозофилой, которую просто так, от нечего делать, можно раздавить ногтем.

В институте учиться было тяжело. Новый коллектив, преподавательский состав с сумасшедшинкой. Чего только стоил Фридрих Бергман, читавший математический анализ и другие предметы, связанные с высшей математикой; кричавший, что выпускников школ ничему за одиннадцать лет не научили, что догонять школьный курс он не намерен, что всех неуспевающих на сессии он будет нещадно отчислять. После этих слов Бергман запрыгивал задом на письменный стол, стоявший у него в аудитории вместо кафедры, обмякал, как тряпичная кукла, и на глазах у изумленных студентов вдруг начинал паясничать: ковыряться пальцем в носу, как болванчик, болтать тяжелыми ножками и кричать известную фразу из фильма: «Зима близко! Близко!», подразумевая грядущую зимнюю сессию и неминуемые отчисления.

Ангарский в первый же день сдружился с обалдуем по фамилии Ерофеев, который тоже ничего не понимал на занятиях Бергмана. Ерофеевские смоляные волосы, не знавшие расчески, завивались, сбивались исключительно в правую сторону и на затылке напоминали предписывающий знак — белую стрелку на синем фоне, указывающую поворот направо. Вместе новоиспеченные приятели на большом перерыве пошли в библиотеку, взяли учебники по математическому анализу и ужаснулись: внутри их ждали какие-то значки, буквы, формулы без единого объяснения на русском языке. Короче говоря, китайская грамота. На занятие к Бергману (весь первый день состоял из пар по его предметам) опоздали на минуту: запутались в разбросанных по разным этажам аудиториях, которые в совокупности своей представляли настоящий лабиринт минотавра с числовыми и буквенными обозначениями дверей — разобрать эти шифры, наверное, мог разве что Алан Тьюринг. Как бы студенты ни оправдывались, Бергман на лекцию не пустил: никто не мог зайти в аудиторию после него — таково правило. Dura lex, sed lex.

Ерофеев предложил еще раз попробовать почитать учебники и заодно перекусить. В столовой он занял место, заказал у буфетчицы два больших стакана черного кофе без сахара и молока, попросил приятеля забрать напитки по готовности и подождать, пока он, Ерофеев, сходит в туалет. Но исчез надолго. Вернулся назад через полчаса, радостный, с какой-то бумажкой, и сказал: «Поздравляй! Я сходил в деканат, отчислился!»

Дней через десять Ерофеев пригласил к себе праздновать отчисление. В Университет путей сообщения он поступать не хотел, пошел под давлением деда и отца (чета Ерофеевых полвека работала на железной дороге, в частности проектировала вагоны, в еще большей частности — электрички). Ерофеев-младший сам не знал, кем по-настоящему хотел стать: то ли музыкантом, то ли вольным гулякой (его привлекал образ хиппи Трубадура из мультфильма «Бременские музыканты», несмотря на то, что хиппи давным-давно вышли из моды). На карманные деньги, выданные отцом на первую неделю обучения, он купил на рынке акустическую гитару и ко дню визита гостей даже научился играть на ней что-то из Цоя.

В гости он пригласил Ангарского и Дрючина — худого, бледного, подслеповатого одногруппника, похожего на ленточного червя без глаз, ориентирующегося в темноте на ощупь. Дрючин не имел собственного угла, денег и навыков коммуникации. Жил в общежитии, при включенном свете забивался в угол, как таракан, но был, по словам Ерофеева, настоящим гением. Дрючин поступил в институт без экзаменов: выиграл какую-то всероссийскую олимпиаду, увлекался физикой и техникой, до поступле-

ния за сущие копейки спроектировал какую-то доселе не виданную цифровую систему вроде сервера, впоследствии проданную заказчиком в Нидерланды. Заказчик сорвал куш, а Дрючин, не умевший общаться с людьми, на первый взгляд, выросший в пещере без еды, света и общавшийся на языке Маугли, работал только за идею.

Комната Ерофеева (по совместительству — гостиная), куда хозяин вечеринки пригласил проследовать молодых людей, впрочем, тоже мало отличалась от пещеры: однотонные серые стены, люстра со свисающими прозрачными и черными ониксовыми стекляшками неправильной формы, черный ковер, на котором шипел кальян с ярко-оранжевыми углями («И не боится ведь прожечь, — думал тогда Ангарский, — и ремня материнского за прожжение не боится»). Ерофеев хотел сделать сразу два добрых дела: покормить голодного Дрючина и познакомить гения с Ангарским (вдруг в обучении поможет). Дрючин стеснялся, мялся: съел заказанную пиццу и спросил, нет ли в доме кефира. Ерофеев возмутился, мол, это несерьезно, и налил гостям водки. Водку Ангарский прежде не пробовал, а потому, поддавшись общему куражу, напился так, что после посиделок не смог добраться до дома: упал на лестничной клетке у мусоропровода. Ерофеев с Дрючиным тоже были косые — тело не обнаружили. Через несколько часов с энной попытки Ангарскому удалось набрать Гришу Медяка, который поехал на север города забирать друга и отвозить домой.

В памяти проводника всплыла картинка: Медяк в черном пальто и бордовом шарфе, сам длинный, как Слендермен из компьютерной игры, опирается на длинный зонт, смотрит на Ангарского, лежащего у мусоропровода, как на жука, который барахтается, переворачивается с бока на бок, но встать не может; потом Медяк произносит: «Ну ты и животное, Роман. Не роман, а какое-то чтиво бульварное». Ангарский страшно обижался на эти слова (Медяк был уверен, что друг наутро ничего не вспомнит), но Гришу любил, поэтому простил. А фразу все же помнил. И еще помнил мотив песни «Троллейбус, который идет на восток». То ли потому, что ее в тот вечер играл на гитаре Ерофеев, то ли потому, что сам Ангарский в троллейбусе, идущем до метро, пытался Грише ее воспроизвести, но не вышло: едва Рома открыл рот, его тут же вырвало прямо на прорезиненные коврики салона троллейбуса.

Проводник Ангарский вспомнил это с омерзением. «Ну ты, Гриша, полный медяк!» — подумал он. Потом еще подумал: «Длинным ты, Гриша, казался только потому, что я на тебя смотрел снизу вверх. Коротышка!» — и сразу представил, как Медяк парировал бы это фирменным: «Низкие люди правят миром». В каком значении в присказке употреблялось слово «низкие», Рома до сих пор не понимал. Или же оба значения одновременно были необходимы для каламбура? В очередной раз застигнутый врасплох этой фразой, Ангарский когда-то даже пытался свести в уме всех правителей невысокого роста, но быстро зашел в тупик. Точных сведений о росте любимого царя Николая не осталось. В Интернете было сказано: «от 165 до 170 см». Прямо как Медяк! Удивительное совпадение.

Дружба с Дрючиным после совместных посиделок, закончившихся пьяным фиаско, действительно сложилась: социально неадаптированный вундеркинд здорово помогал Ангарскому по всем техническим предметам. Ангарский по методе Ерофеева кормил и поил нуждавшегося товарища, а тот терпеливо объяснял Роме темные места математических наук.

Что еще происходило в этих независимых стенах? Вспомнился эпизод со старостой Машей. Это была не девочка, а воплощение эфемерной мечты Ангарского о красоте, о женственности, о вдохновении и прочих абстрактных словах, употребление которых так критиковал Медяк (к тому моменту функционер крупной всероссийской писатель-

ской организации), но в которые истово верил опиравшийся исключительно на чувства Ангарский. Рома влюбился в Машу с первого взгляда. Какая Беатриче, какая Лаура, какая Любовь Менделеева, о которых так красноречиво говорил Медяк, — все это было давно и неправда, а Маша реально существовала. Настолько реально, что Ангарский был уверен: прямо сейчас, в своем проводничьем купе отдыха он мысленно позовет ее образ, вертанет бутылочку, как на спиритическом сеансе, и Маша появится здесь, в двухместке, перед ним, отвернется, чтобы случайно не встретиться взглядом, будет смотреть в подмерзшее окно; Ангарский протянет руку к ней, к ее черным волосам, а она, строптивая, как обычно, посмеется, руку оттолкнет в пренебрежительном жесте, наконец — исчезнет. Ангарский расположился на койке поудобнее. Немецкий гормон обратного захвата подступал прямо к горлу.

В железнодорожном университете Маша была отличницей. Не за знания — за красивые глаза — причем совершенно справедливо. Ее глаза были не просто красивые: темные, большие, немного раскосые, всегда с иронической усмешкой, как яблоко с червоточинкой. В этих глазах была стихия, цунами. Они могли устроить смотрящему в них настоящую Цусимскую трагедию, а в минуты гнева — Хиросиму и Нагасаки одновременно. А как эти глаза — с ядерным взрывом в каждом — она умела профессорам строить. Тут никогда не констатируешь «хорошо», разве что — «хороша!» Маша увлекалась сбором японских лубков и современной графики, читала популярных японских писателей (Мураками, Огаву, Марату), современные японские комиксы (Ангарский не помнил, как они называются), смотрела Куросаву и японские спектакли в Интернете. На институтские занятия иногда одевалась стилизованно, под гейшу.

Она и сама была будто из Японии. Миниатюрная, с белой, как у куклы, кожей, маленькой стопой, помещавшейся в маленькую туфельку на деревянной подошве. Но больше всего Ангарский любил совсем не японские (хотя и черные) безукоризненные (на его вкус), длинные, всегда блестящие, расчесанные волосы. Не как с картинки — живые и текущие, они напоминали ему самую красивую в мире реку — Ангару.

Ангарский ухаживал за Машей, поначалу даже успешно: водил гулять вдоль Фонтанки, как чижик-пыжик (Маша давала ему подержать ее за руку, пить водку отказывалась). Ангарский заявлялся в общежитие, они вместе готовили печенье (Рома для этого даже добыл формочки в виде паровозов). Чтобы произвести впечатление, просил Ерофеева научить его играть Цоя, а у Машиной соседки брал в аренду гитару. Но «Звезду по имени Солнце» Маша не оценила: не слушала русскую музыку. В ее комнате в общежитии висел маленький черно-белый постер какого-то Кенши Йонезу — тот хоть и был музыкальным исполнителем, а разрезом глаз и шевелюрой слегка напоминал Цоя (на этом сходства заканчивались), по мнению Ангарского, с Виктором Робертовичем и рядом не стоял. «Ерунда какая-то», — сказал Рома, снимая Машины пушистые наушники, и продолжил попеременно зажимать Am и Em.

Потом все как-то пошло к разладу. Ради шутки, ради хорошего времяпрепровождения Маша была готова гулять с Ангарским, но Рома был настроен серьезно. Серьезность в планы старосты не входила. Пойти в кино и под видом выхода в уборную, потешаясь над Ромой, сбежать со свидания ей, безусловно, приносило удовольствие. Перетереть кости подругам и одногруппникам — тоже. Посмеяться над самим Ангарским, у которого печенье, вышедшее из паровозной формочки, приобретало вид детской неожиданности, было святым. А вот рассуждать о любви, предаваться высоким прениям или, не дай бог, слушать про Глазковский мост было выше ее сил.

Тогда Ангарский в один день пошел ва-банк: пригласил Машу в театр на «Вишневый сад». Пьеса была стилизована под Японию: с национальными костюмами, веерами и цветением сакуры. После спектакля позвал домой, предварительно купив суши

и саке, и, когда Маша, смеясь, отказала ему в совместном ужине и близости, сам опустошил единым залпом прозрачную бутылочку с иероглифом, а потом высказал все, что о Маше думает. Она тоже за словом в карман не полезла — встала спиной к Ангарскому, лицом — к окну и стала отвечать колкостями. Особенно Ангарского разозлила шутка про его утиный нос. Рома рассвирепел, схватил Машу со спины (то ли чтобы придушить, то ли чтобы поцеловать, то ли чтобы взять силой — сам не разобрался), и завязалась драка. Маша, несмотря на внешнюю хрупкость, была той еще штучкой, поэтому молодые люди покатались по полу, потаскали друг друга за волосы (Маша вырвала приличный клок из затылка Ангарского), съездили друг другу по лицу, разошлись и больше не общались.

На первом-втором курсе Рома злился на Машу из-за ущемленного самолюбия. Теперь же, через призму времени, то обстоятельство, что Маша никому не сказала об их потасовке, не пошла жаловаться подругам или, более того, в деканат, в полицию, замела следы и просто не разговаривала с Ангарским, он счел проявлением высшего благодушия. Чего уж греха таить, Машу он так и не смог до конца разлюбить. А задетое эго простил давно.

Медяк параллельно с учебой работал писателем. Характер его со школьных лет пообтесался, углы сгладились, и, рано перебесившись, Гриша сделался скучным. Как настоящий функционер, писал он не книги, а какую-то халтуру, вроде сценариев для детских праздников и грантов для привлечения в писательскую организацию денежных средств. За это он получал зарплату и возможность вращаться в одной компании с настоящими писателями, а еще приобрел кличку Дипломат за сговорчивость на выполнение любой ерунды помимо творчества и лояльность по отношению к похожим на него функционерам-заказчикам, в силу возраста давно выжившим из ума.

Медяк, дабы помочь другу оправиться от разрыва с Машей, позвал его на писательский междусобойчик. Там, в богемной компании, проводила вечер крашеная блондинка Лена — знакомая Медяка из Института культуры, учившаяся на драматурга. Невысокого роста, миловидная, однако выглядевшая несколько младше своего возраста, с детскими глазами, сбитой прической и проступающими корнями волос, она стала интересоваться Ромой, а после полуночи — попросила проводить ее до дома. Потом они еще несколько раз пересеклись в кругу друзей и товарищей Гриши, и Лена окончательно влюбилась в Ангарского. Подкупала неприятность его манер, некоторая циничность, отстраненность. На контакт он идти не хотел, все время думал о своем, в Интернете отвечал неохотно: раз в несколько дней, но вовсе от общения не отказывался, чтобы чувствовать себя востребованным и иметь возможность отвлекаться от будничных дел (учеба на втором курсе изрядно поднадоела, шла из-под палки, Ангарский искал любые пути не сидеть за тетрадями). Лена решила сделать Ангарского героем своей пьесы — тот отнесся к затее холодно: хватало стихов и сценариев Медяка, который теперь отправлял свои детища Роме по электронной почте (писатели, адепты косности, в своем неуклонно стареющем кругу имели странную привычку общаться именно этим неактуальным способом), иной раз Медяк безо всякого предупреждения заявлялся читать стихи лично. Лена жаловалась Грише на отстраненность возлюбленного. Тот слушал ее бесконечные монологи, утешительно кивал, прочитывал тысячи сообщений, горько угукал, но в их дела не лез, знал: себе дороже. Сначала пытался поддерживать и давать советы, а потом понял: Лена себе на уме.

Тем временем в институте Ангарский попытался помириться с Машей и возобновить отношения. Купил цветы, конфеты, взял билеты в кино, как вдруг оказалось (Машины подруги нашептали), что она любит другого. Ангарский ушел с занятий. Хотел

выяснить, где живет этот другой, хотел ехать разбираться, даже бить его, хотел задействовать Медяка и Ерофеева, но, оценив масштабы города и в целом бесполезность затеи, сдался: пригласил вместо Маши — Лену. После кино молодые люди пришли к Ангарскому домой (Лена была не против), и Рома, воспользовавшись положением, чтобы выпустить пар, взял ее. Не силой, нет: Лена не сопротивлялась. Как позже узнал Ангарский, он был у нее не первым, а потому решил, что с него снимается всякая ответственность.

Вот только выгнать подругу из дома впоследствии никак не удавалось: она хотела ежечасно быть с Ангарским, одна она не находила себе места. Рома поначалу соглашался. Лену не любил, но накопившуюся животную страсть выплескивал. Холодность подкупает, невнимание — притягивает. Лена перевезла вещи к Ангарскому, готовила ему завтраки, гладила в институт рубашки. Ангарский только ухмылялся. Справедливости ради, он открыто говорил (предупреждал), что чувств не испытывает, но Лена не слушала и докладывала Медяку: «Это у него маска такая, печоринский психотип. Я его перевоспитаю». По утрам Ангарский просыпался, будил Лену, занимался с ней нелюбовью, а потом уходил на весь день: на пары (тут уже и занятия не казались столь пугающими), к Ерофееву, к Медяку, к писателям, в общагу к Дрючину — куда угодно, но не к даме, от которой спасу не было. Но дама везде находила блудного попугая и тащила домой. Учебой заниматься перестала, а собой — и подавно. Подруги, Медяк, писатели уговаривали Лену уйти от Ангарского, бессчетное количество раз указывали на дурные поступки Ромы, на что-то сказанное им впроброс, но все без толку: на глазах у Лены были не то что розовые очки — бесконечная розовая пелена, если не розовая глаукома.

Рома терпеть не мог навязчивости, особенно в свой адрес. Против Лены ничего не помогало: говорить о том, что любит другую, бывшую девушку, — бесполезно. Лена считала, что Ангарский сам себе врет. Говорить о том, что нет точек соприкосновения и общих тем для разговора, — еще более бесполезно. Лена отвечала, что будет между делом читать учебники Ангарского — тогда и диалог пойдет, хотя ничего, разумеется, не читала. Сам Рома едва понимал, что в учебниках написано. Тысяча других причин: финансовая составляющая, неустроенность быта — все, что ни шло в ход, Леной отметалось.

Тогда Ангарский наконец решил, что Лена его больше утомляет, нежели удовлетворяет потребности, да и надоела — смерть как. Что-то новое в виде постели уже было опробовано и, лишенное чувств, Роме быстро опостыло («опостелило» — пошутил он про себя). Лену выгнал из дома, сказал, что между ними возможна только дружба. Максимум — та самая постель, и то по праздникам. Лену это не остановило. Она стала напиваться в компании Гриши и писателей, а потом возвращаться к Ангарскому буквально на руках Медяка, расхристанная, бормоча, что ей негде приклонить главу, что ее дом — здесь. Потом, когда Медяк стал отказывать ей в просьбах «проводить до Ромы», в ход пошли другие аргументы: с бабушкой поругалась, все дома заболели, а Лена боится подхватить грипп, лифты в доме не ходят, в подъезде обнаружен очаг туберкулеза...

Конечно, Лена была глубоко потерянным человеком, не умевшим оставаться наедине с собой. Она боялась одиночества, а еще — пустых пространств. Так, например, поездка в электричке через чистое поле была ей невыносима: приходилось закрывать глаза, брать наушники и что угодно в них проигрывать — лишь бы не тишина, не пустота. Из-за недолюбленности в детстве (Лену воспитывала бабушка), из-за боязни мысленно поговорить с самой собой, еще из-за десятка других причин — в молодых людях (в список которых попал и Ангарский) она не искала к себе хорошего отношения, а те уступки, что ей оказывали, почитала за благо. Дыру в груди «размером с Бога» она ежедневно затыкала Ромой.

Ангарскому это было неинтересно. Выслушивая ее откровения, в сердцах он даже сказал, что не умеет сопереживать: «Сострадание — это не по мне. Мне оно чуждо. Нет той эмпатии, о которой сейчас модно говорить. Так что не жалуйся, не выйдет. Я ничего не чувствую». На самом деле Рома даже не знал, блефует ли он, но был точно уверен: Лену не любит, а от каждого лишнего часа, проведенного с ней, его трясет от злости. Он не придумал ничего умнее, чем предать девушку, надругаться над ее чувствами, точнее, изменить ей. «И тогда, может быть, розовая глаукома чудесным образом прояснится», — думал он.

Ни с кем не советуясь, Рома познакомился со случайной девушкой в Интернете, мало-мальски отвечавшей его мужским интересам, пригласил к себе, но дела пошли не по плану. Девица масштабов «Палеолитической Венеры» (сейчас Ангарский даже имени не помнил) оказалась большой любительницей выпить, а возле дома обнаружился круглосуточный магазин, к тому же с иностранной продукцией. Начался марафон напитков. Наконец на банковской карте Ангарского закончились деньги, а гостья, передвигаясь на четвереньках между катающимися по полу бутылками, не смогла выползти за порог. Так и уснула на полпути. Ангарский все же добрел до кровати, но забраться не вышло: рухнул рядом и уснул, облокотившись о деревянный борт. Даже нос ободрал во время падения. До стеклоочистителя дело не дошло.

Анна Семеновна то ли почуяла неладное, то ли сын на протяжении чересчур длительного срока не обменялся с ней ни единым словом (пусть даже и грубым), то ли она просто решила удостовериться, что у Ромы все в порядке, — опять-таки неважно. Главное, утром она своим ключом открыла замок квартиры и обнаружила погром, бутылки, сына, спящего на полу, местами — последствия гулянки и неопознанную мопассановскую Пышку на кухне. С первых шагов мать подняла крик. Девица испугалась и побежала будить Ангарского, тот не сразу понял, что произошло, а когда понял, обрушился на мать с проклятиями.

— Ты мне жизнь испоганила! Загубила! Это ты во всем виновата, — кричал он в ответ, потом вспомнил слова отца и выпалил: — Папу чуть со свету чуть не сжила, теперь меня хочешь? Не выйдет! Правильно он тебя воспитывал, уму-разуму, — тут Ангарский икнул, — учил! Не твое дело, где я и с кем. Убирайся, чтобы духу твоего здесь не было!

Последствия наступили мгновенно: и Рома, и девица были выставлены на улицу. Сыну был дан трехдневный срок, чтобы собрать вещи, найти съемное жилье и съехать с глаз долой. Денег не было. Отец вроде бы посочувствовал, дал понять, что уважает и хвалит Ангарского за смелость, но помогать не стал, сказал в лучшем случае ждать до зарплаты. У Медяка прописаться не вышло: жил с родителями.

Рома стал обзванивать родственников. Тетка по отцовской линии обещала помочь, пригласила переждать грозу у нее, в садоводстве Иркутской области. Ангарский согласился и уехал. На шестисоточном участке, сидя верхом на плохо сбитых козлах под яблоней, припорошенный первым снегом (это было почти в аккурат пять лет назад с текущего момента), он страшно на всех рассердился: на мать, на отца, на Машу, на Лену — все были по-своему виноваты в его несчастье; решил перечеркнуть прошлое, вспомнил разговор с Ерофеевым в институтской столовой за стаканом крепкого кофе без молока и почтой подал заявление на отчисление из института. На другой день съездил в Иркутск, прогулялся по улочкам (помнил не все), нашел свой детский сад на улице Свердлова, прошелся по набережной, свернул на Глазковский мост. Когда он увидел Ангару с того самого ракурса из первых воспоминаний, будто это было дежавю; когда, как дурак, показывая трясущимся от напряжения пальцем, снова нашел сначала — железнодорожный вокзал, потом — пожарную каланчу, а следом —

все особняки и усадьбы, утопленные в плоских крышах новостроек, не смог справиться с эмоциями. Он сел прямо посреди отгороженной пешеходной зоны, мешая людскому движению, спрятал лицо в ладони и несколько минут плакал в перерывах между порывами удушья, жадно хватая воздух, смешанный с тяжелым свинцом выхлопов и другими автомобильными нечистотами, поднимавшимися над прозрачной, тонкокожей рекой, реагирующей на людскую возню мелкими мурашками.

Рому тянуло назад, в беззаботное детство, сюда, поближе к настоящей железной дороге. Не зря он порвал (так он думал) с прежней жизнью. Отдышался, отряхнулся, еще немного прошелся и отправился устраиваться работать проводником.

Теперь, когда в своем купе отдыха Ангарский не вспомнил — заново прожил это потрясение, этот день, ставший поворотным моментом в его жизни, глаза проводника, как тогда, на мосту, сделались по пять копеек. От вновь пережитого эмоционального напряжения его тряхнуло, по телу прошла легкая судорога. Он выпил много и залпом.

Дальше в воспоминаниях ничего интересного, как ни странно, не обнаружилось. Была длительная возня с паспортными данными: чтобы не иметь ничего общего с матерью, он сменил свою настоящую фамилию на нынешнюю — Ангарский. А материнскую (не отцовскую), присвоенную ему от рождения, предпочел забыть. Прошел военную комиссию по месту жительства, был признан негодным из-за родовой травмы головы (как шутил Медяк: «Поэтому ты, Рома, вырос таким эмоциональным калекой»), получил военный билет и, наконец, поступил на курсы проводников. Там познакомился с коллегой Вениамином Томи — самым странным человеком из всех, кого когда-либо знал. Веня пользовался кнопочным телефоном, убирал его, как пульт, в засаленный пластиковый пакет; ходил в берцах (говорил, что это лучшая обувь по законам ортопедии) и портянках вместо носков (считал, так ноги лучше дышат). Речь Вени была нечленораздельной из-за заячьей губы, голос уходил в нос. Сам детина был под два метра ростом, при всем при этом — питал необъяснимую симпатию к Ангарскому. Как пес, на курсах проводников, в депо всюду ходил за Ромой, в рейсах при распределении просился напарником в тот же вагон, что и Ангарский. Там тоже ходил за Ромой хвостиком и нес какую-то несусветную чушь, например о вреде использования микроволновок. Как иронически подмечал Ангарский, странно, что шапочку из фольги не носил, чтобы инопланетяне не зомбировали. Вене было под тридцать. Ангарский как-то соврал: «А мне сорок». Дурак Веня поверил, какое-то время обращался к Роме на «вы», пока Ангарскому этот цирк не надоел и он не сознался в шутке. Веня посмеялся как-то нервно и неприятно.

А больше ничего знаменательного за пять лет и не произошло. Отец перестал присылать деньги — закончилось общение. Выезжать из страны Рома не собирался. Про Лену Ангарский не вспоминал, поручил Медяку разобраться с ней, а сам сделал так, чтобы она ни позвонить, ни написать не смогла. Рейсы, рейсы, рейсы. Иркутск—Москва, Иркутск—Тайшет, Иркутск—Усть-Кут... Депо-садоводство.

— Точно! — Ангарский вспомнил. Еще квартиру близ резерва проводников снял, почти у самого Глазковского моста, в продолговатом трехэтажном доме, окрашенном в красно-желтую клетку, напоминающем шахматную доску, сложенную пополам и поставленную на попа. По льготе железнодорожника, чтобы скорее съехать от тетки. С тараканами на кухне, зато близко к работе. Квартира была дешевой из-за условий проживания: старый ремонт, постоянный отзвук проходящих поездов в единственной комнате и кухне, будто состав заезжает в одно окно, а выезжает, как из тоннеля, в другое. Стекла дребезжали, потолки сыпали пылью и мелом, как перхотью, но Ангарскому было не привыкать. По крайней мере, здесь, он верил, его временное при-

станище, в то время как основным домом был, конечно же, вагон. Так и провел он последние пять лет, не пережив больше (за исключением каких-то мелких упущенных историй) ничего интересного.

Так удалась ли жизнь? Думалось, что нет. Прежние мечты и амбиции казались более привлекательными, чем теперешняя реальность. По формуле Медяка, были счастливые моменты, счастливые дни, было много хорошего, но разве это искупало общую... пустоту? Да, пустоту. Прожитая жизнь сейчас казалась Ангарскому полупустой. Даже на две трети пустой, как бутылка водки в руках. Роме было всего двадцать четыре года, но, как полагается максималисту, он был уверен, что две трети, если не три четверти уже утекло.

По вагону, как призрак коммунизма по Европе, тенью бродил согбенный Веня, напоминающий огромную оглоблю. Казалось, он начинает лысеть. То ли потому что линия роста и без того жидких волос с каждой сменой отодвигалась все дальше и неумолимо тянулась к затылку, то ли потому что после Вениного дежурства весь вагон оставался перепачканным русыми волосами.

Ангарский смотрел в окно. Светила луна. Как на смазанном фото, взгляд цепляли то нечеткие, растянутые вширь, обглоданные кусты, то перепроявленные черные деревья. Изредка появлялись одинокие постройки, если не аварийные, то уж очень неприглядные. Фотокамера взгляда запечатляла их как зернистые, нечеткие. По каждой такой лачужке Ангарский определял: через двенадцать минут будет станция N, через тридцать пять с погрешностью в минуту — станция NN. Его глаза отражались в стекле. Они были прозрачные и одновременно беловато-серые, как остатки водки.

* * *

Когда Ангарский все-таки задремал, он в очередной раз (в третий или четвертый) увидел мучивший его сон про работу. Снилось подобное не впервые, поэтому прямо там, во сне, проводник преисполнился отвращения к происходящему, каким-то образом сгруппировался, напрягся всем телом, сжал скулы — отдало в виски — и проснулся.

— Негодяи! Как таких земля носит! — прошипел он вслух, садясь на полке. — Я и сам дурак, опростоволосился, — за годы работы на железной дороге Рома выработал привычку говорить с самим собой (чаще — ворчать), не обращая внимания на то, какое странное впечатление подобный монолог может произвести. На кого? Вот именно, не на кого. Дурак Веня не в счет. Передразнивая сам себя, вспоминая ночной кошмар с налетом поездного быта, при этом страшно кривляясь и поглядывая на свою тень на стене, Ангарский воспроизвел диалог из сна:

— Ребята, где учитесь?

— В Саратовской академии права.

После этих слов с отвращением к самому себе он совершил холостой плевок в сторону, искусственно поменял тембр и продолжил свой импровизированный, почти кукольный спектакль:

— А едете куда, если не секрет?

— В Кисловодск. Сигареткой угостить?

«Идиот!» — вслух отругал себя Ангарский. Залпом осушил металлическую кружку воды, лег обратно на полку. Проводник уже начал по-жучьи копошиться, укладываясь, но дверь в купе отворил Веня.

— Ангарский, пересмена, — нервно дернувшись, сказал он и то ли сглотнул, то ли хватанул вагонного воздуха в результате желудочного спазма.

Ангарский (его застали врасплох) соскочил с полки, отряхнулся от остатков пищи, что могли случайно оказаться на одежде (спал, не снимая формы). Сознание еще не вполне вернулось, тем не менее проводник огляделся. Происходящее его рассердило. В окне все еще светила луна, а Веня каким был дураком, таким и оставался.

— Какая пересмена? Ночь на дворе!

— Я боюсь, Ангарский. Нужно пассажиров посадить. Там на платформе опять эти двое.

— Чего? — Ангарский весь скривился. Осознавая, что Веня в который раз говорит и одномоментно претворяет в жизнь свой несусветный бред, Рома с демонстративным раздражением толкнул плечом напарника и пошел разбираться.

Поезд стоял в Минводах. Других проводников на выходе из вагона не наблюдалось («Разумеется, Веня же приперся сюда», — подумал Ангарский). Поезд за прошедшую ночь изрядно опустел и стоял похудевший, осунувшийся, как призрак. Морозная ночь прилипала ко всему, до чего дотягивались ее потные ладошки, и как последствие прикосновения оставляла пятна инея на металлических дверях состава, на коробах фонарей, как бы дымящихся от света, на круглых плафонах, насаженных на фонарные столбы по два, как виноградины на шпажку (конструкции эти, выстроенные в ряд, напоминали череду огромных шарнирных массажеров для шеи, воткнутых в платформу). Даже на горе Змейке вдалеке наблюдались следы ладоней ночи и поверх — отпечатки луны. Гора стояла в тумане, как в пару, а пар валил отовсюду: из теплых вагонов, от ламп, от дыхания Ангарского. На платформе в ожидании посадки курили двое молодых людей в причудливой униформе с фуражками. «Студенты!» — догадался Ангарский, хотя униформа больше походила на военную, и зимой даже в южной части России в такой одежде должно было быть холодновато. Еще какой-то мужик со взлохмаченной бородкой и мешком через плечо бродил туда-сюда, но садиться явно не собирался. Он был весь чем-то перепачкан, а сверху припорошен мелким сухим снегом, как шоколадное пирожное сахарной пудрой. Но на шоколадного солдатика был все же не похож: больно страшен и неопрятен. «Рабочий какой-то», — проводник срочно направился к молодым людям. Чтобы скрасить неловкий момент (никто молодых людей до сих пор не посадил, не обслужил), с не свойственной ему приветливостью, наигранно бодро, спросил:

— Ребята, где учитесь?

— В Саратовской академии права, — ухнул голос.

— А едете куда, если не секрет? Курите?

— В Кисловодск. Курим. Вас сигареткой угостить?

— Нет, спасибо, у меня свои, — Ангарский вытащил из брюк фирменный портсигар «РЖД» с паровозом, достал сигарету, закурил. Дополнительное облачко пара полетело в морозное небо.

— У меня на посадке только вы, — сказал Рома, — поэтому давайте я тоже быстренько перекурю, и пойдем внутрь. Когда учился в школе, мне мать тоже говорила поступать на юридический, но мечта детства и любовь к железной дороге оказалась сильнее, — встретив молчаливое непонимание на лице студентов (мало того, что их до сих пор не пустили в теплый вагон, полоумный проводник продолжает издеваться: курит и разглагольствует), Ангарский решил атаковать вопросом. — Чему учат-то в академии?

Студенты неохотно поддержали беседу, рассказали общие, известные даже Роме вещи про законы Хаммурапи, про римское право, затем уже нечто более интересное — про право внутреннее, международное, европейское, про санкционную поли-

тику (один из парочки как раз писал диплом по этой теме). Потом побросали окурки, быстро показали документы, и Ангарский проводил студентов до их мест. До отправления оставалось еще несколько минут. Проводник вышел покурить, повторно прокручивая в голове разговор, рассуждая, ничего ли он не упустил, не поступив на юрфак (так, чтобы отмотать назад, карандашом крутят кассету с пленкой). Внезапно пленка натянулась и лопнула: только что на платформе почти слово в слово был произнесен диалог из ночного кошмара, несколько раз снившегося Ангарскому. Он открыл рот и механически поднес к губам сигарету, не закуривая.

«Это проверка, документы поддельные», — мелькнуло в голове — так было во сне. Проводник бросил сигарету и побежал к студентам. Запыхаясь, Ангарский ворвался в купе. Двое из ларца застилали полки. К счастью, других пассажиров (читай — свидетелей) в купе не наблюдалось.

— Друзья, — задыхаясь, прохрипел Рома, — я проверял ваши билеты, помню, что они льготные. А по какому документу скидка? — на секунду подумалось. — Может, пронесет?

— Мы же показывали, — первый студент, неприятный, прыщавый, с засаленной соломенной челкой и огромным, как у Льва Толстого, носом, достал две справки об обучении в академии.

— И какую скидку дает вам эта справка?

— Никакую, — ухмыльнулся второй студент, тоже с засаленными светлыми волосами. Ангарскому на секунду показалось, что у него двоится в глазах.

— Вы купили категорию билетов, которая вам не положена. Я вправе вас высадить, — Рома старался выглядеть сурово, даже брови сдвинул. Но нарисовавшиеся в ночи чертики из табакерки, не обращая никакого внимания на проводника, продолжили застилать полки.

— Поздно, — не оборачиваясь, сказал тот, что носом походил на Толстого. — Проверять до входа нужно было. Сайт РЖД, АО «ФПК» от 27 апреля 2015 года № 515р. Во время посадки в пассажирский поезд проводник обязан...

Второй студент перебил его:

— Какая разница. Нам уже ничего не предъявишь. Высадишь — будет жалоба. А если вдруг на станции сядет ревизор...

— Тогда, — подхватил «Лев Толстой», — сначала ты уволен, потом старший проводник уволен, начальник поезда — может быть, и обойдется, а впрочем...

— А впрочем, тоже уволен! — обернулся второй и скорчил Ангарскому рожу.

Ночной кошмар претворился в жизнь. А ведь это была даже не Ромина смена. Мелькнула мысль: «Трус Веня, увидев этих двоих, сразу узнал их и почуял неладное. Я ему про сон свой рассказывал. Веня решил сбежать, хитрец! Бросил меня на амбразуру. Думает, на меня всех собак повесить можно!»

— Да, кстати, этому в академии учат, — все еще не оборачиваясь, сказал «Лев Толстой». — Заниматься лучше нужно было.

Ангарский замер. Стало страшно оттого, что, во-первых, он попал в неприятность, во-вторых, оттого, что повторяющийся сон оказался вещим. Это проверка? Надо было срочно посоветоваться с кем-то опытным. Ангарский захлопнул дверь в купе и побежал в соседние вагоны.

Растерянный, с мешком белья в руках, его встретил проводник Алексей, застывший с открытым ртом, как трагическая театральная маска.

— Я уволен, — сказал он, и слова, произнесенные низким, дрогнувшим голосом тоже дрогнули и упали на пол вслед за мешком.

Ангарский, не вникая и не оглядываясь, пошел дальше. В тамбуре, как из-под земли, нарисовался Веня. Он заикался:

— А-а-ангарский, м-м-мне страшно! — Рома повторно оттолкнул его (хотелось и вовсе — впечатать в стену). Шаг в следующий вагон. Рома решил добраться до начальника поезда. У него могли быть ответы.

В третьем вагоне в распахнутом настежь служебном купе у электрического щита лежал вусмерть пьяный поездной электромеханик с недопитой бутылкой водки той же марки, что у Ангарского. Сказать электромеханик ничего не мог и только тянул навстречу Роме губы буквой «ю».

Мимо. Прыжок через две двери. Увязался старший проводник с пустым подносом, пытаясь этот поднос всучить: «Ангарский, чайную продукцию не распродали!» Рома шел, не реагируя. Отсветы луны пробивались через мутные окна и ряды полок, падали на череду неосвещенных плацкартных вагонов, как светлые полосы на амурского тигра. Ангарский почти бежал. Старший проводник схватил его за локоть: «Ангарский, поезд пустой. Надо дораспродать чайку». Рома сбросил с себя руку докучливого коллеги, металлический поднос с лязгом полетел на пол. Втиратель чайной продукции оказался обезоруженным, потому отстал.

Не замедляя шаг, Ангарский вынул из кармана телефон. «Инструктор производственного обучения» — значилось в телефонной книге. Несмотря на то, что на дворе стояла глубокая ночь, инструктор поднял трубку.

— Игорь Алексеевич, здравствуйте, хочу проконсультироваться! — пробубнил Ангарский. — Произошла такая ситуация... — Игорь Алексеевич, поняв, зачем его разбудили, матюгнулся в трубку и ответил кратко: «Угораздило же тебя на железную дорогу устроиться!» — короткие гудки. Ангарскому были знакомы эти слова, их Роме через тетку передала мать, все еще обижавшаяся на сына. По сей день Анна Семеновна была глубоко потрясена отъездом сына и отказом дальше учиться.

«Игорь Алексеевич, и вы туда же», — с сожалением подумал Ангарский, уже подходя к штабному вагону. Начальник поезда пил чай с полумесяцем лимона из серебряного подстаканника. Мягкие черты, хаотично заштрихованные рыжей щетиной, обратились к проводнику.

Рома изрядно запыхался. Слов по дороге он не подобрал.

— Знали бы вы, как сейчас мне нужны, — переводя дыхание, Ангарский оперся о металлическую раму. — Которую ночь одно и то же! Те двое из Саратовской академии, справка...

Начальник поезда нахмурился и строго взглянул на проводника:

— Зачем инструктору сказал? Ты знаешь, каковы наши, иркутские, на этот счет?

— Уже доложили, — екнуло под ребрами.

— Молодой человек, — вздохнул начальник и постучал пальцами по стакану. — Угораздило же тебя на железную дорогу устроиться. А если на станции ревизор сядет?

В голове пульсировало и гудело. То и дело на разный манер из калейдоскопа сознания вылетали обрывки фраз: «Уволен, уволен...», «Угораздило же тебя на железную дорогу устроиться!», «Сигареткой угостить?» и в довершение какофонии — назойливое «Чайную продукцию не распродали».

Ангарский выругался про себя и несолоно хлебавши побрел назад, на рабочее место. Неужели он, Рома, правда ошибся? Причем ошибся невозвратно, с последствиями. Поспешил? Или хуже того — на самом деле никуда не годился? Не соответствовал высоким стандартам своей мечты — работе на железной дороге? Был недостоин самой железной дороги — этой Прекрасной Дамы, заслуживающей исключительно прекло-

нения и чуткости, готовности выполнять любые капризы, которые готовит не сама она, но каждая новая станция? Что дальше, увольнение? Позор?

Погруженный в свои мысли, Ангарский вернулся в купе отдыха, как в замыленный кадр кинофильма, и упал на полку. Он даже не заметил, что тут же, в двухместке, над ним стоял Веня, весь белый от лунного света, ждал Ангарского, подобно каменному гостю.

Поезд тряхнуло, Рома проснулся. Снова.

— Ангарский! — стоя над душой, вопил Веня.

— Что случилось? — Ангарский соскочил с полки. — Ревизор сел? — Веня молчал и только медленно покрывался мелким потом. — Ну, не молчи.

— Женщину... переехали.

— Слава богу! — выдохнул Ангарский. — Царство ей небесное.

— Ангарский, мне страшно.

— Чего ты, Веня. Она же мертвая — не обидит. Пошли, — он потрепал напарника по плечу и направился к тамбуру. Страшные слова в голове утихли. Их гул оказался просто-напросто очередным кошмаром. Ему на смену пришла пусть и неприятная, но вполне ординарная рабочая ситуация.

— Ангарский, — снова позвал Веня из-за спины.

— Чего тебе?

— Ты же говорил, что хотел женщину, да?

— Веня, что ты мелешь? Не хотел я никакую женщину. Та, которую хотел бы, не приедет. Я люблю одну, далекую и недоступную. Где Япония на карте, знаешь?

— Знаю.

— Слава богу. Вот я люблю женщину, далекую и недоступную, как Япония. А сейчас, в рейсе, у меня другая женщина — железная дорога. Эта Прекрасная Дама — вся наша страна, по которой мы с тобой колесим. К счастью, ее пока не раздавили колесами. Хотя пытаются, — педагогически добавил он.

Вышли в тамбур, со ступеньки спрыгнули вниз на морозную щебенку. Ночь была холодной и светлой, как во сне. Фантазия Ангарского не ошиблась. Состав стоял пустой, как скелет. Луна освещала его тощие ребра, на которые была натянута холодная кожа металла. Все вокруг говорило о крушении. Облака ходили по ночному темно-синему платку в свои небесные рейсы, то сцепляясь друг с другом, то друг с другом сталкиваясь. Аварийные деревья стояли оборванные, истерзанные, косились, были готовы устроить лесоповал. Какие-то из них еще летом высохли, сгорели, и теперь их непогребенные, неупокоенные тела появлялись то тут, то там, иные лежали недалеко от железнодорожного полотна. Выбитые зубы звезд сверкали обломанными краями.

— А страна у нас плохая, бесправная, — продолжал сетовать Веня, пока шли вдоль поезда к головному вагону.

— Ты чего это удумал? Почему бесправная?

— Человек в ней маленький. Кто он против этой стальной машины? Вот, к примеру, женщина. Мертвая. Живешь, никого не трогаешь, идешь своим путем, а машина раз — и въезжает в тебя на полном ходу, скручивает в бараний рог и несется дальше, не останавливается. Как наш поезд.

— Поэтому не надо ходить по путям. Поезд наш остановился. И при чем здесь страна? Что, в Гондурасе женщина под поезд не может броситься?

— Ангарский, тебе легко говорить, — ныл Веня. — А если бы там, под колесами, была твоя бабушка? Ведь не знаешь наверняка, когда умрешь...

— Моя бабушка, Веня, и без того давно покойница. Но ты определенно в чем-то прав. Железная дорога сейчас коммерческая. Целью является что? Правильно — из-

влечение выгоды. Нас с нулевых годов пытаются поставить в одну линейку с Европой, это чувствуется. Наши принципы: клиент всегда прав, пассажир всегда прав... — Ангарский нацепил на себя обыкновенную маску эксперта и наставника. — А без прав, Веня, кто остается? Кто без прав? Правильно, мы, обслуживающий персонал. Мы вынуждены выслушивать все прихоти пассажиров, сальных студентов, толкать им чайную продукцию. Некоторые прихоти не просто выслушивать, а исполнять. Беседовать на равных с умалишенными. «Обесточьте весь вагон!» — лезет ко мне как-то в дежурку баба: спать ей электричество мешает. Причем раз повторяет, другой, третий... Так и вдарил бы, если бы не этика. Но права этих безумцев, видите ли, защищают. А нас, Веня, кто защитит? Раньше проводник в вагоне был хозяином... Это когда еще Министерство путей сообщения существовало... А теперь у нас везде сделка чиновника с торгашом. Но я верю, что не всему этому сброду служу, не людям, нет. Людей, как ты мог заметить, не очень люблю. Я хочу верить, что служу ее величеству — железной дороге! В то время как страна наша — это больше не птица-тройка, Веня, а разоренный нами же самими советский вагон большого сборного состава, который едет в ночи, пока есть рельсы, бог знает куда... В ремонтное депо, наверное. Хотя хотелось бы к звездам, к свету, — Ангарский поднял голову, но уже понабежали тучи — окровавленное небо спрятало зубки звезд под свою хитрую улыбку.

Уже дошли до головного вагона, уже его обогнули, а тела все не было.

— И где твоя женщина? — очнувшись от нахлынувшего наплыва романтики, спросил Ангарский.

— Так я ее к нам в купе положил, в двухместку.

Ангарский замер.

— Что? — переспросил он.

— Ну в купе отдыха отволок, на кровать.

— Веня, это какая-то дурацкая шутка? Если нет, то, прости меня, ты ненормальный, — Ангарский, сердясь, быстрыми шагами пошел назад и обнаружил, что за то время, пока напарники бродили вдоль состава, кто-то изнутри запер двери. К счастью, поезд не трогался.

— И что теперь делать предложишь? — Ангарский сердился. — Стучаться? Ради чего мы выкатились сюда? Кто двери закрыл? Начальник? Почему ты, истукан, сразу не сказал, что женщина твоя внутри?

— Может, через пятый вагон? — проблеял Веня. — Там дверь не закрывается, помнишь? Мы ее швабрами накрест баррикадируем, чтобы пассажир не выпал.

— Первая умная мысль за сегодня, — буркнул Ангарский.

Получилось. Дошли до неработающей двери, скинули швабры, попали к себе. Рома вдруг что-то понял. Ему показалось необходимым увидеть лицо покойницы. Он догадывался, кого переехали. В голове ухало. Трясущимися руками проводник зажег фонарь, наклонился и в ужасе закричал. На Вениной полке лежала покойница бабушка...

От вопля, от мучивших ночных кошмаров проводник Ангарский проснулся в третий раз, теперь — окончательно. Голова болела, виски пульсировали, каждое движение казалось невыносимым, давалось с трудом.

Утро разошлось во всю силу. Подъезжали к Красноярску.

— Ангарский! Проснулся? — в купе зашел Веня. — Это хорошо, сейчас твоя смена. Чайную продукцию опять не распродали, — Рома послал напарника к черту.

Замыленное зимнее солнце проступало сквозь мутные, исцарапанные стекла вагона, как лимонные дольки через потертые стаканы с чаем, которые разносил Веня. При мысли о лимоне Ангарского чуть не стошнило, но сведенные скулы помогли

удержать равновесие желудка. Вспомнилось стихотворение, которое Медяк посвятил ему, Ангарскому:

На станциях встречали и сажали,
В вагоне-ресторане пили чай
Сквозь ложечки, сквозь мухинские грани
Шагали лиственницы, искажая
Рассеянный свет лампы Ильича.

«Какие еще лиственницы!» — с раздражением вслух выругался Ангарский. Куцые, присыпанные какой-то трухой (то ли снегом, то ли пылью) кусты за окном напоминали обсосанные скелеты каких-нибудь желтых полосатиков. Если встречался куст побольше — воблы. Тут же вспомнились строчки Блока, которые Медяк всегда декламировал сразу же после своих:

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали желтые и синие;
В зеленых плакали и пели.

«Старье, — выругался Ангарский. — Сто лет как неактуально», — на железной дороге давным-давно использовались другие типы вагонов: купейный, плацкартный, СВ. Но из головы слова Блока никак не выветривались, крутились виниловой пластинкой, на которой заела иголка, — навязчиво, как в горячечном бреду. Стихи звучали то голосом Медяка, то внутренним голосом Ромы, то, наконец, голосом начальника поезда, искаженным лязгом громкой связи. Вслед за стихами собственный голос резюмировал: «Угораздило же тебя на железную дорогу устроиться!»

В двухместку ворвался радостный Алексей.

— Общий сбор всем свободным проводникам. Мне пришел аванс. Деньжищи! Я бы сказал: безлимит, как в рекламе! Кто на станции купит пива?

— Тебе, что ли? — зыркнул Ангарский.

— Всем! Когда вечером вагон уснет, будем гудеть. Я угощаю. У меня без-ли-мит.

— Схожу, — ответил Ангарский, как проклял, слезая с полки. — Сколько можно тратить?

— Без-ли-мит! — повторил Алексей и, торжествуя, вручил банковскую карту.

Когда поезд остановился, Рома прямо с платформы в форменном галстуке, в туфлях на каблуке, не теряя ни минуты, танцуя по голому льду, побежал в известный ему магазин «Пятерочка» неподалеку от станции. У него было полчаса. Надо успеть. В «Пятерочке» проводник набил две корзины полуторалитровыми пластиковыми бутылями, похожими на игрушечные бомбы, мусорным пластиком которых коллеги ночью забросают собственный поезд. По деньгам вышло немного. Меньше трех тысяч. «Клац» — приложил карту Алексея к терминалу, быстро сунул обратно в карман, схватил пакеты, побежал назад. Кассирша с каменным лицом, осуждающе фыркнув, окрикнула: «Молодой человек, куда? Недостаточно средств».

— Безлимит, блин! — выругался Ангарский и расплатился собственной картой. Хорошо, что была всегда при нем. В вопросах утренних болезней ни на кого рассчитывать нельзя. Так и опохмеление сорвется.

Вернувшись в свое купе, Ангарский спрятал сумки под полку и с презрением вернул Алексею нищую карту.

— Безлимит, блин! — повторил он вслух.

— Не хватило? Как так? — засуетился Алексей. — Не может быть. Подожди, сколько там в чеке было? Я все верну, у меня же твой номер есть. А какой банк?

— Иди ты! У меня пересмена, — Ангарский вытолкал докучливого коллегу из двухместки, закрыл дверь, достал пиво, из технического ящика остатки колбасы и только собрался приступить к трапезе, как в купе снова пришел Веня, готовый сдавать вагон. Ангарский встретил его лицом, выражавшим желание перевешать всех коллег на ближайших столбах линии электропередач.

— Ой, вы пьете? Я не буду, — пролепетал Веня.

— Веня, кто мы? Я один. Оставь меня в покое, буду через пять минут, — Ангарский вытолкал и Веню.

— Пить он не будет. Ничего, и без того помрет, — ворчал Ангарский, — такие долго не живут.

Рома выдохнул — наступило принятие жизни, судьбы и рабочего долга. Он закусил, почистил зубы, позвал Веню и заступил на смену.

В купейном вагоне ехала группа китайцев — очевидно, туристов, одна или две семьи узбеков и другие неприметные путники, не предвещающие беды. Больше всего беспокоили иностранные гости. Один китаец уже вышел курить в тамбур. Ангарский остановил его и сказал, что курение запрещено. Китаец заговорил на своем, долго и эмоционально, пытаясь что-то объяснить или рассказать. Может быть, хотел просто поболтать. Ангарский постучал по белой табличке с перечеркнутой сигаретой и вернулся в вагон.

Туалет заняли узбеки. Выстроилась очередь. Мальчик по имени Абдулла (так услышал Ангарский) одиннадцати лет выбежал из купе, чтобы сообщить недовольным пассажирам в очереди, что его сестра Хадиша писает. Он даже подскочил к туалету, стал барабанить в дверь и на своем наречии уточнил у Хадиши, так ли обстоят дела, все ли верно он сообщил достопочтенной публике. Хадиша, видимо, слова Абдуллы подтвердила, потому что тот стал бегать по вагону, крича: «Хадиша писает! Хадиша писает!», и трясти мать, стоявшую следующей в очереди с зубной щеткой. Поезд качнуло. Мать с Абдуллой поспешили на помощь девочке. Предстояло застирать штаны, переодеть Хадишу, почистить зубы и еще какие-то дела сделать. Абдулла бегал из туалета в купе, таская вещи. Он то ли ошибался, то ли матери тоже нужно было переодеться: она кричала что-то вслед Абдулле, а тот бегал туда-сюда не единожды.

Не дождавшиеся очереди китайцы пошли скопом мочиться в тамбур. Ангарский побагровел от злости. Более того, в тамбуре он встретил уже знакомого ему пассажира, пренебрегшего предупреждением и пытавшегося курить, одновременно расстегивая брюки. Проводник громко закричал, бранясь последними словами. Гости значения слов не знали, но об общем посыле догадывались. Рома бил пассажиров по рукам, чтобы те даже думать не смели использовать тамбур не по назначению. У знакомого китайца проводник выхватил сигарету, разломал ее и бросил на пол, на всякий случай еще раз крепко выразившись. Понурые китайцы вернулись в очередь.

В остальном доехали спокойно. Утром уже подъезжали к Иркутску. Во время уборки вагона Веня совершенно внезапно изъявил желание идти к Ангарскому в гости.

«Ты тут совсем близко живешь, рядом с резервом, — пояснил он с тоской, — а мне до дома далеко». Логики Рома не понял, она отсутствовала. За несколько лет коллега не направлял лыж в сторону холостяцкой обители угрюмого напарника, а тут — нате. Но в приеме не отказал. Непьющий Веня был паршивой компанией для совместного досуга, но скрасить одиночество можно было и с ним. Ангарский после ночных раз-

мышлений задумал что-нибудь написать о своей жизни. О молодости, о работе. Роман. Самый настоящий роман. Не чтиво бульварное («Сам ты чтиво, Гриша Медяк!»). Вениамин Томи представлялся колоритнейшей фигурой будущего произведения.

— Только учти, — буркнул Ангарский, — я буду пить водку и закусывать тараканами. Меня китайцы научили, — он знал: Веня все примет за чистую монету. Напарник испугался, но покивал. Ангарский зашел в соседний вагон и, когда Алексей отлучился, забрал комплект белья, чтобы дома постелить Вене. За недостачу белья проводникам полагались штрафы. «Ничего, — подумал Ангарский, — у тебя, Леша, без-ли-мит».

Когда переоделись в штатское и вышли из депо, Веня сник еще сильнее и сказал:

— Ангарский, купи водочки, разговор есть.

— Ты тоже, что ли, будешь? — Рома округлил зенки. — Да ну!

— Не буду, а ты возьми. Очень надо поговорить.

Через полчаса были у Ангарского с водкой, батоном и колбасой. На обед Рома взял «бульмени». По кухне, несмотря на прямые лучи дневного солнца, сновали тараканы, по виду и по запаху похожие на гнилые зубчики чеснока. Ангарский шикнул на них (не помогло), поставил пельмени и стал протирать стол.

— Чем ни трави — все без толку, — посетовал он, — плодятся. Но это не мои — соседские. По общему стояку бегают вверх-вниз.

В квартире, которую снимал Рома, прежде жила одинокая пенсионерка. Об этом не говорили — кричали — некоторые изыски сделанного ей ремонта. Так, один кухонный шкаф был повешен «вниз головой», ручка смотрела вверх, а дверца открывалась справа налево. Над столешницей под этим же чудо-шкафом в стену была намертво вмонтирована никогда не работавшая лампа (к ней даже не вели провода, поэтому Ангарский не понимал, как и к чему ее вообще можно подключить). Вентиляция над плитой уходила в никуда, не соединяясь с общей шахтой. Впрочем, последнее обстоятельство квартиранта не беспокоило: готовить не умел. Стулья, гарнитур — светлые, почти что белые, отчего бросался в глаза любой мусор, упавший со стола: пищевая крошка, чаинка, волос с головы лысеющего Вени. Это уже беспокоило. И, конечно, тараканы. Они превращали кухню из белой в пятнистую — в эдакого леопарда с подвижными пятнышками. Тараканы сновали, большие и малые, мягкие и твердые, черные и коричневые. Сновали везде. Не забегали только в угол, где Веня, придя, разбросал размотанные портянки.

Ангарский поставил гостю готовые пельмени, сел, выпил, крякнул и закусил.

— Был у меня, Веня, друг Гриша Медяк, — с первой стопки Рома ударился в лиризм. — Точнее, почему был? Есть. Просто далеко сейчас. Мы с ним когда-то гуляли по Петербургу вместе. Сверху висели звезды. Мутные, кривые звезды. Он тогда прочитал мне стишок. Фета, кажется. «Я звезды люблю» — была строчка. Представляешь, звезды и этот стишок мне вчера ночью приснились. И ты в этом сне был. Но это неважно. Я про Гришу. Он по-прежнему там, в Петербурге. Пишет что-то, гуляет с богемными алкоголиками, в театр с девицами ходит, пьесы, говорит, с точки зрения содержания изучает, важный весь из себя. А я снял тут комнату, живу с тараканами, пропадаю неделями в рейсах... И только эти чертовы звезды над головой все те же. Наши общие с Гришей звезды. Я вот думаю: помрем мы с ним, а они будут висеть наверху, бессмертные. Как мои кухонные тараканы, будут так же расползаться по обоям неба, светиться. Или светлячки... как хочешь, так и называй, но с теми же шестью лапками. — Ангарский посмотрел на Веню, тот не слушал, Рома выпил еще. — Я после этой ситуации подумал и решил тоже что-то написать, но не как Медяк — он в своей литературной организации халтурой занимается, а что-то по-настоящему стоящее, про

жизнь, про себя. Гриша говорил, что у меня способность есть, к этому, как его... словотворчеству. Мыслями своими поделюсь. Мне даже денег не надо. В смысле надо, но на ноутбук, самый простой, чтобы на нем писать. А за книгу — не надо. Пусть Гриша за сценарии свои деньги получает. А я буду работать для души. За идею, как Дрючин. Бесплатно, — Ангарский снова перевел взгляд на Веню, у которого глаза были на мокром месте и смотрели в стол.

— А, ты о своем хотел поговорить, — сообразил Ангарский. — Что-то стряслось?

— Стряслось, — промямлил Веня и неожиданно заплакал прямо над «бульменями». — Я в долги влез.

— Это ты как умудрился? — Рома на всякий случай в третий раз выпил.

— Да вот, Ангарский, позвонили мне гадалки. Сказали: порча на мне. Оттого я весь некрасивый, нескладный и дела у меня плохо идут — так сказали. Я стал искать других гадалок, чтобы они порчу сняли, потому что дела шли правда неважно. Гадалки согласились помочь за небольшую сумму, я пришел в банк, деньги им перевел. И представляешь, деньги они украли, на телефон не отвечали. А порча-то осталась. Я тогда позвонил первым гадалкам, спросил, можно ли что-то сделать — первые тоже обещали помочь и выудили у меня сумму еще больше, — Веня хныкал. — Я тогда у мамы с папой занял. Не стал вестись второй раз: деньги через банк отправлять. Узнал адрес, пришел к гадалкам в квартиру, деньги в руки отдал, они обряд свой провели, сказали, что все хорошо, что женщина у меня даже будет. Я радостный вернулся домой, — Веня, как собака за обеденным столом что-то внутри себя проглотил и продолжил: — Тут мне на телефон стали приходить СМС, что я, когда в банке был, кредит взял, что у меня задолженность, что я должен взять новый кредит, чтобы закрыть им старый. Я взял, но это не помогло. Теперь у меня два кредита. Это я потом понял, что те гадалки, которым я деньги в банке перевел, заодно с мошенниками работали, а мошенники — с банком. Деньги у меня вымогали, — Веня плакал навзрыд, как девчонка. Ангарский хоть людей и не любил, а Веню стало жалко.

«Дурак, — подумал. — Пропадет», — даже не то чтобы самого Веню было жалко — было жалко, что такие люди в принципе по земле ходят и все беды у них от самих себя, от своей скорбной головы. Еще хотелось, чтобы напарник скорее прекратил рыдать. Это даже как-то неприлично. Женские-то слезы Ангарский переносил с трудом, они его раздражали — что уж говорить о мужских.

— Скажу больше, Веня, — Рома наколол пельмень на вилку, — мошенники — все. Гадалки, к которым ты ходил, тоже мошенники.

— Думаешь? — Веня посмотрел на проводника собачьими глазами. Так пес смотрит на хозяина.

— Уверен.

— Значит, и порча все еще со мной. Вот отчего все беды! — Веня не переставал плакать. Слезы разжижали пельменный бульон и добавляли яству ненужную соль.

— Нет же! — гаркнул Ангарский. — Нет никакой порчи. И гадалок никаких нет. Есть только мошенники, которые воспользовались тем, что ты такой, — хотелось сказать «идиот», — доверчивый и мягкотелый. Вот.

— А вдруг я правда проклят с самого рождения? — Веня, не унимаясь, распускал нюни.

— Ну хочешь, я тебе на тараканах погадаю? Слышал, есть такой вид гадания.

— А ты умеешь? — зрачки Вени расширились и наполнились детской надеждой.

— Умею, — соврал Ангарский и раздавил таракана, пробегавшего по ножке стола, потом покривлялся, сделал вид, что рассматривает. — Таракан говорит, что гадалок нет, кредит есть, — резюмировал Рома.

Веня, не притронувшись к еде, аж вскочил:

— Спасибо, Ангарский, я так рад! Я тебе обязан! Значит, дела пойдут на лад, — но внезапно снова сник. — А как долг выплатить? Где деньги взять? Меня же родители сожрут заживо, — глаза Вени снова набухли и будто грохнулись в миску «бульменей».

— Сколько? — спросил Ангарский?

— Что сколько? — Веня поднял взгляд, исполненный детского непонимания.

— Денег сколько?

— Почти сто тысяч, — Веня спрятал лицо в ладони.

— Не реви только, — Ангарский ушел в комнату — стук фанеры, — из диванного деревянного ящика достал мятый полиэтиленовый пакет. Заначка. Внутри стопка наличности на черный день, который как раз наступил у нерадивого коллеги. — Тут ровно сто, — Рома вернулся на кухню. — Это мои сбережения. Вверяю тебе. Разберешься с долгом, родителям вернешь, потом как-нибудь и мне отдашь. Только закрой кредит первым делом, чтобы проценты не капали, горе ты луковое. Вообще, вместе пойдем, чтобы ты опять дел не натворил. И больше никаких гадалок, слышишь? Я у тебя — последняя гадалка.

— Ангарский, правда? — Веня испуганно посмотрел на товарища и робко принял пакетик. Он что-то обдумывал, нервничал и ковырял то собственные пальцы, то сальный полиэтилен.

— Правда.

— Нет, я не могу, — Веня вдруг выронил деньги на пол. — Это твои, не мои. Так нельзя.

— Твои, мои, — просипел Рома со злостью. — Чего деньгами разбрасываешься? Бери, пока дают.

— А ты не обманешь? Вдруг ты с ними заодно? Ты порчи не накладываешь? — Веня отпрянул к окну, будто собрался прыгать или звать на помощь. — Если ты связан с чернокнижием, на меня порчу не наводи, пожалуйста. Мне и так плохо, — он предпринял новую попытку наводнить глаза.

— Веня, рот тоже закрой. Сядь и ешь «бульмени».

— Ангарский, спасибо! — настроение Вени вернулось к радостно-песьему. Он снова подхватил сверток. — Но... ты же для себя копил? Почему мне отдал?

— Ты не пропьешь, — Рома ухмыльнулся. Разговор его утомил, хотелось прилечь.

— Это правда. Хотя бы это зло меня обошло стороной! — Веня навис над «бульменями» и принялся с аппетитом закидывать в себя один пельмень за другим. Жевание сопроводил новый мыслительный процесс. — Прости! Это я не про тебя, Ангарский. Ты настоящий друг, ты пей, пей, — и услужливо подлил товарищу. Рома выпил, крякнул и удалился в комнату, ленивым жестом приглашая за собой докучливого напарника.

На следующий день, закрыв Венин кредит, приняв нескончаемую лавину благодарностей и несколько отдельных комьев обещаний «положить жизнь на борьбу с мошенниками», Ангарский отправил жертву отечественной эзотерики домой. По дороге в свой микрорайон «Предместье Глазково» проводник ел себя: «Зачем это сделал? Зачем умалишенному деньги дал? У самого, что ли, лишние водятся?» Тут же всплывал ответ: потому что стыдно было перед целым миром за такого блаженного, как Веня (несмотря на то, что Бог любит блаженных). К тому же не поможешь Вене — тот только сильнее увязнет. Образовавшаяся дыра в финансах обостряла пустоту внутреннюю и дурные предчувствия: долг Веня вернет очень навряд ли — накопить не сможет, а если и вернет, то не скоро. Стало быть, нужно расстаться с мыслью о написании книги из-за этого обстоятельства. Из-за чего? Из-за порыва невиданной щедрости? Никогда! Рома повернул обратно в банк (поймал на себе косые взгля-

ды прохожих: идет парень, вжав голову в плечи, как голубь, бухтит что-то себе под нос, потом разворачивается и назад — туда, откуда пришел). Нужно было взять новый кредит на покупку ноутбука. Ангарский не говорил Вене, что сам по уши в долгах. Привыкший жить на широкую ногу (или, точнее, на среднюю руку) на родительские деньги, здесь, в Иркутске, он, как и напарник, как множество других сверстников, не умеющих распоряжаться деньгами, закрывал один мелкий кредит другим, а потом брал еще и еще. Разве что гадалкам не башлял.

После небольшой бумажной волокиты и похода в ближайший компьютерный магазин ноутбук приятно отяжелял заплечный рюкзак, а потому Ангарский срочно набрал Медяка, чтобы поделиться творческими планами.

— Начни с рассказа, — сухо ответил Гриша. — Так, с наскока, с романом не справишься.

— Мне нужен именно роман, — возмутился Ангарский. Про сюжетные линии лучший друг не спросил ни слова, зато, как настоящий сноб, прицепился к форме. — Я все коллизии в рейсе продумал. Помимо реальности будет художественный вымысел: будут скитания по промышленным районам Екатеринбурга, будут ночевки на улицах, криминал и война двух банд. Закончится все тем, что главного героя убьют, а девушка, которую он любил, горько заплачет над ним и пожалеет, что была неверна. Все это отразить рассказа не хватит.

— Не справишься, — отрезал Медяк. — Навыка нет. Начни с малой формы.

— Это у тебя хорошую литературу писать навыка нет, а я справлюсь, — Ангарский зло повесил трубку.

Все свободное время в следующем рейсе Улан-Удэ—Северобайкальск (проводники именовали его «каруселью», потому что дважды приходилось проезжать Иркутск) Ангарский сидел за ноутбуком. Книгу, вернее, роман кровь из носа нужно было написать хорошо, художественно, не хуже пьесок Медяка. Поэтому эпизод с рождением главного героя в городе Ангарске, занимающий полстраницы, проводник переписывал раз двадцать. Сидел над каждым предложением, правил, хотел, чтобы получился минимум Гоголь. Рома решил: пока не получится — сюжет дальше не сдвинется. Сюжет действительно не двигался. «Зима. Метель. Роддом в черте города. За сухим снегом один только хриплый кашель прохожего да вой сирены подъезжающей „скорой“». «Нет, если „один только“, то без кашля, иначе выходит, что уже не один вовсе». Творческий процесс прерывала то стопочка, то любование богатым деревом сюжета, то обдумывание отдельных мелких ответвлений. В творческое воображение Ангарского, ломая четвертую стену (а с ней и все остальные, кто знает, сколько их там, стен, в человеческом сознании), врывалась Маша. Не та, из ненаписанной книги, которая, конечно, в числе главных героев будет фигурировать, а самая настоящая, живая, Маша со штормовым Японским морем в карих глазах и ночной Ангарой в волосах. Маша, о которой Ангарский ничего не знал и ничего не слышал с момента переезда в Иркутск, но о которой все время думал. После ночных переживаний — особенно остро. Прежде Роме удавалось прогнать призрак прошлого: отмахнуться, наворчать на самого себя, расчувствовавшегося, буркнуть: «Ерунда это все», отвлечь себя флиртом с другими проводницами или приключением на одну ночь с пассажиркой, что разбежалась с мужем и от счастья выкупила целое купе по пути на летний Байкал. Теперь же Маша — так чувствовалось — следовала за Ангарским из вагона в вагон, не давая покоя. Она была совестью проводника, мерилом нравственности и чистоты. Даже смотря на лепесточек «докторской», упавший на форменные брюки, Рома вспоминал японский «Вишневый сад»: листья из розовой бумаги, летевшие в зал и то, как они с Ма-

шей сидели в первом ряду в мягких бордовых креслах, ловили бумажки и дурашливо кидали друг в друга, не боясь смутить актеров, нарушить тонкий чеховский драматизм. Потом набирали на телефонах друг другу записки и показывали — не доставать же ручку и не писать на реквизите, в самом деле!

В какой-то момент Ангарский захлопнул крышку ноутбука, осознав, что художественных средств, чтобы изобразить обаятельно-наглую старосту, человечество еще не придумало, отхлебнул воды, укусил бутерброд и заступил на смену. В Улан-Удэ из Северобайкальска возвращались буряты-вахтовики. Когда Ангарский покинул двухместку, вагон спал. Проводник уже хотел вернуться назад, вновь потягаться со сценой в роддоме, но выяснилось, что одному вахтовику не спалось. Он заказал у Ангарского чай, а потом нарисовался с подстаканником на пороге служебного купе — того, где мойка и электрощит. Говорил вахтовик смешно, с акцентом, разбивая слова на слоги, как чукча из анекдота, разве что не добавлял «однако». Предложил Ангарскому с ним чаю выпить, «а жиз-ни па-балтать».

— Пить ча-ай, — сказал он Ангарскому, — это та-кая старая бурятская траа-диция. Если ты пла-хой человек, я не предложу тебе выпить чаю. Если мне пла-хой человек предложит выпить чаю, я ему скажу: «Па-шел к черту». Я бы тва-ему напарнику чай не предложил — пла-хой он человек, а ты, я вижу, ха-роший, вот и пред-лага-аю.

— Кто плохой? Веня? — Ангарский повел бровью. — Ошибаешься, друг. Этот малый мухи не обидит. Зови. Пусть с нами постоит, передохнет.

— Га-варю тебе: пла-хой, — замотал головой пассажир. — На-сквозь вижу, — от бурята изрядно пахло спиртом, будто бы он вовсе не чай пил. — Я в та-аких вещах не а-шибаюсь.

«Еще один прорицатель. Чингисхан хренов, — подумал Ангарский. — Напился и ворожит. Немудрено, что у царя Николая ничего с КВЖД не вышло — дикие нравы на Востоке!»

Рома стукнул дверью и вернулся в служебное купе (напарник уже укладывался спать).

«Дорога, какая же ты красивая. Страна моя, птица-вагонная пара, распластала холодное крыло. Но пассажиры, но служба... Любимая женщина — служба на железной дороге, разве она красива? И сам ты, проводник Ангарский, не пьяный ли Блок на службе у распутницы (так Медяк о „Незнакомке“ рассказывал)? Может быть, не заслужила она, Прекрасная Железная Дама, прений, высоких порывов?»

Проводник опять провалился в рефлексию. Стоит ли жизнь настоящего? Бесконечных вахтовиков и прочей саранчи, гнуса? Ночных кошмаров, перерезанных женщин, работы с Веней? «Нет», — ответил он себе, положа руку на сердце. Ангарский любил просторы, динамичный, постоянно сменяющийся диафильм пейзажей за окном, любил бескрайние перегоны, землю, которую топтал ногами или колесами. А вот работу... Все бы ничего, но люди в ней были лишние. Едва ли они стоили прошлого, чистого, как Машины слезы от обиды. Разве поездная действительность стоила того времени, где еще обитала девочка-староста, чуть-чуть раскосая, смешливая, такая неблизкая и неласковая, с бутафорской веткой сакуры в прическе. Мысли Ангарского зашли на круг. Но Маша появилась еще раз, когда проводник задремал. Не в кошмаре — в примирительном сне, вся хрупкая, как японский фарфор из детства, из застекленного маминого стеллажа. Она почему-то звала Ангарского домой. К себе ли, к нему ли — неважно. Домой!

Проводник проснулся и понял: по окончании рейса он берет отпуск и едет в Петербург, как бы ни было страшно возвращаться. Увольняться, переезжать назад, конечно, не будет, но каких бы Цусим ему это ни стоило (хоть новой русско-японской), он най-

дет Машу, свою прекрасную Машу, вырвет из рук варвара, владеющего ей не по праву, уговорит и перевезет сюда, в Иркутск, поближе к реке, которую так искусно дублировали волосы старосты.

«А моему роману это только на пользу пойдет, может, и художественные средства обнаружатся», — поставил точку в размышлениях Ангарский.

— Средства? Долг? — заворочался Веня.

— Долг платежом красен. Спи.

* * *

— Дружок, наконец-то. Я уж думал, ты отпуск свой совсем отгуливать не собираешься. Девяносто с лишним дней накопилось. Хотел предложить в деньги перевести, — сказал Ангарскому коллега из канцелярии. — Все подписываю — езжай с миром.

Железнодорожникам по удостоверению предоставлялось право бесплатных поездок в любом плацкартном вагоне. Заветная книжечка всегда была у Ангарского с собой, под сердцем, так сказать, вместе с документами и кошельком, так, чтобы потерять не было никакой возможности. Если Ангарский спал в форме, старался ложиться именно на этот бок — вдруг Алексей решит свистнуть. В дороге с незнакомыми людьми — тем более. Впрочем, это была первая вылазка дальнего следования у проводника.

Поезд шел до Екатеринбурга, где ожидалась пересадка. В первые же часы пути Ангарский задремал. Ему снова приснилась Маша. Она сидела на бордовом узорчатом ковре прямо посередине комнаты в квартире Московского района и плакала. У нее были ссадина на щеке и синяки на запястьях после совместной потасовки. Слезы крупным градом падали на ковер и растворялись среди красных нитей, оставляя темные, почти винные пятна. Потом по законам сна ковер исчез, и слезинки, как хрустальные шары с детской елки, посыпались на паркет. Шары падали и разбивались на множество крупных и мелких осколков. А Маша сидела среди разбитых стекляшек и смотрела исступленно в пол, разве что слово «вечность» собирала. Ангарский, с синяком на скуле, с проплешиной на затылке, сел рядом с Машей, приобнял ее и гладил по спине: «Ничего, Машенька, это всего лишь сон, поверь, страшный сон. Сейчас мы проснемся, и все будет, как раньше, надо в это только поверить». Хотя уже там, во сне, Ангарский сам не верил в сказанное: пьяная драка, навек разлаженные отношения с Машей — это далеко не сон, и как бы ни хотелось собрать воедино разбитые хрустальные шары упавших слез, как бы ни хотелось эту кассету памяти перемотать назад карандашом, как бы ни хотелось проснуться во вчерашнем дне от нервного озноба, от дрожи, начинавшейся со спины, но колотившей всего Ангарского, склонившегося над Машей, он уже понимал: кассета назад не крутится — только вперед.

— Ангарский, вот ты где! Ради бога, прости, что разбудил, — нервно промямлил голос. Ангарский тут же разбудился и пауком (как в школе на уроках физкультуры) попятился назад, в стену, хватаясь за документы. Перед ним стоял Веня с пакетом в руках.

«Принесла нелегкая», — Рома похлопал себя по рукам и по щекам, чтобы убедиться, что не спит, что это не очередной ночной кошмар. Он не спал. Веня правда был здесь, воочию, в поезде Иркутск—Екатеринбург:

— Я как узнал, что ты едешь, тоже на этот рейс записался. Подарок тебе принес, вот, — он протянул пакет «Пятерочки». В пакете звенело.

— Что это? — Ангарский недоверчиво взял подарок и взвесил.

— Спасибо тебе, деньгами выручил. Очень помог. Это водка... та, что ты любишь — «Царская».

— Веня, с чего ты взял, что люблю? Какой человек в здравом уме любит водку? Это только если с горя...

— Но ты же всегда берешь «Царскую». После нашего последнего рейса такая в нашей двухместке осталась. Я для тебя сохранил. Ты когда ее выпьешь, рассматриваешь этикетку и рассказываешь мне, что ты на самом деле — царь Романов и ходишь, пальцами по воронам стреляешь.

— Веня, позор какой, замолчи, — Ангарский аж зарделся, — люди вокруг!

— Я буквально на минуту, — сказал, как прожевал, Веня и засуетился. — Я в другом вагоне работаю. Ты прав, пойду, вдруг хватятся. Спасибо тебе еще раз! — Веня улыбнулся половиной рта и ушел.

«Слава богу, в другом», — Ангарский даже перекрестился, но за водку осторожно принялся — достал из дорожной сумки бутерброды, и трапеза пошла.

«Надо завязывать, — подумал он, закупоривая бутылку, скрипя мягкой пробкой по гладкому горлышку, когда подъезжали к Екатеринбургу, — Маша не пьет, ей запах не понравится».

Завязать, однако, не удалось. В Петербурге первым делом после прибытия Рома заявился к Медяку без предупреждения (как в былые времена поступал его друг). После криков и дружеских лобызаний бутылку они допили, так сказать, за долгожданную встречу. Щеки «дипломата» Медяка, как полагается писателю-функционеру, к тому времени еще больше раздобрели. Их обладатель уже заработал себе на первый автомобиль: подержанный, но вполне бойкий «форд-фокус» без ржави, стоявший во дворе. Рома тут же был приглашен к окну для оценки.

— Почему заранее о визите не сообщил, я бы тебя прямо с вокзала встретил.

— Нечего было говорить, что у меня роман не выйдет. Это последствия, — Рома потрепал друга по смоляным, чуть засаленным волосам.

— Тоже мне мститель. Гроза общественного транспорта. Но молодец, что приехал. Думал, больше тебя не увижу, — Медяк удалился на кухню. Он спешно кидал на пластиковый кухонный стол, что нашлось в холодильнике: колбаску, сыр, даже пучок не успевшего пожелтеть лука. Питался Гриша, идейный холостяк, едва лучше друга. «Девицы только писать мешают, от них нервы одни», — говорил он, старательно выкладывая пятнистые колесики на тарелку (хотя, конечно, втайне Гриша мечтал, что однажды постучится в его скромную обитель эдакая Анна Григорьевна Достоевская, и ценить его как творческую единицу будет, и с текучкой поможет, и котлет нажарит). Пока же котлеты жарила мама, обыкновенно задерживавшаяся на работе. Задерживался и отец, потому что забирал супругу на машине. Рома выставил оставшиеся полбутылки, Гриша подсуетился, принес стопки. Сели.

— Ну, за тебя, — «дипломат» выпил, сощурил повлажневшие глаза, спешно заел дырочкой сыра и закашлялся. Первая плохо пошла. — Только с Машей затея бесполезная, — он фыркнул носом. — Ты ей еще в институте не сдался, почему решил, что будешь нужен теперь? К матери тебе надо, мириться. Давай к ней пойдем.

— Тьфу на нее, мы в ссоре. Она мне не мать, я ей не сын. Разъехались, у меня теперь фамилия другая. Чужие люди.

— Мог быть Капустиным по отцу, стал Голубевым по матери, теперь Ангарский сам по себе. Польские корни обнаружились? — подтрунивал друг.

— Иди ты. Не о том речь. Мать меня не простит, я ее тем более: все детство зарубила. И все, что я сейчас расхлебываю, заварено по ее милости. Знаешь, она относится к тому типу людей, которые ну... психопаты. Видео в Интернете смотрел про признаки психопатии. Семь из десяти совпадают.

— Видео-то отец прислал наверняка?

— А то!

— Ну-ну. Рома, я знаю Анну Семеновну: прекрасная женщина. Не без перегибов, конечно, но какая ни есть, она твоя мать и хотела для тебя только добра. А у отца свои корыстные интересы. Иначе, рассуди, почему он где-то там, на Земле обетованной, а ты тут в долгах как в шелках? Никакая мать твоя не психопатка. Психопаты с ножом на людей бросаются, в подворотнях и на автобусных остановках режут, а Анна Семеновна просто хотела, чтобы ты карьеру сделал и попусту себя не растратил — вот и все, — Медяк говорил это в пылу со второй стопкой наготове. Щеки «дипломата» покраснели, как у пивного рака. Ему казалось, что он делает что-то крайне важное для друга. К тому же Анна Семеновна иногда позванивала Грише, чтобы узнать, как там сын выживает, и выманить в Петербург для разговора. Первым делом содержание разговоров докладывалось Роме, тот приезжать наотрез отказывался, а теперь — и переманивать не надо — ностальгия в голову ударила — собрался за считаные недели и стоял здесь, перед Медяком, ел общую закуску — совсем как на первых курсах института.

— Короче говоря, второй тост за родных, — объявил Медяк.

— Короче говоря, за родных — да, за мать — нет, — Ангарский выпил. — Много кровушки попила. Но это в прошлом, — он сел. — А Маша, Маша... Не знаю, нужен ли я ей (хочу верить, что нужен), потому что она мне, как никто другой, нужна. Понимаешь, я поковырялся в своей жизни и нашел в ней одно светлое пятно.

— Такое уж светлое? — Медяк давился второй стопкой.

— И на солнце бывают затмения. А я бы вот сел напротив нее, поговорил бы с ней, извинился, конечно, во-первых, а во-вторых, все бы ей рассказал. Она всегда отличницей была, она поймет. Мне без нее как нашей с тобой космической системе без центральной звезды, потому что Маша... — и Рома пустился в очередной раз излагать свою голубую мечту про возвращение в чистое, прекрасное прошлое, в запятнанную молодость, ошибки которой он теперь собирался исправить. Еще он рассказал, что в Екатеринбурге во время пересадки на несколько часов выходил в город, осматривал метро и блуждал по промзоне в поисках впечатлений для будущего романа, но решил, что сначала надо подробно написать все про Машу, все сцены, связанные с ней, а антуражем заниматься после.

— Да тебе с твоим складом ума стихи писать надо, — сказал Медяк. — Но ты пиши, пиши, это полезно. А с Машей... не советую. Плохо кончится. Только нервы себе потреплешь. — Медяк открыл холодильник, поорудовал в просторном пространстве вилкой и выцепил холодную говяжью котлету.

— Родители твои когда вернутся? — Ангарский посмотрел время на телефоне.

— Скоро.

— Тогда жуй интенсивнее, и перемещаемся ко мне. Котлету можешь за щекой, как хомяк, унести.

Квартиру Ангарский снял в знакомом ему Московском районе (через два двора от Медяка. Удобно: и друг близко, и центр, и арендная плата сносная). Поболтали еще часок на новом месте, бутылку оприходовали — «дипломат» к водке был непривычен (предпочитал сладкие некрепкие наливки) — его быстро потянуло в сон. Ангарский уложил друга спать, а сам всю ночь ворочался, громоздил планы. Наутро принялся обзванивать бывших однокурсников: осведомиться о их жизни после выпуска, о Маше как следует разузнать. Если телефонного разговора окажется недостаточно — Рома планировал нагрянуть с чичиковским визитом.

Весь круг общения Ангарского в институте состоял из представителей, как он сам выражался, «низших каст» в учебном смысле: из неприкаянных (как и сам Ангарский) или оказавшихся в институте случайно и, как следствие, образование не окончивших. Никто не работал на железной дороге. Дрючин (как обычно, без экзаменов) перевелся в другой институт, улизнув в сферу информационных технологий, и днями просиживал в арендованном полутемном полуподвальном помещении, почти норе. Ерофеев никуда не перепоступил.

С отличниками и прочими карьеристами говорить было не о чем — они до сих пор где-то учились: в магистратуре, в аспирантуре, бог знает где, бог знает сколько лет. Они по-прежнему ходили на пары в первую, во вторую или третью смену и не поменяли в своей жизни ровным счетом ничего. Людьми были по-прежнему неинтересными, о Маше ничего не знали, кроме того, что их соратница по красному диплому после обретения заветной бордовой папки из института сбежала, их примеру не последовала. Рому даже пробрало чувство гордости за свою избранницу: правильно, работать пошла, практиковаться, как он. Не стала еще несколько лет тратить на байки сумасшедшего Бергмана. А этим прочим отличникам, им только в армию дальше идти — там тоже есть распорядок. Им ведь, вечным студентам, наверняка, если не скажешь, в который час нужно из дома выйти, они так дома навсегда и останутся, сами не сориентируются — их только расписанием и можно стращать.

Наконец Ангарский вышел на бывшую Машину подругу, соседку по общежитию Карину. На ту, у которой Рома некогда брал гитару. Выяснилось, что Карина, как и многие, не доучилась, устроилась на какую-то темную, полулегальную работу, попала в неприятности, заняла у Маши денег и, не вернув, исчезла. Маша оборвала с ней все связи, зато подруга знала, где Маша теперь живет. А жила бывшая староста близ метро «Площадь Восстания». Поработала на какой-то должности в поезде (точно не проводницей, Рома уточнил), сейчас, кажется, уволилась, дома сидит. Что самое отрадное, со своим «другим» по имени Саша разбежались. Ангарский повесил трубку, не поблагодарив, и решил, что лучшей возможности, чтобы действовать, чем эта, не найдется.

«Куплю цветы, подарки — напугаю, — рассуждал он вслух, бродя среди зеленых насаждений в окрестностях института, где они с Машей некогда прогуливали физкультуру. — Упаду на колени перед ней, скажу, что до сих пор люблю — не поймет, решит, что я пьян, — хотя такой порыв имелся. — Она наверняка все еще боится меня, — бубнил Ангарский. — Думает, что я тот самый психопат, который ножом людей режет, а теперь вернулся по ее душу. Решительные действия напугают», — и Ангарский, впервые в жизни хорошо подумав, взвесив все за и против, выбрал наиболее подходящий путь — доверительную беседу.

В семь вечера он уже был в потертом желтом квартале с дворами-колодцами, с невысокими домами, отмеченными деревянными рамами, с подгнивающей, просящей ремонта детской площадкой прямо возле Машиного подъезда. Чтобы случайно не попасться на глаза, проводник забрался под песочницу-гриб, где решил подготовить речь. Как ненавязчиво попасть в квартиру? Какой повод выдумать? Мысли комкались в голове, дыхание сбивалось, ладошки потели. Начинало темнеть. К песочнице пришли пролетарии с тяжелыми позвякивающими пакетами и полувежливо попросили Ангарского сменить место дислокации. Рома, хоть и знал Машину квартиру (Карина сдала), в открытую идти все же не решался. Незадачливый романтик спрятался за огороженный контейнер для мусора, покурил, разогнал ворон, отправил подоспевших цыган к другому мусорному контейнеру, авторитетно заявив, что тут металла нет (нечего копошением высокому делу мешать), а потом его сердце дрогнуло,

как лифт на рвущемся тросе, бухнулось вниз и с лязгом расшиблось о жесткий холодный пол реберной клетки: Маша с черным пакетом-майкой вышла из подъезда. Очевидно, в магазин. Рома сразу ее узнал: низкого роста, в дутом пуховике, как всегда без шапки, но в пушистых белых наушниках, сжимавших безукоризненные черные волосы, которые, несмотря на годы разлуки, оставались, казалось, точно такой же длины, как в день первой встречи. Именно эту длину с того дня Ангарский стал почитать за образец для всех девчонок (ни дециметром больше, ни сантиметром меньше). Если бы существовала какая-то математическая идеальная формула прически, она бы несомненно сводилась именно к этим волосам, а значение высчитывалось бы в Машах. «Наверное, стрижется по расписанию», — мелькнула неуместная мысль в воспаленном сознании Ангарского. Время на репетицию было безвозвратно упущено, пришлось оббежать двор с другой стороны и «случайно» нарисоваться прямо перед носом.

— Рома? — Маша подняла наушники. — Это ты! Ну ничего себе! — голос ее, как в японских анимированных фильмах, подпрыгнул резко вверх. — Ты в порядке? Слышала, у тебя проблемы какие-то, ты как из института ушел, совсем с радаров пропал.

«Слышала, — подумал Ангарский, — хоть строчку бы написала», — а вслух сказал: — Я, Маша, приехал из далекого Иркутска. Там теперь и живу, и работаю. Вращаюся, — он намеренно проговорил последний слог с просторечным «ся» (так делала его тетка), чтобы подчеркнуть удаленность от цивилизации, решительный разрыв с оной.

— Это тот, про который ты рассказывал? Там, где мост?

— Да, Маша, там, где мост, — Рома старался звучать как можно более загадочно. Как таинственный колдун, явившийся из снежной Сибири в Северную столицу, только не по воле царя, а по велению сердца.

— А чего ты по имени меня называешь? — Маша посмотрела с опаской, сразу поняла: что-то удумал.

— Помнится мне, тебя Машей зовут, поэтому так и обращаюсь. Неправильно? — Ангарский неловко засмеялся и убрал руки в карманы, диалог выходил совсем уж глупым.

— Правильно. Некомфортно просто от того, что ты Ваньку валяешь. Ладно, я в магазин. Тебе нужно что-то? Пойдешь?

— Да, пойдем поболтаем, — сдался Ангарский.

Пока шли до круглосуточного, проводник в двух словах рассказал о себе, о том, что с ним «стряслося» (потом Маша попросила не ломать комедию с дурацким «ся», и Рома послушался). Он выяснил, что Маша окончила институт, после выпуска работала оператором транспортных сетей.

«Карина, подруга ее, — дура, — подумал Ангарский, — говорила: на поезде», — а к теме все же не подходил — тянул. Надо было расположить к себе Машу. Он доверительно рассказывал всякую безделицу про Веню Томи, нес Машину черную пластиковую корзинку, помогал выбирать картофелины получше, которые будет удобнее чистить, куриные тушки пожирнее, газировку объемом побольше (пообещал дотащить), даже чек оплатил.

— Не женился там, у себя? — Маша устремила ураганные глазенки прямо в душу Ангарского, когда вышли из магазина. Рому внутренний червь так и подтачивал ответить что-то романтически пошлое вроде «Какое там, тебя все эти годы ждал», но этого яблочного змея-искусителя гнал прочь.

— Как видишь, — ответил он, накручивая хлипкие ручки пакета-майки на руку.

— Тебе нужно! Такой романтик. А меня можешь поздравить. Не хочу тебя расстраивать, но я замуж выхожу, — сердце Ангарского, думавшее, что упало до конца, на бетонный пол ребер, ошиблось: сейчас оно пробило ребра и, колотясь, полетело

ниже, до самых пяток, до асфальта, мокрого от растаявшего снега и плотно сдобренного продуктами голубиной жизнедеятельности.

— Как замуж? Ты же с Сашей рассталась, я слышал... — забухтел Ангарский. С похожими звуками во дворе неохотно заводился двигатель старой «семерки».

— А, хитрец! Ты тут как тут. Из Сибири за мной приехал, значит, — рассмеялась Маша. — Жена декабриста наоборот! Кто информировал?

— Неважно, — буркнул Ангарский.

— Действительно неважно, — Маша улыбалась и переминалась с ноги на ногу. — С Сашей мы правда расстались. Не успела вас познакомить. Дурак был, каких мало. Пять лет меня, как на привязи, держал, а толку никакого. В квартире у него — бардак, а все от бардака в голове. Еще и сам безвольный, к тому же — тюфяк. Нежный настолько, что аж противно! Нет, добродетелью меня не купишь. Ну ладно, не буду в подробности лезть, тебе это, наверное, неприятно. Короче говоря, ничего у тебя не выйдет, Рома. Я обручена с другим, мы ребеночка ждем, — и легонько похлопала себя по животу.

Потерпевший внутреннее крушение, попавший в аварию дыхательных путей (легкие выстрелили, как подушки безопасности, пережали трахею и мешали дышать), Ангарский не мог сказать ни слова. Представление, начавшееся с неожиданного появления Маши на сцене, завершилось настоящей трагедией. Пятнадцать-двадцать минут, и все: никаких надежд. Стояла теплая зима, под дутым пуховиком, если не присматриваться, было неясно, есть живот или нет (Ангарский никогда и не подумал бы туда смотреть). Теперь, когда Маша сказала, будто бы стали заметны небольшие изменения: она чуть поправилась, шла как-то странно. И то, если присмотреться. А не обманывает ли? Крупица надежды присутствовала, Машин живот выступал неявно.

— Я ничего плохого и не замышлял, — Ангарский пошел в атаку, — просто хотел узнать, как ты. Мы все-таки люди не чужие. Даже что-то было между нами, давно, сколько-то лет назад.

— Ты это так называешь? Я думаю, что ничего не было. Так — дружили. Но вспоминать приятно и смешно. Как я тебе волосы проредила! Ты еще не лысеешь?

— Да уж, — Ангарский снова неловко засмеялся. — Напарник у меня по вагону лысеет, а я нет. Отрастил, как ящерица. Но ты меня ведь обманываешь, просто не хочешь говорить со мной, наверное, вот и суженого выдумала. Живота-то нет, — на секунду Роме показалось, что он застал Машу врасплох, но лицо ее исказилось:

— Ты дурак? — гневно спросила она. — Я на первом месяце. Конечно, живота нет. Это ты себе все выдумал. «Было у нас с тобой что-то». Ну если поход в кино — это «что-то было», то да, безусловно, было. А замуж я выхожу за Женю. Как я его могла выдумать, дурачок? Живу я у кого? У меня в Петербурге адресов нет, если ты не помнишь.

— Снимаешь, — предположил поникший Ангарский.

— Не веришь? Ну, пойдем тогда с Женей знакомиться, поднимешься.

— Верю. Уволь.

Пошли молча. Ангарский донес пакет до подъезда. Маша ободрительно приобняла его и похлопала по спине:

— Не вешай нос, как там тебя теперь? Ангарский! Вот. А я Дубровкиной после замужества буду. Это так смешно! Маша Дубровкина! Почти Дубровская. А может, черт с ним — свою фамилию оставлю. Ты как думаешь?

— Свою.

— Значит, Дубровкина. Решено. Ты сам не теряйся. Не знаю, что ты там теперь задумал, но зла на тебя не держу, здорово тебя увидеть снова! Я годик пообижалась, и хватит. Зато нам с тобой есть что вспомнить! Давай поболтаем как-нибудь. Не сейчас —

сейчас Женя дома, кур готовить с ним будем. А в другой день заходи. Ты когда назад едешь?

— Сегодня, — буркнул Ангарский.

— Как жаль, я думала, надолго. Тогда пиши! Приезжай еще, — и Маша, в пуховике круглая, как рыба фугу с ядовитой сердцевиной, напевая какую-то японскую популярную песенку, запрыгала вверх по ступеням.

Ангарский простоял у подъезда еще с минуту, смотря на железную холодную дверь, как баран на новые ворота. Маша внезапно оказалась принцессой за семью замками, еще и в лапах чудовища — будущего мужа. Что-то похожее подумал бы в тот момент Рома, но думать не мог. Он на минуту стал квинтэссенцией разочарования и опустошенности, первой и единственной жертвой самообмана. Дыра «размером с Бога» теперь образовалась и в его груди — тот самый червь, засланный Машей, эту дыру прогрыз. Чувства не находили словесной оболочки, а бесформенные, невесомые мысли крутились в черепе, как маленький космонавт в гнилой игрушечной ракете на детской площадке. Через минуту где-то заныло: дыра срочно требовала заполнения. Ангарский пошел под «гриб» к пролетариям и спросил, не найдется ли у них чего-нибудь.

— Схренали? — не отрицая некоторое участие, спросил один из рабочих.

И Ангарский объяснил ситуацию. Любовная линия исповеди компанию не интересовала, а вот то, что Ангарский работал проводником, белье выдавал их брату пролетарию, чаем угощал, в общем — трудился, рабочий класс растрогало. Налили. Даже бычками в томате угостили.

Потом, когда стало совсем темно, и так раздражавшие новых знакомцев соседи перестали сновать из подъезда на улицу и обратно, а лампам фонарей оставалось выхватывать только редких собачников, проходящих по своим делам через детскую площадку, пролетарии собрались расходиться: все-таки в пять утра на смену вставать.

А дальше все пошло кубарем. Ангарский, толком не евший, не спавший ночь, решил, что ему непременно нужно продолжение. Магазины были закрыты, поэтому он ввалился в первый попавшийся бар возле метро, на стойке купил бутылку по цене отпускных и направился искать свободный столик в зале. Свободных не было, поэтому он подсел к какому-то мужчине в черном и пытался заговорить, но речь превратилась в скорый поезд, бегавший вокруг столика со скоростью триста километров в час.

— Меня тоже не понимают с моей дикцией, Ангарский, — вместо мужчины напротив вдруг, как призрак, возник Веня Томи в каком-то жутком скатавшемся черном пальто — то ли как гусеница в коконе, то ли как мертвец в саване, — все проклятая губа виновата.

— Иди к черту! — закричал проводник, — Ты же не пьешь! Зачем увязался за мной? Тебе Екатеринбурга мало?

Мужчина с заячьей губой, сидевший напротив, которого Рома принял за Веню Томи, от неожиданности вздрогнул.

— Вам плохо? — спросил он Ангарского.

— Мне лучше всех! — застонал Рома, слезы навернулись на глаза. — Не надо меня только попрекать! Если помру, Веня (слышишь?), дуб посадишь, чтобы росла дуборощa... Дубровская эта... Маша, которая не наша, — Ангарский засмеялся сквозь слезы, — чтоб звезды были сквозь ветки. Я звезды люблю! — и, забрав бутылку, Ангарский поковылял к выходу.

...Часам к пяти утра он обнаружил себя в темном сквере сидящим задом на снегу, локтями опирающимся о сиденье скамейки. Нутро крутило, Ангарского то и дело рвало, сознание гудело, как головной вагон, приближающийся к мосту. Нужно было позвонить кому-то, чтоб забрали. Медяку! Рома похлопал себя по карманам — телефо-

на не было. Смутно огорчился, хотя и не понял, что произошло. Обратился к кому-то с первой ласточкой спешащему на работу — человек прошел мимо, не повернув головы. Тогда стал звать на помощь, чтобы услышали. Подошла неравнодушная женщина, выслушала. Хотела вызвать «скорую», но Рома настоял на помощи друга. Женщина дала набрать номер. Минимум трем людям Ангарский сообщил, что он в районе «Площади Восстания» и его нужно забрать из какого-то сквера, название которого Ангарский не знал. Третьим адресатом оказался Медяк (Рома с третьей попытки набрал его номер верно. Хорошо, что еще в школе они выучили телефоны друг друга наизусть, упражняясь в гибкости ума). Ангарский поблагодарил женщину, от ее помощи отказался, стал ждать Гришу и снова отключился.

Худосочному Медяку, обнаружившему друга часа через полтора в сквере близ улицы Восстания, напротив бара «Грустный», в одиночку тело в «форд-фокус» было не загрузить. Гриша побегал по дворам, сколотил команду из согласившихся ему помочь мужиков, достал из багажника рабочие перчатки (чтобы никто руки не замарал о насквозь мокрую, непонятно в чем перепачканную одежду Ангарского), и погрузили тело в машину.

— Хватит с тебя, Рома, домой поедем, — сказал Медяк, садясь за руль.

Анна Семеновна, которой Гриша позвонил по пути, страшно испугалась за сына, была готова тотчас выезжать в центр, но Гриша сказал, что Рому ей, как курьер, доставит.

В зимней полутьме, растрепанная, в красном халате без исподнего, она выскочила из подъезда по первому звонку домофона. На плече Медяка висел Ангарский. Слабенький Гриша не мог удержать друга, а потому, увидев мать, Рома весь встрепенулся и сполз с Гришиной спины, чуть не упал — Медяк удержал его за руки, и Ангарский, подобно бесхребетному морскому существу, мягко стек вниз, опустившись коленями на асфальт.

— Что с ним, Гриша? Боже мой! — мать прижала к себе Ангарского крепко-крепко.

Рома машинально обхватил ее ноги и промычал:

— Мама? Это ты? Прости. Я больше не буду.

И Медяк с Анной Семеновной поволокли Рому наверх, в квартиру. В четыре руки загружали в ванну, в четыре руки отмывали. Организм Ангарского во время ночных приключений дал явные сбои.

— Дурак! — кричала мать, не на Рому, а так, риторически, обращаясь к третьему слушателю, к Медяку. — Совсем от рук отбился. Так ведь и помрет под забором. Сама виновата, не надо было отпускать. Думала, на свой зад сядет, цену вещам узнает, горюшка хлебнет — человеком станет, а он вон как хлебнул. Не по силам ему это. Он из детства не вырос. Каким был в шестнадцать лет, таким и остался. Жизнь сложнее, чем его фантазии, Гриша! Конечно, детская психика не выдержала. Я теперь его ни шаг не отпущу, со мной будет снова жить, как поправится.

Отмыли, вызвали «скорую». По знакомству определили Рому в Институт скорой помощи имени Джанелидзе осмотреть. В институте занимались серьезными случаями, Рома был пустяковым гостем, тем не менее авторитету Роминой мамы противиться было сложно, да и люди нашлись — промыли Ангарскому желудок, прокапали его и отпустили домой. Сказали, что в наркологическое отделение по таким вопросам надо ложиться, но Рома наотрез отказался: любая запись в медицинской карточке о нахождении в наркологическом стационаре разом перечеркнет его деятельность на железной дороге.

— А это призвание мое, мама, — говорил Ангарский, — детская мечта, с тех пор, как папа игрушечный поезд подарил, помнишь?

— Идиот твой папа, — отрезала мать, но к сыну прислушалась. Договорились на том, что он будет ходить к частному, но в то же время практикующему наркологу-психиатру на дом — то ли к подруге Роминой матери, то ли просто знакомой.

Анна Семеновна, с присущей ей излишней самоуверенностью, думала, что ее коллеги, близкое и дальнее окружение — лучший сорт людей, а остальных вовсе за людей не считала, тем более за людей компетентных. «Умные люди окружают умных людей», — говорила она, поэтому знала: сыну поможет только Оля, когда-то учившаяся с Анной Семеновной в одном классе.

Первые дни после злополучных обстоятельств Рому из материнской квартиры было не вытащить. Простуженный, он не вылезал из своей детской, где все оставалось таким же, каким было в школьные годы. Рома лежал днями напролет на полуторной кровати, смотрел на умиротворяющие обои салатного цвета с пастельными ветками сирени, на карандашный портрет над кроватью (в двенадцать лет гуляли с мамой по набережной канала Грибоедова — мама попросила уличного художника нарисовать сына, пока тот изучал карамельные с посыпкой купола Спаса на Крови и спрашивал, здесь ли царя Николая убили). Слева от компьютерного стола, напротив кровати, блестели навесные полки, окрашенные серым лаком, — на них стояли бюст царя Николая (к слову, черно-желто-белый флаг со стены мать сняла во избежание недопонимания) и детский поезд, колесящий по Бруклинскому мосту, не работавший из-за севших батареек. Игрушечный состав — и проводник Ангарский вместе с ним — застыл между станциями «прошлое» и «настоящее», без электрического толчка не в силах сдвинуться с места.

Заходил Медяк, навещал. Под впечатлениями от увиденного не для писательской организации, для себя, перевел на русский язык стихотворение какого-то француза и притащил Ангарскому, сказал: это про тебя. Стихотворение начиналось со слов:

Я просыпаюсь часто-часто:
Мне в ноздри снова бьет сирень.
Один и тот же сон — с той части,
Где ты ушла. Я сплю весь день...

А продолжения Ангарский не запомнил. Бумажку отложил, сказал, что обо всем напишет сам, когда силы будут. Сюжет задуманного романа изменился, пассия главного героя больше не плакала над телом юного романтика, а, предав его, уходила обслуживать братков в качестве ночной бабочки.

Для изучения криминальной тематики Рома включил на запылившемся компьютере «Бандитский Петербург» и, пока не досмотрел до конца, продолжал затворничать — носа на улицу не показывал, только курить на балкон выходил в синем пуховике, доставшемся от отца, и домашних тапочках. Потом стал выходить гулять с маминым мопсом Романом, которого Анна Семеновна завела, пока сын отсутствовал. Параллельно нужно было решать денежный вопрос. Телефон у Ангарского пьяной ночью украли. Деньги он той же ночью либо сам потратил, либо тоже украли (не помнил). К счастью, не украли паспорт. Ангарский вместе с мопсом Романом отправился в очередной банк и взял новый мелкий кредит, поручителем назначил Медяка (без согласия, разумеется), а сам купил телефон и обзавелся небольшими деньгами. К слову, Медяку приглянулась квартира на Московской, что Рома снял — раз уж друга удалось определить к матери. Гриша собрал вещи и в освободившуюся квартиру под шумок от родителей съехал, сказал: «Чтобы писать». Аренду взял на себя, то есть тоже Роме денег отсчитал. Когда во время вечерних прогулок Ангарский на обретенные средства снова начал покупать мерзавчики и пытаться скрыть душок от матери, по старинке обливаясь одеколоном, Анна Семеновна решила, что шоковый период окончен и сын вполне в силах ездить к Оле на лечение на набережную реки Пряжки.

Сеансы психотерапии оказались феноменально бессодержательными. Ольга Викторовна — так она представилась Роме — завела пухлый блокнот специально для нового пациента, первые недели расспрашивала его исключительно о нежном возрасте: о бытности в детсаде, в школе — уже там обнаружились первые Ромины «травмы». Ольга Викторовна, сидя напротив в мягком кресле в пушистых домашних тапочках, кивала Роме и что-то бесконечно записывала, как стенографист, в свой блокнот. Когда Рома рассказывал о своих «стычках» с мамой, Ольга Викторовна рассуждала, что прав безусловно Рома, а мать вела себя непозволительно, формируя у сына негативные воспоминания, бросающие тень на всю последующую жизнь. На другой день, когда Ромина мать расспрашивала Олю об успехах терапии, врач докладывала, что Рома в детстве и в подростковом возрасте был трудным ребенком, вел себя по отношению к матери непозволительно, как свинья. Когда Рома снова приходил на занятие, Ольга Викторовна объясняла ему, как примириться с матерью, как ее простить (говорила, что это главная задача на дальнейшую взрослую жизнь), давала под запись список литературы для чтения — Рома фиксировал название книг, но читать их даже не думал. От нечего делать просматривая корешки на стеллаже Ольги Викторовны, он однажды заметил на полке сине-фиолетовую коробочку. В белом овале — название немецкой фирмы «Р...», а ниже мелким шрифтом написано: «ингибитор обратного захвата серотонина». Ангарский сразу вспомнил это сочетание слов.

«Так вот ты какой, немецкий гормон, — подумал Рома, а потом догадался: — Медяк тоже от чего-то лечился, сидел в кресле у такой же докторши в пушистых тапочках. Вон как его, гада, на ноги поставили, до сих пор бегает, часы свои счастливые высчитывает».

В свое же обретение счастья посредством болтовни проводник не верил. Забрал из съемной, теперь уже Гришиной квартиры оставленный ноутбук, пробовал писать. Решил окончательно забыть Машу. Или по-мужски отомстить. В ночной бабочке Жанне прослеживались Машины черты. Полиамория должна была завести героиню в ловушку. Выходила история вроде горячо любимой Ромой баллады «Улица роз» группы «Ария», только с бандитским колоритом. Но все это были лишь отдельные детали сюжета, наброски, заметки на полях и в придачу — кинематографичная картинка в голове Ромы. Он уже представлял себе телесериал по книге, идущий по главным телеканалам страны, сумасшедшие гонорары, театральные постановки, которые Маша, разумеется, посмотрит и поймет, как филигранно уколол ее автор. Однако, как и прежде, в виде художественного текста не было оформлено ни одной главы: терпения у Ромы не хватало и, как бы ни было горько признавать правоту Медяка, навыка. А Маша из головы все же не уходила.

Отпуск близился к концу, нужно было возвращаться в Иркутск. Мать просила Рому остаться и работать в мебельной фирме сборщиком под ее началом (Анна Семеновна в этой фирме занимала должность директора). Медяк идею поддержал: он никогда не жил в Иркутске, поэтому не понимал, что может быть хорошего в эдакой тьмутаракани. Наличие Глазковского моста не являлось аргументом. На худой конец депо было и в Петербурге, и пожарная каланча бы точно нашлась. «Я даже не знаю, кто у вас там, в Иркутске, писательской организацией заправляет, — говорил он. — За пять лет ни одного проекта из тех краев не поступило! Только роман про Чингисхана прислали, и то, кажется, это была Якутия».

— Вода у вас тут — свинцовая мерзость, как соус из жестяной банки по желобу льется, — парировал Рома. — А в нашей Ангаре вода — это нежная женская кожа, чуть влажная. Она пахнет фруктовым маслом, покрывается мелкими мурашками, если тихотихо по ней рукой провести. — Конечно, тут же Ангарский вспоминал про Машу, про

ее длинно-пушистые волосы, напоминавшие карту — снимок Ангары из космоса, со всеми изгибами, ответвлениями и приливами. Но образы эти он погнал прочь.

— Записывай, — пинал его Медяк.

— Ты сам говорил, не умею.

— Ты не роман пиши, ты зарисовки делай. В стихах изложить попробуй. Такие образы пропадают! Понимаешь, я все эти штуки вымучиваю, высиживаю перед экраном компьютера, а к тебе они в голову лезут задарма, — Ангарский отмахивался.

Выслушивая по кругу навязчивые предложения матери, он тоже мысленно дичился, отстранялся. После всплывших на домашних сеансах психотерапии мелких детских обидок и крупных подростковых обид не хотелось снова попасть к родительнице в зависимость. С институтских времен Рома немного повзрослел, конфронтация с Анной Семеновной сошла на нет, но Ольга Викторовна то и дело некомпетентно вытаскивала из водоема памяти Ангарского неприятные эпизоды, просверливая в ледяной корке забвения новые и новые лунки своим профессиональным буром. В конце концов, одной из причин переезда в Иркутск было доказательство собственной состоятельности, финансовой независимости и прочее. Так, некий бунт, не бунт уже, а маленькая фронда то и дело вспыхивали в черепе Ангарского. Тем не менее Рома сомневался. Здесь, в Петербурге, можно было поболтать с Медяком (друг в лице Вени был никудышной альтернативой), может быть, попытаться что-то придумать насчет Маши (а вдруг!). Может быть, закрыть кредиты: мать сулила большую зарплату, нежели на железной дороге. Но нельзя предавать детскую мечту!

Ангарский пообещал маме и Медяку съездить в Иркутск, дабы уладить все дела, забрать вещи и перевестись работать в Петербург на ту же железную дорогу. Это бы стало компромиссом, который его устроил. Но Рома уехал, посидел на кухне с перевернутым шкафом, провел очередную безрезультатную травлю нежелательных домашних питомцев дихлофосом и не вернулся.

— Это кто из нас полный медяк, я или ты? — возмущался Гриша в трубку. — Обещал приехать, и на тебе — опять с концами.

— Гриша, друг, я же сам не знал, где останусь, — почти искренне извинялся Рома. — Не определился еще на тот момент. А как приехал, как прошелся по мосту, в свою квартиру зашел (не в мамину — в свою!), с каждым тараканом за лапку поздоровался, так и понял: мое место здесь. Где родился, там и пригодился, как говорится. Только проводником я работать больше не буду — опротивело. Курсы пройду, выучусь на поездного электромеханика — и никаких больше людей, только ее величество госпожа дорога и все те же почти не тронутые цивилизацией просторы за окном.

— Мы с Анной Семеновной очень на тебя надеемся. Если что — приедем, — строго ответил Медяк с интонацией учителя, отчитывающего школяра, и бросил трубку. Он сильно обиделся на то, что Рома, пять лет не появлявшийся в Петербурге, опять, ничего не сказав, пропал на одному Богу известно какой срок.

* * *

Зима подходила к концу, дело двигалось к Пасхе, однако в Иркутске то и дело валил снег то ли по вине циклона, то ли по вине его сиамского близнеца антициклона (Ангарский никогда не различал этих двух уродцев — что от одного добра не жди, что от другого: то давление поднимется, то киста в голове заноет, то что-нибудь третье случится). Ангарский сидел в слесарном отделении депо, представлявшем из себя темную каморку с грудами хлама, столом, парой стеллажей, и, как одну затянувшуюся черную семечку, лущил медный кабель в оплетке.

— Зачем мы этим занимаемся, Ангарский, — ныл Веня, который, разумеется, тоже записался на курсы, как русый пес, не отходящий от хозяина ни на шаг. Обещали сертификат и должность поездного электромеханика. На теории изучали правила технической эксплуатации железных дорог, высоковольтное оборудование, низковольтное оборудование и прочую физику, на практике — с утра до ночи чистили медный кабель.

— Откуда я знаю, — огрызнулся Рома, — зачем тебя сюда черти принесли. Думал, отдохну от тебя, а ты легок на помине. Смотрел списки, обрадовался: Вени в них нет, а ты неделей позже только сообразил своим тугим умом. Я-то надеялся, тебя не возьмут. Вернее, не так: пусть берут, мне жалко, что ли, но не в мою же смену! Пошел бы ты через полгода, через год.

— Зачем ты меня обижаешь Ангарский, — проскулил Веня, — у меня же больше никого нет, кроме тебя.

— Не стони. У меня тоже. Подожди. Мама же твоя здесь?

— Здесь. Она меня ненавидит, говорит, что я паршивый, кричит и деньги отбирает.

— Правильно делает, — Ангарский отвлекся от кабеля — Веня почти плакал. — В смысле, деньги тебе в руки давать нельзя. — Рома пошел на попятную.

— Верну я долг, верну, — Веня спрятал облысевший лоб в ладони — Ангарскому даже стало жалко его. — Зачем ты меня обижаешь, скажи? Я же стараюсь, подарки тебе ношу.

— Не реви только, Веня, я это не со зла, — Рома встал, потянулся и похлопал Веню по спине. — Я людей в принципе видеть не хотел, поэтому и пошел сюда. Обидели меня люди, понимаешь, сильно.

— Я тебя не обижал, — всхлипнул Веня и, судя по звуку, высморкался прямо в руку.

— Ты не обижал — другие обидели. Я же предупреждал: не записывайся ко мне в напарники, не мозоль глаза. Устал я.

— Прости, Ангарский. Я хотел как лучше.

Ангарский рассмеялся:

— Ну не плачь, не баба! — он снова похлопал Веню по спине и стал ходить вокруг его раскладного стула, разглагольствовать. — По поводу твоего вопроса, слушай. Пока ты болел, подхожу я к старшему, к начальнику электроцеха. К тому, который бурят. Вечно меня буряты окружают, как царя Николая. Только того японцы окружали. Да хоть бы японцы. Свою Цусиму я уже проиграл, — вспомнилась Маша, Рома отвлекся. — Так о чем это я. Подхожу к нашему Балдару Цырановичу, спрашиваю: на фига вообще этот кабель чистить, если можно в печи оплавить? Оплетка-то пластиковая. «Ты умен, — отвечает мне Балдар, — но на железной дороге служишь, сам понимаешь, логики здесь никакой. Есть начальство выше меня, а оно говорит: так получается больше чистой меди, если руками очищать. Если в печи плавить — меньше. Понял?», а потом разгребать снег меня отправил. Навалило в тот день столько, что машине с катушками в гараж было не заехать. Ну я и пошел лопатой махать. До обеда снег чистил. Зато потом покормили. Балдар — мужик нормальный. За работу чаю по-бурятски мне предложил. Я сначала отказался, думал, что мне все чай всучить пытаются — не люблю я его. А потом Балдар мне секрет рассказал: чай по-бурятски — он с водкой. Я-то думал, почему они все до чая такие охотники. Теперь я тоже, так сказать, приобщился. Я вообще сам не пью сейчас. Мне кто-то все время подливает, а разве я могу отказаться? Человек слаб, Веня.

Слушай дальше. Выхожу на улицу после этого бурятского чая, звонит мне мать. Говорит: «Чего это ты так быстро языком лопочешь? Пил?» — «Чай, — говорю, — пил». — «Знаю я твой чай», — и как начнет в трубку кричать, причем грубо так, что приедет в Иркутск, насильно меня домой заберет. Отвечаю: «Здесь мой дом». Трубку повесила, слушать не хочет.

В каморку постучали. Тугоумный Веня даже сказать ничего не успел. Явились двое мужчин, представились: московская проверка.

— Что здесь происходит? — спросил тот, что повыше.

— Происходит практика, — ответил Рома, ничуть не смутившись.

— Какая?

— От Иркутского университета путей сообщения. Мы на поездных электромехаников с Ангарским учимся, — прогундел в заложенный нос Веня (кстати, во внутреннем дворе университета Рома нашел вагон и локомотив, не обнаруженные в Петербурге. «Вот где собака зарыта!»).

— Переподготовка у нас, — пояснил Рома.

— И в чем практика заключается? — недоверчиво спросил мужчина пониже.

— Чистим кабель. У нас план. Восемьдесят килограммов чистой меди от депо надо сдать.

— Кому?

— А мы, думаете, знаем? — Ангарский посмотрел на проверяющих иронически вызывающе.

— Сдается мне, вы виды ремонта вагонов должны проходить. Вот сломается электрика в рейсе, что делать будете?

— Сердечники в генераторе выбьем, всю проводку облущим.

— Ясно, — сказал высокий, — кто руководитель?

— Балдар Цыранович.

— Скоро придет, ждите, — ответил высокий, оба удалились.

Ангарский наконец достал из кармана брюк складную стопку, из рюкзака — контейнер с огурцами, извлек один, накапав на пол, выпил и закусил.

— Вот так вот, Веня, — резюмировал он, садясь на складной стул.

Через четверть часа прибежал Балдар, низкий, круглый и с проплешиной, ошпаренный, как пельмень, увидел огненную воду — тоже выпил стопку для храбрости, Ангарский предложил огурец — не отказался, засеменил к выходу, жестом приглашая молодых людей следовать за ним:

— Ну, пойдемте, ребята, цеха вам покажу. Все как-то времени не было, то одно, то другое, знаете, — засуетился.

До вечера ходили, смотрели цеха: колесно-роликовый, похожий на исполинский тренажерный зал, где на полотне рельс, как на постеленной пенке, в ряды лежали гигантские штанги и гантели с плоскими блинами — колесные пары, иные и вовсе крепились к стене, словно к снаряду, образуя цельный тренажер для какого-нибудь Голиафа; редукторный, где за зелеными станками стояли рабочие и, управляя рычажками и педалями, как у швейной машинки, чинили собственно редукторы. Еще зашли в ангар под названием «ТО-2» — там на двух путях, как на двух ветках, расположились красная и зеленая гусеницы вагонов, они смотрели на пришедших тупыми, непроснувшимися мордами. Зеленая гусеница косила: фары-глаза смотрели друг на друга, их взгляд сходился на несуществующем плоском металлическом носе.

Балдар черным муравьем бегал по цехам, рассказывал практикантам, как ремонтируются вагоны: во сколько этапов, на каком оборудовании, какими специалистами. Он спешил, хотел уложить «экскурсию» в один день. Наутро проверка уехала, и добродушный бурят снова посадил молодежь чистить кабель. Правда, еще радиоприемник притащил, сказал: «Разберите, почините да слушайте. Так повеселее будет».

— Мы чинить не умеем, — сознался Ангарский. — Разобрать — разберем. Провода можем зачистить.

Балдар вздохнул и взял с пола отвертку:

— Учитесь. Тут такого добра навалом списано. Приемники, плитки, микроволновки. Что почините, можете женам, тещам и теткам на праздники подарить. У меня уже родственники кончились, — и принялся демонстрировать, где провод нужно зачистить, где подпаять, в каком случае необходимо поменять транзистор, из какой коробки с хламом таковой достать. Приемник зашипел. Балдар выменял починенный агрегат на соленый огурец и ушел.

Ангарский, не спрашивая мнения Вени, пустился изучать программы. По одной давали «Улицу роз» — на ней Рома остановился, так и крутил русский рок с утра до вечера. «Улица роз» то и дело проскакивала в эфире.

Лиха беда — начало. Буквально через несколько дней объявилась Маша: стала писать Ангарскому в Интернете сообщения следующего толка:

03.04. «Рома, привет! Как там Иркутск поживает? Все еще стоит на реке?»;

04.04. «Занят? Поговори со мной. Мне скучно и немного грустно»;

06.04. «Я сама работала на железке, логистикой занималась. Ты, наверное, в рейсе, у тебя нет связи. Но если не хочешь общаться со мной, так и скажи. Твое право. Кстати, у меня для тебя новости!».

Ангарский на самом деле не хотел отвечать, но игнорирование сообщений не помогало не думать об их содержании: почему Маша решила написать? Что стряслось? Не праздный интерес — уголек надежды постоянно ворочался в груди, тлел, не остывая, делал дыхание теплее, сжигал кислород, подменяя его углекислым газом и мешая дышать; торопил кровь пробегать свои круги быстрее — сердце, бывало, стучало так, будто Ангарский ходил по самым настоящим углям.

«Маша разошлась с Дубровским? — думал он. — Ждет меня назад?» — не тут-то было. Ангарский, конечно, после всего того, что с ним случилось, так просто на этот маневр не поведется — поломается, покрасуется, набьет себе цену, хотя в конечном счете все же приедет. А ребенок? От этого Жени останется ребенок. Ангарский никогда не хотел детей, более того — не любил их, как любых других представителей рода человеческого, к тому же — представителей шумных. Но ради Маши, той самой Маши можно будет и потерпеть, и даже воспитать. Только им в Иркутск перебраться придется. Да, будет такое условие: переехать в Иркутск. С Петербургом связано слишком много неприятных воспоминаний, к тому же город чужой: отстраненный, холодный, закованный, как Нева, в ледяные парапеты темно-коричневого цвета, отдающие прямо в мозг ознобом и тоской. Весь город напоминал одно большое заболевание, охватившее всю акваторию реки и прилегающих болот, ему даже было имя — ларингит. Почти как Ленинград. Еще в городе Ларингите — Ромина мать. Она не примет ребенка, будет его унижать, как унижала Ангарского в детстве, кричать на всех троих, включая Машу, читать нотации — кому это интересно? А может быть, нечего и думать об этом? Может быть, планировщик воздушных конструкций опять черпает свои замыслы из ниоткуда, не располагая материалами и средствами для реализации? Чтобы дать ответ на все вопросы, мучившие Ангарского вот уже четыре дня, надо было ответить. Но ответить холодно, безучастно, так сказать, невзначай — передать привет городу Ларингиту.

И Ангарский написал: «Привет. Жив пока. Что случилось?»

Ответ долго ждать себя не заставил:

07.04. «А что так нерадостно?! Подозреваю, все меня ненавидят. Ты в их числе. Пусть так. Заслужила, значит. Представляешь, узнала, что Женя должен был жениться в тот день, когда у нас назначена свадьба, но на другой девушке. На той, с которой он до ме-

ня разошелся. То есть для свадьбы все было уже готово: место, дата. Оставалось только найти невесту, и он нашел меня. Представляешь, как было обидно узнать об этом? Приз-то, оказывается, переходящий».

Ложная тревога. Ангарский выразил холодное сочувствие и вернулся к медному кабелю: диспозиция вражеских сил оставалась прежней.

— Ангарский, — позвал Веня.

— Заткнись! — прогудел Рома и показал напарнику кулак.

09.04. «Не разговариваешь со мной? Не хочешь. Вот и Женя не хочет. Внимание не уделяет, домой возвращается поздно, говорит: работы много. Молчит. Скажи, все вы, мужчины, такие?»

10.04. «Может быть, он любит не меня, а ту, предыдущую? Как думаешь? Может быть, во мне он видит только замену, и то плохую? Я не знаю, что мне делать».

— Вот скажи, Веня, я что, похож на жилетку для слез? — Ангарский толкнул ногой разобранную микроволновку, запчасти покатились по полу.

— Не понял, Ангарский. Повтори.

— Проехали.

12.04. «Рома, представляешь, он сказал, что устает от меня, что я докучливая. Сказал, что видеться мы будем теперь только раз в два дня. Не чаще. И вообще, он не хочет жить со мной на постоянной основе, только в гости заглядывать».

12.04 (вечер). «Рома, я пыталась поговорить с ним. Была права. Все дело в его предыдущей девушке. Она сделала ему больно, очень больно. Не могу рассказать, как именно — это секрет. Теперь Женя не доверяет никому. Поэтому из дома уходит. Говорит: боится ко мне привязываться».

«Ребенка он не хочет, Маша, — не сдержался Ангарский. Недобрые пальцы стучали по виртуальной клавиатуре, — поэтому и сбегает, не готов еще, не повзрослел. Расходись с ним, у ребенка должен быть настоящий отец».

«Нет, нет, Рома, ты все неправильно понял. Его очень-очень обидели в прошлом, предали. Я докажу, что мне он может доверять».

«Удачи».

15.04. «Рома, а если ты прав? Он уехал к себе в квартиру. Даже раз в два дня приезжать отказался. Сказал, деньги на аренду пришлет, но жить в квартире я одна буду».

Нужное слово было обронено — Рома стал активнее вовлекаться в переписку, ветер перемен раздул уголек надежды, высвободив полноценное пламя. Однако сама же Маша постоянно это пламя задувала. Рома не раз полунавязчиво предлагал помочь, приехать, поддержать ее. Предлагал забыть Женю, который оказался таким же недотепой, как и предыдущий Машин ухажер (Саша, или как его звали?). Рома предлагал совместно воспитывать ребенка — за неделю общения он уже мысленно свыкся с ролью отца и почему-то был уверен: родится мальчик, а он, Ангарский, станет мальчику папой. Но Маша эти разговоры сводила на нет и продолжала зегзицею плакать в квартире близ «Площади Восстания».

— Женя-Женя, Женя-Женя! — Ангарский злостно наматывал круги по слесарному отделению, как попугай, передразнивая Машу. — Сдался ей этот Женя.

— Ангарский, ты в порядке? — спрашивал Веня.

— Молчи, умоляю!

Помимо прохождения практики, пока новая специальность не была освоена, Ангарскому все еще приходилось выходить в рейсы проводником. В службе пассажирам он больше себя не видел, голова была занята другим, поэтому работал спустя рукава, а во время пересмены понемногу пил.

— Не алкоголик я! — доказывал он Вене, привычному к шлейфу, тянувшемуся от Ангарского — так вагоны тянутся за локомотивом, исторгающим дым, копоть, дизель или другие продукты внутрижелудочного горения двигателя. — Я на грудь принимаю, чтобы нервы успокоить. А так бросил. Я сколько угодно могу не пить, хоть месяц. Дуры всякие мозг изнутри щекочут — вот и пью!

Как ни бахвалился Ангарский, расстроенный рабочий режим дал о себе знать. Госпожа железная дорога, нашедшая служение проводника недобросовестным, выразила свое «фи»: однажды утром, когда Рома спросонья высаживал пассажиров и даже взгляда не бросил на аварийный участок платформы за механическими дверьми, какой-то мужчина, тоже под ноги не смотревший, выходя из вагона, наступил прямо на металлический штырь и пропорол себе ногу. Ангарский выслушал претензии в свой адрес, согласно этикету извинился, но о несчастном случае тут же забыл. Переписки с Машей, ругань с матерью. Через пару недель пришла повестка в Красноярский районный суд. Проводник воспринял претензию флегматично: рабочий момент. На первом слушании развел руками: «Виновен, чего уж говорить. Если выпишут штраф, оплачу».

В железнодорожной компании его одернули:

— Ты что, дурак? Зачем вину признал? Должностную записку свою читал? Нет там ничего про осмотр платформы! Дело твое — уголовное. Угораздило же тебя на железную дорогу устроиться, — простонал плешивый директор и нанял Ангарскому адвоката, чтобы на прекрасное женское лицо компании своей бестактностью тень не бросал, продолжал судиться.

Дважды командировали в Красноярск — без толку, дело не двигалось ни в ту, ни в другую сторону: Рома признал вину изначально, а адвокат речь для защиты все никак не мог подготовить, хотя и придумал хитрую формулировку «непреднамеренное причинение вреда». Заседания переносились.

У Маши дела обстояли едва ли лучше, на самом деле — гораздо хуже:

20.04. «Рома, ты и представить себе не можешь, что он учинил. Он в армию идет! Ни с кем не посоветовался: ни с матерью, ни с отцом, ни с братом, ни со мной (кто я ему такая, чтобы со мной советоваться?). Должен был бронь по месту работы получать, а вместо этого отправился прямиком в военкомат. Говорит: сделал выбор. У меня в животе от него ребенок, Рома! А он не планирует будущее. Может быть, и планирует, только в его планах нет ни меня, ни дочки. Или сына. Пока не знаю, кто у нас будет. Кто бы ни был, ребенок, когда родится, не увидит отца. Я вся на нервах. Плачу. Ты вообще видел, чтобы я плакала? А мне еще год плакать».

04.05. «Я съездила к нему на КПП. Это недалеко от Петербурга, под Всеволожском. Он ушел в себя. Перед тем как в военкомат пойти, со всеми общаться перестал. Друзья его тогда к черту послали, сказали, что он безумен — и правильно сделали. Приезжали к нему только родители и теперь — я. Он неразговорчив. Ничьей жизнью не интересуется, разговоры из него вытягивать надо. Так я и уехала ни с чем. Потом еще одна мерзость произошла: я поймала попутку, чтобы назад вернуться. Проезжал здоровенный такой КамАЗ, желто-черный, как колорадский жук. Ну я его и остановила. КамАЗ дядька вел лысеющий, лет пятидесяти, в майке-алкоголичке. Обычный такой дядька. Сказал, что до города подвезет. Я села. Не к нему, конечно, на сиденье, а чуть назад. Думала: расскажу про Женьку своего, а дядька, только мы тронулись, приставать начал. Так, на словах, он далеко сидел, но я перепугалась: собралась на ходу выпрыгивать. Ничего, заболтала. Говорила-говорила что-то, тараторила — он устал от меня, понял, что ничего не выйдет, раньше положенного высадил. А у меня коленки тряслись, руки и ноги были бело-синие, холодные, как у трупа. Я два шага в сторону от трассы, как подкошенная, сделала — и бежать. До сих пор потряхивает».

«Кошмар! Беда не приходит одна. Сочувствую!» — писал Ангарский, а сам думал: «Чего ты хотела, когда к незнакомцу садилась?»

Потом добавлял: «И все же раньше подобное поведение за Женей твоим наблюдалось? Как у вас вообще все на первых порах было? От него такое можно было ожидать?»

«Да что прошлое ворошить. Как было? Все быстро закрутилось. Я тогда с Сашей разошлась, он пять лет меня динамил: ни туда, ни сюда. Вроде уже рассказывала тебе. Сама была не лучше, все никак порвать с ним не решалась. А как вырвалась на свободу, была будто пьяна. Можно было делать все, что запрещалось на протяжении пяти лет. Мальчики, вечеринки, прогулки. Мне дарили подарки, внимание. Саша запрещал, ревновал, когда я плюшевого медведя после прогулки с кем-то притаскивала. Я ему говорила: вот ты меня замуж не зовешь, какое право имеешь другим мешать? Вдруг кто-то другой сообразит быстрее тебя. Шутила. А на деле так оно и вышло. Я тогда оператором еще работала. Мальчики как узнали, что я свободна, когда Сашу наконец послала куда подальше, сразу стали меня обихаживать. На танцы звали, на свидания. Я буквально жила этим вниманием. Сегодня один по ночному городу катает, завтра мы с другим пирожные есть идем — и все так легко, без заморочек, без обязательств — какой-то школьный роман! Гуляете где-то, за ручку держитесь. И на этом фоне возник Женя. Он настроен был серьезно. Держаться за ручку его не устраивало: настаивал на серьезных отношениях. Единожды погуляли — предложил встречаться. Начали встречаться — с родителями познакомил. Только знакомство состоялось — стоит на коленях с розой в зубах, предложение делает, квартиру нам снимает. Я после Саши на контрасте сразу его и полюбила: решительный, деньги зарабатывать умеет, содержать меня обещал! И работа у него серьезная — программист, за безопасность компьютеров каких-то отвечает — я не разбиралась. И все понеслось-полетело. В этой кутерьме еще оказалось, что я беременна. Мы и не думали. Для нас это стало сюрпризом, но совместно решили: все к лучшему. А потом Женя перегорел. Быстро вспыхнул — быстро погас. Что он стал вытворять, я тебе уже писала. Если уйдет совсем, мне о нем сын будет напоминать. Или дочь. Я уже придумала: будет мальчик — назову Марком. Марком Евгеньевичем. Девочку — Вероникой Евгеньевной. На днях на процедуру пойду — там и узнаю: сын или дочка».

«Ну Марк — это совсем как-то некстати», — писал Ангарский. Не хотелось воспитывать сына по имени Марк. Лучше уж — Николай. Для возлюбленной надо было постараться. Хотела, чтобы содержали? Ангарский занял денег и отправил Маше в качестве моральной поддержки. Заодно молчаливым жестом рассчитывал доказать свою состоятельность. Хорошо, мол, зарабатывает, и пока Евгений в армии прохлаждается, в штабе или где он там, Рома в спину неудачнику дышит. Маша не сопротивлялась, не в ее положении было отказываться. Тогда Рома отправил деньги еще раз и еще.

— Ты с ума там сошел? — звонил Ангарскому Медяк. — Ты зачем меня поручителем кредитов сделал? Я давал согласие? Со мной пытаются связаться буквально все твои конторы. Если бы у каждого телефона, что мне звонил, был провод и на том конце от меня хотели бы денег, я б давно повесился на кабеле. Я, что ли, твои долги выплачивать должен? Нет, мне для друга не жалко, но друг тратит деньги на девиц и водку. На водку мне особенно жалко, — и по привычке докладывал все Роминой матери.

Следом звонила мать, ругалась. Приезд ее, сулящий разборки, обвинения и аргументированную констатацию несостоятельности сына, казался неминуемым. Ангарский шел в «Пятерочку» и запивал каждый кричащий телефонный звонок стопкой. Аппарат только заводил свою веселую плясовую мелодию гудка, а Ангарский уже представлял, что из экрана, как тараканы, выползают Медяк и мать с громкоговорителями, разрастаются до исполинских размеров (так, что достают до пыльного потол-

ка) и начинают на Рому кричать, то солируя, то исполняя совместную партию. Мать между обвинительными репликами указывает то на шкаф, повешенный вверх ногами, то на валяющиеся в углу носки, потом хватает Рому за волосы и тащит, как тащил Ахилл тело несчастного Гектора, прямо до кассы вокзала, а Медяк всю дорогу марширует сзади с громкоговорителем и тоже выкрикивает гадости: «Проза у тебя не получится!», «С Машей у тебя не получится!»

Ангарский в электронных посланиях Маше про это не рассказывал, дабы не пошатнуть свой авторитет, но не упускал возможности посетовать о судебных разбирательствах: «Помимо того, что в рейсы ходить приходится и параллельно экзамены на электромеханика сдавать, представляешь, в третий раз в Красноярск вызывают. Компания, конечно, расходы оплачивает, но начальство мне знатно голову промывает. То не так сделал, это на суде не так сказал. Откуда ж я знал, что вину признавать не нужно? Думал, виноват. Читал ли я свою должностную записку? Конечно, читал. Только когда это было? Пять лет назад, когда устраивался. Я службу свою на железной дороге довел до автоматизма. Проводник Ангарский функционирует на автопилоте. Только управляемый им корабль неминуемо мчится к гибели. Потому что у нашей компании хоть и женское лицо, но женщина она — коварная. Медуза Горгона тоже была женщиной. Персей едва не погиб в схватке с ней. И вот капитан Роман ведет свое судно прямиком к крушению, откликается на зов сирены или Лорелеи, кем бы его Прекрасная Дама, железная дорога, ни оказалась. Но вверенное ему судно идет бестрепетно и погибнет с достоинством. Так я в прозе своей напишу».

«Капитан Ангарский! Рассмешил! — посылала смеющиеся рожицы Маша. — Хихикаю вслух! Ты же проводник, почему себя с капитаном сравниваешь?»

«Это я — проводник. А герой мой — начальник поезда. Вообще, я тебе про суд писал. Отошел от темы. Если коротко, меня опять вызывают. Лишь бы это все скорее закончилось. Правда на нашей стороне. Железная дорога, как любая женщина, имидж свой испортить не даст. Но плохо будет, если процесс опять затянется и я без толку в Красноярск съезжу».

Так происходящее скатывалось в один сплошной ком — не снежный, нет: снег на улице давно сошел и уступил место синеватой пене ранней сирени и резному оригами тюльпанов. Это был ком прошлогодних отсыревших листьев обид, неудач, ошибок, но еще в этом коме была первая, молодая, едва клеящаяся листва проклюнувшихся надежд на тепло, на чувства и в целом на обновление, улучшение жизни. На фоне общих бед общение Ромы и Маши потеплело. Жаль, ненадолго.

10.05. «Рома. Я не могу об этом писать и все равно пишу. Не знаю, с кем поговорить. У меня был выкидыш. Не могу поверить. Это все не со мной. Я хочу, чтобы это был просто сон, просто ночной кошмар, но это не сон. Я на этой неделе собиралась на скрининг, все было хорошо, вдруг — кровь, спазмы, резкая боль, и я на операционном столе. Утром дитя дышало, у него, должно быть, билось сердце, и тут в одночасье жизнь оборвалась. Мне плохо, Рома. Я не могу поверить. Он умер. Мой ребенок умер, не родившись. Ты не можешь себе этого представить, потому что с тобой такого никогда не произойдет, а со мной произошло. Почему так? В чем я виновата, Рома?»

12.05. «Я жива, но разве это что-то меняет. Врачи нашли патологию в моем организме. Это опухоль, она не злокачественная, мое здоровье в порядке — удалят, но малыш навсегда потерян. В этот год мне нельзя беременеть. Я и не собиралась, все пошло по самому плохому сценарию, я и представить не могла».

Ангарский был не вполне чуток к чужому горю, он его плохо чувствовал, плохо понимал. За пазухой красивых слов Рома держал большой камень — камень планов по завоеванию Маши, особенно теперь, когда все преграды сами по себе устранились. Какой

ценой достанется победа, Ангарскому было неважно. Внешне он старался Машу приободрить, даже жалел ее, переживал о здоровье, но все это было только мелким булыжником, отколовшимся от основного камня. Внутренне Ангарский считал, что все пошло по лучшему сценарию: рано Маше иметь детей, особенно от какого-то Жени. Организм лучше знает. Ангарский думал об этом с тревожной осторожностью. Маша продолжала писать.

14.05. «Знаешь, мне кажется, я когда-то была проклята. Женя звонил, сочувствовал, но как-то нехорошо: рационально, холодно, неискренне. Я уверена, он и слезинки не проронил, в то время как я уже почти неделю плачу. Он сказал, что приедет и мы поговорим, разберемся, будем жить дальше. А я не хочу с ним говорить. Он мне теперь никто. Он больше не отец нашего малыша. Мне кажется, все изначально вело к тому, что Женя от меня уйдет. Может, он меня приворожил, чтобы зло мне причинить? Потом сделал отворот — и забрал ребенка, чтобы нас больше ничего не могло связывать?»

«Да откуда вы берете все эти глупости? — бухтел Ангарский. — Кто вам наплел про ваших гадалок, ворожей? По телевизору их, что ли, показывают?» — он принципиально не смотрел телевидение, большие события, происходящие в мире, его не интересовали.

«Что Веня в ту степь, что Маша. Кстати говоря, о Вене...» — Ангарский вспомнил про долг напарника. С момента вручения пакета с наличностью прошло уже три с лишним месяца, надо было и честь знать. Наступил тот предел, когда банки перестали подтверждать Роме кредиты, и пришла пора разобраться с единственным должником.

— Сколько денег ты мне можешь вернуть прямо сейчас? — во время очередной очистки кабеля Ангарский поставил вопрос ребром.

Веня замешкался, засуетился, даже рукав спецовки от напряжения кусать начал:

— Ангарский, я не думал, я не готов...

— Веня, деньги нужны позарез. Выручай! Хотя бы часть долга. Сколько у тебя сейчас есть?

— Ангарский, я тебе подарки покупал, не рассчитал... Я все верну, но позже.

— Позже уже не надо будет. Сколько есть сейчас?

— Я позвоню матери. Мои деньги у нее.

Вернулся напарник, продолжая кусать рукав:

— Она на меня накричала.

— Дружище, моя тоже кричит. Была бы здесь — и деньги бы отбирала. Я тебя понимаю. Но и ты пойми, очень надо.

— Половину могу вернуть. — Веня зашмыгал носом и упал на колени. — Прости! Это все, что у меня есть.

— Веня, — Рома спешно поднял напарника, — ты это представление прекрати. Ни перед кем так не унижайся. Не смей, слышишь? Лучше в морду бей. Половина — это хорошо. Половины мне хватит. Остальное себе оставь. Подарок.

— Ангарский, прости, я был не готов, — Веня вернулся к жеванию рукава и хлюпанью носом.

— Не за что извиняться. Дуй приводить себя в порядок, а вечером — за деньгами. Пятьдесят тысяч мне хватит.

Деньги в тот же вечер были высланы Маше в качестве очередной молчаливой моральной поддержки. Ангарский хоть и был краснобаем, но в критической ситуации, что делать, не знал, поэтому решил: деньги точно помогут. Маша ничего не ответила.

На следующей неделе предстояла поездка в суд. Рома подготовился, как мог: встретился с адвокатом, забронировал на одну ночь гостиницу в Красноярске, даже мнение матери по поводу дела выслушал, всю дорогу не пил.

«Я буду удивлен, если ты выиграешь дело, — сказал Медяк скептически. — Хотя, конечно, очень хочу этого».

Рома нервничал: сердце чуяло неладное. Хоть адвокат и подверстал внушительную правовую базу, а свидетели со стороны защиты имели на руках заготовленные речи, время играло против проводника. Также ходили слухи, что судья и прокурор — одна сатана: вместе в баню ходят по выходным, следовательно, рука руку моет во всех смыслах. Этот слух облетел всех служителей железной дороги, стремившихся во что бы то ни стало защитить ее юное весенне-зеленое личико от посягательств обвинителей. В каждом вагоне, идущем на Красноярск, звучала своя версия слуха: в одном говорили, что в компании прокурора и судьи в баню третьим ходит потерпевший, в другом вагоне судачили: третьим ходит не потерпевший, а юрист железнодорожной компании, противный молодой парнишка родом как раз из Красноярска — мол, это он в сговоре со стороной обвинения. Третья версия была вовсе фантастической, если не сказать абсурдной: это проводник Ангарский пьяным вышел на платформу и наступил на штырь, а в суд на него подали, чтобы за пьянство уволить и уголовное дело на него повесить, чтобы тот больше к госпоже железной дороге за версту не смог приблизиться за недобросовестное служение.

Поезд прибыл в Красноярск, а с ним и полузеленый Ангарский, приехавший с одним рюкзаком, как князь Мышкин с заплечным узелком. Проводник высадился и пешком направился в центр, чтобы развеяться. Гигантский арочный Коммунальный мост через Енисей — тот, что всю сознательную жизнь Рома видел на десятирублевке, а распознал только сейчас — напомнил родной Глазковский. Это обстоятельство немного приободрило проводника, и он решил посмотреть на город, так сказать, с воды. Покурил, ступил на мост, дошел до середины. Вид зеленой набережной, тянувшейся вдаль узкой полоской, напоминавшей полотно железнодорожных рельс, пришелся по душе. Не понравились возвышавшиеся то там, то тут башенки жилых высоток, как в настольной игре, где из сложенных в высотный домик брусков нужно было в свой ход вытянуть один, да так, чтобы домик не рухнул. «Человейники», — подумал Ангарский. О людях размышлять не хотелось. Он свесился с парапета набережной, пытаясь разглядеть свое отражение в мутной воде, но увидел только маленькое неразборчивое пятно, похожее на носатого селезня.

Настало время заселяться в гостиницу. Она располагалась недалеко. Рома быстро справился с оформлением документов, получил ключ и направился к зданию районного суда. Суд выглядел как игрушка, как низкий замок из простых геометрических фигур — прямоугольников и треугольников, как кирпичный форпост, который нужно было занять своей командой и водрузить победный флажок. Вокруг такого домика, будь он вокзалом, вполне мог бы кружить пластмассовый поезд.

В тесных судебных коридорах толпились люди. Ангарский посещал игрушечный домик уже в третий раз, поэтому хоть Рома и волновался (сегодняшнее заседание обещало быть последним по его делу), визит, а вернее, порядок действий воспринимался им вполне буднично, все равно что пришел бы он в поликлинику, военкомат или какой-нибудь диспансер. Узкие и высокие коридоры вполне напоминали одно из этих учреждений и, то сходясь, то расходясь своими длинными ртами, холодными бетонными губами, говорили: добра не жди. Ангарский отдал документы секретарю, направился к залу суда и обомлел: около двери стояла Анна Семеновна, беседовала с судьей. Как ребенку, первой на ум Ангарскому пришла мысль сбежать, спрятаться, чтоб его не заметили, но тесный игрушечный домик плотно сжал губы стен: пути назад не было. Рома сел на скамейку, как на электрический стул. Очередная едкая реплика

от родительницы, которая сочетанием самых обычных слов, скрепленных сочинительной ли, подчинительной ли связью, в момент уничтожит самодостаточность, самоуверенность Ангарского, пугала его пуще любого судебного процесса. Но ядовитой фразы не последовало. Когда судья удалился к себе, Анна Семеновна заметила Ангарского, примирительно обняла и обыденно, будто школьник-сын пришел в дом детского творчества в составе школьной сборной участвовать в игре «Что? Где? Когда?», сказала:

— Ты здесь? Очень хорошо. Я приехала тебя поддержать и пожелать удачи.

На секунду Роме подумалось: «Пришла взятку дать судье», но судья уходил с пустыми руками. Вряд ли. Мать подсела к Роме. Перебросились некоторыми фразами по поводу дела (ничего о личном) — тут и адвокат подоспел с толстой подшивкой бумаг и начал обрабатывать невнимательного проводника.

Когда на скамейках собрались представители обеих сторон: и обвинения, и защиты, холодные губы стен снова сомкнулись и глотательным движением протолкнули людские массы в зал суда. Слушали свидетелей. За трибуной со стороны обвинения выступали подрядчики по ремонту станции. Начальника участка Ангарский смутно узнал — мужичок с растрепанной бородкой. Где-то Рома видел его прежде, но где? На заседание явился впервые. Все представители обвинения, сидевшие справа, один за другим вставали, выходили к трибуне и выставляли Ангарского безответственным, некомпетентным, халатным. Слово «виновен» или «виновный» было произнесено столько раз, что Ангарский перестал распознавать его значение — в воздухе витала только буквенно-звуковая оболочка. Ангарский оказался неправ: в мегафоны на него кричали, каждым словом раздавливая, как таракана, не мать с Медяком, а вот этот вот мужчина с бородкой и иже с ним. Откуда они взялись? Где Рома их видел прежде? На платформе в день происшествия? Нет, тогда их не было.

Команда Ангарского сидела слева. Со стороны защиты выступал начальник поезда, единственный настоящий свидетель, после него — бывший начальник резерва проводников. Бывший, потому что на предыдущих заседаниях дал показания, которые обличили госпожу железную дорогу, ее и верных подопечных: ближайший круг Прекрасной Дамы, за что был тут же выписан из пажей и понижен до простого рыцаря (и то — рыцаря с душком). Был отправлен на заседание повторно: отстаивать опороченную честь госпожи. После него выступали юрист и начальник отдела обслуживания пассажиров, ранее участвовавшие в служебной проверке по делу Ангарского, представившие его невиновным и, таким образом, ничем не скомпрометировавшие Прекрасную Даму, напротив, лишь удвоившие ставки кредита ее доверия.

Сторона защиты отчаянно тарабанила слова, которые подготовил им адвокат. Читали с листа, деловито, без запинки, как стихи, что читают со стульчика на утреннике. Но ничего не вышло. Судья счел декламаторов заинтересованной стороной и отправил обратно в коридор, не дав сладкого подарка. Пригласили адвоката. Адвокат читал уже не стишок — поэму, растянувшуюся на полтора часа и поразившую всех своей слаженностью, логичностью, единством формы и содержания — слова лишнего не вставишь. Железнодорожники пришли в восторг. Однако, несмотря на позитивные ожидания рабочих масс, судья ушел в свой кабинет без единой складки на лбу а потом, несмотря на тщание защиты, вынес Ангарскому обвинительный приговор: домашний арест и год обязательных общественных работ. К вечеру узкие губы здания суда выплюнули пришедших на улицу. Взять игрушечный домик и водрузить свой флаг команде Ангарского не удалось: победу одержал противник.

Проигравшую сторону приободрял адвокат, к собранию написавший титанический труд. Правовая база говорила о невиновности Ангарского, который теоретически

мог первым выйти из вагона и сам пропороть ногу штырем или выйти вторым, вслед за пассажиром, и все равно наступить на штырь — поверх ноги потерпевшего, образуя бутерброд-канапе на шпажке. Речь шла об апелляции, при необходимости — кассации, то есть о суде чести, о восстановлении Прекрасной Дамы в ее статусе-кво, чтобы ни один холуй не мог больше усомниться в ее безукоризненном авторитете и железной власти. И скорой победе Ангарского, разумеется.

— Едешь со мной в Питер, — скомандовала разочарованная Анна Семеновна сыну, когда адвокат ушел.

— Почему еду? — Рома был потерян и к вечеру ничего не осознавал. Прямота матери и приказной тон были для него не новы, но, опять же, где логика? Хотя о какой логике может идти речь, если даже часовая речь адвоката, которую тот готовил месяц — комар носу не подточит, — не имела решающего значения. Может, судья с прокурором правда вместе в баню ходят? Или судья руки не хотел марать, спихнул все на высшую инстанцию, а там пусть разбираются? В пользу этой теории говорило следующее обстоятельство: денежной компенсации потерпевшему все же не назначили. Так ли, иначе ли или вовсе наоборот — Рома спорить с родительницей не стал, только устало спросил: — А как же домашний арест, подписка о невыезде?

— Ты все еще прописан в Петербурге, — напомнила мать. — Под домашний арест поедешь наказание отбывать. Время со мной проведешь до подачи апелляции. К работе присмотришься, которую я предлагала.

Вариантов не было. Судимость, необратимая в случае провала апелляции, стреножила проводника по самое не балуй. Еще лимит кредитной карты кончался, а значит, вместе с потерпевшим свое дело выиграла и мать: она приберет сына к рукам — придется порвать с детской мечтой и стать узником города Ларингита, Сизифом, таскающим мебель. Думать об этом не хотелось. Хотелось — о чем-то светлом. О Маше, например. Она как раз там, в болезненном городе, наверняка страдает, из дома не выходит. Все еще под семью печатями, но уже вне лап дракона Евгения (хотя возвращения дракона очень ждет и почти на него надеется), сидит в башне, слезы льет. И Ангарский, конечно же, в Петербург поедет, но поедет только ради Маши, чтобы утешить и показать ей другую сказку — историю, прочитанную заново со старыми героями, новыми обстоятельствами и счастливым концом. Отработать наказание можно будет и в Ларингите (Рома, конечно, надеялся, что до этого не дойдет, существует же какая-то судебная справедливость), а потом, как только возможность будет, — назад, назад!

* * *

Переночевали в забронированной Ангарским гостинице и ранним утром отправились на самолет. Анна Семеновна всю жизнь после развода держала себя в рамках, расставленных собой же, — считала, что не имела права на ошибку, чтобы достойно воспитать сына, выжить с ним в Иркутске, куда семью зачем-то (из каких-то наивных и непоследовательных представлений) перевез отец, а потом сам, как перекати-поле, направился в другое место, где рассчитывал стяжать счастье. Нужно было взять кредит на квартиру в Петербурге (не жить же у родственников, как у Христа за пазухой), по прошествии десяти лет кредит выплатить, потом — получить наследство. И вот сын, движимый любовью к перемене мест («Весь в отца», — Анна Семеновна сказала бы так), тоже уехал, а рамки и сдавленная железной хваткой воля остались. Ежедневно Анна Семеновна накладывала на себя трудоголизм как аскезу, безбрачие как епитимью и ежедневные ритуалы как духовную практику. Не встать в семь ноль-

ноль, не приготовить завтрак к семи тридцати, не закончить прогулку с мопсом Романом к восьми тридцати и по возвращении с работы не сходить в магазин, не приготовить из купленных продуктов ужин (обязательно свежий, не вчерашний) или както иначе нарушить устоявшиеся ритуалы было равносильно потере себя. Как скаковая лошадь, наученная бегать только по кругу, родительница изматывалась, падала и поднималась, чтобы продолжить. Копилась злость и выплескивалась на маленького (позже — большого) Рому, на родственников, на подчиненных и коллег. Но покинуть круг было невозможно. Поэтому самолет прилетал в девять утра, а в одиннадцать (с опозданием на час, легализованным начальством) родительница уже была на работе.

Мопса этим утром заезжал навещать Гриша Медяк. По инструкции пес был выгулян уже к семи тридцати утра, покормлен, а к одиннадцати даже духа Медяка (к большому счастью Ангарского) в квартире уже не было. Не хотелось извещать друга о приезде, вовлекать в планы. Ангарский хорошо помнил скептицизм Гриши, косность и неверие в простое человеческое счастье, к которому Ангарский последние месяцы так стремился. А ведь когда-то в школе они подружились из-за сходства характеров, неуравновешенных, вспыльчивых и безответственно прекрасных. Неужели и сейчас нельзя было сказать простое человеческое: «Вперед! У тебя все получится, я тебе помогу» или же «Я придумал: напиши Маше следующее...» Нет же, твердолобость! Играя с мопсом, дергая пса за складчатые щеки, Ангарский корчил рожи и передразнивал Медяка, по-учительски важно читал животному нотации: «Рома, из затеи с Машей ничего не выйдет!», «Я буду удивлен, Рома, если ты выиграешь дело!»

— Иди ты! — в сердцах крикнул сам себе проводник и тут же подхватил на руки испугавшегося мопса. — Я это не тебе, я другу, который совсем в меня не верит. А ты веришь мне? — Ангарский дал псу незапланированное расписанием лакомство.

Ритуал родительницы по кормлению пса нарушен — пора выдвигаться к Маше. Ангарский был бледен и худ, если не сказать истощен. За последние несколько месяцев он запустил себя, больше пил, чем ел. Последние двое суток и алкоголя не брал ни капли в рот, зато курил, как паровоз. Обыкновенная стрижка «под шапочку» сменилась наросшим творческим беспорядком, как у Пола Маккартни, с образовавшимся седым пятнышком на челке. Что поделать, к парикмахерше тете Наде идти некогда, поэтому Ангарский только принял душ и расчесал волосы. Не помогло — выходя из-под расчески, кудри тут же разбегались во все стороны, а пластиковый гребешок в какой-то момент хрустнул и надломился. Завтракать проводник не стал — от нервов мутило — и направился прямиком в желтый двор близ «Площади Восстания» без предупреждения, без приглашения.

Маша открыла сразу. Увидев Ангарского, вздрогнула. Рома тоже оторопел: как Самсон из библейского мифа, возлюбленная предстала перед ним остриженной под ежика. То есть без тех самых волос, которые... да что уж повторяться, которые были течением любимой с детства реки. От Маши пахло совсем не девической кожей — табачным дымом, точнее, какими-то дешевыми сигаретами вроде «Петра». Одета была в шелковый красный халатик с драконом и потрепанные домашние тапочки-босоножки кремового цвета с проплешинами искусственной кожи.

«Поправимо, — сглотнул Ангарский. — Отрастут», — он спешно и неловко достал из-за спины букет белых лилий. Цветы почти сливались с Машиной кожей, прозрачной, как у фантома. Саму Машу, казалось, вот-вот сквозняк из соседней квартиры сдует. Так и стояли, как две бледные поганки.

— Спасибо, Рома, не стоило, — наконец нашла слова Маша. Прежде на языке вертелось что-то иное. — Приятного у меня в жизни мало, но тебе я рада, проходи, — го-

лос ее был тих и сух. Так шевелит связками, словно наждачкой, после болезни ослабленный организм. — Почему не позвонил, не сказал, что проездом, что заглянешь? Выходит так, что мне нечем тебя угостить, — хоть Маша механически и произносила эти слава, было вполне понятно: это не та проблема, которая могла бы всерьез ее озадачить. Предупредил бы Рома — юношеская мечта точно так же развела бы руками. В речи зияли паузы, обманутая невеста непрестанно думала о своем, периодически возвращаясь к гостю. В моменты возвращения, сопоставимые с пробуждением, она даже удивленно вскидывала бритую голову и смотрела на Рому как-то по-новому, будто видела в первый раз. — Ты пьешь? Будешь водку? У меня осталась.

— Я сам не знал, что прилечу, — Ангарский усердно мыл руки, поглядывая на Машино отражение в зеркальном ванном шкафчике. Новый облик был совсем непривычен. — Ни о чем не думай, сейчас закажем еду. Водку буду. Если ты со мной, разумеется. Ты теперь тоже немного выпиваешь?

— Немного, — Маша оперлась о короб двери в ожидании. Руки проводник мыл чудовищно долго. — Это временно. Курить тоже чуть-чуть пыталась. Такая гадость. Пять раз пробовала начать — не понравилось.

— Тогда зачем?

— Пусто мне, Рома. Глупо и пусто. Хочется как-то себе изнутри навредить за все хорошее: заслужила. Я как-то напилась, чтобы совсем уж плохо стало, мучилась всю ночь и все утро: ноги судорогой сводило, трясло всю, а потом, когда поправилась, мне будто легче стало. Будто скверна с меня сошла. Меня так мама в детстве в деревне сажала в лоханку, а сверху ведром теплой воды обливала, приговаривала: «С гуся вода — с Машеньки худоба». Так мамы не хватает. Не успела уму-разуму дуру научить.

— Умерла?

— Давно. Рак.

— А отец?

— Отец не перенес. До сих пор пьет и на иконки крестится. Тетя, сестра его, меня опекала, а потом отправила сюда учиться.

— Вот так бывает, — Рома наконец добрался до ворсистого полотенца. — Кто-то от родителей сбегает, а кто-то при всем желании вернуться не может. Царство небесное!

— Ты же от меня сбежал. Мне так казалось.

— И от тебя тоже.

— Ладно, что прошлое ворошить. Ты проходи на кухню.

— Я немножко осмотрюсь, если можно, — Ангарский был весь нерешительность. Ступая только на носочки, он прошелся по двухкомнатной квартире. В гостиной, как труп вождя, забальзамирован советский ремонт, не менявшийся десятилетиями: дорогой в прошлом гарнитур, то ли румынский, то ли чехословацкий, стеллаж с книжными полками и хрусталем, черный телевизор, диван — разве что без ковра на стене. Вторая комната более обустроена: велюровый бежевый диван, становящийся оливковым на свету, журнальный столик, лимонные обои с вангоговскими ветками миндаля. Напротив дивана — два вытянутых стеклянных шкафа-витрины — на полках красовалась Машина коллекция японского фарфора, перевезенная из общежития.

— Это я в комнате ремонт делала в лучшие времена, — сказала Маша откуда-то из-за спины. — На свой вкус. Женю благоустройство не интересовало — так и уехал. Даже гвоздя в стену гостиной не забил.

— Сделаем, — приободрил подругу Ангарский. Маша вопросительно на него посмотрела. — Сделаешь — я имел в виду.

— Так ты не поможешь? Может, придешь как-нибудь? — староста посмотрела снизу вверх, из-за отсутствующих волос, обыкновенно распущенных или собранных в хвостик, она казалась ниже, чем обычно.

— Конечно, приду. Надолго здесь, кажется, застрял.

— Почему? Рассказывай, а то я все о себе да о себе. Интересно же было... когда-то.

— Было? В смысле — в прошлом?

— Нет-нет, я о своем. Мне интересно. Расскажи.

— За столом, — Рома помрачнел.

Снова молчали. Вернулись на кухню. Ввиду Машиного бездействия Ангарский сам разобрался с цветами: подрезал, поставил в пустовавшую вазу, выглядывавшую из стеклянной дверцы кухонного шкафа, иначе лилии так и были бы оставлены на подоконнике медленно превращаться в гербарий. Достали водку и хрусталь. В окне замаячил курьер с закуской — выпили по рюмке. Маша проглотила свои тридцать грамм, вся сморщилась с непривычки, в уголках глаз проступили слезы — зажевала горечь во рту засоленной веткой нераспустившейся сирени (Ангарский, чтобы произвести впечатление, заказал это грузинское соленье, с ним — сырные лодочки с яйцом и другую снедь, которая, впрочем, остывала нетронутой). Рома тут же опрокинул вторую рюмку — придерживался русской идиомы, гласившей, что промежуток не должен быть слишком большим — тут же у него развязался язык, и Ангарский стал без умолку болтать о себе: о том, что спирт его почти не берет, об инфернальном напарнике Вене, который ходит по пятам, как вшивый пудель за Мефистофелем, еще и водку постоянно подливает (а он, Рома, вообще-то, не пьет); про то, что всю работу на железной дороге его окружали китайцы, буряты — посланцы Востока, как царя Николая, строившего КВЖД. Рассказывал про лучшего друга Гришу Медяка, который в школе был незаурядным человеком, потом — подававшим надежды поэтом и писателем, а в итоге превратился в чуть ли не самого занудного представителя Роминого окружения. Друг теперь по телефону читает морали и пишет сценарии для детских утренников. Кстати, об утренниках, рассказал Рома и про суд — про то, как в последней попытке взять розовый замок из геометрических фигур его команду с позором выдворили на улицу, водрузив свой, противничий флаг, но они с адвокатом и компанией еще обязательно возьмут реванш.

Маша слушала друга вполуха, поглядывала на улицу в открытое окно — там в самой дальней точке перспективы детишки гоняли мяч, до кухни, с другого конца двора, долетал лязг резонирующей штанги, а в ближайшей точке перспективы невидимый теплый воздух трепал кремовый тюль. Маша опустила глаза и вдруг тихо заплакала.

— Ну чего же ты! — Рома поднялся, зашел к Маше со спины, не зная, как приласкать. Сначала просто положил руку на плечо, потом гладил шелковистую ткань халата, затем поднялся к макушке. Проводя шершавой ладонью по обритой голове Маши, Рома не мог отделаться от мысли, что треплет короткошерстного материнского мопса — такими же мягкими были Машины едва заметные волосы, теплые от все еще ароматной кожи (если подойти близко и принюхаться), пахнувшей действительно какими-то фруктовыми маслами или косточками (запах выкуренной сигареты наивно пытался вмешаться, но в первой же обонятельной схватке проигрывал и отступал на второй план). Рома одергивал себя: странные ассоциации шли вразрез с нахлынувшей нежностью. Чувства этого он давным-давно не испытывал, а теперь решил отдаться ему полностью. Он крепко обнял Машу, как бы защищая от тоскливого заоконного мира. — Все будет хорошо. Жизнь еще не проиграна.

— Ты прав, — Маша вдохнула воздух заложенным от слез носом и опрокинула вторую рюмку. — Нечего убиваться. Мне от хозяйки квартиры досталась смешная кни-

га. — Она даже погладила Рому по заштрихованной черными волосами руке. — Хочешь, покажу?

— Пошли, — Рома забрал бутыль и стопки, проследовал за Машей в желтую комнату. С подставки журнального столика была поднята увесистая книга в черной потрепанной обложке с золотым тиснением.

— «Декамерон», — известила Маша. — С картинками. Я на антресоли нашла. Книга была вся в пыли — оттерла, посмотрела картинки — была заинтригована, — она показала случайный разворот с голыми, кувыркающимися в своем средневековом алькове любовниками. — Я принялась читать. Оказывается, там такие же неудачники, как мы с тобой, собрались за столом и рассказывают друг другу истории с хорошим концом. Одна такая смешная была — обхохочешься: как священник дьявола в ад загонял. Слушай! — Маша налила третью рюмку, проглотила, уже не морщась, с характерным лязгом вернула бутылку на журнальный столик, сама уселась на диван, похлопала по пружинистой поверхности — позвала Рому. Она отложила японский комикс, раскрытый разворотом вниз, приобняла товарища, красного то ли от смущения, то ли от выпитого; положила тяжелый том на колени, оперлась на подушки и принялась читать непристойную новеллу самым высоким голосом, как в японском театре. Буквы прыгали в Машиных чуть раскосых глазах, она то и дело сбивалась — каждый раз искренне смеялась над собой, то трепала Рому по голове, то подливала и опрокидывала новую рюмку. Наконец отложила «Декамерона», не прочитав и трети новеллы, села Роме на колени, заглянула в глаза и поцеловала. Потом откинулась, держась за его угловатые плечи, рассмеялась и властным тоном скомандовала снять с нее халатик. Машина кожа ослепила Рому, показалась абсолютно белой, как лист бумаги, которым разве что можно было порезать голубые вены, едва выступавшие над этим чуть шершавым рисовым пергаментом. Вся белая с черными остриженными волосами и темно-темно-карими глазами, она походила на японскую черно-белую книжку с картинками, которую только что отложила.

<...> Когда все закончилось, Маша поднялась, накрылась халатом и долго стояла у окна, пытаясь поймать взглядом не прекращавший летать от ворот к воротам футбольный мяч. Солнце золотым яблоком прокатилось по двору и засобиралось восвояси. В окне виднелась геометрическая полоска поднимающейся с асфальта пыли — эту фигуру выхватывал из заоконного пространства солнечный луч. Маша снова заплакала.

Неразборчивый в чувствах Рома недоумевал: все только что было хорошо (высший пилотаж, как сказал бы романтически пошлый авиатор). Почему она снова плачет? Слез Ангарский не выносил.

— Ты чего? — он решил все повторить сначала. Принялся гладить Машу по спине поверх халатика, внимательно слушал. Слова в ее черных, угольных глазах превращались в слезы, которые хрустальными дождинками падали на паркет и ломали хрупкие спины. Маша жаловалась на подруг, на несложившееся личное счастье. «Зря когда-то говорила: „Не хочу ребенка“ — Бог услышал и забрал его к себе, туда, где всегда ждут». В один момент она снова села Роме на колени и буквально придавила его к дивану, но не целовала — плакала еще с полчаса, не давала пошевелиться.

Вечером позвонила Анна Семеновна осведомиться, где пропадает сын.

— Я у Гриши, — Рома знал, что Медяку мать доверяет, что имя друга, как кодовая фраза, убережет от ненужных расспросов. — Останусь до утра — столько надо рассказать: про суд, про будущие экзамены на электромеханика, — прошептал Ангарский, спрятавшийся в советской комнате.

— Пить небось будете?

— Не будем. Гриша не позволит.

— Ладно, — вздохнула мать, не поверив. — Позвоню ему позже, уточню.

— Старик, — Ангарский набрал Медяка. — Я у Маши, в Питере. Потом все расскажу при встрече. Если коротко, тебе мать моя будет звонить, спрашивать. Можешь сказать, что я у тебя ночую?

— Мальчику скоро двадцать пять, — ухмыльнулся Медяк. — Хорошо, не подведу. Развлекайтесь, — Гришины ядовитые усмешки, интеллигентное хамство раздражали Рому до чертиков, но главное, конспирация состоялась. Ангарский вернулся в желтую комнату. К вечеру Маше стало совсем плохо — жаловалась на живот, на головную боль. Рома приволок графин воды. Староста, как мотылек с поломанными крыльями, кружила по квартире, то запинаясь о порожки, то смеясь и хватаясь за стены, то снова впадая в уныние. Пока Рома говорил по телефону, она умудрилась выпить еще две рюмки и теперь в бессмысленном танце белой чешуекрылки, надышавшейся то ли эфиром, то ли угарным газом от костра, опаляющего тельце, плавящего и без того израненную плоть, не знала, куда себя деть. Рома по-хозяйски разобрал диван, застелил (уж чего-чего, раздавать и раскладывать белье умел) и уложил Машу спать, потом покурил в оконную щель — прервали (стали стучать по батарее) — и сам лег.

— Ничего, Маша, это все дурной сон, — приговаривал Ангарский, трепля Машину голову, похожую на черный одуванчик. — Завтра проснешься — станет легче, все пройдет. Заживем по-новому.

Маша всю ночь ворочалась. Иногда замерзала — ее знобило, тогда она жалась к Роме маленьким глупым птенцом, что сослепу искал потерянное гнездо, находил и успокаивался, примостившись на теплой груди Ангарского, мерно ходившей то вверх, то вниз. Иногда, наоборот, ей становилось жарко — резким движением она выбрасывала фарфоровую ногу наперерез прохладному комнатному воздуху, а потом сбрасывала и одеяло. Несколько раз последовательно разбуженный такими движениями, Рома уже не пытался уснуть: просто любовался Машей, трепыхавшейся на сбитой простыне до первых лучей, когда кто-то сверху солнцем снова забил гол в голубые небесные ворота.

Когда желтый теплый диск отразился в стеклах желтого квартала — тонких кристаллах этой населенной людьми каменной глыбы, а ненавистные вороны где-то вдалеке закаркали, Ангарский почувствовал невыносимую усталость, копившуюся в узлах тела последние двое суток, и все же на два-три часа задремал.

Снился Иркустк. Маленький Рома во дворе поставил подножку мальчишке Ване по кличке Вшивый и отобрал у него игрушечный паровозик. Ваня плакал, Рома ликовал. Потом пришли друзья Вшивого и силой вернули законную игрушку. Теперь кулачками слезы утирал Рома, грозился папу позвать. Все почему-то плакали.

Маша проснулась. Когда увидела сопящего рядом Рому, ее всю передернуло. Пошла на кухню, закипятила чайник, выпила крепкой заварки. Заквакал телефон, Маша подняла трубку: «Отпуск взял? Нет, приезжать не надо. Не жду. Надеюсь, никогда не увидимся», посидела с четверть часа, вернулась в комнату.

— Вставай, — грубо растолкала она Ангарского. — Тебе нужно идти.

Рома потянулся, распрямляя затекшие руки:

— С добрым утром, Машенька! Куда идти?

— Домой, Рома. Хватит, наигрались. Я сделала глупость. Наверное, ты сам это осознаешь, — слова прозвучали неласково.

От неожиданности Ангарский сел на край дивана.

— В смысле? — спросонья спросил он.

— Того, что здесь произошло, не должно было случиться. Виноваты оба: и ты, и я. Никаких претензий, Рома. Просто уходи.

В голове у Ангарского загудело: он не поспевал за составом Машиного настроения, то медленно поднимающегося по сети мостов в гору, то стремительно летящим вниз, теряющим вагон за вагоном.

— Машенька, ты о чем? — Рома начал мягко. — Что-то случилось?

— Случилось, Рома. Непоправимое. Я была очень зла на него. Да, неправа. Но вышло, что вышло. Теперь иди домой и, я тебя очень прошу, не ищи путей назад, не возвращайся. И не говори о том, что было, никому.

— Я тебя не оставлю, даже не сомневайся. Ничего не бойся, я с тобой, — Ангарский вытянул руки, как две параллельно идущие рельсы, убегающие вдаль, навстречу Маше, но Маша тут же по рукам ударила.

— Как ты не можешь понять? Мне противно. Не люблю я тебя. После вчерашнего и вовсе — презираю. Ты видел, что я в смятении, видел, что не владею собой, и воспользовался, — у Ангарского глаза на лоб полезли. Маша продолжала: — Что, надо дальше разжевывать? Виновата и я. Не могла простить Женю за то, что потеряла ребенка, думала, все из-за него. Если бы мы с Женей к беременности подготовились, если бы он был рядом... Но его не было. А я хотела отомстить. Что ж, отомстила. Только себе больно сделала. Как обычно. Собирайся, Рома, не мучай. Я дам тебе полчаса.

— Погоди, — Ангарский встал, — давай обсудим.

Но Маша снова плакала, продираясь мокрыми ресницами через пальцы, как через колючий кустарник. Потом она стихла, обернулась, посмотрела на Рому: глаза ее были красные, зрачки узкие, злые, налитые гневом. И Маша железным голосом закричала:

— Что тебе не понятно в слове «уходи»?

Ангарский спешно собрался, перекинул через плечо свой князь-мышкинский рюкзачок и, барабаня подошвами по бетонной лестнице, как горох, весь ссыпался вниз. Когда он шел по улице, согреваемой стареньким радиатором солнца, едва-едва работавшим — коммунальщики в мае убавили обороты, — в ушах все еще звенело, грохотало, лязгало. Машин крик, как пятидесятитонный вагон, пронесся по телу проводника, переломав все, что было внутри, разорвав все цепи, питавшие двигатель сердца. Рома бродил по дворам желтого квартала, курил, сердился. Если видел ворон, кучковавшихся возле помоек или разломленных корок плесневого хлеба, разбегался и набрасывался, распугивая всю стаю.

«Ненормальная, — бормотал он, — то поманит, то оттолкнет». Ночью, глядя на ворочавшуюся Машу, гнездящуюся у его ключиц, он был уверен: любит. Он даже подозревал: всегда любила, но обе сентенции оказались неправдой. «Мстит. Он, Ангарский, не объект любви, он — инструмент мщения в руках безумицы, которая сама не знает, чего хочет. Нет, за собой Ангарского в омут тянуть не надо. И сам он — не пес на поводке. В таком случае поводок можно было бы то ослабить, то к себе подтянуть, а на самого пса накричать. Но Роман Ангарский — человек, двуногое, и на задних лапах больше стоять не намерен (это, скажем, глупый Веня — пес, он бы заслуживал)», — Рома вышел на Лиговский проспект. Трамваи жужжали, как пчелы, и бегали по веткам рельс, мордами собирая пыль, как пыльцу. С проводов сыпались утренние звезды искр. Ангарский зашагал к себе. Путь предстоял неблизкий. Да и мерзко было. Утром он шел к Маше, чтобы обрести утраченное спокойствие, вернуться туда, где безопасно, где все еще играют Виктора Цоя на гитаре, ходят в кино, пекут печенье в форме паровоза, гуляют по тому же Лиговскому проспекту в погожий день. Не такой, как вчера, он хотел снова увидеть Машу: пьяной (она ведь раньше ни-ни), без волос, повторяющих пороги и поймы Ангары. Да и после ночи с ним, с Ромой, Маша как будто потеряла свое обаяние, загадку, убеждал себя проводник. Не чистоту — нет — она все еще оставалась

хрупкой японской куколкой, у которой слезы подобны черной туши. Была утрачена сакральность, причастность к некой тайне, недоступной Роминому уму все эти годы, а теперь вот так разом открывшейся в самой своей простейшей разгадке.

Ангарский шел. Зубной ряд цветастых домов щерился ему вслед, скалился. Одни зубы в этой улыбке были гнилыми, другие, напротив, подновленными, третьи — пломбированными, четвертые — протезированными. Всех их в ровном ряду удерживала проволока трамвайных путей, но не было рядом реки, какой-нибудь Фонтанки или Мойки, чтобы эту смеющуюся пасть прополоскать, обработать.

«А может быть, все-таки любит? — подоспела новая мысль. — И это все от неожиданности, с перепугу. Просыпаешься ты после пьяной ночи, а перед тобой человек лежит, который еще вчера был чужим. Которого ты за последние пять-шесть лет видела дважды. Может быть, она боится? Боится и того, что этот новый человек поступит, как все предыдущие — обманет? То обстоятельство, что Рома, якобы воспользовался ей — это ли в ее глазах не обман, не предательство? Нет, нужно было во что бы то ни стало поговорить», — трамвай едет в один конец и не может развернуться, резко сменить маршрут, поезд — тоже. Ангарский развернуться мог. И он развернулся и зашагал назад.

Через час с небольшим уже снова был у стен желтого квартала. Позвонил в домофон — не открыли. Дождался минуты, когда кто-то по своим делам выйдет из подъезда и, как сквозняк, просочился в щель от металлической двери. Быстро взбежал по ступеням. Снова позвонил. Не открыли. Еще раз позвонил. Раздались шаги. Дверь отпер рыжий бугай под два метра ростом с непропорционально маленькой головой и большими рабочими ручищами.

— Роман Ангарский, надо полагать? — спросил голос.

— Он самый, — возмутился Ангарский, переводя дыхание. — А вы кем бу... — удар. Сразу в лицо. В нижнюю часть и немного слева. Если бы Ромина физиономия была картой — в юго-запад. Рома отшатнулся, потерял равновесие и затылком налетел на какой-то щиток, зацепив холодный угол.

— Хватило наглости назад явиться, — рыжий Давид, отличавшийся от статуи Микеланджело неприлично деревенскими чертами лица и размером головы, которая была скорее слепком с Шемякинского изображения Петра Первого, нежели творением титана Возрождения. Рыжий казался незлобливым малым, но сейчас был не на шутку взбешен. Даже старался давить голос ниже, чтобы выглядеть более солидным, грозным.

— Мне с Машей поговорить надо, — Ангарский упрямо поднялся, занял оборонительную позицию, но тут же снова пропустил удар, на этот раз — в нос.

— Напрашиваешься, — донесся голос откуда-то издалека, надо полагать, из маленькой головы. Сознание Ромы поплыло, сделалось ватным. — Хочешь, чтобы я тебя всего разукрасил? Зубы хочешь пересчитать?

— Женя! — на лестничную клетку выбежала заплаканная Маша и схватила бугая за руку. — Не тронь, Рома ни при чем, — кривая улыбка диагонально пересекла маленькое овальное лицо детины. По бровям прошло подобие тика или судороги.

— Жалеешь? — спросил Женя. — Так молчать надо было, если жалеешь. А ему — идти бы себе с миром и мне на глаза не попадаться, — увидев испуганное лицо своей фарфоровой куклы, Евгений добавил: — Тебя не ударю, не беспокойся. Обещал, что руку на тебя не подниму — слово сдержу. Пусть тебе за него больно будет, — и зарядил оправляющемуся Ангарскому в солнечное сплетение. Проводник скорчился и сел на пол.

— Рома, — воскликнула Маша. — Ну зачем ты пришел? Я же сказала тебе: не возвращайся.

— На вас пришел посмотреть, — огрызнулся Ангарский, пытаясь отдышаться, вытирая с подбородка носовую кровь. — На настоящее семейное счастье.

— Не унимается, — Женя пошел на Ангарского. — Не хочешь уходить, я тебя с лестницы спущу, — было ясно: Женя надеялся на то, что Ангарский сам даст заднюю и сбежит, потому как самому бугаю с лестницы прежде спускать никого не приходилось. Но нужно было показать себя силачом, которым движет возмездие. А возмездие действительно кипело в крови, шипело в складках напряженного узкого лба.

— Женя, ты ему руку сломаешь, — не унималась Маша.

Деревянная дверь соседней квартиры заскрипела и отворилась, на лестничную клетку, шлепая, вышла пенсионерка в одной какой-то цветастой тряпке, от которой пахло сыростью. Груди, не прикрытые ничем, кроме этого бесформенного отреза ткани, свисали до колен.

— Я сейчас милицию вызову, — зашипела она. — Разбирайтесь на улице, тут люди живут.

Евгений с силой толкнул пытающегося подняться Ангарского (тот снова сел) и молча захлопнул дверь в квартиру, увлекая Машу за собой.

— Алкашня! — бабка тоже захлопнула дверь к себе.

Ангарский спустился вниз по лестнице. Голова кружилась. «Наверное, легкое сотрясение», — подумал он. Подташнивало, челюсть ныла.

Бежать! Проводник был движим вовсе не любовью к перемене мест, какой некогда был движим его отец, переехавший в Иркутск. Рома намеревался укрыться от позора, от несостоявшегося на финских болотах счастья. Прочь от еще одной мечты, закончившейся грубым надругательством над мечтателем. Как Веня, прячущийся в собственные ладошки, проводник бежал куда-то, где безопасно, где тепло и где есть рассеянный свет матовых ламп. Разумеется, выбор пал на вокзал. Не Московский — Ладожский. Стеклянное здание напоминало три арочных пролета Глазковского моста (из четырех возможных), с водруженными сверху крышечками суффиксов. Напуганным тараканом Рома забился в эту стекляшку о трех остриях, в буфете выпил. Потом еще и еще. Купил билет до Иркутска с пересадкой в Москве. Поезд отходил вечером. Хотелось до отъезда с кем-то поговорить. По-мужски. Но с кем-то, кто не осудит, кто не упрекнет в слабости характера, в неспособности дать сдачи рыжему бугаю, на кулаках бороться за свое счастье. С Медяком. Он такой же, он поймет. Рома достал телефон. На заблокированном экране, как зеленые кувшинки victoria regia, способные выдержать человека, висели плоские подносики сообщений от Гриши. Ангарский поднес телефон к носу, чтобы разглядеть плавающий текст.

В первом сообщении значилось: «Рома, ты бы ко мне зашел. С кредитами твоими надо разобраться. У меня сегодня с утра пораньше были коллекторы». А второе сообщение Ангарский и читать не стал. «Скупердяй! Друг в беде, а он заплатить не может. Иуда! Человек крушение потерпел (в который раз!), а Медяк все о деньгах думает, когда надо о пропащей душе», — Рома со злостью засунул телефон поглубже в карман и вернулся в буфет. Средства заканчивались. Выпив еще то ли тридцать грамм, то ли шестьдесят, проводник по самоходным лестницам вокзала, изнутри напоминающего готический черно-белый кафедральный собор, спустился вниз, в магазин, и взял еще поллитровку в дорогу. Деньги закончились вовсе. В полубреду Ангарский упал на ребристую скамейку в зале ожидания, поставил бутылку подле себя, что-то пробормотал под нос, точно причистился, откупорил, выпил и задремал.

Очнулся уже в поезде — не помнил, как сел, как добрел до своей полки, много ли уже проехали. Открыл рюкзак, нашел сигареты и почти целую поллитровку. Голова

кружилась. Тем не менее, блюдя этикет, Ангарский на неслушающихся ногах побрел искать угол, где можно было бы укромно выпить, а главное, покурить. В одном из тамбуров створка механических дверей не работала и была в качестве предупреждения для нерадивого пассажира подоткнута деревянной шваброй. На металлической стенке висело еще одно предупреждение: «Опасно для жизни. Не подходи».

«Пятый вагон», — сообразил Ангарский. Он проводником ездил на этом составе. Отличное место, чтобы покурить. Рома зажег сигарету о круглое приплюснутое пламя зажигалки, как о маленькую звездочку, о маленького красного карлика. Другие — настоящие недоступные небесные звездочки — то и дело моргали вдалеке, манили к себе. Из открытой створки тянуло сыростью и прохладной влагой летней ночи. Влага оседала на металлических конструкциях вагона и превращалась в конденсат. Из сигареты в легкие, напротив, тек горячий кислый дым. Когда эти два потока, холодный и горячий, встретились, Ангарский закашлялся и заглушил кашель водкой. Он стоял с бутылкой в одной руке, с сигаретой в другой, с открытым рюкзаком за спиной и, покачиваясь, старался внимательно изучить рентгеновский снимок ночи. Сознание убегало все дальше и дальше, опережая поезд, идущий по игрушечному Бруклинскому мосту прямиком в Иркутск.

Вдруг — знакомый голос:

— Ангарский, здесь курить нельзя! Сам знаешь.

— Отстань, Веня, свои, — Рома ничуть не удивился очередному появлению докучливого напарника. Только разозлился: «Опять морали читает». Гудящей, как поездной двигатель, головой Ангарский не мог додуматься, что Веня не работает на этом направлении, а в Петербурге никогда не был. Но даже если бы сейчас удалось на несколько минут скрепить разбитый витраж сознания, проводник вряд ли бы смог наверняка сказать, где сейчас находится. Между Петербургом и Москвой? Или, может быть, поезд уже проезжал совершенно иные места?

— Закон един для всех, Ангарский, — промычал Веня. С полминуты он стоял в нерешительности, потом выхватил сигарету из Роминых пальцев и нервным жестом выбросил окурок в незакрывающуюся дверь.

— А ты не умничай, — Рома рассвирепел. — Невиданная наглость! Ишь, чего нахватался, — на стыке слов «ишь» и «чего» у проводника получилось что-то вроде сочетания «ть» и «ф», образующих «ифтьфево». Он пощупал языком зубной ряд — обнаружил пробоину.

— Ты бы завязывал пить, — сочувствующе прогундел Веня. — Выглядишь плохо. Дикция хромает.

— Вот это Америку открыл, Христофор Колумб! — Ангарский только сильнее заводился. — Конечно, хромает, мне челюсть вывихнули. Еду домой раны залечивать. У тебя вон дикция всю жизнь хромает, и ничего же, — вдруг — пощечина. Прямо по тому месту, где уже синела шишкообразная гематома. Ангарский приложил руку к ноющей щеке. — Ты чего это, Веня?

— Прости, Ангарский, — Веня попятился. — Ты сам сказал в морду бить, но унижений не терпеть.

Рома побагровел. Челюсти работали, как поршни паровоза, постоянно двигая скулы вверх-вниз. Лицо проводника, его левая часть сегодня уже дважды подверглась нападению. Причем нападению со стороны каких-то двухметровых истуканов, непробиваемых болванов, хамов, не людей — пресмыкающихся, ввиду глупости своей недостойных передвигаться на двух ногах. Рома не разделял мудрости «Если ударили по левой щеке, подставь правую». И если Евгения еще можно было как-то стерпеть, оправдать

по принципу сильного, то Веню — никогда. Этого шелудивого пса, всегда путающегося под ногами, надо было проучить, чтоб знал, каково это: хозяйскую руку кусать.

— Сейчас я тебе продемонстрирую, как в морду бьют, — все еще красный Ангарский, сдерживая подступавший порыв тошноты (поезд качало, вчерашний удар в череп сказывался), засучил рукава.

— Не надо, Ангарский, я буду защищаться, — Веня в панике схватил деревянную швабру, перекрывающую проем автоматической двери. — Тебя тогда точно посадят.

— Продолжаешь умничать? Я из тебя дурь выбью, — Ангарский попытался зайти со спины, но Веня, закрыв глаза, отмахивался деревянной палкой. Сначала засадил напарнику в висок, потом ударил по рукам. Водочная бутылка выпала и разлетелась.

Веня опустил швабру. Он стоял глупый и растерянный. Когда Ангарский поднял свои злые, совсем как у Маши, глаза, он резким движением выхватил палку из рук напарника, отбросил в металлическое пространство тамбура. Швабра грохнулась с лязгом.

— Как ты мне надоел. Как вы все мне надоели, — Ангарский наступал на Веню. Напарник пятился, пытался оттолкнуть Рому — тщетно. Проводник покачнулся и схватил Веню за грудки, но поднять не мог: детина был на голову выше. Если бы разогнулся — стал бы выше на две.

Ангарский размахнулся и ударил Веню в лицо. Несильно — из соображений профилактики и отмщения, — но ударил. Веня, значительно превышавший массой проводника, как тупорогий бык, почувствовавший инстинкт самосохранения и, кажется, не осознающий происходящего, всем корпусом навалился на Ангарского и выпихнул из вагона в открытый дверной проем.

Падение. Треск щебня. Перед взором угасающего сознания мелькнула длинная полоса белого света, потом еще одна вспышка — еще одна узкая полоса, то ли горизонтальная, то ли диагональная, и все закончилось.

* * *

После известия о несчастном случае Медяк не находил себе места. Почему Рома первым делом пошел к Маше, а не к нему? Почему на следующий же день сам Гриша не бросился искать товарища, почему хотя бы не вызвонил? Почему по веселому тону в трубке наивно был уверен, что незадачливый романтик нашел с Машей общий язык, что их лучше оставить наедине? Приехал бы, вмешался, и Рома тогда, может быть, остался жив. Еще Гриша винил себя в том, что в последнее время вообще редко звонил Ангарскому: все занят был своей писательской халтурой. Четыре дня Медяк пролежал с температурой, в ознобе, а потом будто кто-то схватил его, поднял на ноги и вытащил из забвения. Гриша почему-то (то ли от пережитых треволнений, то ли по природной наивности, которой страдал и его друг) решил, что все случившееся — знак свыше, данный ему, Медяку, чтобы он направил свои творческие усилия в нужное русло. Если бы речь действительно шла о реке, это было бы русло Ангары, поверхность которой «влажна, как девичья кожа, и пахнет фруктовым маслом, мурашками покрывается, если рукой провести» — Гриша помнил эти слова. В них было больше красоты, чем во всем неустроенном быту безвременно ушедшего друга. Вообще Рома был склонен к поэтизированию. «Из иных реплик вышли бы неплохие стихотворения в прозе, — думал Медяк. — Жаль, он так ничего и не записал. Набранные полстраницы текста не в счет».

Гриша почему-то решил, что в качестве дани памяти друга он может помимо каких-то очевидных вещей, связанных с поддержкой Анны Семеновны, организации по-

хорон, написать об Ангарском книгу, жизнеописание, о котором проводник так мечтал. Приступив месяца через три, когда первый ужас и отчаяние уступили место осознанию произошедшего; когда мысли перестали сходиться в одну точку — точку смерти друга, а, напротив, как железная дорога, пошли прямо и параллельно; когда режущая плоть, как острое поездное колесо, душевная боль превратилась в перманентно ноющий комок где-то под ложечкой, Гриша впервые со времен школьной скамьи сел работать за идею, а не за деньги.

Наводя справки, он был крайне удивлен, когда узнал, что никакого напарника Вени не существовало и в помине: Рома работал в паре с Алексеем. Но как живо в разговорах друг описывал ему, Медяку, свою больную фантазию, точнее, ее фантома — докучливого коллегу Вениамина Томи. Что это было? Белая горячка? Какое-то психическое нарушение? Пьяным выпал из вагона. Конечно, белка. Еще пришло осознание, что друг был — помимо того, что болен — нелюдим и одинок. Придумать целого человека, совсем как живого! Уму непостижимо. Нет сомнений: Ангарский все это время говорил с самим собой. Но почему? Неужели себя недолюбливал так же, как всех людей, его окружавших?

В получившемся опусе о друге было много филологической чуши, затыкавшей каждое слабое место, вроде «Еще Набоков в „Машеньке“ говорил: к прошлому нельзя вернуться», или попросту литературной пошлости: «Ерофеев познакомил Романа с водкой, а водка сгубила Романа», наконец, «Под этим знаком трагически оборвалась жизнь человека, который так и не выучился на электромеханика, которому навсегда суждено было остаться проводником». Зато в книге была любовь. Настоящая — не вспышка, которой покойник то и дело ослеплялся (так считал Гриша), а чувства. Сам Медяк до сих пор никого по-настоящему не любил (не встретил еще). Был замечен в связях, интрижках, но на то самое большое слово «любовь» не претендовал. Однако подумал: пусть хотя бы в книге будет. Что любовь из себя представляет, Медяк подозревал, поэтому с описанием справился. Где не хватило опыта — добавил фантазии. Коллеги по писательскому цеху книгу приняли тепло, и Медяк продолжил писать художественную прозу. Ни часу больше не хотелось сидеть в рядах функционеров.

А жизнь потекла дальше, не сбавляя обороты, только набирая ход бешеными скачками. Анна Семеновна перенесла то ли микроинфаркт, то ли микроинсульт, который, к счастью, привел всего только к параличу лицевого нерва, но рот ее навсегда скривился хмурой галочкой. В обыденный маршрут раз в неделю, по воскресеньям, добавилась еще одна точка — посещение церковной службы. Медяк заходил к Анне Семеновне, помогал, чем мог, читал главы из книги о сыне, вносил правки, обещал: обязательно будет экранизация, кинофильм, и Анна Семеновна еще раз сможет узнать Рому, пусть даже в лице совершенно чужого человека — актера, исполняющего роль.

Маша Дубровкина после ряда ссор, истерик, перипетий и полугодового лечения все же помирилась с Евгением — вместе они обрывали телефоны служб психологической помощи, ходили на семейные занятия по преодолению конфликтов — пытались склеить треснувший стеклянный шарик совместного быта. Помогло это, или просто две мятущиеся души, не выдержавшие одиночества и разлада, примирились — не так важно: через год Маша все-таки вышла замуж за Евгения. Воленс-ноленс они были счастливы — совсем как завещал проводник Ангарский.

Борис КОВАЛЕВ

ИСКУССТВО АРЬЕРГАРДА

МАРШ ШЕРМАНА К МОРЮ

Шерман шагает к морю. Поступь его тверда.
В сумке под сердцем путевка и два билета.
Поезд отправится скоро: сейчас или никогда.
Планов надежней нету, чем план на лето.

Пересекает весь Краснодарский край,
Смотрит в окно и поклясться готов на Торе:
Если не рай это, где тогда будет рай?
Дальше автобус, Абхазия, санаторий.

Может, расщедрится и наконец возьмет
Комнату с видом на море, с балконом, с ванной.
Люксовый номер советской гостиницы «Взлет»
Станет его прорывом, его саванной.

Вечером Шерман вглядится в морскую гладь,
Помнящую Ахилла и Одиссея,
И до утра останется постоять,
Волны вдыхая, от соли морской седея.

Может, подумает Шерман, все было зря,
Битвы, карьеры, сутолоки, интриги,
Вся эта подлая, пресная, прелая пря,
Кассы, квартплаты, очереди, блицкриги?

Были напрасны свадьбы для дочерей,
Место для сына, дискуссии о кошерном...
Шерман выходит к морю. К лучшему из морей.
И умирает старый вояка Шерман.

Борис Вадимович Ковалев родился в 2000 году. Член Союза писателей Санкт-Петербурга, ассистент кафедры романской филологии СПбГУ, переводчик с испанского языка. По образованию филолог-романист. Автор сборника «Формальный метод» (2021) и книги стихов «Ахиллесова пьета» (2025). В 2023 году вышла в свет монография «Имя в прозе: очерки по номинологии». Переводы и рецензии также публиковались в журнале «Иностранная литература» и в альманахе «Отражения». Победитель международного конкурса переводчиков им. Э. Л. Линецкой (2020) в номинации «Художественный перевод с испанского языка (поэзия)», лауреат XII Международного молодежного поэтического конкурса им. К. Р. (2022).

ИСКУССТВО АРЬЕРГАРДА

Я не читал древнейших книг
И знать не знал про Леонардо,
Но если что-то я постиг,
То лишь искусство арьергарда.

Расти, как вверх растет побег,
К земле все ближе прирастая,
И падать, как весенний снег,
За пару дней до Первомая.

Занять свой предпоследний ряд
И от снаряда уклониться,
Пока вокруг все говорят,
Молчать, как белая страница.

И не искать стихов в себе,
Но находить себя стихами,
Писать — но только о себе
И только чуждыми стихами.

Как заведенный, повторять,
Но никогда не повторяться
И, сдунув клоунскую прядь,
Перепаясничать паяца.

А если петь — то как рапсод,
Без накладной бородки барда.
И всех тогда переживет
Мое искусство арьергарда.

ЗИМНЯЯ ПЕСНЯ ОБ ОСЕНИ

Одна студенческая осень
на ум приходит, словно старость,
и бьет она озимых оземь
и рвет все, что от них осталось.

Приходит, шаркая ногами,
сгибается над белым полем
и, словно по минорной гамме,
идет, грозя серпом-бемолем.

И эта шалая старуха
мне портит песню, портит зиму
и шепчет гаденько на ухо:
«Ты не пройдешь, подонок, мимо,

ты бросил, как бросают оземь
репей, цветы своей любимой,
и вот студенческая осень,
как смерть, опять проходит мимо.

Ей под снегами колоситься
и надо льдом расти осталось,
пока на белую страницу
осенний цвет наносит старость».

И я, не верящий погоде,
слежу внимательно за нею:
ни молодых сыграть мелодий,
ни тронуть старых струн не смею.

АПРЕЛЬ—МАЙ
(триптих)

* * *

Хуан Боскан танцует вальс-бостон
и нас на танцплощадку приглашает,
но даже на мотивчике простом
наш музыкант неистово лажает.

Хуан Боскан, зачем мне твой бостон,
зачем мне эта мелочь, эта малость:
твой плавно в крик переходящий стон —
неужто это все, что мне осталось?

Неужто этот несуразный вальс,
что длится меньше жизни самой мелкой,
и я уже давно протанцевал
иль просидел не Сидом, но сиделкой?

Закончил я незавершенный такт,
три четверти прошел до половины:
беспочвенный литературный факт,
Волшебная гора — но без вершины,

Волшебная гора — но без Венеры,
один бесцветный сумеречный лес,
тяжелый рок очередной премьеры:
лишь занавес упал — и я исчез.

И вот, как бес, — танцую и хромаю,
и не пою, как без Полеля Лель.
Но как теперь быть без апреля маю?
Спроси меня — и даст ответ апрель.

Люллианское

Апрель закончился — и скоро кончусь я:
последний крик на старом минарете.
Весенние границы бытия
вдруг сократились до центральной трети.

Ни миновать, ни миловать, ни вновь
рождать Лаур, Гиневр и Беатриче,
чтоб не платить любовью за —
здесь пауза, цезура — безразличье.

Рамону Льюлю парен не Полель,
не божество, достойное июля,
поскольку миром правит параллель
логических машин Рамона Льюля.

Здесь нет пересечений, нету пар.
Нас не на пары делят, а на трети —
и Дух Святой преобразился в пар,
слетевший с уст на старом минарете.

Зачем тут жить? Мечтая о покое?
Чтоб одному однажды умереть?
Здесь даже сам Господь — Один и Трое.
И мне одна весны осталась треть.

Между Ахматовой и Рубеном Дарио

Ты все теперь переживешь —
все, даже ветхие скворешни,
и даже воздух, воздух вешний
с собой навеки заберешь.

Ты счастлив был — на самом деле,
сухой ученый-бюрократ.
Ты был и ветер, и закат —
последний в нынешнем апреле, —

и стук истертых каблуков,
и сероватых облаков
лиловая, седая синь.

Как поцелуй на Миллионной,
запомни жизнь такой, влюбленной.
И проживи ее. Аминь.

Вера ЗАМЫСЛОВА

ПОВЕСТЬ О ПОТЕРЯННОМ СМЕХЕ

Это не сказка, но и не быль, не возлюбленное фантазерами фэнтези, но и не реальность, возлюбленная реалистами, и если в классификации жанров для этой прекрасной повести нет точного определения, «места в столбиках», клетки для этой Птицы, то оно совершенно определенно нашлось в моей душе и останется там навсегда.

Эта правда про одиночество, правда о тех, кто искал и не нашел, о мечтателях, замечтавшихся в мире, полном несбывшихся надежд, о тех, кто устал искать, но не сдался, это правда о храбрости не погаснуть среди горьких обид и нестерпимой боли потерь, это правда о вере, надежде и любви.

Соломон говорил: «И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль» — это так, но и в согласии с этим остается улыбка отчаянных, смех отважных, радость несмирившихся, жажда жить. Так давайте не разучимся смеяться, мечтать и любить!

Саша НИКОЛАЕНКО

Наконец сновидения сделались его жизнию, и с этого времени вся жизнь его приняла странный оборот: он, можно сказать, спал наяву и бодрствовал во сне.

Н. В. Гоголь. Невский проспект

Смех — это внутренняя свобода.
Человеку нужен смех, как цветку — солнечный свет.
У него отсутствовал талант быть счастливым.
Он имел привычку все объяснять и разлагать на части, даже свои собственные чувства.
Но, право, верь, смех означает: человек не зверь.

Джеймс Крюс. Тим Талер, или Проданный смех

Госпожа N не могла точно определить, когда это с ней случилось: ей казалось, что оно, ее превращение в кого-то другого, происходило постепенно.

Раньше Госпожа N была веселой и, можно сказать, даже открытой миру и легкой на подъем. У нее было много подруг, каждую из которых она совершенно искренне считала лучшей. Она любила праздники, радовалась подаркам и с удовольствием ходила в гости. Единственное, пожалуй, что оставалось общим у прежней Госпожи N с нынешней — это любовь к чтению. Но и это весьма условно: раньше Госпожа N чи-

тала книги не то чтобы легкомысленные, но все же не самые сложные, а теперь все больше какие-то научные труды и серьезные романы.

Первым, что изменилось в Госпоже N, были ее руки — вернее, это было первым, что она заметила. Раньше ее пальцы были средней длины и с широкими ногтями, а теперь вдруг резко вытянулись, удлинились и как-то постарели, хотя Госпоже N было не так уж много лет. Вслед за пальцами изменились и плечи: они стали угловатыми и острыми, как у подростка, но это ничуть не уродовало Госпожу N и даже наоборот — украшало. Ее волосы вдруг стали на несколько тонов светлее, хотя она всю жизнь была русой и на солнце ее волосы никогда не выгорали (даже если она нарочно мазала их лимонным соком). Посветлела и ее кожа: с самого детства Госпожа N была румяна и краснела от малейшей духоты, а теперь стала белой, как будто ее посыпали мукой.

Но одними лишь внешними изменениями дело не кончилось: руки Госпожи N стали жить своей собственной жизнью, как будто у них появилась отдельная душа. Госпожа N, прежде очень сдержанная в жестах и всяческой пантомиме, теперь стала все время что-то изображать руками, изгибая пальцы подобно древесным корням. Изменился и ее почерк: прежде небрежный и какой-то детский, он стал изящным и острым, хотя стараться во время письма Госпожа N совсем перестала.

Помимо этого, ее руки стали рисовать. Госпожа N никогда этого не умела, но вдруг они стали сами собой набрасывать на полях тетрадей, документах, страницах книг и даже салфетках весьма странные рисунки, значение которых порой не могла расшифровать даже сама Госпожа N.

У нее изменился голос. Вернее, теперь у нее их стало как будто два: первый — низкий и резкий, уверенный, напирающий, а второй — скрипучий и манерный, со вздохами и перепадами, и сменяли они друг друга так внезапно, что даже сама Госпожа N удивлялась.

С подругами Госпожа N разошлась, причем внезапно и, наверное, грубовато — сама она этого не понимала и никакой вины не чувствовала, хотя понимала, что надо бы. Но это чувство — чувство вины — вдруг выключилось, отмерло в ней. Она перестала приходить в гости и на дни рождения, даже если очень настойчиво приглашали, перестала смотреть кино и вместо этого еще больше углубилась в книги. А когда настал очередной ее день рождения, Госпожа N вдруг поняла, что той безусловной, летучей радости, от которой не можешь уснуть и вскакиваешь в пять утра, чтобы скорее бежать открывать подарки, больше нет.

Изменились и пристрастия Госпожи N: например, она, прежде не любившая сумочек, вдруг стала всюду ходить с ридикюлем из фальшивой крокодиловой кожи на щелкающем замке, доставшимся ей по наследству от бабушки. Фальшивость этого ридикюля нисколько не заботила Госпожу N, потому что он был старинным — а значит, все-таки имел некоторую ценность. К тому же таким образом Госпожа N выражала свою солидарность с крокодилами (а экология и всяческие благородные идеи оказывали на Госпожу N огромное влияние). Она вообще любила, чтобы, например, на соевом соусе было написано по-японски, а на спагетти — по-итальянски, при этом и то и другое произведено могло быть в Краснодаре или Свердловской области: подобные мелочи уже не имели для Госпожи N никакого значения.

Но самым главным было то, что у Госпожи N пропал смех. Когда кто-нибудь шутил, она сдержанно улыбалась и говорила: «смешно» или «забавно», но смеяться больше не могла — даже своим собственным мыслям.

Она пыталась вернуть свой смех: ходила в театр на комедии, смотрела французские фильмы и даже глупые юмористические передачи по телевидению, которых терпеть не могла, но все было тщетно — смех не возвращался.

Причина всех этих изменений не была до конца ясна ни самой Госпоже N, ни окружавшим ее. Ее ближайшие родственники, которые знали ответы на все вопросы и для всего находили решение, считали, что все дело в одиночестве Госпожи N: ведь она, как говорилось в ее любимом фильме, «была, увы, не замужем». При этом сама Госпожа N отнюдь не считала, что «увы», а вот ее ближайшие родственники были в этом твердо убеждены.

Госпожа N много-много лет ждала одного-единственного своего человека и была уверена, что растрачивать себя на кого попало — дело неблагородное. Терпения ей было не занимать, и торопиться ей было некуда: Госпожа N знала, что если любишь, то непременно когда-нибудь дождешься, если любишь, то полюбят и тебя — а своего неведомого человека она любила отчаянно и беззаветно.

У этого неведомого человека было свое лицо, свой образ, свои привычки: Госпожа N любила отнюдь не что-то абстрактное и, в отличие от еще одной героини своего любимого фильма, ждала не безликого кого-то, а вполне конкретного человека, имя которого ей было пока неизвестно.

Ее ближайшие родственники догадывались об этом, но относились скептически и постоянно пытались с кем-нибудь ее свести, кого-нибудь подсунуть. Но Госпожа N смотрела сквозь всех претендующих на нее и ее жизнь, не желая отдавать ее кому попало.

Сама она видела причину своего превращения в кого-то другого именно в приближающейся встрече со своим таинственным человеком. Госпожа N прекрасно понимала, что ничего в жизни не дается просто так и что за все приходится платить — и если за долгожданную встречу с одним-единственным человеком нужно было расстаться со смехом, она охотно была готова сделать это. Так и случилось: спустя всего несколько недель с ней случилось первое удивительное происшествие — а точнее, ей приснился сон.

* * *

Сон Госпожи N

Все вокруг заволокло туманом, воздух был сырым и холодным. Госпожа N гулко ступала по гранитной набережной, и от реки ее не отделяли ни ограда, ни парапет: вода выплескивалась из тумана прямо на камень.

«Я как ежик в тумане, — подумала Госпожа N. — Сейчас встречу какую-нибудь лошадь, сову или вообще рыбу... Какая же там была рыба — ну та, которая везла ежика на спине? Мне всегда казалось, что это сом».

И тут же Госпожа N наткнулась на чью-то спину — туман вокруг слегка рассеялся, и она увидела человека. Человек этот был не слишком высоким, но и не слишком низким, очень худым и вытянутым к небу. Одет он был в черное пальто, черные брюки, черную кашемировую шапку и вязаный зеленый шарф, а на ногах у него были ботинки из крокодиловой кожи. «Настоящая, — подумала Госпожа N, — не то что мой ридикюль».

— Здравствуйте. Что вы здесь делаете? — спросила она у человека.

— А что может делать тот, кто стоит на краю и смотрит на воду? — равнодушно ответил ей человек. Голос у него был не высокий и не низкий, а такой, какой бывает у очень давно курящих женщин.

— Вы пришли топиться, — догадалась Госпожа N.

— Ну да, — просто ответил человек.

— А зачем? Простите за столь личный вопрос, но я никогда не понимала, зачем люди до срока заканчивают жизнь.

Человек задумался. Все это время он стоял к ней спиной, и она так и не увидела его лица.

— Я даже не спрашивал себя об этом — наверное, для меня это всегда было очевидно. Вода, а точнее сказать — река забрала у меня всех, кого я любил: моего брата и Ее, потом от горя умер мой отец, вслед за ним — мама... Я похоронил их там, за рекой, под рябиной, а сам остался здесь, и никогда мне не переступить, не переплыть эту реку, на которую я каждый день и каждую ночь смотрю в свое окно. Зачем я живу, скажите мне? Ведь я не живу даже, я существую. Я ничего не чувствую и почти ничего не слышу: врач сказал мне, что мое левое ухо оглохло почти на сорок процентов! Я больше не могу смеяться: все те, с кем я мог бы это делать, теперь там, — и он кивнул в речной поток. — А смеяться одному, знаете ли, все равно что одному пить.

Обычно в устной речи не слышно, с какой буквы — большой или маленькой — начинается слово, но Госпожа N отчетливо слышала, что человек произносил слово «Она» именно с большой буквы — ведь во сне действуют законы, противоположные жизненным.

— Мне очень жаль, — сочувственно ответила Госпожа N. — Не знаю, утешит ли это вас, но я тоже не могу смеяться.

— И вы потеряли смех? — удивленно спросил человек. — Что ж, тогда, я думаю, мы с вами еще можем спастись, если вместе сделаем шаг назад от края.

Госпожа N протянула ему руку, но он не повернулся к ней.

— Почему вы прячете свое лицо?

— Так надо — мне интересно, сможете ли вы узнать меня там, в обыкновенном мире, не зная моего лица, лишь по голосу.

— И имени своего вы мне тоже не скажете?

— Нет, не скажу: еще рано. А завтра вы приходите на набережную и ищите меня.

Сказав так, человек ушел, растворившись в тумане, а Госпожа N осталась стоять на краю, глядя в мутную воду.

* * *

Проснувшись следующим утром, Госпожа N поняла, что это был он — ее единственный человек. От волнения у нее тряслись руки: она не могла поверить, что то, чего она ждала всю свою жизнь, наконец-то свершилось.

Наугад выхватив из шкафа первую попавшуюся под руку одежду и побросав вещи в свой ридикюль, Госпожа N выбежала из дома и широким шагом отправилась к метро.

Улицы пустовали, и только редкие утренние прохожие удивленно смотрели ей вслед: было так рано, что никто даже еще не шел на работу.

Госпожа N имела привычку, идя по улице, смотреть на свое отражение в стеклах витрин: так она пыталась отстраниться от себя, взглянуть со стороны на свою оболочку и оценить ее. В то утро оболочка совершенно не соответствовала душевному состоянию Госпожи N: волосы ее были растрепаны, одета она была в старенький спортивный костюм и замызганную курточку, ботинки перед выходом почистить не успела, и поэтому они были грязными, как у какого-нибудь рабочего, укладывающего асфальт. «И опять я все сделала не так, как принято: нормальные женщины, когда идут на свидание с тем, кого любят, всегда наводят марафет, рисуют себе лицо, надевают эти жутко неудобные туфли на шпильках... Но что же я могу поделать, если я все это не люблю, если мне это даже не приходит в голову?» — подумала Госпожа N.

В метро она разглядывала лица людей, снующих по узким коридорам-переходам от одной линии к другой, как хомячки по прозрачным трубам, и пыталась среди них усмотреть лицо человека из сна — лицо, которого она не знала, но непременно бы увидела среди прочих. Больше всего Госпожа N боялась даже не просто не встретить его, а заметить в последний момент где-нибудь в закрывающихся створках вагона (тогда

его глаза непременно были бы перечеркнуты надписью «Не прислоняться») или проносящимся на бешеной скорости в окне другого, соседнего поезда, который так близко, но так далеко — в метро все ускорено и отдалено одно от другого в тысячу раз сильнее, чем на поверхности.

От волнения Госпожа N стала щелкать замочком своего ридикюля в такт уханью колес, чем очень раздражала сидящего рядом Господина в сером костюме и бобровой шапке. Ей одновременно нестерпимо хотелось смотреть в эти злосчастные окна, чтобы не пропустить человека без смеха — и не смотреть, чтобы, упустив его, не огорчаться. Обычно, сидя в метро или ином транспорте, Госпожа N читала, но в то утро ей никак не удавалось сосредоточить свое внимание на страницах, и буквы разбегались с них, складываясь в ее голове в одно-единственное словосочетание: «Человек без смеха».

Путь к набережной пролегал через проспект. Из-за раннего часа он был пуст, и только изредка мимо Госпожи N проносились автомобили. Госпожа N, впрочем, не обращала на них внимания: она смотрела то себе под ноги, словно загипнотизированная орнаментом тротуарной плитки, то в стекла витрин магазинов, аптек и всего остального, чем готов порадовать искушенного потребителя любой проспект.

Через некоторое время Госпожа N по тихой улочке, где еще не погасли фонари, вышла на набережную. Река была спокойна, а дорога — пустынна, так что Госпожа N, опасливо посмотрев направо и налево, перебежала ее на красный свет: светофор, несмотря на отсутствие какого-либо дорожного движения, невозмутимо мигал то красным, то зеленым глазом, регулируя невидимый поток.

Вокруг было удивительно много ворон — столько, сколько Госпожа N еще никогда не видывала. Вороны были в небе, прогуливались с важным видом по бордюрам, сидели на скамейках возле подъездов, как старушки-сплетницы, клевали что-то в траве... Госпожа N любила ворон.

— А человек без смеха очень похож на ворону: каждая ворона таит в себе тайну, — задумчиво сказала Госпожа N, пристально наблюдая за одной из них.

Госпожа N спустилась по гранитной лестнице на причал, у которого стояло какое-то плавательное средство со стеклянным куполом: это был давно не действующий ресторан на воде. Госпожа N толкнула калитку ограды, отделявшей пристань от судна, — калитка со скрипом отворилась, и Госпожа N несмело ступила на палубу.

На палубе лежали скрученные корабельные канаты, возле них стояли летние столики и кресла из легкого пластика. Госпожа N опустилась в одно из кресел, улыбнулась и посмотрела вдаль: перед ней простиралась река, на набережной горели фонари, вдали громыхал по мосту поезд. «Или по поезду — мост, если смотреть на отражение в реке», — подумала Госпожа N и сама удивилась странности своей мысли.

Госпоже N вдруг сделалось так хорошо и спокойно на душе, что она уже было хотела достать из своего ридикюля книгу, но вдруг услышала, как кто-то постучал в стекло: обернувшись, она увидела, что в окне капитанской рубки стоит лысый человек с суровым лицом. Не горя желанием вступать с им в беседу, Госпожа N поспешила покинуть судно.

Отойдя на безопасное расстояние, она расположилась на скамейке. Теперь ей был виден другой берег: лес, какие-то дорожки, освещенные фонарями, и на возвышении — желтый домик, напоминающий старомосковскую усадьбу. «Наверное, не лес, а парк — надо будет уточнить», — подумала Госпожа N.

В течение следующего часа Госпожа N читала: чтение защищало ее от промозглого ветра лучше, чем тоненькая куртка и замызганный спортивный костюм. Мысли в ее

голове затихли, и буквы больше не складывались в «человека без смеха»: Госпожа N унеслась в тот мир, где с самого детства привыкла коротать время, — в мир книг.

Чьим голосом мы читаем про себя книги? Он так похож на наш собственный, но все-таки он не наш. И потом, можно же заставить себя читать чьим-то голосом, шепотом, или басом, или вообще нараспев — а бывает так, что какой-то неведомый голос, принадлежащий незнамо кому, вдруг начинает читать за нас и читает так, как будто играет в театре.

У Госпожи N в голове вдруг с середины страницы строчки заговорили чужим, но смутно знакомым голосом — низким на взлетах и высоким в конце, вздыхающим и как будто умирающим, но продолжающим жить из последних сил, с извилистыми и странными, как бред сумасшедшего, интонациями. Этот голос проснулся в ней с этих слов: «...в скважину ветром надуло снега, и ключ не входит, и тогда мама прячет замок в ладони, чтобы он согрелся и снег в скважине растаял. Если это не помогает, мама склоняется над замком и дышит на него, будто оттаивает чье-то замерзшее сердце»[1].

Во время чтения Госпожа N не замечала ничего вокруг: книга делала ее глухонемой, а тут еще и этот неведомый голос — тем временем стало светлее, погасли фонари, и все вокруг заволокло туманом.

Внезапно из него, совсем как во сне, который приснился этой ночью Госпоже N, вынырнул человек — только теперь он не стоял на краю набережной, глядя в реку, а стремительно шагал вперед. Госпожа N услышала его шаги и удивленно вынырнула из книги, но не успела разглядеть ничего, кроме того, что уже видела во сне: черное пальто, крокодиловые ботинки, шапку и зеленый шарф. Она хотела было окликнуть человека, но он пронесся мимо с совершенно нечеловеческой быстротой и растворился в тумане.

Опустив разочарованный взгляд обратно в книгу, Госпожа N изумленно ахнула: между страниц лежала помятая коричневатая фотография с отогнувшимся уголком. Было видно, что сделана она давно и что ее долго носили повсюду с собой в каком-то сокровенном месте.

С фотографии на Госпожу N смотрела женщина. Назвать ее красивой в общепринятом смысле этого слова было нельзя, но Госпожа N с первого же взгляда посчитала, что она красива: у нее были светлые волнистые волосы, уложенные налево, очень тонкие, почти прозрачные брови и белая-белая кожа, а в руке, усыпанной крупными кольцами, она держала тонкую сигарету.

Госпожа N перевернула фотографию: на оборотной стороне был написан свежими чернилами номер телефона — и больше ничего.

* * *

Туман рассеялся. Набережная стала заполняться людьми и машинами. На Госпожу N, которая все так же неподвижно сидела на скамейке, удивленно и даже как-то осуждающе, словно завидуя тому, что ей никуда не нужно торопиться, поглядывали прохожие, спешившие на работу с портфелями в руках.

Под их взглядами Госпоже N стало неуютно. Бережно спрятав фотографию странной женщины между страниц своей книги, а саму книгу положив в крокодиловый ридикюль, она неспешным шагом отправилась к метро.

Перед ее глазами застыло лицо женщины с фотографии. Госпожу N не покидало чувство, что это лицо, эти руки в кольцах, этот взгляд, эти волосы, уложенные налево,

[1] Саша Соколов. «Школа для дураков».

были ей давно знакомы, причем знакомы не со стороны, а изнутри. Госпожа N пыталась вспомнить, где же могла встретиться с этой женщиной или, может быть, хотя бы мельком увидеть ее — но ни одно воспоминание не приходило ей на ум.

У дверей квартиры Госпожу N громким скандальным пением встретил ее кот Чичиков — перед выходом она забыла его покормить. Бормоча себе под нос извинения, Госпожа N, не снимая своих поношенных ботинок, насыпала ему в миску пахучих круглых сухарей — Чичиков радостно захрустел ими и благодарно замурчал, а Госпожа N прошла в гостиную, достала фотографию из ридикюля и вставила ее между прозрачных створок старого буфета, в котором у нее стоял хрустальный сервиз.

Взгляды Госпожи N и женщины с фотографии встретились: некоторое время они молча смотрели друг на друга. Госпожа N вдруг улыбнулась — в отличие от смеха, это пока было для нее возможно — и осторожно, сквозь стекло дотронулась пальцем до фотографии.

— Это вы, вы — та самая женщина, в которую я превращаюсь: вы забрали мой смех.

Словно ища подтверждения своим словам, Госпожа N всмотрелась в свое отражение в буфетном стекле: сквозь ее лицо были видны тонкие хрустальные рюмки и пузатый графин с витой ручкой. Госпожа N действительно многим походила на женщину с фотографии: ее волосы так же сами собой ложились налево, черты лица заострились, взгляд был таким же по-кошачьи прямым и смотрящим прямо в душу, но в то же время скрытным, лицо было таким же белым, и руки — руки были те самые, живущие отдельной жизнью, с отдельной душой. Но было одно-единственное различие: в глазах женщины с фотографии невидимо затаился смех. Она не улыбалась, но с первого же взгляда на нее было понятно, что она может смеяться — а Госпожа N не могла.

Ближе к ночи Госпожа N решилась позвонить по номеру, написанному на оборотной стороне фотографии. Сначала она долго и пристально рассматривала цифры, выведенные рукой ее неведомого единственного человека: почерк у него был острый и резкий, как весь он сам, и цифры сцеплялись друг с другом хвостиками, как буквы в слове.

Чичиков посапывал на диване, укрыв нос своим серым полосатым хвостом, за окном шумели, как море, машины, а в небе взошла луна. Госпожа N не зажигала люстр и ламп — ей было достаточно серебристо-бледного отсвета луны и уличных фонарей.

На буфете у Госпожи N стоял черный телефонный аппарат с когда-то белым, а теперь пожелтевшим от времени колесиком. Дрожащими пальцами она набрала номер, надеясь, что правильно его разобрала — последовали мерные гудки ожидания, и наконец в трубке послышалось копошение.

— Добрый вечер, — несмело проговорила Госпожа N.

— Уже ночь, — ответил спустя несколько секунд тот же голос, который она слышала во сне и без труда узнала, даже несмотря на то, что в телефонной трубке он звучал искаженно. — Знаете, я весь день гадал, когда же вы позвоните — сразу по возвращении домой или дождавшись ночи: от этого зависела наша с вами дальнейшая судьба.

— Да? А какая связь? — удивилась Госпожа N.

— Если бы вы позвонили раньше, то я бы никогда не ответил вам — но этим ночным звонком вы доказали, что вы — мой человек.

Госпожа N улыбнулась.

— А я поняла это сразу, как только увидела вас во сне.

— Мне уже доводилось встречать своего человека, поэтому ошибиться в этом тонком и деликатном деле теперь было бы очень глупо, согласитесь. Вы ведь тоже искали его?

— Да. Скажите, как вас зовут?

Голос в трубке немного помолчал, размышляя, и все-таки сказал:

— Меня зовут Господин Z. Вообще-то, я не хотел пока что говорить вам об этом, но раз уж вы позвонили ночью... А как зовут вас?

— Разве вам это неизвестно? — удивилась Госпожа N.

— Вы думаете, я вас выслеживал? Я ничего не знаю о вас, равно как и вы обо мне, я даже не видел вашего лица — как и вы моего. Наша встреча во сне была устроена не мной.

— Мое имя — Госпожа N. Знаете, я весь день сегодня разглядывала ту фотографию, которую вы мне подбросили на набережной... Я поняла, что вы хотели мне сообщить. В последние несколько месяцев со мной происходит что-то странное, я становлюсь кем-то другим — но, как ни удивительно, прошлой себя мне ничуть не жаль. Мне даже кажется, что я становлюсь лучше, и все, что было до этого превращения, кажется мне таким далеким, словно происходило не со мной. И вот сегодня, когда я увидела на фотографии эту женщину, я поняла, что именно ее взгляд, ее черты, ее голос, ее руки я вбираю в себя, взамен отдавая смех.

— Вы правильно все поняли: так повелось, что меня не может полюбить человек, способный смеяться. Он обязательно сначала должен потерять свой смех, чтобы потом обрести его вновь благодаря любви — то же самое происходит и со мной.

— Вы говорите так, как будто у вас таких людей было много...

— Вовсе нет — всего один. Это женщина с вашей фотографии, о Ней же я говорил во сне. Она очень любила «Гамлета» и всех просила называть ее Офелией — всех, кроме меня, потому что я один знал ее настоящее имя. Я всегда в каком-то удручающем положении, когда мне нужно называть Ее Офелией или как-то еще: в моей голове она — просто Она, так пусть и вашей будет так же. А у вас, у вас был такой человек, каким Она была для меня?

Госпожа N стала растерянно вспоминать что-то, загибая пальцы.

— Господин К, Господин О, Господин С, Господин Л... Нет, все они были не тем, что мне было нужно — я понимала это так скоро, что даже не успевала с ними сойтись как следует.

— Да, когда встречаешь своего единственного человека, сразу понимаешь, что это он, — согласился Господин Z.

И после его слов связь внезапно оборвалась.

* * *

Утром следующего дня Госпожа N подошла к зеркалу и внимательно вгляделась в свое лицо. Ей уже не нужно было смотреть на фотографию таинственной женщины, чтобы вспомнить ее образ: он въелся в память Госпожи N.

Она неуверенно взяла свою старую расческу с мелкими, но кое-где выпавшими зубцами и уложила волосы налево. И что удивительно — раньше они были непослушными, всегда пушились и выбивались из любой прически, а в то утро вдруг легли именно так, как хотелось Госпоже N.

Обрадованная этим успехом, она побежала в гостиную, где у нее помимо старого буфета стоял секретер, приобретенный когда-то давно на блошином рынке, — в этом секретере у нее хранились драгоценности. Госпожа N открыла потайной ящик, где лежали тяжелые и массивные бриллианты ее бабушки, которые за неимением других наследниц достались ей, несмотря на то что Госпожа N никогда не питала слабости к крупным дорогим украшениям — никогда до сегодняшнего утра.

Госпожа N с трудом вдела в уши серьги, на указательный и безымянный пальцы надела перстни, а на шею повесила длинные жемчужные бусы. Мочки ее сразу же по-

краснели от веса камней и толщины замков. «Это ничего, — приободрила себя Госпожа N, — надо только привыкнуть...»

Она подняла глаза наверх — там в полумраке на шкафу, точно на лев на скале, сидел, поблескивая голубыми глазами, Чичиков: он смотрел на Госпожу N удивленно.

— Что, — спросила Госпожа N, — не узнаешь? Не верю. Я бы вот тебя узнала, если бы ты вдруг решил сменить прическу и надеть серьги.

Госпожа N посмотрела на свои руки: теперь на них сверкали перстни, но кожа во время вчерашней прогулки по набережной обветрилась до такой степени, что в нескольких местах пошла трещинами. Неухоженными Госпоже N показались и ногти — она решила немедленно идти в маникюрный салон, откуда спустя три с лишним часа вернулась с совершенно нехарактерным для нее прежней, но вполне естественным для нее новой красным цветом ногтей. И на этом ухищрения не заканчивались: у основания каждого выпиленного овалом ногтя была нарисована лунка, которая оставалась единственным островком родного цвета. Госпоже N объяснили, что это придумали дамы двадцатых годов двадцатого века — ей настолько понравилось сочетание этих двух двадцаток, что она тоже решила попробовать сделать так.

Затем Госпожа N перешла к ревизии гардероба. В ее шкафах нашлось голубое платье, немного старое, перепавшее по наследству от кого-то — ничего своего у Госпожи N почти и не было — но красивое, с объемными плечами и пояском с серебристой пряжкой. Кроме этого платья, нашла Госпожа N еще и черную меховую накидку на плечи, как у какой-нибудь оперной дивы или актрисы старого Голливуда. «Откуда у меня все это?» — спрашивала она себя, но ответа найти не могла.

Очень-очень быстро, как будто куда-то спеша, Госпожа N оделась во все это и оглядела себя со всех сторон в зеркало. Видеть себя такой ей было непривычно, но, к своему удивлению, она не почувствовала ничего особенного и не увидела в зеркале нового человека — это по-прежнему была она, Госпожа N, со всеми многочисленными мыслями и одним большим чувством, которое творило с ее внешностью всякие метаморфозы, само по себе оставаясь при этом неизменным.

Госпожа N осталась в торжественном платье и меховой накидке, но мягкие шерстяные тапочки менять на неудобные туфли не стала. Все в том же своем секретере она нашла подсохшую красную помаду и намазала ей губы, чтобы уж точно выглядеть как женщина на фотографии. Но то ли рука у Госпожи N дрогнула, то ли опыта в этом деле недоставало, только вот красная помада на ее лице смотрелась совсем не так, как на лице женщины с фотографии: Госпожа N стала похожа на клоуна. Махнув на все это рукой, она стерла помаду и с досады выбросила ее.

Она посмотрела на часы — стрелки показывали всего без четверти восемь. Для звонка Господину Z было еще рано, на небе еще даже не взошла луна — а Госпожа N запомнила, что во время первого телефонного разговора луна светила так ярко, что не нужно было зажигать искусственного света.

Она села на диван перед часами, положив руки на колени, и стала ждать. Откуда-то из глубин квартиры пришел Чичиков и покорно сел рядом с ней, приняв позу каменного льва у ворот старинного особняка. Время от времени Госпожа N бралась за книгу, ныряла в нее ненадолго и потом опять выныривала, хватаясь за какую-нибудь мысль, как утопающий за соломинку.

За окном сгущались сумерки, забарабанил по стеклу дождь. В квартире Госпожи N было так тихо, что она даже не замечала этой пустой тишины — и, только тогда, когда пошел дождь, заметила. Чтобы не впасть в уныние, она подошла к окну и, отодви-

нув горшки с цветами, распахнула его настежь, впустив в комнату вместе с шумом улицы дождевую свежесть. «Почему я никогда не делала этого раньше?» — подумала Госпожа N.

Чичиков с опасливым интересом запрыгнул на подоконник и прижался теплым толстым боком к платью Госпожи N — шум дороги пугал его, а воздух нравился. Госпожа N обняла его и стала почесывать за ушами и вдоль носа — во все стороны, оседая на платье и бархатной черной накидке, полетела острая серая шерсть.

Госпожа N стояла у окна долго, пока не раздалась пронзительная телефонная трель: она вздрогнула, потому что не ожидала, что Господин Z станет звонить первым. Осторожными шагами Госпожа N подкралась к телефону, недоверчиво сняла дрожащую трубку и почему-то не утвердительно, а вопросительно произнесла:

— Алло?

В трубке сначала помолчали.

— Знаете, сегодня даже дождь стучит луне признания в любви, — наконец сказал Господин Z.

— Да, стучит... Так стучит, что я окно открыла настежь.

— Я тоже. У меня так красиво: река за окном, вдалеке — мост, по которому ночью всегда ездят поезда, фонари на набережной, корабль... Иногда, правда, пьяные проходят и что-то то ли поют, то ли кричат, но они даже, можно сказать, вписываются во все это.

— Так вы живете на той самой набережной, куда я приходила вчера?

— Да. Дурацкий вопрос — разве стал бы я топиться не у себя дома?

— Да, дурацкий, — согласилась Госпожа N, но на этот раз ей было так легко, что она не чувствовала ни волнения, ни стеснения.

— А вы что видите из окна?

Госпожа N на всякий случай выглянула в распахнутое окно и, внимательно изучив то, что было в нем видно, сказала:

— Со стороны гостиной, где я сейчас и стою — проспект со всякими безумно дорогими магазинами и кучей машин, а окна спальни у меня выходят во двор и, если присмотреться, на реку, как у вас...

— Что же, получается, мы с вами совсем не так далеко, как кажется — просто по разные стороны реки.

— Да. Но мне совсем не нравится то место, где я живу: от проспекта все время пыль и запах бензина, машины шумят день и ночь, по подъездам наркоманы шатаются... Представляете, я, когда только переехала сюда, поставила на лестничной клетке цветы. Первое время все было хорошо, а потом я стала замечать, что земля в горшках все время перерыта, перепахана, как будто весной грядки на даче. А когда встретила однажды на лестнице соседку, она мне объяснила, что в цветах наркоманы прячут закладки, и попросила убрать.

Господин Z вздохнул.

— А я ведь и это успел попробовать. Чего только не было в моей жизни — а теперь все исчезло, одна сплошная пустота. Непроглядная — никого и ничего. Когда я вещества пробовал, мне тоже казалось, что пустота, но что такое эта «пустота» в молодости — и что такое сейчас! Тогда ее, может быть, еще можно было заполнить, но сейчас все это кажется просто смешным.

Госпожа N сочувственно спросила:

— Вы из-за этого больше не можете смеяться, да?

— Я уже давно бросил, что вы — лет двадцать назад. Если бы только это... Все гораздо хуже. Я совсем один. Я уже говорил вам, что у меня был брат...

— Да, говорили, — обрадовалась Госпожа N, потому что уже успела понять, что Господин Z не любит говорить о себе.

— Да, мой брат. Старший брат. Наверное, у меня никогда никого ближе него не было — кроме, пожалуй, Ее, но Она — это совсем другое... Так что оба они были для меня равно важны, но брат, разумеется, появился раньше. С самого детства он вытягивал меня из всяких неприятных историй, в которые я попадал, а потом, когда я стал старше, тайно от родителей забирал меня из всяких притонов, где я напивался так сильно, что забывал дорогу домой. А потом, когда я вырос и почувствовал, что у меня есть те самые «лишние деньги», о которых в детстве всегда говорили, что таких не бывает, я стал помогать своему брату — как будто благодарность можно измерить в деньгах!.. А потом мой брат утонул, и мне совсем некуда стало девать свои лишние деньги.

Господин Z замолчал, а Госпожа N часто-часто заморгала, потому что, хотя она и не умела смеяться, плакать все еще могла.

— Но даже не одиночество само по себе меня убивает — к нему я отношусь спокойно и, можно сказать, даже люблю. Одно дело, когда ты был одинок с самого начала и никогда никого не любил — а совсем другое, когда у тебя было всё и вдруг ничего не стало. Вот у вас когда-нибудь был кто-то, кого вы не хотели бы потерять?

— И да, и нет, — задумчиво ответила Госпожа N. — Как я уже говорила, я всю жизнь ждала своего единственного человека — он у меня и был, и я даже могла представить себе его портрет, голос, душу, характер... Но разве можно потерять того, кто еще не нашелся? Думаю, нет — хотя теперь я, кажется, нашла вас. Вот вас я и боюсь потерять, хотя даже еще не видела вашего лица.

— Наши с вами жизни удивительно непохожи: у меня было все, а стало — ничего; у вас ничего не было, а стало — все. Я думаю, это не просто так.

— Я тоже. Но смогу ли я когда-нибудь вас увидеть вновь? Хотя бы так, без лица.

— Во сне, а в жизни — еще рано.

— Почему?

— Потому что для вас я еще не человек — я только образ, стремительно обрастающий человеческими чертами. Вы можете разочароваться, увидев меня и узнав слишком близко.

— Наверное, вы правы... Но когда же пройдет достаточно времени для того, чтобы вы превратились в моей голове в человека?

Господин Z задумался.

— Когда начнется снег, — ответил он.

Госпожа N удивленно посмотрела в окно и сказала:

— Но ведь теперь весна.

Ответом ей были лишь долгие гудки.

* * *

На следующее утро Госпожа N проснулась от того, что на ветвях деревьев, покачиваясь и стараясь вытеснить друг друга, распевали птицы. Чичиков сидел в позе «буханки» рядом с ее подушкой и невозмутимо смотрел на нее, изредка моргая.

— Грачи прилетели, — сказала ему Госпожа N, но потом вспомнила, что грачи не поют, а каркают, и как только она это подумала, прямо к ней в распахнутое настежь окно запрыгнула пестрая птичка песчаного цвета в черную крапинку со смешным хохолком на голове.

Чичиков опасливо обернулся в ее сторону — он не любил ничего движущегося, кроме Госпожи N: оно его пугало. Госпожа N, стараясь не шуметь, чтобы не спугнуть птич-

ку ненароком, неслышно выбралась из постели и подошла к окну — птичка с интересом смотрела на нее, ничуть не боясь.

— Так ты — жаворонок, — с улыбкой сказала Госпожа N.

Птичка едва заметно ей кивнула — по крайней мере, так показалось Госпоже N.

Вдруг в коридоре зазвонил звонок — кто-то звонил во входную дверь. Чичиков вздрогнул и резко повернул уши в сторону двери, а жаворонок упорхнул обратно на ветку, опрокинув горшок с белым цветком на длинном хрупком стебле — цветок сломался.

Госпожа N неторопливо пошла за веником, чтобы собрать землю, а звонок все звонил и звонил — но Госпоже N не хотелось открывать, потому что она знала, кто стоит за дверью. Она подняла горшок, примяла в нем землю изящными пальцами с красными ногтями и сверкающими перстнями — все это в сочетании с землей показалось ей странным. Чичиков, бросив недовольный взгляд в сторону двери, ушел в глубь квартиры — подальше от назойливого трезвона.

Расправившись наконец с цветком, Госпожа N опасливо вышла в коридор, отряхнула пижаму от земли и посмотрела в глазок: за дверью стояла ее Ближайшая родственница, маленькая пожилая женщина лет шестидесяти с миловидным, но глуповато-хитрым лицом.

Тяжело вздохнув, Госпожа N трижды повернула замок и отворила перед ней дверь. Лицо Ближайшей родственницы тотчас же приняло обиженное выражение: она настойчиво просочилась в квартиру мимо Госпожи N.

— Привет! Вот вечно ты грустная, никогда не радуешься моему приходу... А ближе меня у тебя, между прочим, никого нет — ведь ты так одинока, у тебя только этот твой кот — то ли Хлестаков, то ли Плюшкин... И как ты только додумалась его так назвать?

Вся она была круглая, удивительно шустрая, движения ее были резкими: например, здороваясь, она всегда похлопывала человека по плечу, и с такой силой, какой совершенно не ожидаешь от столь маленькой женщины. Так случилось и сейчас: Ближайшая родственница, не дав Госпоже N закрыть дверь, стала похлопывать ее по плечу, и их разговор стало слышно на весь подъезд.

— Чичиков, — тихо ответила Госпожа N. — Моего кота зовут Чичиков.

— Я пройду в ботинках, ладно? Они чистые, я же на машине, — гордо добавила Ближайшая родственница.

— Нет уж, пожалуйста, снимите. Знаете, в одном подъезде столько опасных для кошек бактерий — что уж говорить о машинах и улицах.

Ближайшая родственница, недовольно фыркнув, ботинки все-таки сняла.

— Ну что ты, как поживаешь? Рассказывай! — очень весело сказала она — так весело, что Госпожа N поморщилась.

— Как всегда.

— Нет, этого не может быть! Ты так изменилась: все эти кольца, волосы уложенные, маникюр, походка, голос, в конце концов — все это стало у тебя другим, а просто так подобных изменений не бывает, — возразила Ближайшая родственница, пристально вглядываясь в Госпожу N.

Госпожа N молчала: уж кому-кому, а Ближайшей родственнице ей точно не хотелось рассказывать про Господина Z, таинственную фотографию, телефонные разговоры под луной и свои странные сновидения.

— Ладно, не хочешь — как хочешь. У тебя есть кофе? — потеряв терпение, спросила Ближайшая родственница.

— Нет, я его не пью, вы же знаете — но есть чай.

— Точно: все время забываю! А еще ты не ешь сахар, хлеб, сыр, мясо, не пьешь вино, виски, коньяк, но, кажется, любишь шампанское...

— Нет, не люблю. Я вообще не пью спиртного.

Госпожа N опять поморщилась: она вспомнила, как в далеком детстве на каком-то празднике Ближайшая родственница, порядком опьянев, дала ей попробовать шампанского — шампанское Госпоже N совсем не понравилось.

— Да-да, ты не похожа ни на кого из нашей семьи, — с едва уловимым осуждением сказала Ближайшая родственница. — Что ж, раз нет кофе, давай чай.

Госпожа N осталась на кухне заваривать чай, а Ближайшая родственница удалилась в гостиную. Сначала Госпожа N выдохнула с облегчением, но потом в ужасе вспомнила о фотографии таинственной женщины, все еще зажатой между створками буфета — но делать было уже нечего, поэтому она, взяв горячий чайник под тканевым колпаком-курочкой, медленно, словно на казнь, побрела в гостиную.

Как она и предполагала, Ближайшая родственница стояла у буфета и, очень близко поднеся лицо к фотографии, внимательно рассматривала ее, прищурив глаза и сжав губы.

— Что это за женщина? Ты никогда не вешала у себя даже фотографии родственников, а тут повесила какую-то совершенно чужую, незнакомую.

— Незнакомую — да, но не чужую, — стараясь не злиться, ответила Госпожа N.

Ближайшая родственница перевела взгляд с фотографии на нее — Госпожа N невозмутимо стала разливать крепкий красновато-бурый чай по чашкам.

— Так вот на кого ты пытаешься быть похожей... — пробормотала Ближайшая родственница с таким видом, как будто сказала: «Элементарно, Ватсон!»

— Я не пытаюсь — это происходит само собой, — упрямо ответила Госпожа N.

— Да что ты! И ногти сами покраснели, и бриллианты бабушкины сами в ушах появились?

— Нет, но все это второстепенно — главное то, что произошло внутри меня.

Но Ближайшая родственница ее не слушала.

— Посмотри на себя: ведь ты больше не можешь смеяться! В кого ты превратилась? Вот в нее? Да лучше бы на кого-нибудь из нашей семьи равнялась! Ты саму себя потеряла — вот что!

Госпожа N поставила чайник на скатерть — по ней тотчас же расползлось темное пятно. Равнодушно посмотрев сначала на него, а потом на Ближайшую родственницу, Госпожа N ответила:

— Может быть, и потеряла. Но было ли что-нибудь во мне раньше? Разве можно потерять пустоту? Нет. Значит, я ничего не потеряла, а только приобрела.

Ближайшая родственница оскорбленно развернулась и пошла в коридор — туда, где стояли ее ботинки. После непродолжительной возни хлопнула входная дверь — Ближайшая родственница ушла.

А Госпожа N все сидела и сидела перед буфетом со стеклянными створками и смотрела в глаза женщины с фотографии, отпивая чай по очереди из двух чашек. «И все-таки кто она такая? — думала Госпожа N. — Таинственная Она, которая хотела, чтобы ее называли Офелией, но при этом Офелией не была и в итоге все равно утонула. Но она действительно совсем не похожа на Офелию — она, скорее, Корделия или Титания, если брать из Шекспира, или какая-нибудь Изольда... Но больше всего похожа на Снежную Королеву. Эти ее алмазы, жемчуг — как осколки айсберга, и кожа такая белая, как будто она не утонула, а замерзла. Но главное — взгляд... От него почти любое сердце превратится в лед — кроме такого, какое смогло бы ее по-настоящему полюбить».

В ушах Госпожи N зазвучал голос Господина Z — хрипловатый, но звонкий, задумчивый, тягучий, как сигаретный дым... «Удивительная вещь — любовь: без единого

взгляда, без единого прикосновения, почти что без единой встречи», — пронеслось у нее в голове.

Она вышла из дома и отправилась в ближайший цветочный магазин. Там с полок под самым потолком на нее пялились стеклянными глазами огромные плюшевые медведи с плюшевыми сердцами, которые почему-то были пришиты к их плюшевым лапам, а не зашиты в их плюшевую грудь.

— Здравствуйте. Вы что-то хотели? — угрюмо, даже с вызовом спросила продавщица в зеленом фартуке.

— Да, — рассеянно ответила Госпожа N, не отводя взгляда от медведей. — Мне нужен кактус — только в горшке, чтобы рос. Впрочем, кактусы в букетах все равно не продаются... У вас есть?

— Есть. Там, в углу, рядом с суккулентами — выбирайте сами.

Госпожа N подошла к столику, на котором стояло множество кактусов в одноразовых горшочках и несколько суккулентов в роскошных (во всяком случае, по сравнению с пристанищем кактусов) стеклянных дворцах с несколькими видами песка, ракушками и мхом.

— Что же вы кактусы так бедно выставляете? Их же никто, кроме меня, не возьмет.

— А вы суккуленты берите, они в интерьере лучше выглядят, — посоветовала продавщица.

— Нет-нет, мне нужен кактус... Суккуленты эти ваши засыхают на второй день, и потом не знаешь, куда деть этот их стеклянный дом. Мне кактус не для интерьера, а для души.

Госпожа N выбрала один из кактусов и понесла его на кассу. Больше они с продавщицей не обменялись ни единым словом: она, видимо, обиделась за суккуленты.

Придя домой, Госпожа N достала с балкона огромный мешок земли и большой керамический горшок, чтобы пересадить в него маленький невзрачный Кактус. Чичиков, почуяв землю, тотчас же возник рядом с ней и стал самозабвенно копать лапами яму в мешке.

— Кыш! — прикрикнула на него Госпожа N. — Это не для тебя!

Чичиков с оскорбленным видом растворился в пространстве, как он это умел, а Госпожа N поставила Кактус в большом нарядном горшке на подоконник. Уголки ее губ чуть-чуть приподнялись — для человека со смехом так незначительно, что он бы и не заметил, но для человека без смеха — не шаг даже, а целый километр вперед.

Госпожа N совершенно без страха притронулась к игольчатой лапке Кактуса, хотя раньше всегда боялась колючек, уколов и крючьев. Она бы не отдернула руку, даже если бы стало больно, но больно не было: колючки у Кактуса были мягкие, даже пушистые, и только с виду казались опасными — притронувшись к ним, Госпожа N почувствовала лишь легкое онемение, сходное с тем, какое испытываешь, когда тебе измеряют давление, и мертвеющая рука несколько бесконечных секунд задыхается без крови и кислорода. Удостоверившись в том, что Кактус не колется, Госпожа N прикоснулась к его лапке обветренными губами — ей показалось, что она поцеловала морскую звезду.

* * *

Ночью снова раздался звонок: это был Господин Z. Он начал говорить внезапно, даже не поздоровавшись, как будто продолжая вчерашний звонок с того места, где он оборвался:

— Вы, наверное, обижаетесь на меня за то, что я так резко кладу трубку, не хочу преждевременных встреч, не дарю цветов и не говорю вам о любви? Да, все это так — но я не могу иначе. Мне теперь каждый шаг дается с трудом, перед каждым таким телефонным звонком собираюсь с мыслями по полчаса, а когда слышу ваш голос в трубке, не знаю, что говорить...

Госпожа N помолчала немного, чтобы не отвечать необдуманно, и, подумав, сказала:

— Вовсе нет. Я на вас нисколько не обижена, я вообще не умею обижаться. А то, что вы такой холодный — это мне даже нравится. Я не люблю людей, которых много — они так быстро надоедают, и вспоминаешь о них всегда с раздражением, даже если они тебя любят. «Когда вы любите человека, вам всегда хочется, чтобы он ушел, чтобы о нем помечтать» — так Цветаева говорила. Я так люблю мечтать... А что касается всяких цветов и признаний, то это все у нас еще будет, если мы дождемся — а сейчас давайте мечтать, раз мечтается...

— И что же вы обо мне мечтаете?

— Я вместо вас пока завела Кактус. Он такой колючий, зеленый и все время меня цепляет своими руками за волосы, когда я прохожу мимо...

Тут Госпожа N немного смутилась, не зная, достаточно ли они близко знакомы, чтобы она могла рассказать, как целовала лапку Кактуса — ведь это равносильно признанию в том, что ей бы хотелось так поступить и с самим Господином Z. Из-за всех этих внутренних противоречий Госпоже N пришлось немного слукавить:

— Иногда я бываю настолько уверена в том, что это вы, — сказала она, — что хочу поцеловать этот Кактус — да вот только знать бы, где у него лицо.

Господин Z так долго молчал, что Госпожа N уже успела отругать себя за поспешность, но вдруг он спросил совсем другим голосом — сожалеющим, боязливым голосом человека, обросшего иглами:

— А вы не боитесь уколоться?

— Нет, не боюсь, — без промедлений ответила Госпожа N. — Знаете, так удивительно: черты вашего характера по отдельности или даже вместе в других людях вызывали у меня лишь отвращение, иногда — жалость, иногда — страх, а в вас я их все люблю. Я часто думала, смогла бы я вас любить, если бы хоть одной из них не было, но эта мысль рано или поздно приводила меня в тупик... Как в детстве я пыталась вообразить себе то пространство, в котором подвешена наша огромная Вселенная — почему-то мне казалось, что она именно подвешена. Но Вселенная бесконечна, и нигде она не висит — так же и с вами: какой смысл пытаться оторвать от вас одно и приставить на его место другое, если в итоге это будете уже не вы?

Они помолчали, но в этот раз Господин Z не спешил класть трубку. Госпожа N, встретившись взглядом с таинственной фотографической женщиной, несмело спросила:

— И все-таки скажите, кто Она? Я знаю только то, что вы Ее любили и что все звали Ее Офелией — но ведь в наших краях так не называют.

— Я расскажу о Ней позже — мне кажется, к моменту нашей встречи вы сможете сами кое-что о Ней понять, — снова ушел от ответа Господин Z, как улитка, спрятавшаяся в раковину.

— Хорошо, я постараюсь, — не стала спорить Госпожа N и, чтобы не молчать, продолжила: — Ко мне сегодня приходила родственница — и вот знаете, она сказала, что я стала Ею и потеряла себя саму. Чушь! Не может один человек превратиться в другого. Что-то такое Она со мной сделала, но Она явно не собиралась превращать меня в себя.

— Я скажу вам больше: люди друг друга не меняют — меняет только любовь. Вот я не любил — и был неизменен, хотя мне казалось, что каждый день что-то в меня добавляет. Но потом оказалось, что ничего — просто мусор. Потом — когда полюбил.

— А я, пока не полюбила, была мертва и, полюбив, воскресла.

— А я еще мертв, наверное. Не знаю.

Тут, видимо, Господин Z все-таки посчитал, что на сегодня достаточно, и звонок оборвался.

* * *

Потом Господин Z несколько дней не звонил, а Госпожа N, несмотря на то, что у нее был его номер, не хотела звонить сама. И дело было не в страхе и даже не в гордости — просто Госпожа N не хотела нарушать ход событий. Ей казалось, что если изменить даже самую мелкую деталь, то все вмиг исчезнет, распадется, не сложится в единственно верный ответ, как в кошмарном столбике умножения на трехзначное число: стоит только перепутать одну-единственную цифру, и весь результат окажется неверным.

Вместо звонков она говорила с Кактусом, гладила Чичикова, примеряла наряды, которые прежде пылились на антресолях, читала книги, видела сны. В снах она ходила по набережной, слышала голос и шаги Господина Z, но, обернувшись, видела лишь пустоту — а на ветках деревьев, будто назло, распускались почки и заливались птицы. В конце концов она приходила к одной и той же двери без стены с кучей замков и цепочек, у которой стояли ботинки из крокодиловой кожи. Госпожа N стучала кулаками в воздух, как мим или шизофреник, но он был прозрачен и непробиваем: воздух прочнее кирпича и бетона. Госпожа N пыталась сорвать со злосчастной двери замки, но они были прикованы прочно, а у нее не было ни пилы, ни гаечного ключа. Она знала, что там, за воздушной стеной и сотней замков, заключен Господин Z, и хотела спасти его, но не могла, потому что в глубине души понимала, что из таких пространств человек может выбраться только сам.

Кактусу она задавала вопросы и сама же на них отвечала:

— Какое лицо у любви?

— Лицо того, кому мы эту любовь адресуем.

— Но ты же не видела лица Господина Z.

— Да, я не видела, но как только увижу, пойму, что это оно.

— Если он, как Кактус, колючий, то ты — какая? Тоже колючая?

— Думаю, да. Да, колючая, но не для всех. Есть же такие иголки, которые можно спрятать?

— А что можно простить тому, кого любишь?

— Все-все-все: измену, забвение, смерть. Даже если тебя не любят — можно простить, даже если его нет — тоже можно.

— А можно любить заключенного, который в остроге на Колыме? А если бы твоего Господина Z — в Сибирь, ты бы стала женой декабриста?

— Да, да, да...

А на третий день молчания Господин Z позвонил, и в первый раз Госпожа N начала говорить первой:

— Знаешь, я сегодня утром встала и улыбнулась — так широко, как никогда еще не улыбалась.

— Ты сказала мне «ты»?

— Да, хоть это и странно — быть на «ты» с тем, у кого даже лица не видел. Но мы с тобой так много в эти два дня проговорили, сколько я еще ни с кем и никогда. Ты хорошо сделал, что не звонил — иначе бы я стала привыкать, а привыкать к хорошему не надо. Надо привыкать к любви, чтобы спасала от плохого...

— Как же мы с тобой говорили, если я не звонил?

— Я завела Кактус, помнишь? Он у меня теперь твой представитель, заместитель, так сказать. Знаешь, иногда мне кажется, что любить сильнее, чем я люблю, невозможно — но что же со мной будет, когда я тебя увижу? А когда дотронусь? Что происходит, когда любовь больше, чем ты сам?

— Люди взрываются, разбиваются о землю и о небо, а потом собирают друг друга по частям.

— Да, да, ты прав — но все так этого боятся... Боятся, что потом не соберут назад. Я стольких встречала, которые не любили, что не перечесть, да и сама была такой. Так страшно жить, когда не любишь: все плохое монстрами встает из-за углов, крадется тенью за спиной, а ты — бескрылый, и ноги коротки убежать. А когда любишь, ничего не страшно: ни смерть, ни грусть, ни сплин, ни русская хандра, и даже смех уже не нужен, если есть любовь. Когда любишь, тебя самого уже нет — и ты вдыхаешь того, кого любишь, его лицо, его жизнь, обстоятельства, порой — злость и отчаяние, выдыхаешь, зажмурив глаза, задерживаешь дыхание и за те несколько секунд, что не дышишь (ведь мысль ускоряется от отсутствия кислорода), совершенно уверяешься в том, что, когда откроешь глаза и выпустишь воздух из легких, окажешься вдруг рядом с ним... Но открыв глаза и задышав снова, ты обнаруживаешь себя на прежнем месте и просишь того, кто там, наверху, лишь о том, чтобы он заслонил тобой этого злого, колючего, слабого, беззащитного, доброго человека, которого любишь...

— Вот видишь — стоило мне два дня не звонить, как ты все поняла. А я за эти два дня, представь себе, тоже улыбнулся... Потому и не звонил — боялся, что спугну.

— Значит, так Бог устроил: ты не звонил, чтобы мы оба стали друг по другу скучать и от скуки улыбнулись... Боже, как глупо звучат мысли, переведенные в слова! Звучат фальшиво. Только тогда, когда я говорю, что люблю тебя, я не вру, все остальное — неосознанная ложь. Не слушай мои слова, слушай мои мысли и мое сердце — там правда, там все сходится и вытекает одно из другого.

— Но как же я услышу твое сердце через телефон?

— Услышишь, потому что оно там, где ты — оно в тебе. Когда любишь кого-нибудь далекого, отделяешься от своего сердца и все время чувствуешь, как оно невыносимо далеко — отсюда и чувство, словно в груди магнит, раздирающий легкие и ломающий ребра... Как у Бродского: «Да, сердце рвется все сильней к тебе, и оттого оно — все дальше, и в голосе моем все больше фальши...»

— «...Но ты ее сочти за долг судьбе, за долг судьбе, не требующий крови», — продолжил Господин Z, и в его голосе опять была слышна улыбка.

Госпожа N прекрасно знала, что «не требующий крови» в стихотворении не долг, а судьба и, следовательно, писать и произносить ее следует через «е», но не стала поправлять Господина Z. И даже больше — она сама заведомо с ошибкой закончила:

— «...и ранящий иглой тупой. А если ты улыбку ждешь — постой! — я улыбнусь. Улыбка над собой могильной долговечней кровли и легче дыма над печной трубой».

И тогда они оба улыбнулись, а в трубке зазвучали протяжные гудки.

* * *

В ту ночь ей снова снился тот странный сон: дверь, увешанная цепями и замками, как грудь генерала — орденами и медалями, возле двери — ботинки из крокодиловой кожи, вот только стена, в которой была прорезана эта дверь, теперь была не прозрачной, а кирпичной, и в руках у Госпожи N был увесистый топор, вместе с которым

у нее вдруг появилось столько силы, сколько хватило бы для того, чтобы поднять слона и пронести его километр. Она стала с остервенением сдирать с двери замки, цепочки и засовы, потом — с яростными криками вонзать лезвие топора в ее зеленые доски, пока они не разлетелись в щепки.

Госпожа N хотела было ворваться в неведомое пространство за дверью, чтобы наконец-то вызволить оттуда Господина Z, но вдруг проснулась от тяжести четырех лап на груди. Открыв подслеповатые глаза, она увидела, что на нее во тьме внимательно глядят два красных зрачка в голубых ободках — это был Чичиков.

Кошки и хозяева, так же как любящие друг друга люди, становятся похожи: Чичиков был молчаливым котом и не любил без надобности говорить вслух, поэтому предпочел выразить свою мысль посредством чихания. Госпожа N потрогала его нос и уши — они были холодными.

Госпожа N выбралась из-под одеяла, и ее сразу же сковало морозом. Обхватив себя руками и втянув голову в плечи, она, сощурясь, взглянула в полуосвещенное фонарным заревом окно, и тут же пелена сна спала с ее глаз: в окне было белым-бело. Там, где вчера еще цвела клейкими стеблями пахучая весенняя трава, теперь лежал снежный покров, а едва успевшие раскрыться почки покрылись колючим инеем и заискрились, точно бриллиантовые серьги и кольца бабушки Госпожи N.

Госпожа N почувствовала, как забилось сердце — там, вдалеке, где нет ее, но есть Господин Z — и как сквозь душу, легкие и ребра ее магнитом потянуло туда, где он. В полнейшей темноте, чтобы не тревожить и так прерванный сон Чичикова, она прокралась к шкафу и выхватила наугад все то же голубое платье и меховую черную накидку. «Наверное, в этом будет холодно», — подумала она, но эту мысль тотчас же вытеснили другие. Госпожа N надела голубое платье прямо поверх пижамы и, затолкав штаны в сапоги из серой замши, надев пальто и бросив в крокодиловый ридикюль ключи, сбежала вниз по лестнице.

Госпожа N шла по заснеженному тротуару, не оставляя следов и не издавая хруста: она летела над землей, как призрак, как будто она умерла — но она была жива. Встретив по пути уже знакомый цветочный магазин, Госпожа N с удивлением обнаружила, что в глубине его теплится свет: за столом сидела, согбенная над горой тюльпанов, угрюмая продавщица.

Госпожа N дернула за ручку двери, но она была закрыта; Госпожа N постучала, и продавщица подняла усталые глаза от россыпи тюльпанов. Знаками, как глухонемая, Госпожа N объяснила, что ей очень надо войти, и продавщица выглянула на мороз.

— Что вам опять? Магазин закрыт, — сурово отчеканила продавщица, опасливо поглядывая на Госпожу N. Впрочем, на это у нее были причины, ибо Госпожа N в черной меховой накидке, платье и пижаме ночью выглядела так, как будто сбежала из какого-нибудь желтого дома.

— Мне надо бы цветов... Ужасно срочно, до утра ждать не могу. Я заплачу...

— Да хоть заплачьте — все равно вам не продам, ночью не имею права.

— Ну что вам, жалко, что ли? Вон у вас какая гора тюльпанов...

— И завтра от нее не останется ни одного цветка, — печально вздохнула продавщица.

— А почему? — удивилась Госпожа N.

— Странная вы все-таки женщина, — покачала головой продавщица. — Завтра — Восьмое марта, всем женщинам дарят цветы. Всем, кроме тех, кто их продает... Черт с вами, заходите уже, только отряхните ноги от снега.

— Спасибо вам, спасибо, спасибо! — залепетала Госпожа N, постукивая каблучками замшевых сапог.

— Вам пять тюльпанов хватит?

— Да, вполне.

Продавщица отсчитала пять тюльпанов из своей горы и перевязала белой, как покров тротуаров, лентой.

— Спасибо! — в последний раз сказала Госпожа N, схватила тоненький букет и, не оглядываясь, побежала.

Над станцией метро горели красным электронные часы: они показывали странное число тринадцать. Госпожа N прищурилась, но полусонный взгляд ее не обманул: после двенадцатого часа наступил тринадцатый.

Госпожа N толкнула увесистую дверь метро, способную наотмашь убить кого угодно, и с еще большим удивлением обнаружила, что эскалаторы ходили вхолостую, хотя в ночи им полагалось спать. Она ступила на один из них и поползла вниз по тоннелю, мимо нее поплыли фонари на ножках с кружевной лепниной, похожей на маргариновые цветы и ягоды с пирожных-корзиночек, которые она любила в детстве. Госпожа N стояла против направления движения и все смотрела на таинственную цифру тринадцать, которая вот уже несколько минут оставалась неизменной.

Когда Госпожа N спустилась, она увидела стоящий у правой платформы один-единственный поезд — совсем пустой, с гостеприимно распахнутыми дверями, он ждал только ее. Госпоже N было и страшно и нестрашно одновременно, потому что она уже догадалась, что все это — цветы, метро, «тринадцать» на часах и одинокий поезд — было устроено специально для нее, но кем?

Она села на коричневое кожаное сиденье и нащупала в потайном кармане своего крокодилового ридикюля что-то шершавое и хрупкое. Ничему уже не удивляясь, она достала это что-то и встретилась глазами с острым взглядом таинственной женщины — ее фотография каким-то образом попала в сумку, хотя Госпожа N ее туда не клала.

На оборотной стороне под телефонным номером было торопливо подписано другой, совершенно незнакомой Госпоже N рукой: «XIII».

* * *

На набережной было бело и пустынно. Госпожа N расчистила себе на лавочке островок дерева и села — отчего-то она знала, что Господин Z придет.

Она посмотрела на свои руки в свете ночного фонаря и увидела, что лак на ногтях весь пошел пузырями и трещинами, а кое-где и вовсе откололся, хотя в салоне уверяли, что держаться должен целый месяц. Госпоже N же он теперь напоминал придорожную землю, высохшую и сморщившуюся до такой степени, что даже сорная трава, пускающая свои корни в пустыне и прорастающая сквозь камни, покинула ее, не выдержав больного, бензинного дыхания шоссе.

Госпожа N отрыла в крокодиловом ридикюле складное зеркало и внимательно всмотрелась в него. Волосы ее, и так не прибранные со сна, теперь еще и взлохматились от бега, как будто решили отомстить Госпоже N за все те дни, что она тщательно укладывала их во всевозможные волны, завитки, жгуты и косы.

Но не лак и не прическа так поразили Госпожу N, а ее собственное лицо: в нем не осталось ни одной черты от женщины с фотографии, но в то же время оно и не было похоже на то лицо, какое было у Госпожи N до того, как она потеряла смех. Вернее, теперь оно представляло собой нечто среднее, общее между этими двумя лицами и примиряющее их между собой.

Госпожа N снова достала фотографию таинственной женщины, пристально посмотрела в ее глаза, и впервые в ее душе при виде этих глаз не копошился страх.

— Я поняла, кто вы, — сказала она фотографии. — Вы — моя фея-крестная... Отсюда и все эти мои превращения — посветление волос, вытягивание лица и заострение плеч, отсюда интонации в голосе и руки, живущие отдельной жизнью... Но пробило двенадцать — вернее, тринадцать, — и карета превратилась в тыкву, пошел снег: все ваше волшебство сползает с меня, я вобрала в себя все, что могла, и вашим последним чудом вы помогли мне добраться сюда. Сейчас явится наш с вами принц — а Золушка, то есть я — в лохмотьях и даже без хрустальной туфельки, но зато в замшевых сапогах!

Закончив эту странную, внезапную речь, Госпожа N вдруг засмеялась во весь голос, запрокинув голову и обхватив живот, и ее смех разнесло ветром и эхом по всей реке.

Прекратив смеяться, она услышала хруст снега под чьим-то осторожным, даже немного испуганным шагом. Она обернулась — справа от нее, спрятав одну руку в карман и с резкой, угловатой робостью пряча взгляд в тротуар, как будто там было спасение от всех бед, стоял Господин Z. Госпожа N сразу его узнала: на нем были все те же черные пальто и шапка, на ногах — ботинки из крокодиловой кожи, только вот зеленого шарфа на шее не было, а пальто было расстегнуто наполовину, и из-под него виднелся серый свитер с высоким горлом: видимо, Господин Z тоже торопился.

Госпожа N внимательно всмотрелась в его лицо, хотя Господин Z все так же продолжал смотреть вниз: оно было бледное, острое, с ямочкой под крепко сжатыми губами, с ясными глазами цвета реки под желтым фонарем, с красивыми широкими и длинными бровями и очень прямым и ровным носом.

— Наверное, мне надо бы сказать, что я тебя таким и представляла — но представь себе, я только что поняла, что не представляла тебя никак: мне достаточно было твоего голоса в телефонной трубке и сгорбленной фигуры из сна, — сказала Госпожа N.

Господин Z наконец-то оторвал взгляд от запорошенной снегом набережной, но не подходил к Госпоже N и смотрел на нее издалека.

— Я тоже никак тебя не представлял. Зачем представлять себе того, кто и так тебе назначен? — несмело сказал он через некоторое время: его голос был совсем не похож на тот, каким он говорил с Госпожой N по телефону.

Вдруг из-за его спины с громким лаем выбежала маленькая собачка на тоненьких коротких ножках: на ней был теплый комбинезон с капюшоном и ботиночки размером с наперсток.

— Это твоя? — спросила Госпожа N.

— Моя, только это он, — рассеянно ответил Господин Z, пытаясь поймать своего пса на руки.

— Как же мы с тобой уживемся? Ведь у меня Чичиков!..

— Кто? — удивленно переспросил Господин Z, наконец поймав пса и спрятав его в воротнике пальто, чтобы не мерз.

— Это мой кот. Он не то чтобы сварливый, но с характером...

Господин Z робко подошел к скамейке и сел рядом с Госпожой N. Она впервые увидела его вблизи: его лицо, которое издалека смотрелось ровным и острым, оказалось слегка посеревшим и осунувшимся, а открытая всем ветрам без защиты зеленого шарфа шея — тонкой и напряженной, словно струна, как будто Господин Z все время ожидал удара в спину или готовился громко-громко закричать таким пронзительно-ужасным криком, каким кричат в лесу по совету психиатров отчаявшиеся люди.

— Твой кот — как я, — невесело улыбнулся Господин Z. — У тебя Чичиков, а у меня — Герасим...

— Как тот, что утопил Муму?

— Да. Когда он у меня появился, я не знал, как его назвать, а Шариком или Бобиком не хотелось. Тогда я взял с полки первую попавшуюся книгу, открыл наугад и увидел там это имя — Герасим... Не думал, что когда-нибудь ему придется повстречать на своем жизненном пути самого Чичикова. А раньше у нас с Ней жил еще и кот по имени Пуаро... Представь себе, что бы было, если бы эти трое встретились!

Госпожа N улыбнулась и вдруг вспомнила, что до сих пор прижимает к себе вместе с ридикюлем несчастные измятые тюльпаны.

— Это тебе! — торжественно сказала она и положила их на колени Господину Z.

— Спасибо, — удивленно отозвался он, беря тюльпаны в руки. — Так странно, мне еще никогда не дарили цветов — а это так приятно.

— И я никогда не дарила. Так нелепо и несправедливо все устроено в обществе: мужчины дарят женщинам цветы, а женщины мужчинам — никогда, даже если очень любят. И не спасают никогда... А я считаю, если любишь, и цветы не стыдно подарить, и спасти, и защитить — а кто ты есть, не так уж важно. Любовь сводит вместе собак и кошек, стирает в пыль границы, недостатки, боль и злобу, лица, время, расстояния, запреты, годы, заполняя собой всю пустоту, все раны и вытесняя все ненужное. Только полюбив, поймешь, что тебе на самом деле нужно, а что — нет, и с тем, что она вытеснила, прощаешься без сожаления.

Господин Z кивнул. На снег к ним под ноги сама собой упала, выпорхнув бабочкой из рук Госпожи N, фотография — Господин Z улыбнулся вымученно-нежно и подобрал ее. Госпожа N заметила, как на его тонком запястье сверкнули зеленым циферблатом крупные, массивные часы, стрелки которых вместо тринадцати показывали уже вполне обыкновенную единицу.

— Ты разгадала Ее, а вместе с Ней — меня: я слышал твою речь и смех.

— Она меня сюда и привела, — сказала Госпожа N и улыбнулась тоже.

Ее взгляд устремился вдаль, на противоположный берег. На белом, свежевыпавшем снегу краснело капельками ягод дерево рябины, хотя ей и не полагалось давать плоды весной. Среди деревьев, покрытых белым, точно сахарным покровом, там горели выстроенные шеренгой вдоль аллеи фонари, а на возвышении — старая желтая усадьба с колоннами и зеленой крышей.

— Ты не знаешь, что это за дом? — спросила Госпожа N.

— Не знаю, — покачал головой Господин Z. — Представляешь, столько лет здесь прожил — и не знаю... Но однажды каким-нибудь зимним вечером — может быть, даже в этом году — мы оденемся в теплые шубы и пуховые платки, переедем или переплывем эту реку и отправимся на тот берег — берег, который я видел из своего окна столько лет, но который мне не с кем было открыть.

Вдалеке по мосту прогрохотал железными костями поезд — то ли последний ночной, то ли первый утренний. Откуда ни возьмись прямо на колени Госпоже N спикировала с громким «кар-р-р» большая черная ворона, деловито перешла через нее, как по зебре, и хотела перейти таким же образом и Господина Z, но тут Герасим выскочил из теплого воротника и кинулся в атаку — ворона улетела, и Герасим только прыгал по снегу, оставляя хаотичный узор из следов, и тявкал на нее, задрав голову в небо.

Господин Z, увидев это, вдруг засмеялся, и при этом у него было такое удивленное лицо, что Госпожа N засмеялась тоже.

Анна АЛИКЕВИЧ

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Я расскажу тебе сказку, Игварик.
Имя твое меняется каждое полнолуние.
Вот со старухой старик разговаривает
На севере сумерек.
Я расскажу: клюв сова опускает во льды,
Идут по́ небу корабли.
Спи, дитя, крылья твои дым,
Озеро — твой лик.
А помнишь, как было давно,
Как затягивалась полночь ягодой и кустарником,
И ты был не со мной,
Ты был маленький,
Вороны сын вороной, дятлов племянник.
Качался на месячной гребенке,
Тянул ею волосенки.
Сколько с тех пор прошло долгих
Туманов и лет ломких.
Посмотри, слово летит сычом, качается колыбелью,
Дом ночной мы в туче не разглядели.
Посмотри, дрожит в огне хворост,
А впереди юность твоя, молодость —
А мое имя стерлось, мое стерлось.

* * *

Тоска моя вьется как вороненок над берегом
Осыпается лунным стеклом
И морем восходит немереным
И всплывающим башмачком
Послушай еще я почву голос трясущий
Еще я прозрачного озера легкая водомерка
Эхо мое окаменелое как бумеранг несущийся
И распадающийся на лес и селения

Анна Анатольевна Аликевич родилась в Москве в 1986 году, окончила Литинститут. Публиковалась в «5 х 5», «45-й параллели», «Литературе», «Авроре», «Урале», «Кварте», «Prosodia», «Прочтении», «Формаслове», «НГ», «Альдебаране» и др. Автор двух сборников стихов — «Изваяние в комнате белой» (2015, совместно с сокурсницей К. Богдановой-Ангеловой) и «Греческие» (2024). Входила в шорт-лист «Славянских традиций», в число финалистов конкурса А. Л. Чижевского. Соредактор отдела поэзии в «Prosodia». Живет в Подмосковье. Работает преподавателем грамматики.

Я воробьиха и в пузе моем сумерек звон
Я волчиха и ягненка несу поделом бормочу поделом
Я вдова в платке из одуванчикового меха
А ты кто хозяин избы что скребет по застрехам
Кто трубку тощую длинную никак не искурит
Кто Ганимед Зевсовых тюрем
Пленник пирамиды кипариса
В решете светлячку водиться
Черный ягненок моего леса
Вот примерещился вот пришел у костра погреться
Качается в колыбельке небесной
На нити моей прочной над бездной
Фонарики ему светят ползунки многорезные

* * *

Мне так холодно,
Я устала от сложной речи,
Да мне и нечем
Одевать эту рукоять в золото,
И теперь гнездо наше только
У меня под языком,
Представляю я драконью голову,
Увитую голубым клеверком,
Мои руки с веточками пальцев,
Яйцо моего лица...
Звуком здесь никогда не докричаться,
Медведь не просыпается.
Оленьи рога трещин на снегу,
Листва скована ноябрьскими кандалами,
А я огонь разожгу,
Оцеплю его рукавами
И пишу: «Чашка жестяная позванивает,
Бляшка,
Верите мне, грифель бумажный,
Пальцев костяшки?
Увидимся ли мы лета раньше?»
Еще бы, конечно, увидимся.
Ты как спички огонек подрагивающий
В руке курильщика
В сумраке зимы.

* * *

Так все и оставим пока, правда, медведь?
Зима глубока, пробирается в клеть,
Сегодня потрогала меня ее рука,
Словно хрупкую ветвь.

А я думала все о тебе,
Словно держу тебя на думке,
Как двух оленей в листве
Держит осень-колдунья.

Наступает сам знаешь что,
Ну а я не знаю,
Золотой твой бутон
В паутинной колыбели качаю.

Пускаю огненный кораблик в небо,
Рисую Полидевка и Аякса.
Он обещал, что как звезд,
Что не исчисляются,
Как песка на морском дне.

И у нас есть только Его слово,
И серебряный мой цветок,
И в кувшине моем звездная основа,
И ладонь моя — призраколов.

* * *

Чем дольше я живу, тем меньше знаю —
И думаю, что это лишь во благо,
И прошлое искрится именами,
Как одуванчиков воздушная бумага.
И каждая дорога семерится,
И скачут птицы белые над лугом,
И лунный ковш дает ему сестрица,
А что в нем, сок нектара ли, недуга?
Все более запутано в лесу,
Где были три осиночки, там триста,
И не один, а пятеро несут
Тот стан, что лишь игрушка для арфиста.
И у коня не детское лицо,
И муравей ворочает горами,
И так огромно стало это все,
Что маленьким его я представляю.
И спящим, и тенистым, и простым,
Как ты, да я, да а, да бэ, да строчка,
И золотой обертывает дым
Все то, что нам простым казалось в прошлом.
И я гляжу совой у бездорожья,
Ткачихой, сон сплетающей и ритм,
И я касаюсь нити подорожной,
Как будто с нею мы над ним звеним.

* * *

Говорю: забери меня ввечеру —
Уже гусей-лебедей созвала,
Уже зашила правду в полу́
И пустила по ней дымные кружева.

Уже слушала речь квашни,
Спала на юг головой,
В сапогах семимильных прошли
Год вишни и яблочный круг годовой.

Уже в сундуке лягушачье приданое,
В колодце золото саламандр,
Сколько раз родился наново
Тот младенец, траву растящий по облакам.

Коса Златовласки проросла землю насквозь,
Иржик съел каменную кость,
Кассандра вымыла котел волос...
Послушай —

Это я вплетаю в волосы колосок,
На мосту стою из двух шатких досóк —
И вила оттопырила уши.

Это я говорю — все прошло и пройдет,
Но не птица с твоей песней:
Каждый год у ней новый помёт,
Ветвь в клюве древесная.

Это Пенелопина ткань для тебя,
Песня кукушки на ветру:
Что же с того, что я бедна,
Петер карманы зашил в тулуп.

Я иду через лес сна,
Выхожу на озерную ладонь,
Перебираю твои имена —
Волк, отец, сон, огонь.

* * *

Игорю

Речь моя ночь
Как гнездо в звездном космосе
Заплетаю ее осыпаю звездами
Зажигаю синий дымочек
Послушай свечу несу из тумана прошлого
Из воздушного его подвала
Разве найдешь
В огромном столь малое
Соломенный пятачок
Нашей памяти неразменную монетку
Островок ласкового ветра
Где стоят спина к спине все наши вещи бесплотные
Книжка подводная фонарь на масле
Твоя речь мягкая змея рассказа
Твоя красная крыша черепица
Болгарская веревочка которой виться
Которая связывает это царство
И притягивает ко мне извне
Из тьмы звенящий птичий далекий
Сохрани его не трогай
Думаешь и он рассыплется как тень
Последней жены Грозного лица
Дунешь и его не станет
А ведь он еще мелькает на самой гряде
В набегающих волнах памяти
И все реже можно его разглядеть

Яна ИШМУХАМЕТОВА

* * *

Кто я?
Горчичное зернышко на ладони,
ласковой колыбельной я тихо внемлю...
Если Господь случайно меня уронит,
я прорасту корнями в сырую землю...

Годик-другой, и с елями встану вровень,
даже не вспомню младенчества своего я...
Друг, ты ведь тоже — зернышко на ладони,
так что не бойся, если тебя уронят...

* * *

Может, звезды — это всего лишь сияющее пшено,
что разбрасывает по небу Господь,
чтобы мы вкушали
красоту их и пили кровь Его как вино,
избавляющее от горечи и печали?

Я стою у ворот разрушенного монастыря —
и слетаются голуби, видя в руках пшеницу...
Я бросаю им пищу на место старого алтаря,
и они, совершая поклоны,
бегут молиться.

Может, я — тоже птица, не знающая о том,
что молитва дарует крылья душе усталой?
Потому и хожу сюда
год за годом и день за днем —
голубиному хору прислуживаю подпевалой...

* * *

Превратиться в Дюймовочку:
майского оседлать жука,
полететь за пыльцою в напитанный солнцем сад,

Яна Ишмухаметова родилась в 1995 году в Салавате (Башкортостан). С 2014 года проживает в Санкт-Петербурге. Окончила факультет «Государственного и муниципального управления» РАНХиГС при Президенте РФ. Победитель международного конкурса духовной поэзии «Покровская свеча» им. Евгения Гусева (2024). Лауреат Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зеленый листок» (2025).

с муравьями сплясать мазурку,
вернуться к твоим рукам
и уснуть на них под стрекотанье
кузнечиков и цикад...

Я робею перед тобою,
я маленькая,
я лишь
колокольчика смех, искринка,
пустое место...
ты тихонечко спросишь меня:
«Ты спишь?»,
я прикрою лицо руками ответа вместо...

Потому как ты больше всех, кого знала я,
ты — мой храм...
Ты высокий, серьезный, с тобою не страшен ветер,
всю пыльцу, все цветы и все звезды —
тебе отдам,
за тебя — что угодно, пожалуй,
отдам на свете.

* * *

Нет, мы ни с кем не прощаемся навсегда:
даже не думай, что путь существует последний —
в небо идут пассажирские поезда
с теми, о ком мы молимся на обедне...

Тело — твоя гостиница, но не суть,
клетка, в которой птица-душа томится.
Смерть — это ключ от клетки, и провернуть
может его лишь божественная десница...

Дальше — битком набитый людьми перрон,
и машинист сигнал подает условный...
Видишь, мой милый, ни смерти, ни похорон —
поезд идет до станции
«мир духовный»...

* * *

Настоящая встреча случается при прощании:
когда сердце, разлуку чувствуя, мчится вскачь,
позабудь все, что было прежде, —
одним касанием
всю историю между нами переиначь...

Обними меня, я расплачусь, я вспомню доброе —
постоим у собора, подумаем, что к чему...
Если сердце твое откликнется там, за ребрами,
ты, пожалуйста, не отдавай меня никому.

* * *

Я видела Дели, Вильнюс и Ереван,
я когда-то жила на острове
в Лаккадивском море,
где океан
заменил для меня любовника, друга, брата, —
я была не деньгами —
душой богата.

Там, в тридевятом царстве,
остались мои друзья:
маленький ожереловый попугай,
черепаха и афалина.
С ними разлука — истинная епитимья
для меня как для человека и христианина.

Там мое сердце спрятано под песком,
краб-плавунец его охраняет,
знаешь,
если когда-нибудь ты приедешь туда тайком,
пообещай мне, что ты его откопаешь...

* * *

Милый, милый, чего ж ты всю ночь не спал?
Я гуляла под звездным небом в пшеничном поле...
Ты, как колос незрелый, однажды меня сорвал:
думал, доля твоя я?
Нет.
Я твоя недоля.

От зеленого колоса проку-то не ищи —
мне не быть ни женой, ни матерью,
тише, тише...
Ты ведь сам меня выбрал, милый,
так не ропщи...
Хочешь, я посвящу тебе пару четверостиший?

Что стихи — те же дети — никак тебе не понять...
Полевому я ветру свою подарила душу —

ты не сможешь, мой милый, у ветра ее отнять,
это значит, что ты не сможешь
меня разрушить.

* * *

Мне не хватает ласки материнской,
участия, поддержки, добрых слов...
Я русский променяла на английский,
отвергла в пользу Вулф молитвослов...

Из дома поутру я убегаю,
свободой надышаться не могу —
со стаей голубиной я летаю,
пшено клюю на голубом снегу...

А вечером, ударившись о землю,
приходится вновь девочкою стать,
и в клетку возвращаться, где не дремлет
мне крылья отрезающая мать.

* * *

Я певчая в заброшенной церквушке,
мне подпевают птицы и лягушки,
и хор кузнечиков, от радости ликуя,
провозглашает миру:
«Аллилуйя!»

Я причащаюсь зернышком ячменным,
я знаю, милосердные блаженны,
и потому-то от рассвета до темна
перечисляю ваши имена

Христу Спасителю, Отцу, Святому Духу
в закрытое шепчу от взора ухо —
помилуй, мол, того-то и того-то...
И соловей, высокую взяв ноту,

гнездится на земле и засыпает...
И чудится мне, что благоухает
цветочный ладан — жертва для Царя,
и я сама усну у алтаря...

* * *

Бывает так:

крещеный атеист,
какой-нибудь Матвей или Григорий —

мудрец, ученый, рационалист, —
переживает подлинное горе.

К примеру, смерть ребенка, и тогда
он задает вопросы — отчего же
с ним приключилась страшная беда:
«Не может быть,
не может быть,
не может...»

Он не дает рабочим забросать
землею гробик — маленький и узкий.
Над вырытой могилой плачет мать,
ее рыданьям вторит трясогузка...

До первых звезд он сам сколотит крест,
и каждый день могилу навещая,
он вдруг поверит — истинно воскрес
тот, кто дитя избрал его для Рая...

* * *

Вот чему меня научила Индия:

если хочешь
быть богатым,
раздай, что имеешь, нищим —
не жалей для них денег, одежды, пищи.

Не жалей самого себя,
раздавай — не думай,
за какую ты приобрел эти вещи сумму.

Накорми бедняка,
если хочешь насытить чрево,
если яблоко съел, сумей посадить и древо.

Если хочешь быть в добром здравии,
сядь, послушай:
исцели для начала уставшую свою душу.

Видишь, там на картонке лежит калека,
знай, он тоже достоин звания человека...

Знай, что каждый, кого ты встретишь,
посланник Бога —
от уборщицы на заправке до гуру-йога.

Дарья МАНДУР

ВРЕМЯ ДЖИННОВ

Рассказ

— Я хочу улететь в Россию!

— Ишь, чего выдумала! Йан-хар азра![1] — изумилась Хеба.

Алина решила не вестись на провокацию и промолчать. Чему удивляться, если у нее там дом.

— Подожди. После смерти мужа жена должна оставаться дома некоторое время, — назидательным тоном проговорила сестра ее покойного мужа.

— Какое?

— Некоторое, — упрямилась золовка.

«Ты можешь нормально сказать, сколько дней?» — мысленно возмутилась Алина, но вслух сказала: — Так сколько дней?

— Я тебе скажу, когда можно уехать.

Алина молчала. Местные традиции надо уважать. Почему, Алина точно не знала, но не могла ничего возразить. Сама себе удивлялась.

Они с Абдаллой приехали навестить его родителей на пару недель. В дороге муж подхватил какой-то вирус, кашлял, состояние быстро ухудшалось, и его не стало. С похорон Абдаллы уже прошло несколько дней, и Алина хотела вернуться домой. Но традиция требовала вдове посидеть немного в доме его родителей. Родственники настаивали, она уступала. Дни шли за днями, Алина чувствовала себя пленницей, но никак не могла твердо поговорить об отъезде.

Хеба ушла, Алина свернулась на кровати. В забытьи она не заметила, сколько прошло времени. Очнулась от звука азана, но не смогла понять, какое сейчас время суток. Сползла с кровати, подошла к двери, потянула ручку. Незакрытая дверь протяжно скрипнула в тишине дома. Алина вышла в коридор, в конце которого на полу лежала полоса солнечного света, и, завороженная, двинулась в сторону гостиной. Балконная дверь открыта нараспашку, в комнате шумно: кто-то проезжал под окнами на повозке, запряженной ослом. Животное глухо переступало по неасфальтированной дороге, телега тряслась и скрипела.

Алина выглянула на балкон. Повозка с ослом скрылась за поворотом, и улица опустела. Желание бежать пришло молниеносно. Голубое небо прямо перед ней ошеломляло своей яркостью. С балкона второго этажа переулок был различим в мельчайших деталях: серая утрамбованная земля, чуть влажная в тени, выбоины и неровности — самые простые вещи, которые теперь казались чем-то экзотическим Алине, успевшей

Дарья Мандýр родилась в 1986 году в Ленинграде. Окончила Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого по специальности «Информационный дизайн». Живет в Санкт-Петербурге, занимается продвижением библиотечной сети.

[1] Йан-хар азра (араб. голубой день) — восклицание, означающее крайнюю степень удивления.

привыкнуть к искусственному свету лампы, ледяным плиткам пола и чуть шершавой штукатурке стен. Когда она в следующий раз увидит свет, неизвестно. Вдруг раздался раскат храпа, от которого Алина вздрогнула, а сердце сначала замерло, а потом ускорилось. На скамье в углу, лицом к стене, спал свекор. Он лежал, укрывшись краем узорчатого пледа. Солнце било в глаза, и Алина сначала не разглядела его в тени, приняв за гору подушек и покрывал. Она замерла и не могла пошевелиться от страха. Постояла, пытаясь выровнять дыхание и вернуть силы ногам. И если тахикардия успокаивалась, то колени ясно давали понять, что они сразу же подогнутся, если она попытается сойти с места. Свекор тем временем спал крепким сном. В комнату влетела большая муха. Казалось, еще секунда, и она своим жужжанием разбудит спящего. Сердце заколотилось с новой силой, Алина прошлепала босыми ногами по полу и стала искать обувь. Выбирать было некогда, кроссовки, в которых она приехала, не стояли у входа. Их, наверное, убрали в какой-нибудь сундук. Из обуви подходящего размера у входа были только шлепки, шлепки со стразами, шлепки со стразами и каблуком. Ничего из этого не подходило для долгой пешей прогулки. Алина наклонилась и стала шарить рукой под тумбочкой у входа. Жужжание мухи она уже не различала, шум в ушах превратился в какофонию, слившись с ударами сердца. Казалось, она водила рукой под тумбочкой несколько минут, хотя на самом деле это вряд ли было дольше секунды. Там, в пыли, она на ощупь нашла какую-то обувь и выволокла ее наружу. Под ботинками предка Минуфи лежали ее смятые и сплющенные, оставшиеся с прошлого приезда парусиновые кеды. Алина натянула их и взялась за ручку входной двери.

Металлическая расшатанная ручка подалась на Алину. В комнату ворвались сквозняк и пыльный вихрь. Шторы заволновались, и Алина быстро выскочила за дверь. Прикрыла ее за собой, подержала ручку, чтобы железный замок не звякнул, и медленно отпустила. Изнутри дома не раздалось ни звука, свекор продолжал безмятежно спать. Алина постояла на пыльной бетонной лестнице. Убедившись, что никого нет, она стала спускаться. Все тело было напряжено. Она старалась идти тихо и медленно ступала упругой подошвой по бетонным ступенькам. В то же время хотела изобразить естественную походку и двигаться расслабленно. Надо не привлекать внимания. Алина рассчитывала проскочить незамеченной или влиться в толпу на оживленной главной улице. Если же сейчас за поворотом переулка она столкнется с золовкой, то следует выглядеть безмятежно: ну да, виновата, не спросив, вышла прогуляться, но в мыслях не было бежать. Алина сама не знала, что делает, настолько спонтанным был ее порыв. С собой у нее не было ничего: ни вещей, ни документов, ни денег. Только телефон в кармане. Сейчас в нем нет связи и Интернета, но надо только добраться до города и найти бесплатный вай-фай. Дальше она со всем разберется.

Вход в дом с улицы вместо двери закрывался ржавой металлической решеткой. Алина по одному ее виду поняла, что та заскрипит на всю провинцию, стоит только попробовать открыть. И разбудит всех, вплоть до петуха на заднем дворе. На первом этаже дома напротив стояла девочка лет четырех и внимательно смотрела на Алину, поедая кукурузные палочки из шуршащего пакета. Стоять за кованой решеткой дольше было невозможно, нерешительность вызовет подозрения. Одной рукой Алина оперлась на металлическую раму, второй медленно надавила на дверь. Та скрипнула только в первую секунду, а потом бесшумно отворилась. Девочка напротив молчала, взрослых рядом было не видно. Алина двинулась по переулку в сторону края деревни. Сердце ухало, в ушах зыбучие пески сыпались белым шумом и перекрывали собой все окружающие звуки. Она почти срывалась на бег, но сдерживала себя и все равно шла быстрее и быстрее, дышать было трудно. Смотрела по сторонам, но не могла фокусироваться

от волнения. Ей стало казаться, что за каждой калиткой, в каждом закрытом ставнями окне есть пара глаз, которые за ней наблюдают. У лавки на площади стояли две женщины и оживленно болтали. Алина дернулась, оглянулась в поисках укрытия, но вокруг не было ни одного дерева, только площадка утрамбованной земли, на которой разворачиваются тук-туки, и двух-, трехэтажные дома. Алина отвернулась от женщин, пожалела, что у нее нет никаба — в черном наряде Бэтмена, закрывающем лицо, ее бы точно никто не разоблачил. Быстрым шагом вышла на асфальтовую дорогу и припустила, стараясь все-таки не бежать. Бегущая женщина — явление запредельное в арабской деревне. Бежать взрослой тут можно только, если при этом хлопать себя по щекам и кричать. Окружающие подумают, что бегунья подвинулась рассудком на почве сильного нервного потрясения. Поцокают языками и поймут. В любом случае пробежка — признак исключительной ситуации. Поэтому ей бежать нельзя, только не бежать. Алина говорила себе это снова и снова. И шла будто на олимпийскую медаль по спортивной ходьбе. Вряд ли это выглядело намного естественнее бега. Абайя — черное, до пят, прямое платье — не рассчитана на широкие шаги. А потому натягивалась при каждом шаге и хлопала по ногам.

Двигаясь по обочине, Алина постепенно успокаивалась. Она уже различала окружающие звуки. Обошла старую металлическую табличку на въезде — «Кафр Ас-сабр». По обеим сторонам дороги начались поля, деревня осталась позади. Длинноногие ибисы важно вышагивали по свежевскопанной земле, хлопали белыми крыльями и выискивали червяков. Иногда они перекрикивались звуками, похожими на карканье. Солнце спускалось к горизонту. Мимо Алины в сторону города проехал мотоциклист. Она услышала звук мотора издалека, подхватила конец своего платка и приложила к лицу. Но мотоциклист даже не обернулся посмотреть ей в глаза. Человек пять школьников обогнали ее на тук-туке. Их невыносимая громкая музыка спугнула птиц, и над полем поднялась белая стая. Подростки свешивались со всех сторон своего такси, кричали что-то невразумительное и долго смотрели на нее, уезжая вдаль. Алина закрывалась платком, пока тук-тук с молодежью не исчез за поворотом дороги. И тут она совершенно успокоилась. Мальчишки любопытны и бесцеремонны, особенно когда собираются в компанию. Но знакомых подростков у Алины нет, а незнакомые не запомнят ее, потому что им нет дела ни до кого, кроме самих себя.

Подступали вечер и усталость. На пустынной дороге, как в море, трудно оценить расстояние. Алине казалось раньше, что надо пройти поле, коровники, выйти к реке и по ее берегу дойти до моста на въезде в ближайший город. Но быстро это было только на тук-туке. В реальности поле было бесконечным, Алина шла и шла, а одинокое засохшее дерево вдали как будто не приближалось. Закатное солнце окрасило все вокруг в розовый цвет. Подул свежий ветер, и стремительно холодало. С полей потянуло влажным травянистым запахом. Путь в полной темноте беспокоил Алину. И если прийти в маленький городок ночью, она не найдет места посидеть и согреться. Ночных кафе или круглосуточных магазинов там не было. Но сначала надо дойти.

Из коровника вышел мужчина и принялся неспешно отряхивать седло. Под навесом неподвижно стоял понурый осел. Мужчина поздоровался с Алиной и предложил ей зайти. Она буркнула приветствие, имитируя местную речь. Чтобы не выдать иностранку в себе, съела почти все звуки в ответе на традиционное приглашение.

«Это просто вежливость, традиционная форма общения. Он уже забыл про меня, вон начищает попону своего осла. Опасности никакой нет, веди себя естественно».

Потом Алина поняла: если за ней будет погоня, а этот наездник осла так и будет стоять, очищая седло от соломы, они его спросят, видел ли он молодую иностранку.

И он ее сдаст. Может, уйти в кусты? Сбоку как раз начинались заросли тростника. Алина шла, погони не было. Ноги устали, мышцы заныли, а все неровности асфальтовой дороги приносили боль сквозь тонкую подошву обуви.

Где-то вдалеке муэдзин исполнял азан. В древности муэдзинами становились мужчины с громким голосом, чтобы призыв на молитву с высоты минарета разносился по округе как можно дальше. Сейчас на верхушках минаретов висят направленные в разные стороны громкоговорители, похожие на соцветие серых колокольчиков, которые усиливают звук. Это был призыв на магриб, вечернюю молитву. Вот куда собирались мужчина, распрягавший своего ослика, мотоциклисты и даже, наверное, веселые подростки. Дорога опустела, никто больше не обгонял Алину, было никого не видно в полях, наступила полная тишина, разрываемая звуками азана.

После магриба нельзя гулять — это время джиннов. Сумеречное время, когда они свободно разгуливают по земле. Улицы даже в больших городах стремительно пустеют, а Алина, наоборот, особенно любила именно эту часть дня: едва солнце скрывается за горизонтом, наступает короткий миг прохлады и розовых сумерек. Момент тишины и волшебства. Потом погаснет последний солнечный луч, наступит черная южная ночь, шумная и терпкая. Открываются магазины, официанты расставляют на улице столы, повара разводят огонь, отовсюду доносятся запахи еды, стук ложек, громкие разговоры. После ужина женщины выходят на развлекательный шопинг, блуждают по рынкам, болтают и рассматривают товары. Это может продолжаться до полуночи. Ночное веселье происходит в городе, а если в деревне нет рынка, то некуда и пойти в темноте. На закате граница между мирами растворяется, и чтобы не встретиться с прогуливающимся джинном, следует сидеть дома. Алина задумалась: может, она и есть джинн? Иначе почему время магриба — ее любимое, почему сейчас она бредет по пустой дороге в полях в дельте Нила?

Во рту пересохло от быстрой ходьбы. Губы обветрились и стянулись, машинально хотелось их облизать, но язык, такой же иссушенный, скреб мелкой наждачкой. Река была уже недалеко, пальцы ног окоченели от сырости. Спина при этом взмокла от быстрой ходьбы и теперь замерзала от холодного воздуха. Алина шла, погруженная в свои мысли, и мало обращала внимания на происходящее вокруг. Она не сразу заметила, что сырой холод от реки был туманом, который медленно плыл по земле. Дорога изгибалась и выходила к реке, дальше до города предстояло идти вдоль берега. Алине стало страшно. Местные верили, что по ночам в тумане из рек вылезали наддахи — речные нимфы, утаскивающие людей на дно. Хотя они охотились на мужчин и ей ничем не грозили, туман вместе с наступавшей темнотой был жутковатым. Алина зябла и старалась идти еще быстрее. От страха сухой язык прилипал к ребристому, как стиральная доска, небу.

Темнота сгущалась, земля исчезла в пелене стелющегося тумана, Алине становилось все страшней. Успокаивала немного только мысль, что и людей она не встретит, впереди маячили одиноко стоящие дома, но двери и ставни у них плотно закрыты. В полях тоже никто не ходил, а значит, она сможет пройти незамеченной остаток пути. То, что вечерами страшно делается всем, не только Алине, сейчас ей на пользу. Вместе с тем она ожидала погони. Ее родственники вернулись домой, закрыли двери и ставни, обнаружили ее отсутствие. Поедут ли они вдогонку или решат подождать? Или будут искать ее в другой стороне? Хотя в какой другой? Только одна дорога ведет к городу, а всем известно, что друзей у нее нет, прятаться негде. Внезапно Алина увидела прямо перед собой свою тень. Оглянулась — совсем недалеко по дороге ехал тук-тук, светя фарами, а за ним еще один и еще. Тихие машинки с маленькими колесами подкрались

без освещения и включили фары в последний момент. Они ее выслеживали! Алина закрыла глаза рукой от слепящего света и прыгнула на обочину в заросли тростника. Потревоженный тростник выше ее роста шуршал от прикосновений, а она размахивала руками и забиралась вглубь в полной темноте. Алина заходила все дальше, постоянно оглядываясь. Она остановилась, только когда дорога перестала мелькать между растений. Поломанные стебли оставляли тропинку в неприступной стене зарослей и могли легко ее выдать. Если бы сейчас был день, Алину бы легко нашли по примятым растениям. Но в ночи она надеялась, что никто не увидит. Сидела на корточках и старалась не дышать, чтобы тростник наконец перестал шуршать, старалась не задевать его, не двигаться. Но он все равно шелестел, хотя ветра не было. Тут она поняла, что ее трясет, она дрожит так, что будоражит всю рощу. Ноги била крупная дрожь, колени ходили ходуном, страх только нарастал. Никто не ходит в тростниковые заросли не только потому, что хозяин земли уши надерет за поломанный тростник, а потому, что там могут водиться змеи. Стало понятно, что выбраться отсюда она уже не сможет. Новый парализующий страх мешал сдвинуться с места. Как идти, если под ногами может оказаться гнездо. Абдалла когда-то рассказывал, что у них водятся змеи, надо быть осторожной. Но змеи не выползают обычно на дорогу, поэтому надо просто сидеть дома, ездить на тук-туке или ходить по широким дорогам. Алина тогда заинтересовалась, что за змеи, но не смогла перевести названия, а он не мог пояснить на классическом арабском, чтобы показать в гугл-картинках, или назвать на английском. Диалектные прозвища змей остались непереведенными, и Алина так и не узнала, в деревне водятся безопасные ужи или королевские кобры. Хотя, скорее всего, ни то, ни другое.

Алина на минуту поразилась: как она вообще могла оказаться в такой ситуации. Она, любительница карамельного латте и работница опенспейса, сидела на корточках в одиннадцать вечера в зарослях сахарного тростника и ожидала в ближайшие минуты смерти от укуса неизвестной змеи, которая наверняка тут где-то спит.

Тут она услышала крики. Когда люди кричат, разобрать язык очень трудно. Она не могла никогда договориться с маленькими детьми, которые говорят на своей версии арабского, и понять суть проблемы во время уличных драк, громких ссор или яростных митингов в революцию. Три тук-тука остановились, проехав чуть вперед, из них выскочили мужчины и закричали. Алина забыла про кобру, она силилась понять, о чем они говорят. Хотя и так понятно, что ищут ее. Голоса казались знакомыми, но в следующую секунду совершенно чужими. В одних интонациях узнавался брат ее мужа, в других его отец, а потом она понимала, что ничего подобного, это чужие какие-то мужики. Когда в очередном окрике она узнала Абдаллу, своего умершего мужа, стало ясно, что она совершенно ничего не понимает в местных голосах и незнакомой речи. Абдаллы там точно не было. Голоса удалялись и приближались, они ходили по дороге взад и вперед, но никто не сходил на обочину. Боятся лезть в чащу, они-то знают, как тут опасно. Алине стало так жалко себя, захотелось крикнуть им, чтобы они ее спасли, вытащили отсюда, ей так хотелось оказаться на дороге, почувствовать сквозь тонкую подошву обуви твердость асфальта. Тук-туки продолжали стоять на дороге со включенными фарами, Алина, согнувшись, медленно кралась вперед вдоль дороги. Теперь ей хотелось идти на свет. С подсветкой из фар она сумеет оглядеть землю и потом, когда они уедут, выйти по безопасному пути. Пусть они ей подсветят, что тут нет змей. Холодная земля была мягкая, и чем дальше Алина пробиралась к реке, тем жиже становилось под ногами. Очередной шаг, и нога провалилась в грязь, а вытащить уже не получалось. Жижа крепко обхватила ступню и присосалась к ней. Алина не удержала равновесие и упала на колени и руки. Под руками земля была твер-

же, под коленом так же чавкало, как под пяткой. Алина изо всех сил потянула ногу и вырвала голую ступню из трясины. Ее матерчатый тапок остался во власти болота. Перебирая руками, Алина ползла на четвереньках в сторону дорогу. Она уже не думала ни о чем, а двигалась на свет фар. Когда она уже почти доползла до обочины и сквозь просветы в тростнике виднелись тук-туки, там перестали ругаться, но царило какое-то оживление. Свет фар то появлялся, то исчезал, видимо, кто-то ходил перед машиной, загораживая фонари. Но ходил хаотично, скорее, носился из стороны в сторону. Заработал мотор, и первый тук-тук развернулся и поехал в сторону деревни. Второй тоже завел мотор. Голоса больше не раздавались. Алина доползла до самой обочины и лежала на животе в полуметре от дороги. Она как будто пришла к развязке какого-то фильма. У машины происходила возня, все молчали, но слышалось пыхтение. Темный силуэт непонятного животного качался из стороны в сторону, наваливался на бок тук-тука, отклонялся от него, переступая своими ногами, которых сначала показалось, что четыре. Наконец возня прекратилась, животное навалилось на бок машины в последний раз и рассыпалось. Немолодого мужчину в длинной галабее затолкали в тук-тук, второй мужчина в джинсах залез за ним. Третий отошел от них и сел за руль. Драку Алина приняла за неизвестное животное. Тук-тук стал разворачиваться, и Алина увидела, что мужчина в галабее связан узким традиционным шарфом, которые обычно носят мужчины. А спутник держит его под руку. В последний момент пленник сделал рывок и вывалился с противоположной стороны. Машина еще не набрала скорость, поэтому резко остановилась, водитель выскочил, успел поднять беглеца с асфальта и с помощью подельника снова затолкал на заднее сиденье. Они уехали, а Алина осталась лежать с четким осознанием, что она слышала от них слово «наддаха».

Когда тук-тук скрылся в темноте, Алина выползла из зарослей, поднялась и посмотрела на себя. Колени в грязи, одна нога босая, ладони жгло. Наверное, ободрала кожу, когда упала. Сквозь грязь было не разглядеть. Она вернулась к обочине, чтобы найти лист, которым можно протереть хотя бы руки, но подорожник тут не рос, а листья сахарного тростника узкие и жесткие. Алина стала тереть ладони об стебли, от их шероховатости было больно. Вспомнила, как в детстве пыталась сорвать длинные листья осоки и как они резали до крови тонкую кожу пальцев. Заросли тростника напоминали ту осоку, только будто видишь ее во сне: огромная, выше человеческого роста, травинка превратилась в плотную режущую поверхность. Алина скребла об нее ладони, тростник качался и шуршал, поглощая все звуки вокруг. Задумавшись, она впала в транс, скребла и скребла на ощупь на краю дороги грязь на руках. Переминалась с ноги на ногу, чтобы босой ногой стоять поменьше. В этой механической отрешенности она перестала следить за окружающей действительностью. Из оцепенения ее вывел звук шагов по дороге. Тихий и мерный, он раздавался совсем близко.

Алина оглянулась на цоканье. К ней подъехала телега, запряженная ослом. В телеге сидел тот самый мужчина, который здоровался у сарая. Она напряглась. Человек может спросить, что она тут делает. Что ответить — она не знала. Как объяснить человеку, что делаешь, если ближе к полуночи стоишь на проселочной дороге в одном ботинке и намазываешь грязью сахарный тростник. Нет ни одного возможного оправдания. Наверное, это его земля, раз его сарай. А она чужую собственность портит. В темноте на безлюдной дороге только воры могут топтаться. Но он должен понять, что она точно не планировала рубить его тростник, ей его даже погрузить некуда. Он тоже молчал. Замешательство длилось несколько секунд, только ей казалось, что прошла вечность. Наконец он сказал: «Садись». Алина вежливо улыбнулась: «Нет-нет, спасибо,

не надо». Неизвестно, видна ли ему ее улыбка, темнота стояла кромешная, у повозки с ослом не было фар, а на дороге фонарей. Может, он вообще принял ее за кого-то другого. Она сказала: «Я уже ухожу, извините, не буду вас задерживать. Храни вас Бог, всего самого наилучшего, мир вам» — и начала медленно пятиться по дороге в сторону города. Возвращаться в заросли не хотелось, а с местным, казалось, можно договориться. Они не знакомы. Просто надо дать понять, что она знает, что делает. Алина повернулась спиной к нему и пошла пешком. Старалась идти естественно. В такой темноте мужчина не заметит, что из-под длинного подола абайи у нее торчит голая пятка. Но звук шагов ее выдавал: Алина делала мягкий тихий шаг кедой и твердый гулкий «шлеп» босой ногой.

Негромко хлопнули поводья по шерстяной спине осла, и животное сдвинулось с места. Медленно маленькими шагами он шел за Алиной. Она оглянулась, сошла с дороги и остановилась, пропуская повозку. Осел тоже замер.

— Что вы хотите?

— Садись.

— Я не хочу, спасибо. Не трогайте меня, проезжайте. Я вас не знаю, — Алина от волнения ускорялась и затараторила, бросая короткие фразы, вопросы и угрозы: — Вы меня преследуете, я спешу, я буду кричать, меня ждут за поворотом, в городе ждут, я знаю, куда иду. По этой прямой дороге до города недалеко. Мне не нужна помощь, что вы себе позволяете, я приличная женщина. У вас будут проблемы.

— Астагфируллах аль-азим. Прости, Господи, — только вздохнул возница, — я подвезу вас. Дорога небезопасная, посмотрите на себя! Туман сгущается, нельзя идти пешком дальше, провалитесь еще куда-нибудь. И без ботинка. Мне ничего не надо, я вас не трогаю. Садитесь в телегу сзади, в любой момент сможете сойти.

Туман поднимался все выше, ничего не видно было уже до колена. Алина поняла, что ей нечего возразить. Ночное приключение затянулось, одной ей не дойти. Она взялась за борт телеги и, не отпуская руку, пошла от понурого ослика вдоль повозки. Стенка была железная и неровная. По небольшим выпуклостям Алина догадалась, что бок телеги выкрашен плотной масляной краской узорами и полосами. Краска легла неровно и чувствовалась в темноте. Сзади она схватилась за телегу, подтянула колено и забралась внутрь. Села лицом вперед на пол, осел сразу же пошел. Животное хотело спать. Осел не привык к ночным прогулкам, наверное, еще и работал днем, поэтому еле полз по асфальтовой дороге в сторону города. Мужчина не понукал его, не натягивал поводья и молчал. Алина смотрела в спину возницы, которая выделялась серым пятном на фоне непроглядной ночи.

— Бедный ходжа Рагаб. Я встретил его сыновей. Он опять сбежал, они еле успели догнать и вернуть. Ничто теперь его не удерживает, ни веревки, ни замки. Проклятые наддахи.

Алина молчала. Кто такой этот ходжа, она не знала, но второе упоминание наддах наводило на мысль, что процессия из тук-туков, которая загнала ее в болото, имела отношение к истории. Возница, выдержав паузу, продолжил под мерное цоканье копыт:

— Пару месяцев назад у ходжи перед магрибом ушла корова. Он пошел искать. Я как раз закончил работу, распряг ослицу, чистил телегу. Он прошел мимо, как вы сегодня, я спросил куда. А он ответил: коровы не хватает. Решил, что она дурная, к воде ушла. Вечер был ровно как сегодня. После магриба быстро стемнело, и ходжа не нашел скотину. Бросить надо было, но ему жалко. Туман поднимался с реки. Животное испугается и потеряется. Зима еще, ночью холодно. Было бы лето без тумана, оставил бы до утра. Сама вернется, или найдут в поле соседи, когда пойдут работать. Но не зимой. А уже никого нет после магриба. Ну вы вот разгуливаете, а так-то тишина. Надо при-

слушиваться и услышишь животное. И вот он услышал. Ночь безветренная, а у реки тростник аж трещит. Ну точно корова туда залезла, ломает стебли, прет к воде. Рагаб полез в тростник. И успел он потом рассказать, что увидел там девушку в белом, она звала его. Он пошел следом, дошел до воды, но она уплывала, хотя не погружалась в воду.

Подоспели сыновья Рагаба, все трое. Кричали, догнали, схватили за рукав, а он уже в воде по колено. Они его вытащили, а он говорит: видел, мол, девушку. Ясное дело, никого там не было. Как только из воды вывели, он говорить перестал. Сидит теперь целыми днями и смотрит в стену. А как ночь туманная, встает и бежит к реке. Они его к кровати привязывают, на замок дом запирают. Да все бесполезно. Он слышит зов наддахи и не успокоится, пока не последует за ней. Прости, Господи. Вот сегодня сколько пробежать успел, пока не догнали. Такое горе. Веселый был такой, добросердечный, четверых сыновей вырастил. Настоящий праведник. Сыновья ему с женой подарили поездку в хадж. А теперь что, сидит умалишенный. И такой позор — помешаться и слышать голоса наддах. Непотребство. Сыновья уехать никуда не могут, сидят ночью дома у родителей. Иначе он утопится. Упаси Боже от такого.

— И ничего нельзя сделать? — неожиданно для себя выпалила любопытная Алина.

— Шейха звали, говорят. Ждут. Должен приехать особенный знаток по джиннам. Да когда это случится. Ну, дай Бог.

— А корову нашли?

— Она вернулась сама в ту ночь. Еще раньше Рагаба, да.

Алине сделалось тяжело и зябко. Туман поднялся на высоту ее роста и скрывал все за пределами телеги. Казалось, они плыли, медленно разрезая облака. Не было ни земли, ни неба. Если в такую погоду оказаться у реки, увидеть девушку в прозрачном белом платье очень легко. Немного фантазии, и белые драпировки будто сами выплывут, сотканные из тумана. Про слуховые галлюцинации Алина ничего придумать не могла. Объяснение не лезло в голову — тишина тут по ночам стояла такая, что казалось, будто ты оглох. Безмолвие давило, и от отсутствия звуков легко начать слышать шум внутри себя, стук пульса или сердечный ритм. Манящие песни речных нимф не походили ни на что. Сейчас оказаться в тревожной тишине мешал стук копыт ослицы.

Возница так и не представился, подумала Алина. Столько рассказал, но умудрился ни слова не сказать о себе. Туман начал как будто редеть, а вдали показался треугольный свет фонаря, стоящего над дорогой.

«Подходим к городку, — поняла Алина. — Появляется уличное освещение». Луч еле пробивался сквозь мглу, и в его оранжевом свете видно, как клубится туман. Издалека можно подумать, что это дым или пыль. Алина приободрилась и выдохнула неожиданно шумно. Мужчина услышал ее, поерзал на сиденье и заговорил:

— Вы когда вышли, уважаемая хадрытык, вас моя внучка видела. Она у меня девочка тихая, не носится по улице с другими, любит бабушке помогать по дому, а та ее балует, столько сладостей ест. Но я так считаю: девочку баловать надо. У нее потом неизвестно, как жизнь сложится. Повезет если, будет муж золотой. Добрый и ласковый, как Абдалла, упокой, Господи, его душу. Тогда счастливая будет. А если нет, если человек черствый. Сладости каждый день надо есть, пока маленькая. Потом жизнь будет приносить только горечь. Не все удачливы, как вы, хадрытык, уважаемая.

Сердце Алины упало, ухнув, и громко стучало.

— Вы наши соседи, получается, в доме напротив живете?

— А что вы вздумали по площади скакать? Цирюльник говорит, вы чуть не бежали. Не лучшее время для прогулки — под палящим солнцем, так еще и бегаете. Хотя я по телевизору видел, богатые любят бегать по утрам, у нас в сериалах показывают.

А у вас на родине как бегают? У нас-то понятно. В отелях по дорожкам можно круглый год бегать. Я слышал, у вас снег лежит почти круглый год, никто же не бегает по снегу? Вообще не представляю, как можно в холоде жить. Сразу вспоминаю Абдаллу и его истории о жизни в России. Невозможно там жить, я уверен.

Алина напряглась вся, уже с трудом понимала речь возницы, ноги свело судорогой, все мышцы сжались. Может, спрыгнуть из телеги и побежать? Но куда? Осел не очень быстрый, вряд ли понесется вскачь. Но прямо по дороге он все равно ее догонит, а в лес она больше не побежит.

Мужчина повернулся к ней, почувствовав ее страх:

— Сестра моей невестки в окно увидела, когда вы по пустой улице шли. Знаете, женщины гораздо больше смотрят в окно, чем кажется. Пустые улицы и закрытые ставни — это сотни глаз. Она сначала своей сестре позвонила. Ну, знаете, женщины, обсудить ваш наряд. Вы простите их, скучно в деревне, не держите зла, им же тоже надо развлекаться. В телевизоре всем перемыли кости уже по сотне раз, а вы — лицо новое. Не обижайтесь, они не со зла. Всех обзвонили и до вашей золовки дошли. Так что не волнуйтесь, дома вас не потеряли. Свекрови вашей докладывали, где вы. Мне позвонили, а я смотрю, вы и идете, а уже магриб. Ну я пообещал, что прослежу, чтобы с вами ничего не случилось. Но ребята Рагаба меня опередили, напугали вас. Так что я не уследил. Вы простите. Я завтра днем вернусь туда, найду ботинок и привезу вам домой.

Туман рассеялся практически полностью. По спине возницы проезжали полосы оранжевого света от уличных фонарей. Повозка въехала в деревню мимо таблички «Кафр Ас-сабр».

На свету Алина поняла, как сильно устала. Столько дней она провела дома, и сегодняшний побег с непривычки ее утомил. Время приближалось к полуночи, грязные пятна на абайе засохли и превратились в каменные корки. Ныли колени от падения, а мышцы ног от прогулки. После долгого нахождения в темноте в глазах расходились черные круги. Возница подъехал к дому, остановился ровно перед входом, где стояла свекровь. Она покачала головой и открыла решетчатую дверь. Алина зашла, мадам Минуфи закрыла дверь за ней, щелкнула замком и осталась на улице разговаривать с погонщиком осла. Алина уже поднималась по лестнице, когда услышала, как он ей вслед крикнул прощание. Она обернулась и кивнула, как будто вежливость может изменить ее положение. Когда в замызганной абайе и одном тапке Алина переступила порог гостиной на втором этаже, в салоне была только Хеба. Она мрачно посмотрела на Алину и спросила: «Мама знает, что ты вернулась?» Алине стало страшно. Она кивнула и почувствовала тяжесть, которая опустилась на ее плечи от взгляда Хебы. Хотелось провалиться на месте от стыда. Хеба отвернулась и принялась рыться в сумке, давая понять, что разговаривать не желает. Алина скинула единственный парусиновый тапок с ноги и побрела к себе. Хотелось скорее в душ, но сначала надо найти абайю на замену, а все вещи Алины до сих пор хранились в чемодане под кроватью. Она с трудом вытащила чемодан, нашла темно-синее шерстяное платье до пола, схватила со спинки кровати полотенце и пошлепала в ванную комнату.

Саша НИКОЛАЕНКО

ПА-ДЕ-КАЛЕ, 2025

Рассказ

Но — высокими и бессмертными бывают лишь бессмертные выдумки, лишь они способны воодушевить и утешить нас, и чудодейственная сила любви заключается в том, что она подключает нас к неясной, но оттого не менее реальной сверхчеловеческой сказке, незримо окутывающей наш мир, который погибнет, когда перестанет грезить.

Александр Мелихов

Я так тебя люблю, что я уже не знаю,
кого из нас двоих здесь нет.

Поль Элюар. Октябрь 1987, Баку

В родительской темно, задернуты портьеры, кривой разъем, ведущий на балкон, булавками подколот, сквозь стяжки тусклый свет; зеленый гобелен в багряных терниях и розах бессменный занавес от дня. Торшер накрыт, как паутиной, шалью, от лампы тлеет шерсть, но только тлеет, не горит. В безмерных сумерках дневных она Псалтырь читает, перечеркнули стрелки циферблат, часы стоят, кукушка не кукует, и красный телефон стационарный среди развалин «замка от Ковальских» звонит, чтобы установить, нужны ли «окна пластик» в этот склеп.

На кухне ржавый ручеек от крана к сливу себе сто век назад дорогу проложил, в прихожей полок этажи, четыре поколения книг теснят друг друга, коробки на шкафах в падении держат потолок, но штукатурка падает, как снег, мешаясь с пылью; хрустальная овца, фарфоровый бычок, Мухтар и мальчик-«пограничник» в сухом налете сонной белизны, над выключателем уборной маленький ночник, без лампы, иконостас над холодильником в углу, лампадка не горит, в стеклянной плошке копоть, просфорка в блю-

Саша Николаенко родилась в Москве в 1976 году. Окончила университет им. Графа Строганова, отделение «Монументальная роспись». Лауреат литературной премии «Русский Букер» за лучший роман на русском языке «Убить Бобрыкина. История одного убийства» (2017). Лауреат литературной премии «Нонконформизм». Финалист литературной премии «Ясная Поляна» (2019). Лауреат премии им. Эрнеста Хемингуэя (2021). Лауреат премии журнала «Новый мир» (2021). Лауреат премии журнала «Этажи». Лауреат премии «Искусство слова» (2023). Лауреат литературной премии «Ясная Поляна» (2023). Лауреат премии журнала «Знамя» (2024).

де на столе, безглазый лик луны в окне вечернем и вышка «Эйфелевой башни» радио «Маяк», как будто лестница на небо, с которой можно Тане ближнюю звезду достать.

Тепло. Уснула муха между рам, вода бежит в гармошке батареи, звезда сияет над двором, но нос стеклом расплющен, забиты поролоном щели, оклеены полосками газет, и шпингалет не повернуть. Еще зима, уже зима, опять зима, и в зеркале окна двоится кухня, вдоль черного квадрата неба идущая к плите с кастрюлей мать. Баранка, синее кольцо конфорки, и ветка вербочки в стакане, и к лужице прислащенного чая прибитый насмерть таракан.

— А ты боишься тараканов?

— Нет.

— А я боюсь...

— И я боюсь.

И таракан ползет под потолком веревкой бельевой и падает на скатерть. Опять ползет и падает на пол.

— Чего у вас поесть?

— У нас котлеты с рисом.

— А вкусного чего?

Из вкусного о вкусной и здоровой пище книга, меню роскошного стола! Приморский ресторан, бескрайний выбор холодных блюд, горячих блюд, и Танин палец оглавлением бежит, по столбику от верха вниз, и дальше: «салат фруктовый», «теша белорыбья», «ростбиф», «лещ в сметане», «рагу из овощей», телятина, балык, говяжий студень, кисель клубничный, стерлядь, поросенок заливной....

— Я буду стерлядь, и балык, и это вот...

— А что это такое?

— Суфле... еще ванильный крем, и мусс из ягод, песочный торт, лимонный кекс, а ты?

— Белугу, осетрину, банку кильки... суп-крем, ликер...

— И я ликер!

— Бисквитный торт и ананас.

Они уже наелись.

— Саша, а в холодильнике чего у вас?

Пустеет двор, погасли окна в школе, лохмотья пара ветер волочит от ТЭЦ, намазан маргарином белый хлеб, посыпан сахарным песком, песок под тапками скрипит, сквозь черный мех ресниц глаза сияют, и больше ничего не нужно, никогда.

...

— Давай в «кто там?»

— Давай.

Она на цыпочки вставала, чтоб дотянуться до звонка, звонила в дверь, условным «раз-два-три и раз», чтоб знал, что это Таня Тараканова пришла, из тридцать пятой снизу, тогда он сразу открывал, и приходила Таня. Они на кухню шли и ели торт, который Таня принесла, то «Прагу», то «Полет», а то и «Киевский», ореховый, любимый, стуча пустыми ложками в тарелках и отгребая вкусное на край: невкусное всегда сначала лучше съесть, чтоб на потом все вкусное осталось. Она любила розы шоколадные на торте, он тоже розы шоколадные любил, зеленые и розовые тоже, а тесто не любил, от теста только пользы, чтоб между теста пальцем выковыривать весь крем. Потом в «кто там?» играли дальше, звонок звонил не «раз-два-три и раз», а просто: «Дзыыыыыыы-нь!» — «Тогда не открывай, понятно? Понял?» — «Понял», — и он не открывал, а спрашивал: «Кто там?»

— Мосгаз, откройте!

— А дома нету никого.

— А вы?

— И нас.

— Давай в «кто там?» сыграем. «Раз, раз-два-три!» — откроешь, а за дверью никого, и только тумбочка из спальни матери без ящиков и дверцы, в ней «Новый мир» за прошлый век, стоит, как раньше, как памятник стране, которой больше нет. «Помру, у Бога не убудет» — как говорила мать твоя.

— Давай, теперь моя собака будешь, будешь? Сиди, ходи, и жди, пока из школы не вернусь...

И он был Таниной собакой, сидел, ходил и ждал, пока она из школы не придет. Но Таня приходила быстро, сразу, он приносил ей тапки, поводок...

— Ключи мне дай, я дверь сама открою, услышишь, я иду, то из-за двери громко лай, что я пришла, а ты меня встречай и тапочки неси, потом пойдем с тобой гулять...

Гулять! Пойдем гулять! Когда пройдут дожди по улицам весенним и первый майский гром обрушит на асфальт всевоскрешающий потоп, Па-де-Кале — пролив любви на площадь! Пусть пешеходам станет тесно от неба, опрокинутого вниз.

...

По телевизору война, болеем за своих. Новорожденный открывает синие глаза и улыбается в квадратный потолок. Над ним кружит смешная меленка, про детство. Волчок так бесконечно гонится за зайкой, а зайка все бежит за ним, не догоняя никогда, а дальше облака, а дальше вечность, вовлекая в круг теней повешенных на ней.

От муравьев отбили майского жука, но жук уже был мертвый. Похоронили майского жука, и косточку от вишни. Жук навсегда исчез, а косточка взошла, и будет вишня.

Теперь, когда не нужен никому, твой телефон весь день звонит, а если телефон звонит, то, значит, нужен. И он звонит, и голос оловянный говорит: «хотели предложить», «хотели пожелать», «хотели бы спросить»... Хотели бы понять, да не успели, хотели жить, и так теперь живем. Двойной тариф, двойной удар, двойное СПА, массаж и пилинг, доступны стали обновления приложения «Жизнь», «Вторая молодость» «Вторая юность». Счастливый клон! Ты нужен родине своей счастливым. Скажите сыр! Мы все умрем.

А ты меня на саночках везешь, сквозь снеговой буран по площади Свободы, бежишь, не видишь ничего, ушами шапка на глаза, и поскользнешься, упадешь, а я наеду и говорю тебе: вставай, Мухтар! Мухтар, вперед! И ты встаешь, опять бежишь, а шапка там, где ты упал, валяется в снегу, все меньше, дальше, а я тебе: назад, Мухтар! Ты шапку потерял... Полозьями скрипя, сбиваясь с круга, бежим назад, а то ругаться будет мать, а там идет Бобрыкин ненавистный... Назад, Мухтар! Ко мне, Мухтар! Бежим туда, где потеряли все.

Еще хотели предложить пройти опрос: вы против или за? А ты им: кто это? Откуда взяли номер? А там: чтобы пройти опрос, нажмите цифру ноль, и мы вас спишем... Здорово же, да?

Лопатка, чтобы золото песочное копать, а грабли в кучу грабить, чтобы удобнее в совок, совок в ведерко высыпать, ведерко в самосвал. Погрузишься, вези к забору, там высыпай и возвращайся, только листьями прикрой, а то увидит наше кто-ни-

будь и переграбит все назад — и весь почти в песочнице песок перетащили под забор, пока нас ужинать с тобой не разлучили.

На ужин гречка, чай и новости страды, последние известия страны, воскресшей за грехи отцов ответить ядерным ударом миру, и тянет погасить на кухне свет, чтобы не лез, не бил в глаза, не выдал, не наплывал туманом вещий ужас, крестом заклеить окна, занавесить зеркала, чтобы внутри знакомых рам себя убитыми, убийцами не видеть, чтобы себя себе не выдать, закрасить черным купола. И ждать, как тикают часы.

Кремень нашли, к нему второй весь день искали, искры высекать, но не нашли, решили этот на два расколоть и даже взяли молоток у матери твоей, но только им кремень забили в землю. Пришлось откапывать потом. Была идея, что так и все закопаны кремни, порыли-покопали — не нашли, бросали с гаражей, бросали об асфальт, пока нас не прогнали. Пошли на крышу, с крыши сбросили его, чтобы разбился сам, а он лежит внизу, как был. Кусали. Не только искры высекать нельзя из одного кремня, но непонятно, как его делить. Решили мне отдать, пока тебе другого не найдем. Ты через день нашел другой, а это тот и был, что мы до этого нашли, мне мама просто выкинуть сказала, пришлось сказать тебе, что это не кремень, и ты поверил и тоже выкинул его. И стали снова тот кремень искать, чтобы найти и перепрятать так, чтоб не найти.

Среди советов мясника любой найдет рецепт по вкусу, до черной пятницы три дня, в предновогодней распродаже душ большие скидки. Осетр был жив еще с утра, потом замерз во льдах витринных, и тускло отражает глаз оледеневший рыбий человека, задумчиво листающего деньги продавцу. Живая рыба хлопает щеками. Живое мясо хрюкает еще. Приближе Рождество. Заколот агнец. Фейерверк грохочет. Над крестами надпись: «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ХОРОШО».

В резиночку зимой играли дома. У матери твоей нашли моток резинки бельевой, себе отрезали чуть-чуть, чтоб не заметила она, когда заметила она, сказали, что это мама мне моя дала. Твоя бы точно не дала, моя бы тоже не дала, но мать твоя откуда это знает?

В резиночку играть три девочки нужны, но прыгает одна, а двое держат, ждут, когда она резиночку заденет, чтобы напрыгаться самим. Ты прыгать не любил, стоять любил, где я. Поэтому резиночку держали стул и Саша, а Таня прыгала одна!

Ночь перехлестывает день, день рассыпает в сумрак зимний соли, торжественно горят рождественские ели, у манекенов, едущих в метро, на лицах ничего. У женщины в подземном переходе табличка с надписью «на гроб», у девочки-бариста «на мечту».

А у тебя мечта какая? Не знаешь, да? А я хочу, как у Наташки Лапиной, коньки, лукум, чурчхелу, стеклянный шар, кристальный сахар, чтобы грызть, чтоб папа мне из заграницы туфли польские привез, хочу жениться, еще хочу быть невидимкой, Саш, и подкрадусь к тебе, а ты такой, стоишь, меня не видишь, а я тебе прям в ухо: «Всё сбылось!»

Тираж 2025. Удача с нами! Последний розыгрыш в году! МЫ РАЗЫГРАЕМ ВСЁ! МЫ РАЗЫГРАЕМ ВСЕХ! Лавина комфортабельных квартир в жилищном комплексе «РАКЕТА». НАМ ВЫШЕ НЕБА! ВЫШЕ ЗВЕЗД! Купить билет... и соскоблить с защитной полосы монеткой все, что осталось от несбывшихся надежд.

Под кленом, в тайном месте закопали пятачок, потом еще добавили один и две по две копейки. Весной отрыли настоящий клад! Гораздо больше, чем закапывали, вышло...

На улице Свободы полдень. Матрос Наполеон ведет полки штамповкой заводской расплющенных солдатиков на смерть, одной рукой своих, другой рукой — своих. Матрос Бетховен выбыл, выбыл Бах, Вивальди выбыл, диктует палочкой убитому оркестру тишина. Кто песенки поет, кто ползает жужжа, кто спит с открытыми глазами, чтобы успеть зарыться в землю, когда под весом неба рухнет потолок, кто лбом об пол играет в мяч, кто письма пишет с фронта, кто на фронт, кто смотрит телевизор черный, кто в дверь открытую стучит, а кто все время входит и выходит, чтоб не забыли, что он был. Снаружи как внутри: матросы компас утопили и врезались в сияющий маяк.

Играли в доктора. Разбили градусник, а из него серебряные капли, много, россыпь! Нашли еще один, у матери твоей, в нем тоже оказалось серебро. Сходили за моим, разбили тоже, потом делили. Считали бусины, пытались примагнитить на магнит, но шарики не липли, и бусин становилось больше, только прикоснись, и если градусников шесть разбить, то представляешь, сколько будет?! Потом с работы мать твоя вернулась, пришлось все шарики смести под шкаф, потом, как дома не было ее, мы отодвинули его, чтоб шарики собрать, и не нашли ни одного. Куда они девались, Саша? Ты, честно, без меня не перепрятал их?

Играем в смерть. Из всех игрушек это самая любимая игра зеленых человечков. Компьютерный экран — забрало, пуленепробиваемое стекло. С той стороны стирают дворники кровавый веер взрыва, и здесь, когда в лицо тебе несет девятый шквал, ты отшатнешься от волны сияющего «Было», пробившего предчувствием экран. Убит, перезагрузка, и воскрес. Перезагружен — значит жив. Совет зеленым человечкам: чтобы не было войны, бутылочное стеклышко возьми и посмотри через него, загороди весь двор, всю жизнь загороди и всех людей, что знают, что война, одним осколком счастья и так сиди один в своем раю.

В графине высохла вода. Никто ее не пил, не выливал, цветы не поливал, она сама исчезла, испарилась, года не прошло. Вот если так же бы с моим шарфом? Или со мной, когда на математике сижу. И если испаришься целиком, то нечем будет пожалеть, что испарился.

Она ушла. Неизлечимый миг, неудержимый слайд, засвечен вспышкой кадр на белой простыне оконного экрана. Когда она вернется из кино, румяная с мороза, с губами, на которых только что курились облачка из слов и смеха ни о чем, сбивая каблучками тишину на лестничных пролетах, по серым нотам вверх, внутри заговоренного бессмертием вчера.

Тебе одной. Хозяйке снов, Хозяйке пса, Хозяйке света, зеленый запах майских лепестков, зеленый мир, зеленый снег, на крыше школы дворник из зеленки сбивает наледь из зеленого стекла всегда, и облака летят назад...

Мир ран не заслужил таких цветов, таких зверей и птиц, таких поэтов, такой реки, такой любви, такого неба. Оно вне зоны доступа. Простись.

...

Приснилась арка, длинный дом, тюльпаны, флаги на мосту, залитый светом двор, из одуванчиков венок, прыжок с качелей в глубину земли, хождение за три моря по доске, квадратами расчерченный асфальт, от гуталина шайба, полынь, растертая в руке, полынный запах в пальцах, три катушки фольги, и Мопассан на Таниных коленях, и божья коровка на щеке. Он рядом сел и ждал, когда читать ей надоест, но Таня все читала; слетелись сны, невидимые голоса шептались, по комнатам разгуливал сквозняк, и двери открывал, как будто кто-то, кроме, дома был, по стенке прыгал зайчик треугольный, перелетал на потолок и падал, он расправлял монеткой фантик из фольги, чтобы сложить и Тане подарить.

Сквозь этажи летучий нотный звук, Огиньский, полонез, ее забытая тетрадь сольфеджио, записка на клочке календаря между больших и глянцевых страниц: «Сегодня к нам не приходи», далекий тягостный мотив шагов, туда-сюда, «не приходи», и смех, внизу двора кипящая сирень, лукавый сок лукавых губ, лукавых слез, лукавых лет, горячечные сны, слепой, над пропастью идущий, кривая карусель двора, крылом зарывшаяся в землю, придворный кот Степан и сны.

Бумажная гармошка скомканной валялась на полу, билет в кино за прошлый год смотрел контролем из учебника на полке, черемуха цвела, свистел свисточек из акаций, и длился, длился день, невозвратимый свет, невыносимый свет, неугасимый.

Галина КЛИМОВА

СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ, РВЕТСЯ С КРАЮ...

* * *

Нет времени, чтоб дух перевести —
как дитя через веревочный мосток,
или солнце с запада на восток,
или сон без слов — на будущий язык:
на рык, мурлык и, может, на курлык.

Продрогли стрелки внутренних часов,
припомнив Тютчеву: *скрывайся и молчи.*
Но кто он, лучший переводчик снов?
Где они, духа нищего толмачи?

— Чу, скорый? Товарняк?
Он мимо не проскочит,
рифмуя сон во сне, всё ритмами грохочет,
с колес переведет — железно —
ближе к ночи...

* * *

Убываю, убываю,
время жизни убиваю,
с бесом в полдень унываю —
чехарда и дребедень —
битый час
и битый день
сердце бьется,
рвется с краю,
но живое — как мишень.

Галина Даниелевна Климова — поэт, прозаик, переводчик, редактор. Родилась в Москве. Окончила географо-биологический факультет МГПИ им. В. И. Ленина и Литературный институт. Редактор отдела поэзии журнала «Дружба народов». Автор 10 книг стихов, среди них — «Сказуемое несовершенного вида» (Ставрополь, «Ставролит», 2020) — и четырех книг прозы. Составитель поэтических антологий: «Московская Муза. 1799—1997» (М., 1998), «Московская Муза. XVII—XXI вв.» (М., 2004) и русско-болгарской «Из жизни райского сада» (Варна, 2000). Лауреат премии СПМ «Венец», финалист конкурсов «Московский счет» и им. Фазиля Искандера. Живет в Москве.

ФРЕСКИ МОНАСТЫРЯ СВЯТОГО КРЕСТА В ИЕРУСАЛИМЕ

1. Триединое древо

Три тощих посоха,
три головни во время Оно,
воткнутые в худой пустыни лоно...

— Шалом вам, голосеменные,
вечнозеленые, честные!
Шалом, смиренный кипарис,
и певчий певг, и кедр —
все уроженцы коренные библейских недр!

Три тощих посоха лелеял и растил
избранник Лот, спасенный из Содома.
Просил, чтобы Господь его простил
за тяжкие прелюбы с дочерьми,
за искушение
и ангельское свыше воспринял поручение.

Встав раным-рано — не ближний свет, —
Лот за ослятей к Иордану
тащился из последних сил,
назад кувшин воды он к ночи привозил,
три тощих посоха поил:
и певг, и кедр, и кипарис.

И через сорок лет,
ожив, они срослись,
не тройней — троицей сплелись,
слагая ветви, как живые строфы,
вершиной триединой улеглись
в подножье жертвенной Голгофы.

2.

Сердце больше, чем родимый дом —
распахнут ствол триединый дуплом,
там удод с оранжевым гребешком
ходил пешком, летал петушком
и, древо любя, как блаженный глагол,
не уберег чудо-ствол.

На храм срубил его царь Соломон,
отупел топор со всех световых сторон.
Короток ствол для крыши,
для пола — длинен,
хоть в петлю, хоть в воду до лучших времен.

И чудо-древо — через Кедрон —
однажды стало мостом.

Цок-цок по мосту, как по красной дорожке,
из Эфиопии царица Савская,
оступилась и в воду — бултых —
не зря зубоскалил народ про ее козлиные ножки!
Царица не рискнула вброд,
тяжело ей в набрякшем платье,
но тяжелей разглядеть в темном зеркале вод —
не небо, не тень от моста —
но ужас вселенский —
виденье Креста,
Христова Креста распятья.

3. Шота Руставели

...Я помню:
я вел
Руставели Шотой
с царицей
с Тамарою
шашни.
Вл. Маяковский

Северный ветер с запахом хмели-сунели,
весточка из Тифлиса
в конце Мясопустной недели.
— Это я — Тамар!
Или я — Тинатин?!
Черными птицами — Ерусалим! —
монахи запели.
Но замер, едва дыша, лишь один
Шота́, по-грузински Шо́та.
Он монастырские распахнул ворота
и, на камнях простершись ниц,
руками ловил этот северный ветер –
слова и усмешку царицы цариц:
— Какая молитва твоя горячей,
когда ты поэт или ты казначей?

Перо в скуфейке горит золотое,
прощальный мой дар.
Ты не лишился ума,
но — покоя, покоя...
Забудь Тинатин,
я — царица Тамар.
От стихов твоей «Похвалы похвал»
вздрогнули горы и сванские башни,
забыты сплетни про наши «шашни»
назло врагам и цензуре.
Мой Шота,
мой витязь в тигровой шкуре,
вот вернешься в Рустави к себе домой,
а в небе зарево:
Кавказ подо мной...

Николай ИВЕНШЕВ

ГДЕ СИДЯТ ФАЗАНЫ

Рассказы

Много лет назад мне вместе с прозаиком Сергеем Ивановым, поэтами Романом Сефом и Яковом Акимом довелось руководить семинаром детской литературы в Союзе писателей РСФСР. Я внимательно прочитала 11 рассказов и вскоре познакомилась с десятью симпатичными аккуратными и смешливыми девушками, похожими на свои гладко написанные тексты. Не пришел на семинар только тридцатилетний Николай Ивеншев из станицы Красноармейская Краснодарского края: приболел и остался в гостинице. Но именно его новелла взволновала нас свежестью сюжетных поворотов, живостью характеров, богатством языка и парадоксальностью финала. Мы попросили девушек помочь ему поскорее выздороветь и появиться на семинаре. Так Николай Ивеншев стал «открытием», как тогда было принято говорить, нашего всероссийского совещания молодых детских писателей, а его рассказ с моим предисловием вскоре был опубликован в еженедельнике «Книжное обозрение». За прошедшие десятилетия Николай, не покидая родную станицу (в духе времени переименованную в Полтавскую), выпустил 30 книг, побывал собкором «Литературной газеты» и «Литературной России», получил немало премий и даже спецприз автомобиль за свою прозу, произошли в его судьбе и горестные события. От них-то в его прозе появилась нота щемящей грусти, острое ощущение хрупкости бытия и особой ценности каждого уходящего мгновения. Прав был Достоевский, советовавший четырнадцатилетнему Диме Мережковскому: «Чтобы хорошо писать, надо много страдать...» И сегодня пронзительная проза Николая Ивеншева в каждом из нас, читателей, открывает давно забытые чувства. Потому что она про нас и про наше время. Вчерашнее и сегодняшнее.

Лола ЗВОНАРЕВА,
секретарь Союза писателей Москвы,
доктор исторических наук,
главный редактор журнала «Литературные знакомства»

ЛАБИРИНТ

Он долго целовал ее длинное, худое тело.

Потом вдруг осипшим голосом предложил:

— Айда жарить яичню.

Когда яичница зашипела, Кристя подошла к темному окну. В ночи шевелились розоватые пятна — вроде крыльев гигантских бабочек.

— Зарево, — зевнула Кристя.

Николай Ивеншев родился в селе Верхняя Маза. Лауреат многих премий, в том числе А. Дельвига («Литературная газета» «за рассказы, продолжающие традиции великой русской литературы»). Автор книг «Когда мы были людьми», «Индекс счастья», «Игра в козны», «Тарзанка» и других. Член Союза писателей России. Работает режиссером поэтического театра «Мельпомена». Живет в станице Полтавской Краснодарского края.

Платон выключил газ. Пока он расставлял тарелки и прочую утварь, Кристя достала из холодильника початую бутылку вина, плеснула в узорчатый, в стеклянной пене бокал. Подняла его.

— Знаешь, я от тебя ухожу!

Платон давно ждал этого. Тыльной стороной ладони вытер вспотевший лоб:

— Чегой-то вдруг?

Она ответила весело, бравируя, щелкнув серебряными пальцами:

— Всю жизнь меня бросали. Теперь я это сделаю. Для равновесия.

Розовым языком Кристя лизнула губу. Полчаса назад эти губы источали слабо различимую чепуху, от которой счастливо екало сердце.

Кристя глядела на него, будто ждала слов, мольбы.

Платон подошел к кухонной занавеске, осторожно, как что-то хрупкое, поднял ее:

— Я тебе рассказывал, как бросал курить. Первое условие — не тянуть. И не поддаваться соблазну.

— А он есть?

— Кто? Соблазн? А как же...

Кристя хмыкнула.

— Давай потанцуем? На... это... На прощание.

Он криво изобразил улыбку:

— Прощание славянки? «Как провожают пароходы, совсем не так, как поезда». А яичница?

Кристя пожала глянцевыми, скользкими плечами.

Платон потискал телефон, впустив что-то вроде музыки. Кристя шагнула к нему и крепко прижала к себе.

— Не отпущу! — губы ее дрожали. — Я в бабку, с придурью.

Платон ощутил недавний аромат ее тела, какой бывает после любовной близости: что-то травяное, с привкусом банного дымка. Так пахнет детство. Он поморщился от своих дешевых мыслей: «Аромат тела».

— Я люблю тебя! — всхлипнула Кристя, стала мять его плечо.

— Да-а-а! Что ж мешает... А чего же тогда?

— Так надо. Секрет!

Музыкальный сироп становился все невыносимее, но Платон терпел. Он ждал. Казалось, музыка прилипала к телу. И Кристя заговорила:

— Платош, понимаешь, я сама по себе, по сути — разрушительница. Раз-ру-ши-тельни-ца! Но медленная. Медленное разрушение есть пытка. Это все равно что зуб дергать три дня. Нужно ухватиться и сразу — ж-аах!

— Для чего?

Она ткнулась лбом в его грудь:

— Ты — не Платон, ты — планктон. Водоросль. Куда волна идет, туда и ты. Пройдет день, два, месяц, год, столетие. И мне ты станешь противен... Мерзок. Нет, нет, не обижайся... Ты здесь ни при чем... Ты вообще — икра. Черная.

Платон что-то хотел сказать, но лишь просипел. Музыка не кончалась.

— Помнишь старую фильму «Белое солнце»?

— Ну?..

— Не нукай... Там таможенник черную икру половником лопал, и она ему обрыдла до чертиков. И ты об... рыднешь, — Кристя странно, испуганно взглянула на Платона.

Тот бормотнул:

— Не обры...

— Я в бабку, Феодору... Хэх, Феодорино горе.

Музыка валила с ног. Он все же удержался, шагнул к столу, налил вина и залпом осушил бокал. Разве это алкоголь? Как же это он скатерть обрызгал?

Платон вздохнул:

— Что ж, надо разбегаться!

Он сам не понял этих своих слов. Сказал их. И легко. Как пить попросил.

Кристя то ли жалко, то ли жалостливо обрадовалась:

— Да, да, да! Будем друзьями! На чай друг к другу ходить.

— Рыбок заведем, герань, настурцию.

— Херань. Нас в Турцию, — усмехнулась Кристя.

Она, видно, тоже понимала, что никогда они друзьями не станут, что это все — игра. И зачем она затеяла эту игру... В ее теле что-то падало, и оставляло это что-то зияющую пустоту. Злую, едкую. Лабиринт.

Рассвет наступил внезапно. И все жестко оголил, и обесцветил.

— Давай поцелуемся на прощание! — чужим, деревянным голосом предложила она. И тут же обхватила голову Платона, боясь, что он не согласится.

Ее губы оказались абсолютно пустыми. Черно-белыми. Пустой консервной банкой. Не губами вовсе.

Телефон, кинутый на закапанную вином скатерть, назойливо повторял чупа-чупсовые звуки.

И Кристя исчезла из кухни, будто и не жарили они яичницу. Яичница осталась на плите нетронутой. А ведь еще час назад они с нежным ожесточением любили друг друга. Еще и еще... любили.

— Еще! — расплескивала волосы Кристя.

Остались лишь следы. Четыре солнышка глазуньи в детском белом облаке. Открытая банка кетчупа.

Тяжело пошатываясь, как пьяный, Платон закрыл дверь своей комнаты и сковырнулся, сполз с третьего своего этажа. Выцепив из кармана куртки телефон, стал набирать номер, который ему дал Вадим Колесов — якобы для лечения.

— Пригодится! — иронично скривил тогда губы Вадим. — Для профилактики... И для лечения... Гомеопатия, подобное — подобным.

Посылая номер, Вадим щелкнул челюстью. И был он похож на гигантского зеленого кузнечика.

Платон прижал к щеке теплый кирпичик телефона:

— Клин клином!

Оттуда, из глубин эфира, поднялся, как из воды, сонный женский голос:

— Кто это? Какой клин... Да кто это?

Платон забормотал, понес околесицу. И остановился. Голос оттуда остановил.

— А-а-а! — приветливо. — Это Вадимов друг? Встретиться? На чашку кофе? Ну... Ну... День по нотам распи... Пожалуй. Ненадолго. На часок...

Все закрутилось, как в голливудской ленте, только без гангстеров. Полина — она так велела именовать себя, да, Полина, не Поля — оказалась броской, лакированной, как все, девушкой. «Это не я, не я, не я, не я! — твердил про себя Платон. — Скорей бы!»

Поднимались. Мелькали перед глазами джинсы, кроссовки. Выше! Еще этаж! Она, вполне освобожденная — пуговица на кофточке расстегнута, оборачиваясь, играла глазами. «Не я», — взревело в нем. И ушло, как враз пропадает эхо. И вдруг резануло: «Лабиринт».

Коньяк «Метакса». Разноцветные ноготки. И смеялись потом. И ласкались. И пел он. Сипел фальшиво, дурачась, забыв про наказ, про Полю. «Полюшко-поле...» Когда-то отец его учил.

Пошлость, пошлость!

И вот когда нежная подруга Вадима ушла, звонко исчмокав все лицо, Платону вдруг стало тоскливо, потом скучно. А потом скучно и тоскливо. Два этих чувства слились в одно тяжелое. Будто тело надулось спертым, тупым воздухом. И... грязью.

Через день позвонила Кристя.

— Яичница цела?

— Выкинул!

Желтые сморщенные пятна еще стояли на газовой плите.

Ему нравилось врать.

Кто-то, не он даже, может, циник Вадим, ухмыльнулся: «И он смахнул со своей щеки скупую мужскую слезу». Голенастого Вадима на кухне не было. Слезы и в самом деле выступили. Палец мокрый, блестит при ярком свете какой-то суперлампочки. Кристина или просто ее оторванный, оборванный голос, падая, перебиваясь, шелестел, как сухая полынь:

— Жаль... А у меня это... у меня кроссовки новые, на зам-ше... Так яичницы нет уже? Жа-а-аль!

Он подошел к окну. Темно. Никаких крыльев.

ГДЕ СИДЯТ ФАЗАНЫ

Это было время, когда тени покидают своих хозяев и двигаются самостоятельно.

Скамейка похожа на лодку. Она, ему показалось, выскальзывала из-под ног.

В доме напротив желтели окна.

Одна из теней нагнулась к нему и приказала подать спички. Костя протянул коробку.

Костя сжал глаза, почувствовав влагу на щеках. В слезы он не верил. Когда во что-то не веришь, этого что-то и нет.

Константин пробормотал давно вертящуюся в голове фразу, чужую строчку стихов: «Воронеж — вор, Воронеж — нож».

Вор!

Не он вор, а город. Костя придумщик. Сказочник. Он верил в ультрафиолет.

Он подумал, что за этими желтыми окнами напротив склонился его двойник, может, даже с его именем, и двойник сосет-кусает ручку и ставит дрожащий ее кончик в клетки тетрадного листа.

Кулаком Костя стер со щек последнюю влагу.

Решительно так.

Двойнику везет.

Двойнику понятен другой свет, инфракрасный, любимый цвет охотников на фазанов. Добыча дичи.

Дичи добычи. Воронеж-нож.

Возможно, тот курильщик хотел его пырнуть, но понял, что Костя недоступен для смерти.

Куда? Куда? В Воронеж... и дальше нецензурное — не догонишь!

Из Воронежа — в ночь.

Жутко красиво. Но пошло.

Он взглянул на часы. До отхода поезда было еще долго. Можно было купить в киоске рядом зеленую бутылку лимонада.

Скамейка уже стояла твердо.

Проглоченные пузырьки колючей жидкости качнули желтые окна, но как-то бессильно.

И Костя понял, что опять стал бесшабашным Жаном-Звонарем.

Он даже весело просвистел: «Прощай! Со всех вокзалов поезда уходят в дальние края!»

Ему это удалось сделать. Лимонад пьянил.

Так ведь и она говорила.

Маша говорила, что люди различаются на две категории. Они учат разные запоминалки для светового спектра. Одни, нет, они не пессимисты, они просто бестолковы и неуклюжи, им по душе: «Как однажды Жан-Звонарь головой разбил фонарь». А второй группе понятно иное, запоминается лучше: «Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны». Себя Маша относила ко второй категории. И это справедливо. Маша была легкой почти всегда.

Костя опять взглянул на часы. Они будто и не шли. Ночной сумрак, подсвечиваемый фиолетовым цветом рекламы, останавливал стрелки его часов.

Щеки его высохли. Наверное, оттого, что Костя сказал сам себе: «Мужчины не плачут».

Щеки-то высохли, но в голове рокотнуло.

— Еще как плачут!

Показалось, что это молвило дерево. Сейчас спросит прикурить. Или пырнет. Костя понял, что сходит с ума. Но понял и то, что умалишенные никогда не верят в свое сумасшествие. А он верил. Значит, рассудок его чист.

— А как было? — спросило с ироничным смешком древо.

— И пусть, — решил Костя. — Так даже лучше!

— Что пусть? — прошумело мохнатое существо.

И Костя стал рассказывать, желая высвободить из тела, из живота, плеч, рук и ног тягучую и неловкую хворь. Ведь этот недуг и к горлу прилип. Он никак не сбивался ключом теплого лимонада.

— А было так... Мама зашила мне в трусы деньги, хоть я и отбрыкивался, и было жутко неловко. Как бы я ни доказывал матери, что это город поэтов и тут не может быть каких-то глупых воров, мать не сдавалась. Я и отступил, жалея ее.

— Тут мужал Бунин, — пояснил я маме.

Но она не понимала, кто такой Бунин.

— Начитанный! Все Савельев тебя совращает, волосатый черт, — обняла она меня и прикоснулась ко лбу и щекам теплыми губами.

К моим книгам мать относилась как к легкому баловству. И даже не стала протестовать, когда я сказал, что поеду проступать на журфак. Только ворконула: «Звучит хорошо, как родник. Журфак. Езжай». И зашила в трусы те деньги, которые добывала на шабашках, украшая стены богатых людей тиснеными обоями.

На вокзале оказалась большая очередь. И я, переполненный чувствами — еду, один, в большой город, — стал рассказывать стоящему спереди дядьке, уже не помню его лицо, куда я еду и зачем.

Деньги кололи там. Под трусами.

А я торопился выложить покачивающемуся незнакомцу всю свою радость, понимая, что ему все до лампочки, что ему это странно слышать, что откровенничать с чужими людьми плохой тон, что это стыдное свойство сельских жителей.

А под мощными сводами университета я увидел ее, Машу, рассеянную Машу, перебирающую листки, вынутые из целлулоидной папки.

Слушай, слушай меня внимательно, кто ты, клен или тополь, я не знаю. Но ты — дерево. Слушай! И ты, подозреваю, не ведаешь, что так бывает. Ты сейчас будешь думать, возражать, что я начитался книг, каких-нибудь «консуэл». Но это было именно так.

Рядом с Машей толклись парни и девушки, и, видимо, они тоже тасовали листки, но они были заретушированы. Парни и девушки были не совсем живые. Они просто шевелились. А Маша была золотой, теплой и такой... переливчатой. Может быть, стояла на солнце, у окна, но были ярко видны желтенькие волосы и веснушки, усеивающие лицо. Маша была необычной в этом обычном мире. Конечно, никаких крыльев сзади, стандартный сарафан с тонкими бретельками. С молнией на кармане. Плечи, ну что плечи, хрупкие, хоть это и штамп. Ну что глаза, тоже с плавленым золотом. Журфак! Журчит.

Я, подойдя к этому чуду, стал опять, как тетерев в очереди за билеты, токовать, зачем я тут. И про город поэтов тоже.

Девушка улыбнулась мне как своему, я знаю эту улыбку «как своему». И подала лодочкой ладонь. Просто обозначила:

— Маша.

Я ляпнул, идиотина:

— Миронова?!

— В самую точку! — согласилась она.

Мы сдали документы. И Маша как своего подцепила меня под руку и сказала, что вещи у нее в камере хранения, но вначале надо устроиться. Она жикнула молнией, достала из кармашка своего сарафана листок и прочитала адрес, тот адрес, где можно остановиться.

Я довел ее до места. И лысый старик с пухлыми губами почему-то долго глядел на меня. А потом проговорил:

— А может, и молодой человек останется.

Он не спросил. Он заявил.

Маша смутилась, лицо ее потеряло веснушки, стало розовым, и лицо это проговорило:

— Пускай.

— У меня другая комната есть, правда, меньше...

Я стоял, как пень, и молчал. Мне показалось, что я не стоял даже, а оказался пьян в дымину и покачивался. Таким я был на выпускном вечере, когда вдруг ни с того ни с сего выцедил чуть не всю бутылку сладкого кагора. Но это было другое опьянение: «Я буду жить рядом с ней!», «Она будет жить рядом со мной!»

Весь вечер мы с Машей проговорили о литературе. Тогда вышли из книжного подполья Ахматова, Цветаева, Мандельштам. Их мне давал читать Володя Савельев с собирательным лицом всех четырех музыкантов группы «Битлз».

— Мандельштам! Трудно представить, — вздыхала она тогда. — Маленький, взъерошенный. Маяковский говорил, что он похож на полуощипанную птицу. Осип Мандельштам подпрыгивал по этим улицам. Его сослали в этот город. Пушкина — на саранчу, Мандельштама — в зеленую прелесть.

— Осип осип, Архип охрип, — сморозил я.

И вот тогда она выдала свое открытие о разного вида характерах, проговорив:

— «Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны».

Она улыбалась долго, будто доставала эту улыбку из далекого-далека, где-то за пределами города.

И улыбка в конце концов стала виноватой:

— А я никогда не видела фазанов, — добавила Маша.

Я предположил:

— Наверно, они похожи на павлинов, только меньше.

Ее лицо превратилось в детское, припухшее:

— Да ну, эти птицы, павлины эти мне-то как раз и не нравятся. Всю жизнь они на подиуме. Они не живут, ими восхищаются. Их только жалеть и надо. А фазаны? Это... я их и не увижу никогда.

Детское лицо погрустнело. Ничего не оставалось, как сказать: «Узришь». Сам-то я считал, что мне фазаны абсолютно недоступны. Не дано. Невидимая часть спектра.

Вообще, надо было ждать ответа на решение приемной комиссии.

Приемная комиссия в образе роскошной, танцующей саму себя брюнетки строго сказала мне: «Наш ректор чует будущих журналистов за семь миль. Мне, кажется, вам повезет». Кого она мне напоминает? Мирей Матье. Она висела на фотке у Савельева рядом с групповым портретом «Битлз». Как приложение к «битлам».

— Я Жан-Звонарь! — тупо усмехнулся я.

Но Мирей Матье стало уже не до меня. Она синей ручкой разделывала тушу другого абитуриента.

А Маша вечером призналась, что та же представительница ректората ее обидела, сказав, что такие, как она, на их фак не поступают.

— Как она так могла заявить, — изумлялась Маша. — Она ведь ничего обо мне не знает. И это, в конце концов, крайне невежливо. Это преследуется законом — говорить так.

Я выразил недоумение: «Может, она, Мирей Матье, и не говорила такое, может, Маше так показалось...»

Девушка осердилась и дернула меня за руку, поднимая со старинного разлапистого кресла:

— Пошли погуляем, а то этот, — она показала подбородком на кухню, — опять своим напитком пичкать будет.

Этот — хозяин, Вася Кузьмич, каждое утро силком заставлял пить сладкую противную воду из-под выпиравшего из трехлитровой банки чудовища — гриба.

Он считал, что потребление сока от этого монстра увеличит наш шанс поступить в высшее учебное заведение. И Вася Кузьмич простодушно сердился, если мы с Машей уклонялись от лакомства.

В ночном городе нам нравилось все. Серые ступеньки памятника Ивану Никитину и ребячья вольность в фигуре поэта Кольцова. Теплый еще асфальт. Звонок трамвая, голуби у скамеек.

— Вур, вур. Воронишь. Уронишь!

Но Маша останавливала меня легким своим скептицизмом. Она тушила мой восторг:

— Они, поэты эти, почему были обласканы аристократами? Они были диво. Как же так, только лапти скинули, а надо же, складно слагают... Ну, как же так можно? И шевелили листочки со стихами этих поэтов гигиенически чистыми пальчиками...

— Эх, раззудись, плечо, размахнись, рука!

Но мы все равно искали поэтов по улочкам-закоулочкам. Там звякала коса Кольцова, а там сквозь листву катились по горе крутой санки Ивана Никитина: «Вон-вон гляди, полозья мелькают...»

— А днем я видела воробья!.. Гаммам... Похожего на Осипа Эмильевича, — тщательно выговорила Маша.

Глупы, глупы, очаровательно глупы!..

Заметь, дерево, пойми: глу-пы!

И нам нравилось заходить в кулинарию с высокими потолками, высокими барными стульчиками. К барьеру, где выпускала пар широкая, никелированная кофейная машина. И румяная дева из стихов Никитина—Кольцова резко пододвигала к нам

чашки с дымящимся напитком и две булочки в тарелке с голубой каемочкой, как у Ильфа и Петрова.

— Эх, качусь я в санках по горе крутой!

После кофе Маша брала меня под руку, а то и за руку. Я чувствовал, как в моей ладони перебираются ее пальцы. Она была красивее всех. И было совершенно удивительно, что встречные товарищи не оглядывались на нее, а, напротив, порой кощунственно задевали ее плечом.

Но Маша была проста. Всегда искренна. От слова «искра».

Она — может, это было побочное действие чайного гриба — как-то заявила, что она страшненькая. Что она с детства была похожа на что-то неуклюжее, серое и невзрачное. Что она выписывала журнал с красотками и, как только он приходил с почты, рвала его. Что она специально наряжалась в линялую ткань, чтобы еще больше подчеркнуть свою никудышность...

— Но... Но... Потом... — Маша выговорила это заговорщицким тоном, — Потом я усекла, что я — красавица. Что я писаная красавица. Я поняла, что сказка про Царевну-Лягушку — про меня.

Я тут, при этом признании, понял, что она объяснила себя точно. Маша сбрасывала свою лягушачью шкурку и делалась писаной красавицей. Такой, что боязно к ней даже притронуться. Такой необъяснимо хрустальной. Тонко звенящей.

Ох уж эта хрустальность, измызганная всеми поэтами. Но по-другому и не скажешь.

Ее красота пряталась за ультрафиолетом. За фазанами, за фиолетовым цветом спектра. Она была видима лишь мне. Я стал обладать этим даром.

Где-то я читал, что часть мужчин вообще дальтоники. И их мир синевато-серый. А мой мир теперь состоял не из семи, а из восьми цветов.

Я был богат.

Маша брала меня за руку. И я погружался в ультрафиолет. Зачем это фазаны сидят для охотников? Чтобы быть подстреленными? Как глупо устроена природа. Птицы невыразимой красоты дрожат на ветках и ждут ружейной пальбы.

И уже вскоре весь мир стал ультрафиолетовым, даже наш хозяин, протягивающий противно сладкую влагу гриба.

Но как бы ни мила мне была нездешняя, непонятная для людей красота Маши, я сердился, когда она, покрутившись перед зеркалом в прихожей, тыкала в себя пальцем и тоном следователя заявляла: «Я — страшненькая».

И вроде бы радовалась тому.

— Перестань, — негодовал я. — Перестань это говорить. Мне это... Не нравится.

— А я буду! Буду! Потому что это — правда!

— Ты другая! Ты лучше и красивее всех! — утверждал я. — Люди этого не понимают.

— А кто бы понял это?

— Ну, кто-кто? Здесь когда-то жили Андрей Платонов, Бунин, Осип Мандельштам. Они бы... Они бы точно...

Я-то понимал всю литературную назойливость и хлипкость моих убеждений.

Однажды я проснулся от стука в свою фанерную, крашенную белой эмалью дверь. Барабанила Маша. Она дрожала вся — плечи, лицо:

— Костик, Костик, ты не видел нашего Васю Кузьмича?

Я вроде бы проснулся, головой повел.

— Нет. Никого. Я на кухню заглянула, попить хотела. А там эта... Ну, эта стеклянная банка с грибом. И мне показалось, что в нее втиснулся наш хозяин. Он колдун.

— Колдуй, баба, колдуй, дед... Ты спала, милая! — Абсолютно по-взрослому я привлек Машу к себе и уткнулся губами в щеку.

Она крупно вздрогнула. И успокоилась.

А вскоре мы и вправду стали целоваться.

Всерьез уже.

Она умело обхватывала мои губы. Она гибко льнула ко мне. И я чувствовал ее чувственную силу. И чуток побаивался того, что она станет раздеваться и испортит весь спектр. Честно признаюсь, что я хотел бы, чтобы она разделась. Наверное, я был... И Жаном-Звонарем, и охотником, возжелавшим увидеть фазана.

Однажды, случайно заглянув в ванную, я увидел сосок ее груди, похожий на вздрогнувшую баянную клавишу басов. Больше я ничего и не понимал. Махровое голубое полотенце и сосок.

Мы с Машей целовались в ее комнате, куда никогда не заглядывал несущий стакан с чайногрибом Вася Кузьмич. Маша жала мои плечи. И мы оба забывали, что где-то за окном чешет свои волосы, сдобренные бриллиантином, Иван Бунин, стучит молотком по паровозной буксе Андрей Платонов, пишет в долговую книжечку свои отчетливые буковки и цифры Иван Никитин и пробивает косу поэт Кольцов.

Вдоволь нацеловавшись, «у меня аж губы не мои стали», — сообщала Маша, мы собирались в вечерний город.

— Они — мои! Мои, — торопливо заявлял я, прикасаясь губами к ее тонкому плечу.

Потом события закрутились.

Люди в улицах этого города вдруг стали передвигаться какими-то рывками: то они плыли, а то вдруг подпрыгивали.

И вот из-за чего.

Мирей Матье вернула мне документы. Видно, ректор не почуял во мне журналиста. Или я находился на восьмой версте от него. За красным цветом спектра.

И в самом деле, тогда, в тот печальный момент, представительницу приемной я увидел в темном с проплешинами света ореоле.

Маша все это слышала. И даже Машу, чудесную Машу я увидал такой же.

Но она, хоть и помрачнела, мотнув головой, решительно и ясно проговорила, что ничего страшного. На следующий год поступишь. И меня догонишь. Ты резвый.

Тут-то я и понял, что не журфак был мне нужен, а она — ее касания, ее неразличимый ультрафиолет.

Да, честно признаюсь, меня это почти прибило.

— А!

— Жур — Фик... — пробормотал я, чувствуя во рту вязкую слюну. — Я оставлю вместо себя двойника.

Все же я потом уговорил себя, взбодрился. Ведь Маша не переставала меня награждать красотой. И с неделю я жил рядом с ней, не огорчая Васю Кузьмича, что гриб его — просто плацебо. Элементарная пустышка.

Вася Кузьмич откуда-то узнал, что меня не приняли в университет. И все кукарекал, вздымая лысину, как петух гребешок.

Чайный гриб был начитанным:

— Я список кораблей прочел наполовину... Россия, Лета, Лорелея.... Мандель-Штамп.

Мне хотелось врезать по его лысине. Двумя кулаками.

Мы по-прежнему целовались, пили кофе у кольцовской девушки, говорили о литературе: «Платонов — поэт, везде и всюду, особенно в рассказе „Фро“...»

Но что-то такое в цветовом спектре раскололось, треснуло в самое то время, когда уже были слышны фазаньи крылья.

Как я красиво, по-журналистски, сказанул. Так красиво, что чуть не стошнило.

Лучше уж Мандельштам: «Воронеж — вор, Воронеж — нож!»

Это я сам упросил Машу, чтобы не провожала на вокзал, хоть она в конце концов и твердо заявила, что она есмь писаная красавица, что она будет ждать меня, как дева, пригорюнившаяся у окна.

— О чем, дева плачет, о чем слезы льет, — я паясничал. Жан-Звонарь!

Наверное, ждала бы. Я ничего пока не ведаю. Знаю только, что по осени обязательно двину в армию. И мои волосы четко остригут под это солдатское монашество...

А пока пусть буду жуком, я знаю, как стригутся «битлы». Видел у Володи Савельева на фотке в углу его крохотной кельи.

Все, дерево, я все сказал.

Дерево молчало. Оно стало еще тучнее. Раздулось.

Костя усмехнулся. Лимонада в бутылке уже не было. А ведь как забирал напиток, как тот кагор после выпускного.

Странно, что ночной народ стал выглядеть отчетливее. Темнота вырисовывала прохожих. Точно обозначала лица и фигуры. А вот и сарафан с тонкими бретельками. Но не она. Не она... И не нужна она, никак. Это — ультрафиолет. Которого в жизни нет.

— Моя жизнь приобретает порядок, — рубанул Костя уже себе, а не дереву у прочной скамейки. И указательным пальцем постучал по циферблату часов: — Время. Поезд!

Он поднялся. Асфальт был удивительно прочен. Мир был тверд. И все же Костю слегка пошатывало.

— От выпитого лимонада! — решил он, опуская в урну пустую фиолетовую зеленую бутылку.

ОРГАНИКА

Дед ушел раньше. Опять обскакал. Это мимолетно обрадовало Ивана Васильевича. Но одновременно и душу царапнуло. Он считал себя человеком добрым. Почему же тогда уход Лешки Матвиенко, Деда, так отдался в нем?

Иван Васильевич закрывал глаза и, как воочию, видел тяжелую фигуру Лешки с чудным, решительно-ироническим выражением лица.

Дед твердо шагал к своей могиле.

Наяву было по-другому. За гробом с одеревеневшим, еще более тяжелым, чем в жизни, Дедом, приостанавливаясь, вел любимого Дедова коня Дедов нукарь Гришка Лубяной.

Он был тоже рад Дедовой смерти и поэтому расправлял свои плечи. Было что показать, прежде всего этого могучего коня Лысого.

Зрители всего этого тягучего представления тыкали пальцем в коня-атлета на сухих, точеных ногах. Участники церемонии пытались заглянуть в конский темный глаз.

— Плачет, ей-ей-ей, говорю тебе, как град слеза, с голубиное яйцо.

— Да ну, животная...Че ты, ей-бо...

Иван Васильевич вздрогнул и спугнул видение. Бред какой-то: конь-то ведь и в самом деле плакал.

Иван Васильевич не верил в загробную жизнь. Она если и была, то не про него. Она была сусальной, липовой, как примесь золота на окладе икон.

Лешку опустили в яму и любимого коня толкать в яму не стали, как это делали для покойных скифских начальников. Лысого легко отвели от могилы и все пошли пить водку в совхозную столовую, закусывать молодым огурцом и зеленой до ряби в глазах петрушкой.

Последней блажью его товарища, Деда, была выписка из Республики Абхазия, из Сухуми, обезьян. Алексей Иванович успел похвастаться, втулить всем в уши, что это для детишек. Иван-то Васильевич понимал: это для того, чтобы его уесть.

И все же сорвалась затея. Полюбоваться на приматов не пришлось никому, ни Ивану Васильевичу, ни Алексею Ивановичу. Пришла другая жизнь. Голая. Без мартышек. И веселого, помещичьего выдрючивания.

Дед от этой новой жизни лег в московскую больницу. Думал, там перележит, вернется.

Ан нет. Вернулся, ничего не переменилось. Сипло подышал Дед в пудовые кулаки и не вышел на работу. Он знал: там, в его кабинете, облицованном мореным дубом, красовался уже вихлястый, вихрастый бывший парторг Еремеев, сжегший не только свой партбилет, но и красный с кистями флаг, который победно торчал в углу кабинета. Флаг этот сжигался на площади, увитой миллионом роз.

Это не укладывалось в голове ни Деда, ни Ивана Васильевича. Жили — не тужили. И на вот!

А Иван Васильевич ушел с поста по-иному. За что его так в говно обмакнули до самой маковки. И вспоминать не хочется. Но из головы не шло. И сердце сосало.

Происходило в Доме культуры.

— Дывись, Марфа, — як Василича то скособочило, як сажени. — Он услышал тогда, как на первом ряду мелким шариком прокатился по всему залу веселый бабий голосок.

— Не хоц-ца от сладкого, место то медом намазанное, — подпел басом мужской солидный, как бы смазанный солидолом глас.

Его сковырнули легко.

И это стоит, колышется, как конь Лысый перед глазами. Как памятник выдающемуся садоводу Ивану Владимировичу Мичурину, который был изваян по настырному увещеванию Деда, который изгалялся: «Это батька твой». И действительно, скульптура имела многие черты Ивана Васильевича.

Сам памятник хорошо просматривался из широкого окна кабинета председателя хозяйства.

Он был прочным, несмотря на засиженность голубями, которые льнули к нему как мухи на мед.

А где теперь кабинет его, обставленный по-солдатски скупо? «Нэма е» — как балакают на местном наречии. Нет теперь его кабинета.

Осталось лишь шутить, подражая покойному Деду: «На палубу вышел, а палубы нет». В школе пели. Дальше старый председатель слова забыл.

Иван Васильевич и звонка того не заметил, лепеча губами мотив и слова «Варяга». Ольга Сергеевна бы сказала: «Замечтался!»

Услышал лишь стальной щелчок ключа на веранде.

По графику явилась Вера. У нее загорелое, молодое лицо, какое бывает у женщин, имеющих свободное время. Под специальным кремом, видать. И она ласкала голосом. Красиво притворялась. Тю-тю-тю, тю-тю-тю.

— Тут вам судачка, жареного, как хотели. Компотик из жердели и груши-дички, с дымком. Ну, окрошка, сами понимаете, Иван Васильевич, фирменная.

И еще раз по слогам повторила:

— Фир-мен-ная! Как спалось, папань? Что снилось?

— Что снилось, что снилось? Конь Лысый снился, — ответил бывший председатель и тут же оборвал себя: «Что это я так шаркнул ее? Может, и не притворялась. Мозги не прочитаешь. И при чем конь Лысый? Хотел спросить о чем-то веселом». — Не получалось. Буравило другое:

— Скажи, Вер, сколько мне дали? С конфискацией или без?

Он с тупым выражением лица поглядел на тарелку с побелевшей от сметаны окрошкой. Потом перекинул взгляд на сноху.

Лицо у Веры стало еще темнее:

— Не поднимайте, папань, эту тему. Я человек маленький. Когда скажут, тогда и волю получите. Я бы вас с удовольствием, но... Но....

— Какое еще «но»? А сын что? Молчит?

Он почувствовал, как губы твердеют.

— А ничего он не говорит. Тишину хранит. Он же хирург. Их в институте молчать выучили.

— Молчит да чужих людей слушает.

— Чужих пожалуйста. Только не меня. Не лезь, говорит, в это дело. Ну че, побежала, папань, не грусти! Только вот че скажу, по-дружески, — она подмигнула Ивану Васильевичу, — не звоните, ради бога, Ольге Сергеевне. Опять телефон отнимут. И будете в тишине куковать. Забыла она вас, эта Ольга Сергевна, как за паньковы штаны.

И смело Веру. Ветром сдуло. Только миролюбиво тявкнул Цезарь у пожилой черешни.

Иван Васильевич поднял пожелтевшую от времени, когда-то белую телефонную трубку. Сына теперь он именовал не Володькой, а Владимир Ивановичем.

Дед вот звал его сына, ерничая, «херург».

— Владимир Иванович! — Бывший председатель подышал в трубку. — А, Владимир Иванович? — Он вдруг почувствовал в себе противную угодливость. — Говорить можешь? Недолго? О новостях не спрашиваю.

— Слушай, батя, тебе что, делать нечего? Ну, хочешь новостей, дак скажу. Памятник свалили. Какой-какой, да твой памятник. Перед правлением. Да, он один у нас. Тезку твоего под самый корешок... Под уздцы...

Иван Васильевич удивился своему равнодушию, не до памятника:

— Ты мне лучше вот что... вот что скажи... Когда с гауптвахты меня отпустишь? А нет, так солдата тогда приставь со штыком.

Вслед словам хохотнул, идиот. Тьфу!

Ответил чужой голос:

— И приставлю. Вынуждаешь. Я вот тебе, батя, что скажу... — В трубке что-то зашелестело. Сигарету достал. — Гммм... Ни-ко-гда!.. Неужели неясно, ты болен. Бооооолен! Безнадежно. Хроник. И тебя надо держать туго, чтобы дров не наломал. Пока так вот, под амбарным замком. Пока! А потом поживем — увидим.

И сын уже резал, пилил. Херург точно:

— Ты в свой паспорт заглядывал? Возраст что? Жениховский? Это ведь и предательство по отношению...

Голос сына остановился.

— К кому? По отношению к кому... — Старый председатель сумел взять себя в руки.

Иван Васильевич слышал это из далекого далека. Как будто и не сын это был, а какой-то незнакомый доктор, зачитывающий диагноз. Голос — лед:

— Ты уже показал себя, бать. Зачем она тебе была нужна? Ольга Сергевна, Ольга Сергевна. Простихома эта. Чес слово. От людей стыдно. Седой весь, а бес ребро чешет... Ну-ка включи, бать, мозги. Задумала ведь она тебя со света сжить. На имущество позарилась. Ты сто лет прожил, а ума не нажил. Выпусти тебя, опять за белы ручки царевну приведешь. Так ведь ты Ольгу Сергевну кликал. Стыдобище! Ты, бать, не волнуйся. Немного отойдешь, и мы тебя по очереди на прогулку водить будем. А там и на море, глядишь, в голубую волну!

Сын тоже со смешком. И тоже опомнился:

— Ну, сколько можно, как ребенку малому, одно и то же твердить. И поступок твой разбирать. Не обижайся. Правильно говорят: «Старый что малый». Мы же для твоего блага. Сколько ты на нее денег перевел, а мы мер никаких не принимали, пока ты к нотариусу не пошел, разузнавать. А нотариус звоночек мне: «Завещание странное и тэ дэ». Иван Иванович, нотариус, клятву нарушил ради тебя.

— Всем бы в завещании хватило. По ломтю. Да я и не думаю помирать то. И потом, откуда ты взял, что я дом на Ольгу Сергевну перепишу.

— От верблюда, бать. От двугорбого. Ой, батя, не смеши меня. Симптомы, симптомы. Куда от них. Никому в данной ситуации верить нельзя. Знаем, что за краля эта Ольга Сергеевна. Своего не упустит. Грибочками тебя какими-нибудь полакомит. Литературу читай.

— Негодяй!..

Но тут трубка умолкла...

Иван Васильевич опять увидел, как сквозь стену, как сын снял очки и протирает их клетчатым платком. Он всегда так делает, когда хочет закончить разговор.

— И давай эту тему больше не поднимать. Когда-нибудь и пойдешь ты по своему лугу, свою травку мять.

Это совсем сбило с толку. И Иван Васильевич выдохнул обреченно:

— Когда рак на горе...

В трубке послышался смех.

И сын — идиот.

Сын? Комом блин! Херург. Зачем он, зачем он его вообще имеет. Чужой! Грубый! Ушлый!

Телефон молчал. Трубка лежала на столе. Она слушала

— Тогда я всё, весь дом, все угодья оболью керосином и спалю. И себя тогда...

Опять обдало ледяным ветром

— Ну, батя, батя. Ну, Иван Васильевич, поменяй профессию. Не дуркуй!

И совсем уже несуразное, но вполне осуществимое:

— А то на обследование в Краснодар? К Косенко? А он доктор наук. Тебя ведь и вправду лечить надо. В аааат-атдельную палату, под другой надзор. Не обижайся, батянь. Мозги включи. Это в худшем случае. А так мы тебя любим. Очень даже... Извини... Вот уже зовут. У меня сегодня одна срочная и две плановых. Нарежусь всласть.

Трубка вздохнула и щелкнула.

Сын оказался врагом. Да и какой он сын?!

А Иван Васильевич знал, что когда-нибудь уластит, уломает своего врага. И тот выпустит его навсегда.

Старый председатель лег на диван, положив под голову две подушки.

Снесли, значит, памятник тезке. Под бурные аплодисменты трудящихся. Что ж... Передача была по телику. Иван Владимирович не туда гнул. Главным селекционером в стране был Вавилов, а его в тюрьму забабахали. А памятник? Пусть! Такое время пришло — все валить.

Председатель прикрыл глаза. Улегся поудобнее, вытянуть ноги мешала газета, занесенная Верой.

Нехорошо пахнувшие газетные листы были кинуты на диван.

Он приподнял газету, пошевелил. Пробежал глазами «В мире интересного». И дальше крупными буквами:

«ВСЁ В ДЕЛО».

Стал читать. Оказалось, американец, фамилия профессора Шуберт, предложил свой метод утилизации покойников. Кремация невыгодна. Да и экология портится. Про-

фессор с фамилией музыканта предложил делать из покойников компост. Удобрение. Статья комментировалась нашими учеными: негуманно, мол, это.

Опять вспомнился Дедов конь Лысый, нюхающий крепкий край могилы.

Иван Васильевич скомкал газету и отшвырнул ее в угол.

В мире интересного... Действительно!

Он понимал, что в принципе американцы правы. И человек, вернее, то, что от него остается, больше всего подходит для органического удобрения. Рентабельно это, прибыльно.

С мешок компоста из него, из вот этого бывшего, бывшего крупного, значительного человека, выйдет.

Он поежился и для того, чтобы угнать тяжелые мысли, позвонил Гришке Лубяному, тому самому владельцу конюшни. Гришане.

— Григорий Андреевич, а как тот жеребчик, Дедов? Лысый? Живой еще?

— Оставили, Иван Васильевич, че мы, не люди. Доживает. Аппетита нет. Старый уже. Овес то сахаром, то солькой конюх присыпает. А коняга нос воротит. Журится. Мы на нем органику на поля возим, чтобы служба медом не казалась.

— Может, Деда вспоминает?

— Да ну, Иван Василич, нет у них мозгов . Инстинкты одни. Все равно мы все понимаем, сахарным овсом потчуем. Деликатес! Как для нас икра. Можно было бы и под ножик пустить. На колбасу. Да рука не поднимается. Бережем как память...

Голос у Григория Андреевича стал тоньше, проснулась прежняя противная вежливость.

— Вы-то как?

— Я? Я в плену у басмачей.

Слышно было, как Гришаня тонко рассмеялся.

Что-то сегодня все в смех ударились.

— Белое солнце пустыни?

— Пустыня точно.

— Шутить изволите? У вас, говорят, памятник снесли... Этому... Мичурину... Того...

— Сковырнули напрочь. Григорий Андреевич. Туда ему и дорога... Всех надо притопить, как слепых щенят, — но тут он опомнился. Для чего звонил-то? Ах вот... Дались ему старые времена.

— А как с обезьянами? — Что это он начал про все расспрашивать, как следователь ровэдэ.

Голос удивился:

— С какими еще? А? С этими? Будто не знаете. Змырзли.

— Ха-ха. Че, на колбасу пустили?

Гришаня не расслышал, зачастил:

— Будто не в курсе... Мы с Алексей Ивановичем в Москву затем, чтобы обезьян выписать, ездили. Куропаток чинам тем — в гостинец. Ну, чины лыбятся, сладкие голоски. Три корзинки куропаток. Лечебные, то се. На травах. И замминистра Сысоев, ражий такой детина, на Деда похож, копия, подмахнул, чтобы выделили этих сухумских обезьянок, двенадцать голов. Десять мартышек и два орангутанга. Как человеки. Двенадцать голов. Да чтоб по реестру прошли. Но не удалось натуру взять. Долго чухались. Сами понимаете, затеялось что... Не до обезьянок... А потом, как зима настала, их из вольеров-то и выпустили. Пусть куда хотят, туда и прыгают по пальмам. Хоть в Африку. Кормить-то чем, нечем кормить. Дефолт всюду. Белое солнце пустыни, как вы говорите... А тут морозы и до Сухума достали, уши щекочут. Хотя, говорят,

пару штук кто себе взял. Для развлечения. Африка? Дак она далеко... А че вы звонили, может, чего надо? Может, сена вам выписать?

Наверное, он это многим рассказывал.

Иван Васильевич вернул желтую телефонную трубку в свое гнездо. И сказал уже сам себе, в воздух:

— Выписал бы я тебе как следует...

В давние времена, когда они собирались вместе, в Домике Охотника, на островке, окруженном теплой водой, Лешка Матвиенко откровенничал:

— Ты, Иван, не наш человек. Жмот ты! И хитрован. Вон сад какой вырастил! Все на скупердяйстве своем. Признайся, какой органикой поливал? Из гальюна? Говном-с?

Иван Васильевич хоть внутри себя и злился, но виду не подавал. Точно знал, он и в самом деле жмот! Жила! Скупой рыцарь! Жадина! Он исподтишка этот свой сад строил. Откупался рисом, а сад расширял. Коню понятно: яблоко и груша дороже, чем ценная крупяная культура. В Москве яблоки становятся золотыми.

Он жмот! Хитрован.

Лишь только экономией и известной на весь мир прижимистостью Иван Васильевич сколотил свое крепкое хозяйство. Он не сорил ничем. Все шло в дело. Как в этой газете. Но он честный жмот. Ничего против закона. Иван Васильевич так же из одних только фруктовых прибылей, премиальных сложил себе серьезный дом из белого итальянского кирпича. Ну, и пристройки все. Баню. Большую крытую беседку. Биллиардную для гостей. Хотя никто в этой бильярдной кий в руке не поднял. Не случались гости.

В детстве Ивана Васильевича звали Капустой, виновата в том фамилия. И даже подразнивали: «В огороде пусто, выросла капуста». Вот он и дал ответ этой капусте.

Хотя? Хотя дом-то и стал яблоком раздора. Никто его не понимал. Долбаки. Да, Ольга Сергеевна святая. Она его за так полюбила. Не за кусок хлеба с маслом. А другую-то мне и не надо. Настасья засохла, как ботва. Он один остался. Сын, сноха все ж не то. Да и внуками они не обеспечили. А Ольга Сергеевна пришла в доме убираться. Ширкает всюду тряпками. Пыль сосет. Уточку на противне жарит. Так исподволь, нехотя смещенный председатель и понял. Жизнь упустил. Конечно, жена Настя была хорошая женщина, и добрая, и ласковая. И льнула к нему. И глаза красиво жмурила. Но не любил он ее. Этого слова «любил» Иван Васильевич избегал. Но как по-другому сказать. Не любил. Не загоралось в нем ничего.

А Ольга Сергеевна что-то такое внутрь впустила. В сказке не рассказать. Да он к сказкам и не привык... Приходит Ольга Сергеевна убираться, и все в нем сладко ворочается.

На палубу вышел, а палубы нет... Как же там дальше? Дед, наверно, помнил эту песню. До конца.

Дед, Дед... Хулиган он был, удалой купец. Но тянуло к нему. Вот вспомнил опять.

— Трепещи, Ваня! Счас вопросы задавать буду. Да не зажимай голову ладонями своими. Ответ честный держи. Преферансом балуешься?

Иван Васильевич головой туда-сюда. Началась пытка.

Они лежат на оленьих шкурах. Один у одной стены, другой — у другой.

Дед рычит:

— Я так и знал. Увлекательная игра. Я вчера пятьсот рррябчиков пррросадил.

Для Ивана Васильевича это была цифра.

Но вот что удивительно: деньги к такому бесшабашному человеку шли сами. Проиграет пятьсот, выиграет тысячу.

— Дрругой вопрррос. Тперещи, — донимает Дед. — Как насчет налево? Рыбалкой не брррезгуешь?

— Какой еще? — недоумевает.

И опять глазом буравит.

— Понимаешь о чем.

— Да как-то...

— Не вры! Сейчас сбрэшишь. Вижу — монах. А я имею такое какчество. И женщинам это я те скажу. Мне даже моя Дуняша сказала: «Гуляй, но не разгуливай. С умом».

— Да как-то...

Все в округе знали, что уж если Дед прицепится к какой, то не отпустит ее... Прижмет к себе, пока самому не надоест. Отпустит и наградит... Квартирой, новым холодильником «Орском» или мяса на складе выпишет килограмм десять по дешевке.

— Я никогда буром не пру, — признался Алексей Иванович, — они сами со мной побыть хотят. Им интересно. Рррруководитель! И Дедом звать! Что с молодежи-то взять — свистуны.

— Вот попробуй сам. Грех, грех. Мораль! А там, — Дед указал на прошитый крепким картоном потолок, — там морали нэма. Гольный воздух, без цвета и запаха.

— Противно.

— Врешь... Не соглашусь...Тебе самому хочется, да колется. Знаешь, Ваня, я вот художника выписал, чтобы он одну мою кралю, поливальщицу, голой изобразил. Будто она на рисовом канальчике загорает. Одежда раскидана. Самолет сельхозавиации пролетает, крылом машет. А поливальщица хоть бы хны. Глаза зеленые с отливом.

Заработали художник с поливальщицей по пятисотке. Картину — в музей. Назвали картину «Раем», то есть «Раей», да ты видел. Хоть и Тамара она в жизни называлась. А муж-то, муж в стройбригаде работает. Степан Кошелько. Ко мне записался на прием. Негодует. Я ему втуляю: «Ты, Степан Макарыч, ничего не смыслишь. Ведь на твою супругу весь мир смотрит. Она постареет, а на картине — молодка. Ирисочка». Твержу это ему. Мычит Степан Макарыч, немного пьяненький. Я ему в кулак четвертной сунул. Он и ушел. Похмеляться. И спину прямо держал. Как рыцарь.

Вспомнив все это, как-то незаметно Иван Васильевич уснул.

А вечером явился сын с полторашкой пива. Да с хрусткой, твердой, как многослойная фанера, воблой:

— Уморился, бать!

Смотрит на него Иван Васильевич. Сын! Натуральный. Не враг.

Когда допили бутылку, сын взгрустнул: «Эх, батя, батя!.. Я ж не хочу, чтобы тебя лопухом считали и меня вместе с тобой».

Подышал у порога, носом шмыгнул. И вышел, опять поместив отца на два замка. Один на выход из дому, другой, амбарный замок, пуд весом, на тяжелой, сварной калитке.

Но этот мимолетный разговор взвел Ивана Васильевича.

Особенно странное сыновье предупреждение: «Болгарку не трогай. Я ее забрал».

Он знал, для чего болгарка.

Болгарка в мастерской висела в углу на стальном крюке, согнутом из арматурного прута. Старый председатель и глянул туда, как только шагнул через порог. И сердце его упало. Не соврал херург.

Для чего-то, не понимая себя, Иван Васильевич подбрел к крюку и пощупал его.

— Уволок! Предусмотрительный гад! Сын... Ну-ну, врешь — не возьмешь.

Иван Васильевич выдвинул ящик верстака. Тут были собраны пилы. В большинстве — по дереву. Нашел лучковую, по металлу. И полотно в ней было крепко зажато. Это испытание. Ольга Сергеевна его бы поняла. Она бы не стала сидеть взаперти. Но

если приложить ум и старание, то и с этим лобзиком можно справиться. Замки не возьмешь? Они снаружи. А вот петли изнутри, то да. Приловчиться, так можно изнутри.

Петли на веранде довольно хлипкие. Возьмет он их. Как пить.

И Иван Васильевич одолел легко эти петли на веранде. Они резались хорошо, как твердая, ржаная горбушка. На это действие с небольшими перерывами ушло с полчаса, не больше.

Старый председатель вспотел. Подергал на груди рубаху. И пошел пить воду перед главным сражением.

Выпив кружку, он взбодрился. И другая строчка «Варяга» пришла в голову. «На палубу вышел, а палубы нет, а палуба в трюм провалилась».

Есть палуба. Имеется пока.

Хм. И еще он помнит: «Врагу не сдается наш гордый варяг».

Во дворе Цезарь гавкнул. Признал хозяина. Некогда его ласкать. Солнце вот-вот опустится.

Он победно, как какой-нибудь спортсмен, потряс своей ножовкой и приступил к делу.

Стальные полосы, прихватывающие петли на калитке, были толще, чем дверные. И все же упорно полотно уходило вглубь. Ширк-ширк. И надо же, получилось, хоть и тупела пилка. И не было другого полотна в мастерской.

Поплевав на руки, Иван Васильевич взялся за другой шарнир. Медлить было некогда.

Вот перепилит и позвонит ей. Ольге Сергеевне.

Нет, чуток не допилит. И позвонит. Счас, мол, буду. Сам приду.

Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает.

— Пощады? — изумился старый председатель и с недоумением оглядел свои дрожащие руки и осыпанную стальным песком куртку. — Какой пощады? Победа! Воля!

Шумно выдохнув, он уцепился опять за лучок ножовки. Допилил две трети. Уже и шарниры эти стали шататься. Хорошо б кувалдочкой жахнуть. Или зубилом. И все будет, как в Польше. Как пели в том же детстве. «Свобода, б..., свобода, б..., свобода».

И тут он подумал, что дело к концу, пора звонить. Радовать.

Он отложил пилу в траву. И решительно двинул в жилые комнаты, в свою, как говорила Ольга Сергеевна, опочивальню. Его ждал телефон. И Ольга Сергеевна. Ее опять увидел. Как в каком кино. Ее карие с искрой глаза, мягкая ладонь, которая осторожно, как стеклянную, поднимает трубку, как это делала Ольга Сергеевна у него в доме.

Она сказала, что рада слышать.

— И я рад, — громко произнес Иван Васильевич и почему-то таким же радостным тоном объявил, что конь Лысый жив еще. А вот памятник срубили.

Так и сказал «срубили», словно старую яблоню.

Ольга Сергеевна поинтересовалась, здоров ли он.

Сбавив радостный тон, председатель ответил:

— Здоров, здоров! — и кашлянул в сторону.

— Ты чегой-то, простыл?

— Это я так. От волнения.

И тут же Иван Васильевич, смешавшись совсем, торопко стал признаваться в том, как он уважает Ольгу Сергеевну, как ценит ее.

И все его слова были с нажимом. Словно он прибивал эти слова каленными гвоздями. Твердо.

— Нам надо опять сойтись, чтобы уж не разлучаться. Никогда!

И вот уж не привык к этим объяснениям, вильнул в сторону, испугавшись своей решительности, стал говорить о везучести Деда Матвиенко. Дался ему этот Дед.

— Ты послушай, послухай. Дед еще в те времена пригласил к себе в хозяйство чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. Тот приехал, как не приехать — Герой Труда. Зовет. Но Дед объявил Карпову, что играть в шахматы с ним не будет. Не преферанс. А возьмет его с собой на рыбалку. Удить карасей. В сметане они — ой-ой-ой.

— И что? — вяло прореагировала телефонная трубка. — И при чем здесь сивый мерин?

«Что-то она чужая какая-то, — вскользь подумал Иван Васильевич. — Давно не виделись, отвыкла».

— Анатолий Карпов ни одного карасика не взял, а Лешка, Дед, полведра надергал. Уел чемпиона мира.

И захохотал, прямо в телефон. Чисто, как смеялся в детстве.

Тут председатель поняло, зачем он это рассказывает милой женщине. Он теперь почувствовал, что сам, сам уел давнего своего друга. Еще немного, еще чуть-чуть, и он тронет Ольгу Сергеевну под уступчивый локоток и заведет в свои хоромы.

«Врагу не сдается наш гордый „Варяг“».

И тут же, чтобы не отступить, он выпалил и про локоток, и про хоромы.

Ольга Сергеевна молчала. Ему показалось долго. Очень.

— Под локоток, — повторил Иван Васильевич.

И наконец он услышал:

— Знаешь, Иван Васильевич, не обижайся, не смогу я.

Председатель не понял, дернул головой:

— Что не сможешь?

— Даже встречаться с тобой... Не обижайся, а? Не надо. Не выйдет.

— Ты, наверно, не поняла, о чем я.

— Отлично поняла. Не получится у нас. Придумали сказку. Про белого бычка.

Его вдруг осенило: херург поработал.

— Сын был?.. Не тушуйся... Э-э-э, это мы поправим. У него своя жизнь, у меня своя. Они лишь только памятник свалили, а меня не сковырнут.

— О чем ты, Иван? Здоров ли? Сказки, сказки все... Уронили Мишку на пол... Онито были. И Владимир Иванович с супругой, и еще какие-то. Даже деньги предлагали, чтобы мы с тобой не встречались... Но мне на них наплевать...

— Вот-вот, — обрадовался бывший председатель, — заживем! При чем Мишка косолапый?

— Ну, уж до конца скажу... И мой Вадим из города приезжал. И ту же песню... Те же ноты. Но тут... тут уж деваться некуда...

— Да при чем здесь это. Я тебя никуда не отпущу.

Голос в трубке вовсе увял:

— Ну, сказал Вадим, что если я баловство свое не прекращу, то заберет меня к себе. Жить в их квартире городской. А сноха, знаю какая, нотная. Боюсь я ее.

— Так ты же еще не пенсионерка. Робишь.

— И что?

— Нет, Вань, — она назвала его Ваней, — не получится у нас. Не выйдет. Я скандалов не терплю. А он будет со всех сторон. Мы, Вань, как два встречных поезда. На вокзале постояли, обнюхали друг друга. И в разные стороны...

И тут Иван Васильевич ясно понял. Не предназначено ему это счастье. Ни круглое, ни квадратное, никакое.

Он рывками, словно воздух препятствовал, вернул трубку в лунку. И поглядел на нее пустыми глазами.

Темно стало как-то. Тина. Так бывает иногда, будто не воздух кругом, а муть.

Он даже щепотью попробовал воздух. И в него же, в эту кисельную массу прошептал угрожающе:

— Врешшшь, не возмешшшь!

Не помня себя, Иван Васильевич выбрался из веранды. И огляделся.

Цезарь почему-то даже не тявкнул. Цезаря он отметил каким-то вторым, мутным рассудком.

В траве валялся лобзик по металлу.

Он поднял его, зачем-то подышал на него. Так в кино дышат пираты перед тем, как порешить жертву. И вдруг стал ожесточенно пилить. Словно из-за этой пилки решалась его жизнь. Он ширкал, локтем сбивал пот со лба, опять пилил, пока не лопнуло стальное хрупкое полотнишко, лезвие.

— Ослабло, вот и лопнуло! — Он или не он объясняет это. И кому?

Врешь, не возьмешь. Пусть. На палубу вышел, а палубы нэма е.

Председатель уже знал, что делать. А зачем — не ведал. Откинул ножовку и кинулся в мастерскую.

Кувалда, как памятник Мичурину, стоит, тяжелой мордой вниз. В ближнем углу.

А в нем бились слова, в перепалке:

«Хоть это сделаю, хоть это. Для кого? Для себя».

И Иван Васильевич сам стал барабанить. Благо есть чем, увесистой кувалдой. Да он и веса не замечал. Гулко лупил по надрезу, потом по надлому с тем же пылом, яростью, что и пилил. Не только калитка, но и весь забор гудел, как старый аэроплан. И гул дурно отдавался в теле. И чем дурнее, чем лучше.

Последний удар он нанес прицельно. И железная дверь распахнулась с одного угла, потом с другого. Настежь.

И в этом просторе перед ним оказался сын с изумленным, даже трусливым выражением лица. Он тер клетчатым платком очки.

— Соседи позвонили! — объяснял сын, ежась и переминаясь с ноги на ногу.

Кувалда отцепилась от руки Ивана Васильевича и тупо упала на лужок. Рука сына, вздрагивая, протянула ему ключи на тяжелом брелоке, изображающем львиную кудлатую голову.

— Чего ты, бать, совсем, что ли. Пошутили мы. Шуток не понимаешь. А меня еще учил насчет шуток.

Сын постепенно приходил в себя. Даже шутил:

— Ты свободен, бать. Иди, куда хочешь! Соседи позвонили, что у тебя здесь взятие Бастилии.

Иван Васильевич пошевелил головой, пробормотал:

— А мне никуда и не надо.

— Свободен, бать, как ты говорил, как Анжела Дэвис. Как Патрис Лумумба. Кончилась губа.

— Кто это? — Он натужно улыбнулся. — Не. Никуда не пойду.

Володька, а никакой не Владимир Иванович, не херург вовсе, аккуратно вытолкал его на тропинку. Потом пришлось и дальше подталкивать на мощенный керамической плиткой тротуар.

Иван Васильевич шагнул было своим ходом. И остановился.

Владимир Иванович завел машину.

— Подвезти? — окликнул его сын.

— Куда? Я ведь сам не знаю, куда идти. Сам.

— Куда хочешь. Хоть к Ольге Сергеевне. Черт с ней!

И Иван Васильевич ринулся быстрым шагом, думая этим самым сбить неловкость, распиравшую изнутри. А что сбить? То самое... Может, все же Ольга Сергеевна опомнится, вразумится...

Но он знал, что просто уговаривает себя. У нее натура не та. Сказала — отрезала. Как Дед.

Дед, он зажмет голову в два пудовых кулака, и все будет, как он хочет. И карасики стаей к нему метнутся.

Уже все затянула конкретная ночь, и площадь перед правлением слабо освещалась одной хилой лампочкой. Но место, где помещался памятник Мичурину, было хорошо видно. Место то уже было залито цементом. И походило на темную клетку шахматной доски.

Цемент захряс. И отдавал еще дневным теплом. Старый председатель умостился на корточки.

Хмыкнул: «Замест скульптуры!»

Однако тут же вспомнил, что так сидят зэки перед конвоем, и опустился. Хоть и было неудобно.

Да уж, не до удобств. Сидел так, озираясь, как бы кто мимо не прошел. И опять его стали черти крутить. Называется воспоминание. Хоть мемуары пиши. О чем? О боли. Как увозили коров на бойню. Как чужие мужики толкали их по помосту, накинутому на кузов машины.

Какая-то визгливая дама тыкала в блокнот ручкой.

Грязный, обдристанный другими коровами прежнего рейса кузов.

А когда машины трогалась, прибежали доярки из первой МТФ. Уцепились за решетку на кузове, как на турнике. Визжали. Выли. И коровы тоже трубили вслед дояркам свой похоронный марш.

Иван Васильевич потер щеку и почувствовал кулаком влагу. Кажется, он плакал. И он умел переключаться. Вспомнил, как с сыном выпиливали в мастерской шкатулку на Восьмое марта, чтобы подарить ее Насте, матери, потом красили ее, лакировали. Сын был счастлив, да и он радовался, если радость можно назвать счастьем.

Он не заметил, как к нему подошел молодой парень с двумя полосами на плечах. Участковый Василенко. Тот самый, который держал публику, когда валили памятник:

— Отец, вы не пьяный? Пьяный, што ль? Слышишь, гражданин?!

Иван Васильевич покачал головой.

И участковый его узнал:

— Извините, Иван Васильевич, вы? Я не разобрал? С вами все нормально? Сидите?

— Сижу!— бессмысленно ответил председатель. — Помоги мне подняться.

Служитель закона взял его под руку и потянул. И лычки его блеснули.

— Может, до дома проводить, Иван Васильевич?!

— Н-е-е, н-е-е... Не надо, Толь. Обезьянок жалко. Змерзли...

Сержант Василенко ничего не понимал. Поднимал плечи с двумя желтыми полосками.

Воздух стал еще гуще. Как деготь. И трудно было переставлять ноги и ворочать языком «Обезьянки змерзли».

Шел, шел, шел. Как лямку тянул, бурлацкую.

И вернулся домой. В своей комнате стало легче. Иван Васильевич нашел лист бумаги сверху, правда, было напечатано красным: «Председатель Иван Васильевич Капустин».

Ручка лежала рядом с телефоном. Он взял ее, поставил на лист:

«Если я вдруг умру, то сделайте из меня компост. Органику. Закопайте меня неглубоко. Сантиметров на пятьдесят. А сверху яблоню посадите!»

Для чего-то снизу он нарисовал человечка, как в детстве: точка, точка, запятая, минус, рожица кривая. Усмехнулся: «Так бы поступил Дед».

В изголовье записки он крупно написал отдельными буквами: «ЗАВЕЩАНИЕ».

Потом Иван Васильевич долго и тяжело читал написанное, утолстил буквы кое-где, чтобы было понятнее.

В молодости Иван Васильевич курил. И тут вспомнил это неотступное желание ткнуть в рот сигарету и затянуться сладким, ласкающим горло дымком. Но сигарет в доме не было.

Это бы отвлекло.

Он оглядел стены, как будто их видел впервые. Как будто он и не здесь жил. Взгляд остановился на часах.

Ему вдруг показалось сходство Деда с этими напольными часами. Странные совпадения. Он ведь вот тоже был похож на памятник Мичурину. А часы — на Деда.

Ему показалось, что и часы, а главное, тяжелый медный диск в них видит и понимает его. Часы насупились. И бурые рейки, ограждающие окошко с маятником, похожи на широкие брови. Часам не скажешь: «Постой. Я сигареты добуду».

Маятник мерно качался, вылитый Дед на каблуках с платформой.

«Ты, милок, умом тронулся», — тягуче проговорили часы. И тут же ударили в свой гонг девять раз. Как кувалдой по забору.

— Палуба. Трюм, — ответил он часам.

Неуклюже, отвернувшись от оживших, купленных по наущению Деда часов, он схватил свой листок с завещанием и стал его мелко рвать. Так в детстве его мать Евдокия Ильинична деловито, с прищуром щипала курицу на суп.

ЧУЧЕЛО ЖЕНЫ

Чучело бывшей жены смотрело укоризненно. И все же... И все же от ночного уличного освещения задорно искрились глаза. Именно такой Косач и любил свою Мотю.

Тысячу раз он крутил в памяти одно и то же:

— Крайне! Крайне! Крайне надо разбежаться! По разным углам. Ты кто? Ты — никто! Чучельник! А я — натура тонкая. Кто такой Брамс? Ты даже такого не знаешь...

Лицо у нее горит. Вот-вот — и волосы на голове вспыхнут. Занялись алым.

— Брамс-блямс! — ляпнул Иван. И сам покраснел. Добавил уже робко, будто сомневался: — Мотя, мы и должны быть разными, по при... По при-роде.

Жена закатила глаза и хлебнула воздух:

— Ах так! Опять за свое! Опять я — Матрена-едрена?! Матильда я! Матильда. Запомнил?

— Запомнил.

— Этого ты ни в жизнь не запомнишь. Быдло! Впрочем, это теперь ни к чему. В разные стороны. Друг от друга подальше. Привык шкуры драть и не знаешь, как я страдаю. Забыл мое нормальное имя! Мотя, Мотя... Матрена-едрена. Ать-два, ать-два! Слава богу, детям мы уже не нужны. Устроены.

Она смотрела на него выжидательно. Но его изнутри что-то дернуло: «А что? Попробовать не мешает».

Легко как-то и непринужденно, будто это и не он — Иван Косач — получил в паспорт новый штампик. Мол, свободен, как черная Африка.

Уже на ступеньках Мотя-Матильда заглянула в его глаза, задорно и осуждающе одновременно:

— А ну как опять сюда придем?! Ты уже начинаешь мне нравиться.

Тонкая натура. Эти самые врозь.

Иван ничего не сказал, только неопределенно хмыкнул.

Он сам ушел из квартиры. Мотя сидела, а скорее, висела на кухонном табурете и на кларнете перебирала своего Брамса. Так белье в шкафу перекладывают, вяло. «Блям!» — хлопнула входная дверь. Он ушел, ать-два! Легко как-то и непринужденно...

И он абсолютно свободным уехал из своего поселка со странным названием Красный Лес в портовый город. Купил маленькую квартиру в пятиэтажке, напротив небоскреба, похожего на гигантский корабль. Остался один. «Как пустая бочка из-под капусты», — говорил сам себе Косач. Он не понимал смысла развода. Неужели из-за того, что он не переучился и называл Мотю своим именем, а не иноземным прозвищем — Матильда?! Матильдой у них в селе не одну собаку называли! И была еще одна баба, широкая в кости, которая ругалась покрепче мужика Вальки Власова. За матерщину и приклеили ей это имя. Матильда!

Одному хорошо. Если к себе не прислушиваться... А то будто без Моти кто-то к нему прилаживается и что-то из него высасывает. Всю внутреннюю капусту. Маялся, корвалол пил по сорок капель. Не помогало. Увеличивал дозу. «Что она этим хотела сказать: „Может, опять сюда придем?“»

Немного успокоился Косач лишь тогда, когда построил куклу Моти.

Экземпляр Моти мостился в углу и по-разному реагировал на ночное городское цветовое освещение. Искусственная Мотя то косилась на бывшего мужа, то бесшумно хохотала, то слеза у нее вдруг обозначалась, а то строгостью оборачивалась.

Конечно, пришлось покумекать.

Над бюстом долго возился, пока не упросил в одном галантерейном магазине манекен стройной женщины. Как упросил? Подарил завмагу, мужику с юмором, заводного соловья. Тот цокал, цокал, засунул рябую игрушку в стол, поглядел в угол:

— Я ему музыку из Интернета скачаю.

Списанный дармовой манекен был черен. Косач нашел художника Витьку Тудакова, который по фото вырисовал Мотино лицо. Трудно было с глазами. Они у нее были зеленые.

— Как у ведьмы! — похохатывала Мотя.

А он останавливал:

— Морские.

Когда Мотя была в хорошем настроении, то соглашалась:

— Изумруд.

Первые глаза Косач вышлифовал из бутылочного стекла. Они получились темноватыми, и в одно время так от них чем-то потянуло, что Ивану ни с того ни с сего захотелось повеситься.

Вторые глаза он обработал из брошки, купленной на набережной, в палатке. Они получились легкими. И Косачу полегчало. Он вспоминал, как тепло и ровно было спать рядом с Мотей. Это было даже лучше, чем физическая любовь. Спишь, и всё. Спокойно, радостно, тихо.

Тонкая натура Мотя-Матильда, просыпаясь, как-то сладко вздыхала.

А тогда, при окончательном разводе, она добавила:

— Ванька, не горюй, Ванька, поцелуй!

И он хорошо помнил другой голос Моти, когда она сказала при окончательном разводе:

— Ванька, не горюй, Ванька, поцелуй!

Может, издевалась, а может, и нет. Но когда Косач нагнулся для поцелуя, она со смехом увернулась:

— Ни-зззя. Ты это помни: возможно, мы опять сойдемся. Вообрази, что ты моряк, что ты надолго ушел в туманную даль.

Он и уехал в этот портовый город. Ехал, приговаривал:

— Джамбул Джабаев стилягой стал, свою бандуру на сакс сменял.

Приговорка отца.

И вот теперь думал: «Наверное, ей скучно было со мной, с моими чучела́ми».

Брамс-блямс!

— Брамс цыган любил. Для них музыку сочинял! — просвещала его Мотя. — А Матильдой балерину звали. Ее последний наш царь обожал. И ты тоже... Будь царем. Хоть для меня.

Желание женщины — закон. Как «быть царем», он не знал. Может, побить требуется? Иван Косач отвергал эту мысль.

Теперь его жизнь побилась на две половины.

Он кукольник. Чучельник. Заказов стало богато, как говорят украинцы или кубанцы. Но в этом городе все больше хотели иметь в домах чучела львов и тигров, пантер и росомах. Для чего? Чтобы погордиться: мол, вот был в Кении на охоте, привез шкуру. Он-то любил мастрячить своих, российских животных и птиц. Их брали неохотно, порой в довесок. Вот никак не может Иван сбагрить чучело тетерева.

— Музейная вещица, — цокали и отвергали, жилясь смехом, — но страху не нагоняет!

Тетерева он назвал Тезкой. Закрепил муляж красногубого красавца на противоположной от чучела Моти стене. Торчал он там, как цыган, приготовившийся врезать чардаш. При спокойном свете было видно, что этот косач летит к Моте. Или это она к нему стремится. Птица была снабжена специальной пружиной и свистком. Когда эта пружина была взведена, то от колебания тугого воздуха она по-тетеревиному бубукала.

Чучело бывшей жены спасло от бессонницы на короткий срок.

Месяц... Чуть больше прошло, и эта лихоманка стала донимать Косача все чаще и чаще. Крутила его, вертела.

И вот сегодня Косач опять разговаривал с чучелом бывшей жены. Чучело в этот раз было немым, глаза одни работали. А к утру и они потухли. Чтобы сбить ползучую дрожь, Иван крикнул в другую сторону. Тетереву.

— Тезка!

Гулко получилось. Квартира — бочка.

— Тезка-а-а!

И тетерев живо откликнулся:

— И-и-и-и!

Косач вздрогнул. Да нет! Это же снаружи. Явно не птица. Женский голос.

— И-и-и-и! Сво-о-олочь! Ты опять ничего не оставил!

Иван подошел к окну, раскрыл его шире.

— И-и-и-и!

Истошно орали в доме-корабле напротив.

Как будто кишки из себя тащили. С надсадом.

И замерло.

Вдарил мужской голос. Громко. А потом как в детском букваре про тетерева и лисицу:

— Бу-бу-бу-бу-бу-бу...

— Сво-о-олочь! Негодяй! — вплелся в этот барабан женский кривой фальцет. — И-и-и-и!

— Будуду-бубубу!

Иван плотно захлопнул окно.

И плотно потом прижался к подушке, пытаясь побороть бессонницу. Надо вспомнить что-нибудь хорошее... И он вспомнил.

Он вспомнил, как ездили они с Мотей в деревню, к матери. Как баню топили. Предбанник был усыпан свежей соломой. В бане — хорошо. Сияет всеми и всем Мотя. Обвивает его шелковыми руками.

— Мочалку-то в избе забыли.

— Ничего! Обойдемся... обойдемся... — шептала Мотя и терла его спину своими шелковыми трусиками.

Это воспоминание заполнило Ивана. Как воздухом. И он крикнул в сторону тетеревиного чучела:

— Как дела, земеля?

Тетерев начал было токовать, а потом засипел, как простуженный. Подернулся пурпурной, огневой сутаной.

Иван заговорил. Ясно и четко. Торопясь, как диктор в телике:

— Не могу я здесь без петухов-то, не могу никак уснуть. Хоть бери да тебе в пару живую птицу покупай. Будет летать, кукарекать, народ по утрам будить. Не могу-у-у! УУУУУ!

Ему показалось, что чучело бывшей жены пошевелилось. И что-то одобрительно пробормотало.

— С ума спрыгнул!

Косач дернул себя за прядь волос. Голова была жива. Он поглядел на часы. Скоро утро. Брезжит. Матово засветилась зеленоватая детская площадка внизу. Качели, карусели. Прыгалки разные. Косач открыл окно. Что там эти чудаки делают? Не опомнились? Нашли они водку или что осталось? Горючку.

Иван Косач ясно увидел светлые окна. Длинную, как ученический пенал, лоджию. На ней тесно стояли двое. Просто сливались их темные силуэты. Хорошо были видны лишь две горящие точки, как два глаза какого-то диковинного животного. Сигареты. И этим двум точкам было все равно. Абсолютно все равно. Им было до фени, что они могут разбудить полицейского в будке, которая была поставлена недавно рядом с домом для борьбы с терроризмом.

Парочка врубила какое-то звуковоспроизводящее устройство, которое орало направленно. Прямо в уши Ивана Косача.

— Я босая! Иду босая!

— Бу-бу-бу-бу-бу-бу...

Иван не стал закрывать свое окошко. Пусть. Может, так он лучше уснет.

С ПОСЛЕДНИМ ПРИВЕТОМ

Гости млеют, пеленгаса кушают. А как жарком внутрях поддало, они, якорь те в нос, чарки отставили, компот из дички им наливают.

Я к этой самой, к Эльмире Антиповне: так, мол, и так, за что нас рассчитывать? Без музыки-то скучно в сырую землю ложиться, хоть и глинозем у нас. Возьмите сегодняшнего... Когда Петрович — корнет наш, труба такая — ноту взял, так жмур — Василь Василич Женуаров — чуть глаза не вытаращил! Об ляжку — хлоп! Ей-ей, вот-вот в пляс ударится.

Эльмир Антиповна брови сдвинула, голосок тонкий включила, этакой фистулой:

— В исключительном случае! Исключение сделали. Марь Иваныч сказал: «В последний раз глаза закрываю на ваше безобразие». Играете черт-те че!

И чирик свой Эльмир Антиповна выставила — любуется на шик-блеск.

Витек тоже компот из дичков дует, к нам придвинулся, на меня — зырк:

— Ты вот че... Хлоп-холоп. Баллады не гутарь. Донской казак тож. Скажи Эльмир Антиповне, что композитора Шопена играли. Соната номер два. А можем и Моцарта слабать. У нас Тепсихор так своей клюкой по барабану вдарит, что мурашки наземь посыплются.

Эльмир Антиповна — просто так, голой рукой, за пятку не зацепишь ни за какие концы — брови еще гуще напружинила:

— Да вы че? С катушек слетели? Мордоплясов все слышит! Даже счас. Ему указание сверху по факсу спустили: мода на похоронную музыку ушла в небытие. Амбец. Махен зи кувыркен. Счас какой-то рэп торжествует. Хотите — рэп покойнику пойте. Если получится. Омикрон... Тьфу! Оксюморон.

И она распахнула брови на свой стакан с компотом. Уставилась, как баран в зеркало.

Лепечу:

— Может, покойник всю жизнь мечтал, чтобы его с музоном в гроб возложили.

Она головой мотает, фистула эта! Ладошкой об стол три раза:

— Ни в коем случае! Делать нечего? Шли бы к братьям меньшим, к китайцам, огурец в землю тыкать.

Поняли — бесполезняк. До-ре-ми-до-ре-до.

Значит — а пошла ты на определенное место! — и собрались у меня, в бунгале. Шмурдяка, прихватили два флакона. Совет в Филях! Нас надо крепкими рукавицами брать. Из брезента.

Косой килечку из кармана достал, Мишка Елантьев буханку разломил. Сигизмунд разлил, да хлесть толстым голосом:

— Че-нить замесим! А то Мордоплесов, Мордоплясов! Марь Иваныч, Марь Иваныч!

И он плюнул в кучу прошлогодних стружек, оставшихся после Лысого — дэковского мазилы-художника. От голоса Сигизмунда звякнуло разбитое стеклышко, хлипко приставленное к раме.

Витек присвистнул:

— Мордоплясов!

— Паморок пошел, — мигнул Мишка Елантьев по прозванию Борода.

Подбородок у того был выбрит. Кулигами, правда. Бороду он в Крымскую кампанию сбрил.

— Может, все же записаться к Марь Иванычу?

Витек Косой понюхал свой пустой стакан.

Сигизмунд, как кот в сказке, мудро глаза сожмурил:

— Ниче не выйдет. Попрет! У него секретутка — чисто Лайма! Шерсть дыбом, чуть Мордоплясов пальцем пошевелит... Но у меня идея!

Борода прыснул, как дева, в кулак: счас бред собачий послухаем. Корнет в углу соплей двигал. Мишка Борода на него попер:

— Ты че там, на шахне распальцовку шерудишь?

Шахна у лабухов, она и есть шахна. А идея-то, как у этого... у стократа!..

Вычислили будущего жмурика. Ниче парнишка — весовщиком на колхозном току цифру загибал. Забава Иван Палыч. Хэ... Он за «битлов» коня отдаст. Стариком волос носил — длинный. Лысый безмал, а волос — до плеч.

— Не «битлов» же ему лабать? — вставил Косой.

— Почему бы и нет! — опять мигнул Борода.

— Это общее явление, — подвел итог Сигизмунд. — По телику сказали: надо больше радоваться. Народ мрет, лихоманка кругом, пропасть, пожары... А вы — радуйтесь! От радости печенка крепче, не разлагается.

Витек взялся за уздцы:

— Не сегодня-завтра Забава ласты склеит. У меня знакомая, Зинка Кудряшова, на «скорой» фершалом. У нее список есть, когда да кто туда отправится.

— Операцию назовем «С последним приветом», хватит пить-курить и это... самое... Чистите трубы, будем... гхм... спортом заниматься, — сформулировал Сигизмунд.

— Спиртом! — хохотнул Косой, но тут же застыл. На него цыкнули.

Кальцинированной содой, армейской пастой гоя надраили трубы. Барабухе крепче болты прикрутили. Бочка стала по-другому ухать, молодецки так! А тут и Забава коньки откинул. Перед смертью на свой мехток просил взглянуть. А где его, паралик разбери, найдешь? Сходили в брехушку. Старую фотку выклянчили. Кое-как. Ихняя шахна ноздрей дергает, из копыт искра: «военная тайна». И-эээх! Забава взглянул на фотку и помрэ.

Музыканты собирались тайно. Дворами через школьный двор к могилкам пробрались. Корнет в волейбольной сетке запутался, как карась. Борода семенил возле Сигизмунда:

— Может, ему замутим: «Я к маменьке родной с последним приветом»?

Ничего не ответил Сигизмунд. Глаза свои выпучил.

Нашли процессию за старым каштаном, возле могилы капитана второго ранга Енотова. Страдают люди, на могилу Енотова поглядывают. Богатая она, в пыльных гладиолусах. Но вот после речи бывшего колхозного осеменатора Степана Васильевича Окружко они и скаканули из кустов. Инструмент у каждого блестит, как у кота причиндалы.

Сигизмунд повелительно желтым старинным вельветом — рукав у него такой — махнул. И музыканты вдарили, как говорится, по струнам и клавишам. А барабан-то как ухал! Его Матвей Ильич Тепсихор оседлал. Мужичонка мелкий, как блоха, а на барабане, якорь те в нос, прям рингстар:

— Ух, ух, ух!

А Корнет такое вывел! Боже праведный! Из могилы подымет... И уложит опять... Корнет — по-итальянски «рог», брэшут. Во!

Процессия ошалела. Кто в какой позе: хоть раком, хоть каком, а застыли. Скульпторы прям. Хоть Лысого вызывай, художника. Но ему счас некогда, деньгу кует на заводике интима, изделия для женской забавы рисует.

А как отыграли похоронную-то, Шопена, так народ и оживился. Кто плачет, кто че... Тут-то Сигизмунд наш упертый — с катушек... И — шарах! Сипло крикнул:

— Ван, ту, фри!

Мы этих «битлов» для радости учили. Сердце от них тает, че-то там шевелится. Не пеленгас вовсе. И теперь мы все замерли: Борода, Косой Витек, даже Матвей Ильич, блоха в жулетке. Ненадолго. Матвей Ильич жахнул в бочку своей кадилой, и понеслось...

«Герлу» исполнили, про телку клевую. Вначале ничего, опять процессия ошарашилась. А потом... уткнулись кто куда: кто глазами в землю, кто плечом к плечу. Слезы даже осеменатор Степан Васильевич льет! Копачи лопаты отставили, носы тоже не железные — хлюпаают. Листья на каштане шевелиться перестали. Капитан второго ранга Енотов ботинком щелк, на цыпочки, тянется, честь отдает...

Эх! Дали мы тогда уголька мелкого, да много. Но...

Наверно, Мордоплясов Мартемьян Иваныч тоже нас прочухал: аппаратуру установил, полицию нагнал... Наряд. Не, не... Не у могилы. Как от могил ушли, так нас в «бобики» и покидали, на задние седла. Мне с Бородой ехать пришлось. А Борода гладко на этот раз выбрит, физия блестит, как и альт его. Не поймешь, где альтуха, а где морда. И оба улыбку давят.

ШЕВРОН

Завотдел, лысоватый мужичок с домашними умиротворенными глазами, пригласил Веру сесть. И первое, что он сказал, было:

— Предприятие у нас специальное.

И пожевал губами.

«Уж не военное ли? Уж не секретное?» — екнуло внутри у Веры Букановой.

Завотдел причмокнул:

— Поэтому если вы нам подойдете, мы вам... кхм... Вера Александровна, то мы хорошо заплатим... Правда, время такое, зарплата — в конверте... но зато больше, чем на элеваторе.

Он сморгнул и искоса посмотрел на нее.

Вера почему-то решила, что тут точно — птицефабрика. Может, страусов разводят. Писали же в газетах. На Кубани климат гарный.

Широкова оказалась полной противоположностью своей фамилии. Все у нее было узкое. Тонкая талия, небольшой носик, узенькая переносица и узкий прищур.

Широкова уцепила узкой ладонью Веру за локоть и повела на производство. Попутно объясняла:

— Не, не страусы, Вера Ксанна... Почище страусов... В то время, Вера Ксанна, об этом нельзя было мечтать, потому что его не было.

— Кого — его?

— Производства. Сейчас узнаешь... Корпус находится вон там, недалеко. Зришь? Желтый флигель. Глянь туда, за орехом. Мы его специально окрасили в такой цвет, цвет солнца. Пришла свобода, и мы открыли производство изделий. Врачи контролируют. Догадываетесь, Вера Ксанна, о чем я?

Вера не догадывалась. Ждала ответа от спутницы. Та затараторила с удовольствием, прищелкивала пальцами:

— Необходимые протезы для робких женщин, для занятых работой, убитых заботами женщин. Согласитесь, милочка, что при очень искусно сделанном протезе никакого мужика не надо.

Они уже шагнули на мраморное крыльцо флигеля, прошли таким же лакированным коридором, шагнули в широкий проем двери, где за длинными столами, составленными буквой «П», покачивались, как казаки на стругах, женщины средних лет. Синие халаты с желтой эмблемой на груди. Эмблема странная: вроде модели атома с ядром и обручами электронов. В руках работницы крутили этот самый «протез», этот аппарат... Как оказалось, то был цех сборки, куда и назначена Вера. Буканова, хоть и удивилась, виду не подала.

Ей выдали синий скользкий халат. Узкая ладонь мастера Широковой усадила Веру на круглый табурет, что-то вроде сиденья без спинки, как в баре.

— Леонтьевна заболела, вместо нее вот... Тимофеевна, покажи новенькой, — обернулась к Букановой. — Вечером, Вера Ксанна, в кассу придете, аванс выдадим.

— Ничего здесь хитрого нет, тебе надо приладить вот этот поясок на продукте сюда, мелкой отверткой прикрутить и передать дальше, вон... Лизе, — пояснила серьезная Тимофеевна.

Вскоре Вера заметила, что каждая из мастериц занимается приделкой лишь одной или двух деталей. Просто и ясно. Ее задача — подковырнуть тонкой отверткой проводки, уплотнить поясок на кольце и сунуть продукт Лизе, молчаливой жухлой бабенке.

Надежда Тимофеевна похвалила Веру, но попросила делать все быстрее: всем надо выполнить норму и сверх, тогда приплатят процент. Да за ними и камерой следят.

Как-никак у Веры хоть и среднее техническое, но все же — образование! Она тут же догадалась, что нужно сделать. Как это они тупят?! Один из проводков, чтобы он не мешал, перекинуть на другую сторону. Синий — сюда, а красный — противоположно, тогда поясок свободно ложится на свое место. В лунку.

Разговорились. Вера рассказала, что у нее двое детей, живут на квартире у старой тетки Машки, тетка свалила в соседний городок продавать грецкие орехи, но за квартиру платить надо через месяц...

Верино рацпредложение ускорило движение конвейера, и она осмелилась спросить:

— А вы, Надежда Тимофеевна, замужем? И муж вас отпускает этим заниматься?

— А як же! Шо тут така, обыкновенное производство, как пуговицу пришить, привыкли, женщинам требуется. А что, теперь-то мужики колдырят, им не до баб.

— И ваш?!.

— Не, мой не употребляет, он нормальный, только я ему как-то надоела, что ли, жрет дюже, пузень на коняке не объедешь, — Тимофеевна сообщала это добродушно. — Пусть жрет, живее сдохнет.

Вечером выдали аванс. Обрадовавшись деньгам, Вера зашла в магазин, который раньше обегала стороной. Накупила вкуснятины, напитков, фруктов разных... Волокла, радовалась. И только подойдя к дому, поняла, что промашку все же совершила. От аванса остался ноль без палочки.

Другой день у Веры прошел без особых забот.

После смены можно было еще бесплатно помыться в хорошем душе с тугими струями теплой воды. И вот Тимофеевна затащила в крохотную подсобку. В ней выпили по бутылке «Очаковского». На полках подсобки, как дрова в зиму, валялся товар.

— Брак, — брезгливо указала подбородком товарка. — Не поддаются ремонту, разрешают домой забирать в счет-расчет. Возьми пару.

Непонятно зачем, но Вера затискала в сумку... пару изделий.

На третий день Веру выгнали со счастливого места.

Провели расследование. Оказалось, что Буканова Вера Александровна виновата в целой партии брака. Ее рацуха с проводками сыграла зловещую роль. Пробило обмотку моторчика. Главный инженер Воронов объяснил, что Вера должна предприятию определенную сумму, что на ее место очередь стоит. Вера заплакала. Инженер сжалился, и Веру отпустили без составления документа. Вот только за шеврон нечем платить. Можно было продать два бракованных изделия... Да где же их реализуешь? Не вытаскивать же на улицу, не раскладывать в торговом ряду на местном базаре...

Дома оказались обе дочки. И каждая со своим прибамбасом. Настя опять за свой шеврон, учительница который раз напоминает. Добавилась еще плата за цветное фото руководителя для украшения класса. У вызревшей Нади злостно порвались колготки.

Шеврон Вера пропустила мимо ушей, а порванные колготки зацепили.

— Ходишь как попало, — взъярилась она. — Ноги отрастила, теперь ими задеваешь за все!

— За что — за все?

— За парты!

— Ага, прям лягаюсь...

— Не лягаешься, малый размер покупаешь, чтобы хорошо обтягивало. Форсишь перед этими.

— Ага, надо, чтобы они, как блины, свисали. У других матеря как матеря, отцы как отцы! Телефоны, компьютеры... Ни в чем отказу!

— Ты понимаешь, что буровишь? Я вот тебя на социальную работу устрою. Хватит с Лолкой Мирошниковой семечки в подъезде лузгать, будешь со мной ходить. Глядишь, и на колготки заробишь...

— Нужно больно! Если надо... Я и так. Мне по приколу.

— Знаю, как ты собираешься зарабатывать...

— И заработаю! Что в этом такого?

— Лярва!

— Ой-ой-ой! Монашка!

— Заткнись, или я тебя убью!

Тут в дверь позвонили. Ворвалась Нинка Маслянкина. В домашнем халате. Она раскачивала за горлышко темную бутылку. Как селедку за хвост.

— Верунь, давай церковного жахнем. Кагорчику.

— Давай, — ответила Вера, пыхнув сердитым лицом.

— Ты чего такая дутая?!

— Да вон! Колготки порвала!..

— Купишь. Ты теперь богатенькая буратина, на фирму устроилась! В «Пэээникс», — проблеяла Нинка.

— Фирма «Феникс». Страусиная, — Вера усмехнулась. — Выгнали уж.

Маслянкина присвистнула.

— А тут хозяйка твоя, Марь Михална, звонила. Распродала орехи, скоро вернется. Денежки, говорит, пусть за жилье... жиличка...

— А у меня и закусить нечем.

— А это для чего? — Нинка выхватила из карманов халата два рябых подгнивающих яблока.

Пошли на кухню. Вино было приторно-сладким, но брало.

— Вот, — Вера вытерла пальцем розовую нитку на бокале. — Думаю Надьку свою к ветерану пристроить. Пусть помогает, не переломится. Работа там легкая: постирать, подмести.

Помолчали, повздыхали, куснули яблоки.

— Нинок, у меня вот есть две штуковины. Может, купишь или продашь кому? Меня Наська шевроном своим доняла. Казачий класс, казачий класс... Память предков.

— Не темни. Что за штуковины? Догадываюсь...

Вера подошла к тайнику в кладовке, пошарила там, вынесла коробку из-под обуви. Крышку сняла прямо перед носом соседки:

— Вот!

— Шеврон! — закатилась смехом соседка. — Птица щасья!

Одно из изделий она взяла на ладонь, взвесила, подкинула:

— Весомо!

— Купи!

— Зачем? Не страдаю, — Нина Маслянкина пожала плечами. — Скажи на милость, зачем мне? Давай еще по стаканчику.

— Фибра это. Чистая кожа. Не хочешь — продай. Знакомых у тебя богато.

— Не скули. Давай сюды, суну кому-нибудь для интереса. Их ведь для интереса и берут. Ты погляди, на мусорках сколько добра разного выкинуто. Кофточки новые, гипюр, джинсы, колбасу... вполне себе. Так эту колбасу можно месяца три трескать, а они швыряют. Ой-ой-ой, Верок, я забыла, мне надо еще к Тихоновне заскочить, горчичники ей присобачить. Всем помощь надобна.

Еще потопталась у порога, уронив глаза на коробку с товаром:

— Не возьмут, повешу дома, как сабли казачьи.

Хохотнула, ушла так же внезапно, как и появилась.

Вера налила себе бокал до краев и махом пустила в себя приторную жидкость. Крякнула по-мужицки... А что еще делать?! И с шевроном как-нибудь разберется.

СКЕЛЕТ В РАССРОЧКУ

Жена умерла давно, а он уже ее и не помнит. Сожмет глаза, позовет: «Люба! Любаня! Любовь Тимофеевна!» Она не является. Пусто. Темно в глазах. Как зимой без снега. Лишь когда приходит ее мать, Алексеевна, — проверять, все ли на месте, смутно вспоминается Любаня. Как она губу вздергивает, когда что-то не так. И лоб волнами идет, зигзагами...

Все же хорошо, что родичаются они с тещей. Не так одиноко. Дашка-то в городе. И в станицу ее танком не затащишь, говорит:

— Тьма у вас. И татаро-монгольское иго землю копытит!

Сергей всегда спорит:

— Доца! А как птички на рассвете поют, когда солнце лучиком прозвенит! Никакой филармонии не надо.

Дашка от этого дикого сообщения делает круглые глаза:

— Ты давно оттуда?

— Откуда?

— От верблюда. Из дур-до-ма.

Вот так, раздельно: дур-до-ма. Без всяких яких.

Сергей Власов на дочь свою не обижается. Более того, ополоумел: вывернул из кармана деньгу, которую занял у Петра Тимофеевича Лобаня. Легко.

Лобань — мужик дошлый, все у него с полным верхом. Но сам сухой, в трещинах. Лобань шутил по этому поводу: «От жадности высох».

Сергей потряс пачкой денег, как в детстве погремушкой, и Дашуня наспех обняла отца, прижала к груди деньги.

— Зачем, зачем? — в ее глазах запрыгали зайчики.

— Мне не жалко! — смело заявил отец.

Ему было чрезвычайно жалко этих незаработанных денег. Обида кусала. Не на дочь, на жизнь. Не поймешь, яка. Для того чтобы погасить долг, надо ой как горбатиться на китайца. Китайца звали Лю Ши, в просторечии — Лешка.

В четверг утром непременно являлась Алексеевна. Оглядывала все: шкаф, проржавевший холодильник, тяжелую, как трехтонный самосвал, чугунную швейную машину «Зингер».

«Зингер» достался Сергею по наследству от бабушки Зины. По семейному преданию, швейную машину ей оставил отступающий немец. Эрлих или Эрих. Он этот «Зингер» у кого-то спер. Да вот драпали немцы, и не удалось на мотоциклет взвалить швейный агрегат. Маховое колесо мешало.

Алексеевна обнюхивала каждую вещь в доме, будто вещи были скоропортящимися и могли протухнуть или скиснуть. Порой и губу вздергивала, как Люба (явилась —

не запылилась). Обнюхав, Алексеевна плюхалась на облупленный «австрийский» стул и начинала свои антимонии.

— Вот, — вздыхала она. — Счас ученые додумались удобрения вносить каплями с земли, а не с воздуха сыпать. Любу-то нашу ведь с воздуха и траванули, все почки этот ростар съел. Если бы дожила до этого времени, ничего бы с ней не сделалось.

Она промокала глаза рукавом своего цветного, в полоску, халата.

Сергей привык к этому суждению. И отвечал, как по писаному.

— Ронстар, — поправлял Сергей Власов. — И зачем он нам, этот рис? Однако политика!

— Политика! Дочуня в серую мышку превратилась в последнее-то время. Серая, че... — стул под Алексеевной скрипнул, качнулся, — в уборну не сходишь. А я, Серег, заметила: кто этот рис ест, у того непременно глаза делаются узкими, как зернышки. Надо бы у Митрофаныча спросить, что за загадка така.

— Сказки бабушки Анфисы! — равнодушно ответил на это зять. — Вон у нашего китаезы глазищи широченные, как колеса у КАМАЗа.

— Дак они сейчас рис-то не употребляют в пищу, — не сдавалась Алексеевна. — Русские котлеты рубають за мил душу. Вот у твоего Лешки буркалы-то ажник синие. С проблеском. Ты, я слышала, бумагу получил. Денюшки назад требуют. Петр Тимофеич такой. Как жила сухой. Ты на коленочки встал?

— Вставал уже, — угрюмо буркнул Сергей. — Унизился. Ниче, выкрутимся. Жил хватит.

Алексеевна оживилась.

— Ну, к китайцу дуй. Он помягче, чем Петр Тимофеевич, — она привстала со стула, потом опять опустилась, хрусть — стул выдержал. — Вот-вот! Выкрутишься... Посодят. Придут эти... Приставы... Опишут все.

— Нечего описывать, — озорно взглянул на тещу Власов. — Голь перекатная.

Он хлопнул ладонью по ляжке, как танцевать собирался или деревенскую частушку врезать.

— А потом эти — отниматоры, что ли? Так их называют?

Сергею показалось, что теща — в принципе, грамотная — специально дурочку ломает. И говорит сказочным языком, будто былину читает.

— Пусть! Пускай содят! Отдохнем мал мала, — он подыграл Алексеевне, а внутри ёкнуло. Ведь могут заграбастать. Могут.

— А к Лю Шу этому ходил, просил помощи?

— Ходил. Толку-то. Мягче он. Десять яиц дал. У виска пальцем крутит. Не может дать даже пяти тыщ на взнос. Грит, огурцы пожелтели от сильного солнца. Нет прибыли, себе в убыток все работают. Скоро, грит, вам совсем платить не станут, а вы все равно в теплицу залезете, привыкли потому как.

— И залезете! — обрадовалась теща. — Нет бы плюнуть желтому Лешке прям в морду. Мы, мол, вас давили в сорок пятом. Яйца съел?

— Сразу же... Это японцев давили... Самураев. С Китаем дружба навек. Так я хозяину и «Зингера» предлагал. Не, не хочет. Отворачивается. Конечно, в металл можно сдать, но дадут с гулькин...

— «Зингера» не вздумай сдавать, память о баб Зине... — Алексеевна подняла вверх короткий указательный палец. — Но если кто хорошие деньги обещает, не раздумывай. Пусть забирает. Памятью сыт не будешь. А у тебя вот, кроме рисовой крупы, ничего в шкафу-то и нет. Э-хе-хе! Яйца слопал. Весь десяток... Надо ж. Ну да, они у китайцев мелкие. Вот я тебе че скажу, зятек. Жениться тебе надо! Срочно. У меня на при-

мете есть одна, Валентина Петровна. Постарше тебя, но уж ватрушки печет... Проглотишь — не заметишь.

— Мам! Ты че? Из психушки сбежала? «Я упала с самосвала, тормозила головой»? Я ж не могу Любане изменить. Не-е-е-е! — Сергей часто называл Алексеевну «мам».

— Ватрушка одна, дивуй, как у подсолнуха шляпа. Дурак ты! Дак твоя Любаня там, на небе-то, наблюдает. Сыт ли ты, ухожен ли. Еще спасибо скажет этой Валентине Петровне. Она немного... Она немного косит и чуток с придурью... Но у нее индоутки! Семнадцать голов. И в поплин одевается. Дурак будешь, если не оженишься. Любаня наблюдат! Не сумлевайся!

Сергей вроде обиделся. Но все ж пересилил себя. И решил спросить:

— Мам, а ты не знаешь, где эти самые... с...скелеты покупают?

Алексеевна дернула головой, поправила золотой гребешок в волосах, пошарила глазами по комнате. Замерла.

— Ты че?.. Че? Зятек! Белены объелся? Окстись! Скелет нашел, что ли? Может, фрицы оставили, когда драпали.

— Хм... А на кой фиг мне скелет-то этот?

— Чей скелет?

— Все равно ж закопают. Червю на ужин. А тут — для науки. Наверное, в городе, в медицинском институте берут скелеты. За мил душу. Мне Пал Палыч Мордяков сказал: «В рассрочку покупают. Не сразу всю сумму выдают. Заботятся, чтобы не пропил».

— У Митрофаныча спрошу, где шкелеты собирают, в каком цеху, — она засмеялась звонко, как Люба, и пальцем крутанула. — Эх! Дурында! Говорю тебе, женись лучше, а то тараканы вон какие из головы ползут. С орех. Я тебе плохого не посоветую. Продашь скелет, так люди засмеют. Стыдоба какая!

— Че тут смешного? Для науки ж... Правда, у меня он согнутый будет. Дешевле, значит.

Алексеевна посмотрела на Сергея, как на старый чайник. Волнами лоб пошел. Убедилась, цел ли. Вразвалку поплюхала к двери. Дверь плечом открыла. Глаза на зятя кинула.

— Приходи седни. Котлетой угощу с пюрешкой. Сам уж как шкелет стал. Скоро и кости счезнут, — она опять ломала неграмотную дурочку.

Не успела за Алексеевной дверь захлопнуться, как тут же нарисовался длинноногий парнишка с папкой под мышкой. Добрый молодец. Как цыпленок из яйца.

— Описывать? — прозрел Сергей.

Парень стал успокаивать:

— Да вы не тревожьтесь, проформа такая. Продадите чего-нибудь и погасите.

Сергей подумал: «Непрофессионал .Что за проформа? Может, платформа? Недолго ему в приставах нежничать».

Парень дергал коленкой и хлопал себя по карманам. По всем. Будто искал чего.

— Курить? — спросил Сергей.

Тот проглотил слюну:

— Ага!

— Счас я... Тут дочка приезжала. Оставила иностранные. Тонкие, как гвозди.

Он порылся в ящике машинки «Зингер» и вынул оттуда пачку. Отдал сигареты приставу.

— А вот «Зинку» в счет долга не возьмете?

Пристав побелел. В желтый рот сигарету сунул. Жует.

— Швейную машинку так зовут — «Зингер», «Зинка» по-русски.

Парнишка опомнился:

— У антиквара надо оценивать. А так — не положено. Кочкотаров фыркнет. В пыль сотрет.

— Да ты погляди, маховик пощупай. Вертолет, а не машина.

Молодец виновато улыбнулся.

Сергей понял: связываться не хотят.

— А отниматоры когда приедут?

Пристав жалко улыбнулся, бегло.

— Нечего у вас... Как-то вы... это... тихо живете, — и коленка вздрогнула. — Ну, я... побежал...

Загреб ногой, как петух навоз, и скаканул за дверь.

В эту ночь Сергей спал дурно. Сны останавливались, как чумной поезд на разных станциях. Когда что-то в жизни плохо выходило, то Сергею Власову снились вокзалы.

Давно это случилось. В городе-герое Волгограде у него из рук выдернули чемодан. Он затрясся, тут же милиционера нашел, застыл перед ним, как лист перед травой. И все его дрожь била. Милиционер и запер гражданина Сергея Александровича Власова на сутки. За дрожь. Подозрительно больно. А в чемодане всего ничего. Белье, мочалка для батяни и три бумажки мелких денег. Вот с тех пор и снились вокзалы. Даже во сне с перрона кричали: «Калач-на-Дону-у-у, Фролово-о-о, Арчеда-а-а... Не хотите ли малосольных огурчиков? Картохи-и-и...»

В конце концов сны с вокзалами доконали. Глаза разлепил. И думы, как у них на огуречном конвейере.

Нет, ни на какой Валентине Петровне он не будет жениться. Пусть у той хоть тысяча индоуток. Че? Это предательство по отношению к Любане. Она с неба наблюдает. Там бинокли всем раздают, морские. С диоптриями. Вот и наблюдает. Ревнивая Любаня-то. Однажды на природе с Надькой Кучеровой танцевал и за сиську случайно подержался. Так она эту Надьку к речке подтолкнула, к пологому берегу и стала в воду мордой тыкать. Вот какая резкая Любаня. Стерва, сто процентов. А потом Любаня хлюпала на плече: «Ты меня не любишь. Остыл».

Сдаст «шкелет». А что делать? Что? Ждать, когда из хаты выпихнут? Все же хорошая идея пришла... Конечно, можно было у Дашки спросить денег, та в «Магнит» порошки продавать устроилась, но как-то стремно у дочери просить. Лучше в город двинуть! Да в тот институт попасть. Сейчас, наверное, много охотников скелет свой продать. Очередь. Ну, хоть запишется и доложит приставам: «Ваше величество, погодите маленько, погашу задолженность». Решил-порешил. У Митрофаныча Алексеевна спросит.

...И вот кто-то по голове — бац! Как кувалдой пудовой. Реально. Елкин дрын и елкин-палкин! Вроде Алексеевны голос, но грубее: «Ишь, че удумал! Родной скелет продать! В рабство! Там его зачухают, замочалят. Это ж все равно что доцу на панель выставить». Стул, на котором днем сидела Алексеевна, скрипнул.

Понял, дошло: грубый голос этот — не тещин, а его собственный. Встал, поглядел на себя в Любино зеркало, прилепленное в прихожей. Это был он, Сергей Александрович Власов собственной персоной.

СВЕЖАТИНА

— Каким ножом Борьку решать будем?

— Дедовым.

— А может, у Лешего свой... На всякий случай приготовь. Леший когда обещал?

— С утра...

Не прошло и часа, как явился Мишка Летенков по прозвищу Леший — мужичонка мелкий, но живой. Все у него как на смазанных шарнирах. Он был одет в синий комбайнерский комбинезон, доставшийся от отца. Спереди — большой оттопыренный карман. В нем-то и был длинный и узкий, завернутый в ветошь ножик.

Мишка, шмыгнув носом, сразу его достал и показал. Мол, для дела пришел.

Хозяин Иван Погорелов одобрительно мыкнул:

— Ммммы, может, грамм этак сто для храбрости?!

Леший помотал головой:

— Целкость теряется.

Все в станице знали, что Мишка — человек недалекий, придурковатый, но крайне необходимый. Люди ведь белоручками стали. Их жалость берет: ни курицу, ни порося, ни какую другую тварь заколоть не могут. «Чепетильные», — пояснял Леший. Он еще раз дернул носом, взглянул на Марью Петровну и перевел зеленые, дурашливые глаза на Погорелова:

— Ну, егерь, показывай фронт работ!

Он знал свою незаменимость, поэтому не деликатничал.

Клетушок с кабанчиком располагался в углу, между двумя сараями. Там утробно урчало или хрюкало.

— Как звать-то?

— Иваном!

Леший тонко рассмеялся:

— Не тебя, скотину!

— Борисом звать!

— Борь-Борь, значится. Ладно, егерь. Счас кувалду прихвачу, а ты кольцо просунь, ослобони калитку, он сам побежит ко мне в лапы... Счас оборудую!

Леший стал совершать круги по двору вроде бойцовского петуха. И приговаривать:

— Борь-Борь-Борь!

— Ты чего?

— Счас, счас... Надо с разбегу брать.

В руках у Лешего оказалась кувалда. Где он ее взял? Не из своего же великого кармана вытащил...

Находившись вдоволь, Леший сделал отмашку.

Дальше все понеслось стремительно, круче, чем в кино. Леший пропеллером размахивал кувалду.

Из хаты выскочила Марья Петровна и зазевала:

— Может, музыку включить, с музыкой жутче?

Леший вздохнул, опустил кувалду на серый пористый бетон. Помешала.

— Чудно! — Мишка облизал губы. Маленький, жилистый, блоха.

И тут эта блоха пружиной подскочила. Взвилась кувалда. Звук тупой, деревянный, как по пустой бочке. Леший отскочил и немедля ринулся к рухнувшей туше, всадил в нее свое узкое оружие. Ножик будто в резину впился. И не было ни кровинки. Борька вздрагивал копытами и переваливался с боку на бок. А потом появилась струйка.

— И все дела! — хмуро улыбнулся Леший. — По кумполу. И все дела.

В серьезной улыбке чувствовалось удовлетворение.

Как кукушка из ходиков, выскочила хозяйка, зевнула то же самое:

— Музыку?

Увидев кабана, всплеснула руками и опять исчезла.

Молча палили паяльной лампой. Вырезали требуху. Пахло жженой щетиной.

И уселись на дощатые ступеньки крыльца курить.

— Жизнь! — вздыхал Иван Погорелов.

— Жизнь, — вторил Леший.

Тут скрипнул дверью молодой, длинношеий, с резко вычерченным кадыком сын Степа. Он поводил глазами по двору.

Погорелов всполошился:

— Ты, Степ, уйди. Это того. Борьку мы... Того... Я ж сообчал...

Сын лишь головой мотнул:

— Как?

А отец каялся:

— Ты, Степ, того... Не переживай. Все рано его б порешили. Грипп, говорят, свиной на нас спустили. С самолетов. Так уполномоченные ходят с тетрадью. Уколы ставят... Свиньям-то. До смерти усыпляют. Конкуренция... Москвичи хозяйства наши к рукам прибирают. Вот оно и грипп — того свиньям.

У Погорелова вышло: «Хрипппп».

Степан завыл. Раскачивался, схватившись за живот.

— В хату! — цыкнул на него батяня.

Сын послушался.

Леший, вытирая ножик соломой и засаленной тряпкой, глядел на лезвие, как глядят в темное стекло при затмении.

Погорелов вздохнул:

— Хорошо — успели, а то пришлось бы порося всего Шарику на тележке везти.

Леший знал, что Шарик — это Мишка Роликов. Он живет на Огородной и поедает все. Даже гнилое мясо.

Самогонки выпил Леший с устатку, стакан всего. Затискал в комбайнерский карман почки, сердце, еще какую-то требуху. Кишки вываливались, висели.

— Понесу Ваське.

— Коту, че ли? — вклинилась Марья Петровна. — Нежель коту?

Из кухни волной шел запах жареного мяса.

Погорелов сказал, как в пустоту:

— А мы тебе свой ножик припасли. От деда. Он им фрица заколол.

Леший откликнулся:

— Нельзя таким животное колоть.

Леший был уже не нужен. Он это понимал. Покашлял, посипел прокуренными бронхами, ушел. А тут подоспело мясо. Надо садиться, чин чином. Праздник. Свежатина. И мать, и отец с трудом вытянули Степана из угла. Он упирался. Отец слегка тыкал его в плечо:

— Чего уж, чего уж!

Марь Петровна всхлипнула и глаза вытерла:

— Не по своей воле! С музыкой бы надо для удовольствия.

— А-а-а-а! — взвыл Степан, морщась и отфыркиваясь, выпил самогонки.

— О-хо-хо! В жизни пригодится, — воркотнул по-домашнему Иван Погорелов. — А то наткнется на каких-нибудь. На жулье! Они его напоят и разуют-разденут догола.

— Че ты балакаешь, дурень! На каких он нападет! — Марья Петровна разрезала на тарелке сына мясной кусок тем самым дедовым темным ножиком.

А часа через два Степан проснулся на своем диване. В углу.

Он вспомнил, что пил самогонку и ел... того поросенка, которому выносил рисовую шелуху, размоченный хлеб и комбикорм. Борьку уминал!

В глаза лез топырящийся свиной фарфоровый пятак. Степан встряхнул голову, словно из воды вылез. От жалости своей отряхнулся, от слез. Вспомнил Пашку Житинского. Зачем вспомнил? Неизвестно. Тот Житинский Пашка притягивал всех своей суровой наглостью. Его любили и боялись. Он был редок, как тот же Леший или обожающий мясо с гнильцой Шарик.

— Че я вам, пацаны, калякаю. Крысы, они подарочки любят. Духи, деньги, цацки. Во-о-о, лярвы, точняк!

И от Житинского удалось отвязаться. Глаза сжал-разжал. И тут Жанна из воздуха вышла. Жанка! Из какого воздуха?

Он очнулся, очухался у ее двери. Странно, что мясо Жанна взяла сразу, лишь покошачьи протянув:

— Мяяяясо! А я как раз собиралась. Проходи, Степ. На рынок... Собиралась. Телик сейчас врублю.

Она нырнула сквозь цветастую, в кубиках, занавеску за одежный шкаф и оттуда уже явилась в темно-вишневом халате, разрез которого показывал сочную, загорелую ногу. И сразу чмокнула Степана в щеку:

— Вот ты какой, а я думала, ты — не такой!

Отскочила и стала нарезать круги по широкой комнате. Руки сзади сцеплены. Это был разбег, какой недавно делал у Погореловых на дворе Леший.

— У меня есть ликер! Маааалиновый!..

Она сделала еще круг и взмахнула широким атласным рукавом.

Объявила, как на сцене:

— Скатерь-самобранка, — усмехнулась, — сама бранит!

Степану пришлось пить приторно-сладкую розовую жидкость. Жанна прижималась к нему щекой. И эта щека — вот неожиданно! — пахла свежатиной, пахла густо.

— А потом мяска пожарим! Мяска!

Жанна — добрая, она даже всхлипнула, когда Степан рассказал о том, каким понятливым был поросенок, как Борьке нравилось, когда его за ухом почесывают.

И этот умный порося кивал своим фарфоровым пятаком.

Жанна всхлипнула и стала играть металлическим бегунком на халате.

Ветер из форточки шевелил кубики на шторке, как будто строил из них лабиринт. Он давно любил Жанну и прижимал ее руку к щеке, к губам, ко всему ласковому и голому, прижимал, будто мягко вдавливал в себя. Прижимал, пока не понял, что самто... плачет.

И как это хорошо все. Ее тело, губы... все.

Неужели убитый Борька эту радость принес? Странно как.

— А? Что ты говоришь?

Сквозь слезы — сладкие, незнакомые — высказал:

— Жанна, выходи за меня замуж, мы ведь уже! Уже и так, уже...

— Ты что, глупенький, никак не можно. Никак! Учусь я. А закончу — в театральный буду поступать. Не переживай, милый, у нас же телефоны... И встретимся как... будь...

Ирина ДМИТРИЕВСКАЯ

РАССКАЗЫ

ВОЙНА В ЗАЛИВЕ

Что вечно она на него обижается по пустякам — неправда. Это ему обидеть ее и не заметить — пустяк. А что дорога сюда была утомительной — верно. Пять часов от Владимира до Внукова. Три часа в аэропорту. Еще почти пять в этом дряхлом самолете, дрожа от страха: того гляди, в воздухе развалится, и каюк нам всем. От Дубая до Рас-эль-Хаймы (всего-то сто километров!) часа три ползли. То и дело в пробках застревали. Дорога широченная, многополосная и вся стоит! Фургоны с цементом, самосвалы с песком, бетономешалки... В окно смотреть неинтересно: с обеих сторон — высотные дома, новостройки, как в Подмосковье, только вместо церквей мечети. В эмирате Дубай — десятки баннеров, расставленных вдоль всей дороги: эмир-правитель Дубая через очки за движением наблюдает. «Этот эмир, — сказал муж, — стихи пишет, на сайте своем публикует. У сайта есть и русская версия. Правда, переводы там слабенькие. Я по привычке отредактировал. Вот послушай: „В стране у нас блаженствует народ, / Ни стар, ни млад здесь горьких слез не льет, / И счастье наше будет нерушимо, / Покуда солнце над землей встает“. Восточный монарх-стихотворец, коллега царя Давида и великого Мао». Муж издал короткий смешок. Он, наверно, рассчитывал, что и она засмеется. Вот ведь человек! Постоянно с какими-то стишками лезет не ко времени. Весело ему. Он уже отдыхает! А она устала, измучилась... До отеля только за полночь добрались. И вот уже второй день долгожданного отдыха, а отдыха-то и нет.

Она спустилась в лифте на цокольный этаж и через стеклянные двери вышла к бассейну. Только что у них с мужем вышла ссора, он лежал теперь, надувшись, в номере, а она, чтобы остыть, решила окунуться. Народу было немного. Какая-то молодая парочка, то и дело хохоча, брызгалась и обнималась. «Ничего, — со знанием дела подумала она, — придет время, поймут, что такое семейная жизнь. Состояние гибридной войны. Кажется, шут Петра Первого в год своей серебряной свадьбы сострил: „Еще пять лет, и будем отмечать тридцатилетнюю войну!..“ А вон те супруги, уже немолодые, на лежаках, небось надоели друг другу хуже горькой редьки. Он в книгу уткнулся, она — в мобильник. Говорить, видимо, уже не о чем, все сто раз переговорено...» Мужчина поднялся с лежака, положил на него обложкой кверху раскрытую книгу и, ни слова не говоря жене, направился к бару, который был тут же, под тентом, возле бассейна.

Ирина Дмитриевская — прозаик и поэт. Работает учителем русского языка и литературы. Автор книги стихов «Жираф за шкафом» (2016) и пяти сборников рассказов. Победитель конкурсов «Владимирская Русь» (2011) и «Владимирская книга года» (2019), лауреат Международного литературного Тургеневского конкурса «Бежин луг» (2021), финалист Национальной премии имени В. Г. Распутина (2024). Родилась и живет во Владимире.

«Молодец мужик! — подумала она. — Захотел и ушел, куда ему надо. А ей и дела нет, глаз не поднимает от телефона. Вот она, тихая семейная жизнь, каждый сам по себе. И нас это ждет?»

По ступенькам, спускающимся прямо в воду, она вошла в бассейн и поплыла на спине. И тут же кого-то задела рукой. «Сорри!» — машинально сказала она, обернувшись. Сбоку, по грудь в воде (бассейн в этом месте был мелким), стояли и целовались парень с девушкой, те самые, что недавно хохотали и брызгались, оба в солнцезащитных очках. На ее «сорри» они не отреагировали, так увлеклись. «Как электросварщики, — подумалось ей, — очки надели! Чтоб не ослепнуть друг от друга. Очень уж искрят». А молодые тем временем уже выскочили из бассейна и, мокрые, не одеваясь, бросились к стеклянной раздвижной двери в отель. «У них, — подумала она, — еще есть иллюзия совместного дела. Вот состарятся — будут, как эта пожилая чета: жена — на лежаке, муж — у стойки бара». И она посмотрела в сторону стойки. Тот пожилой мужчина, который только что ей вспомнился как аргумент, держа в каждой руке по высокому коктейльному стакану с оранжевым напитком, медленно, чтобы не расплескать, шел к лежаку своей жены. Та, увидев его, положила телефон на пластмассовый столик между лежаками и поднялась навстречу. К лежакам они возвращались уже вместе, отхлебывая из стаканов и улыбаясь. А потом намазывали друг другу спины защитным кремом и о чем-то еле слышно переговаривались. Ей стало зябко в воде, и она вылезла из бассейна по отвесной металлической лесенке. Можно было, конечно, подняться в номер и принять теплый душ, но видеть сейчас мужа не хотелось. Их утренняя ссора, во время которой они наговорили друг другу дерзостей, перешла в фазу обиженного молчания, и по опыту она знала, что пережить эту фазу каждый из них должен был наедине с самим собой. Знала и то, что будет дальше: сухое общение, только по делу, в стиле «да, нет». До откровенного разговора и полного примирения было еще далеко. К тому же она сомневалась, возможно ли оно вообще, это полное примирение. В последнее время ей с каждою ссорой все труднее было возвращаться к состоянию откровенности, доверия и душевной близости. И казалось, что разрыв неизбежен.

Она завернулась в полотенце. Но теплее не стало, хотя полотенце и нагрелось, лежа на солнце. Она вспомнила, что в подземном, «минус втором» этаже есть сауна и джакузи (для гостей отеля бесплатно), и решила пойти туда.

Сидевший за стойкой возле стеклянных дверей спа-зоны администратор — улыбчивый молодой человек с азиатской внешностью, весь в белом, как поваренок, но без колпака, — объяснил ей: «Слушай моя! — и показал на стеклянную дверь, за которой видны были спортивные тренажеры. — Здесь только мужчина мойся, тренируйся и массаж. Женщина здесь массаж нету. Женщина мойся — дальше ходи!» — и махнул рукой вправо.

В предбаннике женского отделения ее встретил такой же точно поваренок, но неулыбчивый и с неожиданно низким голосом. «Come in, please (Входите, пожалуйста), — процедил он, даже не взглянув на нее, — dressing room there (раздевалка там)!»

Войдя в зал, она поначалу не увидела ни джакузи, ни сауны. Первое, что бросилось в глаза, — пестрые ширмы с изображением цветов, драконов, гор и водопадов. Это был какой-то ярмарочный аттракцион, лабиринт из ширм, внутри которого звучало сразу несколько звонких женских голосов. Казалось, будто заблудившиеся в лабиринте перекрикиваются, то повышая, то понижая тон. «Ау-у-у!» — пропела она, включаясь в игру с пленницами лабиринта. Из-за ближайшей ширмы с лотосами семенящей походкой к ней вышла молоденькая девушка-азиатка. Ей она напомнила самую красивую куколку, которая была у нее в детстве, — японскую фарфоровую статуэтку. Живая куколка что-то дожевывала и вытирала миниатюрные ладошки о короткополый

цветастый халатик. «Здравствуйте? — с вопросительной интонацией сказала куколка. — Раздевалка? Полотенце? Сауна?» — «Здравствуйте, — утвердительно повторила она, — раздевалка, полотенце, сауна». Проходя в купальнике, с полотенцем через плечо от раздевалки до сауны, она увидела в проемах между ширмами еще нескольких девушек-куколок. Одна, полулежа на циновке, хрустела чипсами, другая, поджав под себя ноги, водила пальчиком по планшету, третья бережно расчесывала массажной щеткой длиннющие черные волосы, при этом все они говорили одновременно, перебивая одна другую. Встречаясь с нею взглядом, куколки из лабиринта торопливо отводили глаза и насупливали бровки. «Что у них здесь? — подумала она. — Общежитие массажисток? Дежурка?» И тут послышался низкий голос неулыбчивого поваренка; ей показалось, что поваренок кого-то зовет. Из-за ширм появилась одна из куколок и, на ходу кокетливо поводя плечиками и одергивая халатик, направилась к выходу под одобрительные возгласы остающихся в лабиринте.

В сауне было прохладно, и согреться ей не удалось. «Может быть, в джакузи вода горячая?» — пришло ей на ум: в ее родном Владимире во всех спа-салонах и водных залах, куда они ходили с мужем, вода в джакузи всегда была горячей. Нет, здесь вода оказалась холодной, даже холоднее, чем в уличном бассейне возле отеля. Под кондиционером в лифте и то было теплее. Она выскочила из воды и принялась растирать себя полотенцем. «Полотенце? — услышала она. Куколка уже стояла рядом (видимо, следила за ней из-за ширмы) и протягивала к полотенцу ручки.— До свидания?» — «До свидания».

«Слушай моя!» — вспомнила она, проходя мимо стеклянных дверей мужского отделения. В это время двери раздвинулись, выпуская полноватого мужчину лет пятидесяти с блаженно-удовлетворенной физиономией. «Опять массаж приходи делай!» — крикнул ему вслед улыбчивый поваренок. «Нет, — подумала она, — я бы мужа сюда не пустила. Он, наверное, лежит себе, как лежал, и не догадается спуститься на ресепшен, взять талончики, по которым на пляже выдают полотенца. Все самой приходится делать. Избаловала я его». Пляж находился в двух километрах, и каждые полчаса от входа в отель туда отправлялся микроавтобус. Он же привозил отдыхающих обратно.

У стойки администратора толпились арабы. В белых платьях и головных платках, стянутых черными веревками. «Вот они, граждане Эмиратов, привилегированное сословие, — думала она, — одеты как бедуины. Униформа правящего класса. А было бы забавно, если б наши олигархи носили лапти и косоворотки, а их жены — кокошники и сарафаны...» Когда она подошла к стойке, арабов уже не было, но запах дорогого парфюма плотно держался в воздухе. Вместе с пляжными талончиками администратор выдал ей листовку: «Важно! Вооруженные силы Объединенных Арабских Эмиратов проводят военные учения, при которых задействованы военно-воздушные, военно-морские и все виды войск. Строгий запрет на фото- и видеосъемки соблюдайте, пожалуйста». Такие листовки ей уже вручали несколько раз — и у стойки администратора, и в ресторане, и на пляже. Она выбрасывала их в ближайшие урны.

«На пляж едем?» — спросила она у мужа, войдя в номер. «Едем», — буркнул тот и спустил ноги с кровати.

Конечно, загорать и купаться вдвоем, будучи в ссоре, удовольствие ниже среднего. И умом она понимала, что затягивать состояние разлада здесь, в чужой стране, за тысячи километров от дома и за неделю до конца отпуска, глупо. Но как помириться с мужем, не знала, ей казалось, нет такого способа.

По дороге на пляж она сидела в микроавтобусе у окна. И хорошо — можно было смотреть на то, что за окном, а не на мужа. Тот сидел рядом, распрямив спину, вски-

нув голову и гордо сжав губы. Вообще-то, он был сутуловат, как почти все высокие люди, голову обычно склонял вниз и смотрел себе под ноги, а рот у него всегда был чуть-чуть приоткрыт, будто он собирается улыбнуться. Отстраненно-высокомерный вид он принимал, только если был сердит или обижен. Сам виноват! Отпуск у него. А у меня не отпуск? Он-то еще за неделю до отъезда отдыхать начал. За путевкой в турагентство съездил, и все. Залег на грунт. А рубли на доллары обменять? Разные кремы купить, аэрозоли, лосьоны для загара и от загара? А лекарства на все случаи жизни? Целый мешок получился, аптеку можно открывать. А чемоданы собрать? Он эти чемоданы, которые с прошлой поездки на антресолях пылились, за две недели снять не удосужился. А она каждый день, уходя на работу, ему об этом напоминала! Работала она в школе учителем и решила во время осенних каникул слетать на недельку в теплые края. Директор (железобетонный мужик: «У нас все хорошо! И плохо быть не может никогда! Мы лучшая школа города!») сказал: «Отпущу, если ни одной двойки не будет за четверть». А как им не быть? Школа огромная, классы по тридцать человек, и в каждой параллели — семь классов: от «А» до «Ж». «Е» и «Ж» — самые слабые, неуспевающие. А у нее как раз эти самые «Е» и «Ж». А муж — нет бы посочувствовать! — только насмешничает: «Поставь уже — и „Е“ их в „Ж“! Не мешай начальству победно рапортовать». Ему-то хорошо. Работа «не бей лежачего» — редактор в издательстве. Даже из дома выходить не нужно. Сидит у компьютера и читает, похохатывая, с экрана всякую ерунду. Графоманов развелось нынче — жуть! Тот на досуге генеалогией занимается, толстенную книжищу написал: «Мой древний род», этот в мемуаристику ударился: «Славный мой путь трудовой». А уж самодеятельных поэтов, особенно поэтесс, и не сосчитать! Одни названия сборников чего стоят: «Земля в зените», «На сердечной волне», «Стихи моей судьбы и страсти», «Вся тайна сердца моего», «Квадратный корень из любви»... Муж говорит, что работает в издательстве современной макулатуры. Для него отпроситься на неделю-другую не проблема. Директор его всегда отпустит. Это ей заявление об отпуске подписали в самый день отъезда. А чемоданы не только не собраны, но и с антресолей еще не сняты. По пути домой в аптеку зашла, лекарства купила и в магазин за минеральной водой и едой на дорогу. Думала, он чемоданы собирает, а он у компьютера сидит, хохочет. «Слушай, — говорит, — какую лирику одна авторша шестидесяти лет обнародовать жаждет тиражом тысяча экземпляров: „А руки хочут теплой плоти / И по привычке ищут твердь...“» Чемоданы, как всегда, пришлось самой собирать... Послушалась его, дура! «В Европе мы уже были. В Африке тоже. И в Азии. Не пора ли на Ближний Восток? К объединенным арабским эмирам?» И эмират сам выбрал. Рас-эль-Хайму. Там, сказал, сухого закона нет и спиртное свободно продают. Вот и прилетели — в эту забетонированную пустыню, в отель-небоскреб. Одиннадцатый этаж, номер огромный, окна в человеческий рост. При этом балкона нет, купальник высушить негде. На оконную раму его не повесишь: приоткрывается лишь узенькая фрамуга, и то чуть-чуть. Видимо, чтоб из окна никто не выпал. За окном — целый день песчаная дымка над восьмиполосной магистралью с бесконечными фургонами, цистернами, самосвалами. А его все устраивает, все ему нравится, ее же проблемы кажутся пустяковыми, беспокойства преувеличенными. Конечно! Единственное, о чем стоит беспокоиться, — это он, драгоценный! Если ей что-то не нравится, предпочитает отшучиваться: «Сотри случайные черты, и ты увидишь — муж прекрасен». А выразишь недовольство, даже в мягкой форме, моментально раздражается, осаживает: «Ты не в школе! Я не ученик!» Вот и сегодня, за завтраком, принес чай только себе, а когда она ему это заметила, рассвирепел. Ну и она молчать не стала...

Через окно автобуса она видела, что в стороне от дороги рабочие завершают разметку огромной прямоугольной площадки (разметку они наносили не краской, а каким-то белым порошком), что возведенный у поворота к пляжной зоне многоступенчатый металлический каркас, который она заметила еще вчера, покрылся пластмассовыми сиденьями и превратился в трибуну, как на стадионе. А возле трибуны малочисленными группками стоят арабы: одни в белых национальных одеждах, другие в военной форме. Кто с биноклем, кто с видеокамерой, кто с мобильным телефоном.

Центральная дорога, ведущая к пляжу, была перекрыта шлагбаумом, и автобус повернул на объездную.

Муж, как всегда, вышел из автобуса раньше нее и, как обычно, подал ей руку; она на нее оперлась. Разумеется, это не было шагом к примирению, просто привычка, бытовой ритуал, дань этикету. Но она почему-то почувствовала себя увереннее.

Народу на пляже было уже много, и двух свободных лежаков, стоящих рядом, они не нашли. Заметив один незанятый лежак — причем увидели они его оба сразу, это была их совместная находка, — они перетащили его по песку под пальму, посаженную почти у самой воды. Море подмывало ей корни, и обнажившиеся, какого-то подземно-коричневого цвета, они торчали из песка над линией прибоя. Бросив на свой первый лежак пляжную сумку, одежду и полотенца, они отправились на поиски второго и нашли его неподалеку. Про себя она отметила, что, делая все вместе, они по-прежнему не разговаривают друг с другом. Так же они вошли и в море — вместе, но молча. Она мельком глянула на мужа. Оказавшись в теплой воде, тот расслабился: привычно ссутулил плечи, смотрел вниз, точно что-то разглядывая на дне, и улыбался так, что на лице его одновременно отражались и восторг, и опасение, как у ребенка. Она поплыла к буйкам. Было жарко, но солнце не пекло. В воздухе стояло чуть заметное золотистое марево, и казалось, что именно оно притупляет острия солнечных лучей. Море, вокруг нее чуть зеленоватое, уходя вдаль, становилось все синее и синее и переходило без всяких границ в небо. Невесть откуда возникла и зависла — ей показалось, что прямо у нее над головой, — не то маленькая птица, не то большая стрекоза. Прищурясь, чтобы солнце не слепило ей глаза, она поняла, что это дрон — квадрокоптер. Она обернулась назад, полагая, что муж плывет следом. И не ошиблась. К буйкам, которые были установлены очень далеко, мало кто плавал. Все в основном барахтались у берега. А они с мужем, купаясь, обязательно доплывали до них: полчаса туда и минут сорок обратно.

«Смотри! Дрон!» — указала она ему. «Это что, пляжные спасатели за нами наблюдают? — спросил он с радостным оживлением. — Чтобы мы за буйки не махнули?» Он явно вызывал ее на разговор, но она промолчала, хотя мысленно и улыбнулась на его слова. Дрон тем временем полетел к берегу, не в сторону пляжа, а туда, где виднелись экзотического вида многокупольные строения. Но до берега долететь не успел, раздались отдаленные хлопки, и он задымился. Дым был ярко-фиолетовым. Дрон оставлял за собой нарядный шлейф. Когда шлейф рассеялся, дрона уже не было видно. «Ну что, условно вражеский дрон условно поражен? — сострил муж. — И закатит эмир пир на весь мир?» Он, видимо, надеялся, что она отреагирует на его шутку: рассмеется, что-нибудь ответит, — но она опять промолчала: она еще не настолько пришла в себя, чтобы вылезти из кокона своего обиженного одиночества. И муж, развернувшись, быстро поплыл к берегу.

Когда она, уставшая, не выходя из воды, плюхнулась животом на песок, муж уже давно стоял под их пальмой, взгляд у него был сосредоточенный и строгий, как у человека, который заставляет себя, что называется, смело смотреть в лицо опасности.

У нее похолодело в животе: если он смотрит на нее таким взглядом, значит, уже принял решение. Неужели разрыв?.. Он подошел к ней и, поманив ее, сказал: «Выходи!» — с такой убедительной серьезностью, что ослушаться было нельзя, и протянул ей руку. А когда она поднялась, кивнул в сторону моря: «Гляди!» Из того места, где море переходило в небо, прямо в пляжную бухту шел пугающе огромный военный корабль, ощетинившийся пушками, локаторами, антеннами. И тут же в небе затрещали винтами вертолеты: сначала несколько остроносых («Апачи», — прокомментировал муж), потом один громоздкий, похожий на железную сардельку («Чинук», — муж продолжал комментировать). Загоравшие повскакивали с лежаков и принялись дружно снимать военную технику на камеры своих мобильных телефонов. Наверное, не читали листовки, что съемка запрещена. Эти телефонные видеокамеры всех превращают в фоторепортеров. Теперь, увидев драку, не бросаются разнимать дерущихся, а сразу достают телефон и начинают съемку. Нравы цифрового века! Муж моментально натянул футболку на мокрое тело, а шорты прямо на плавки и, приказав ей: «Одевайся быстро!», побросал в пляжную сумку их вещи. Ни разу в жизни он сам вещи не собирал, всегда это делала она. Муж крепко схватил ее за руку и потащил за собой к выходу с пляжа. Она услышала нарастающий дребезжащий рев. И над их головами, так низко, что можно было различить несколько острых клювов, словно у хищной птицы-мутанта, пронесся самолет, второй, третий... «Ястребы! — крикнул ей на ухо муж. — Эф-шестнадцать!» — и прибавил шагу. На ходу он выпустил ее руку из своей и цепко схватил за плечо. Теперь, чтобы поспеть за ним, ей приходилось бежать. А сбоку бежали другие люди: мужчины, женщины, почти все с детьми на руках...

На площадку с навесом, возле которой останавливался их микроавтобус, они прибежали первыми. Автобус должен был подойти минут через двадцать. В небе по-прежнему ревели самолеты, издалека доносились какие-то хлопки, дети плакали. И тут, раньше времени, показался автобус. Все, не дожидаясь, пока он остановится, толпою кинулись ему навстречу. «С детьми, с детьми пропустите!» — кричал толстый мужчина в капитанской фуражке и лез вперед, расталкивая всех. Автобус, обычно почти пустой, теперь был набит до отказа. Но мест хватило всем: откинули боковые сиденья. Им с мужем достались места позади водителя. Она машинально вцепилась в руку мужа. «Are everyone sitting? (Все сидят?) — крикнул, обернувшись, водитель. — Go? (Поехали?)» Водитель был темнолицый, белозубый, по виду индиец или пакистанец. Она заметила, что официанты, портье, носильщики (да и вообще весь обслуживающий персонал) были, судя по внешности, выходцами из Юго-Восточной Азии или Индостана. Арабы встречались только среди постояльцев отеля.

Автобус ехал быстро. Рев и хлопки отдалялись. «Ну что? — муж улыбнулся ей. — Эвакуация прошла успешно?» За окном параллельно автобусу и, казалось, почти рядом с ним очень низко летел вертолет. Под его брюхом на тросе висела железная клетка, в которой, держась руками за прутья, стояли вооруженные до зубов десантники в форме цвета мокрого асфальта. «Нет, — ответила она мужу, — смотри!» Но за окном уже проносились трибуны, заполненные ликующими арабами, которые, задрав головы, смотрели в небо.

Езды до отеля оставалось минуты три. «Кажется, война в заливе закончена, — сказал муж и, заглянув ей прямо в глаза, спросил: — Мир?» — «Если ты капитулируешь, то да», — ответила она. «Будем считать, что я давно капитулировал, и пора устраивать праздничный салют, пробкой в потолок. Специально ведь приехали в эмират, где свободно продают спиртное, и ни разу не воспользовались. Вон же магазинчик, рядом с отелем! Народ туда и днем и ночью шастает. Заглянем?»

Магазин оказался специализированным, и чего в нем только не было! «Винная карта мира! — воскликнул муж, проходя вдоль полок и, точно музейный экскурсовод на экспонаты, указывая на бутылки. — Английский джин, индийский ром, текила, граппа...» Она выбрала французское шампанское «Моэт и Шандон».

Праздновать в номере не хотелось. Купальник под платьем уже высох. Через дорогу от отеля стояла высотка, на нижнем этаже которой был, судя по вывеске, ресторан. И она предложила пойти туда. По надземному переходу из металлических конструкций (он был высоченный, длиннющий, с решетчатым настилом) они — ей было страшно и весело — прошли над безостановочным потоком оживленно сигналящих автомашин на другую сторону.

В ресторане за пластиковыми столиками сидели по двое и по трое темноволосые смуглые мужчины и ели рис руками: скатывали из него шарики, макали в соус и аккуратно отправляли в рот. Они с мужем хотели уже занять свободный столик возле окна, но тут к ним подскочил официант с ресторанным меню в руке и быстро-быстро заговорил: «Not here, not here, please! (Не сюда, не сюда, пожалуйста!)» — «А куда же?» — спросила она по-русски. «За мной, пожалуйста, — официант перешел на русский, — за мной!» Он провел их в соседний зальчик — совершенно пустой, с зеркальными стенами, плетеными стульями и столиками под мрамор — и усадил. «Вип-зона? — одобрительно спросил муж. Официант, улыбаясь, закивал. — Мы можем отметить у вас праздник?» — муж показал бутылку шампанского. «Праздник? Пожалуйста, праздник! Пожалуйста! — не переставая улыбаться и кивать, ответил официант и протянул меню. — Устрицы, пожалуйста! Сыр, рыба, фрукты, пожалуйста!» Они, полистав меню, заказали по картинкам креветки с рисом и экзотическими травами, сыр и какой-то бело-розовый воздушный десерт. К тому времени, когда официант принес столовые приборы и бокалы, муж уже почти беззвучно, с едва слышным хлопком, открыл шампанское. И пока официант занимался сервировкой, муж спросил по-английски: откуда он родом? А она — по-русски: есть у него семья? Официант охотно начал отвечать им по-английски, тут же переводя каждую свою фразу на русский: «I work here. Я работа здесь. Wife and children live there at home. Жена, дети жить там, в Пакистан. I'll be back, our wife will have a holiday. Я буду возвращаться, жена и я будет праздник. Happiness... how are you. И счастье, как вы!» — «Желаем счастья!» — сказала она. «Wish you happiness!» — перевел муж.

Приятно было запивать шампанским креветки в остром соусе и кисло-сладкий рис (ей так и хотелось взять рис пальцами и скатать в шарик). Она смеялась, вспоминая, как быстро он собрал сумку на пляже. Испугался? Он отвечал, что совсем и не испугался, а просто проявил осторожность. Война-то, может быть, и игрушечная, но все эти крейсеры, истребители, вертолеты — не игрушки. Кто может поручиться, что военные умеют ими пользоваться? Вдруг сверху на голову что-нибудь уронят? «А как ты меня чуть не бегом за руку тащил, помнишь? — с радостным возбуждением спрашивала она. — Совсем как папа в детстве». Он с довольным видом улыбался. «А все-таки, — не удержалась она, — скажи мне, муж со случайными чертами! Почему ты за завтраком чай только себе принес?» — «Хотел сначала узнать, черный тебе или зеленый». — «А почему же сразу не сказал?» — «Да вспомнил стишок одной сексуально озабоченной графоманки. Думал тебя насмешить. А ты уже сама за чаем пошла, обиделась». — «А стишок-то какой?» — «Твоя любовь — горячая, как чай, / Пять раз меня за эту ночь согрела». И она смеялась. «Дадим на чай официанту щедрою рукой, — предложил муж, — пускай семье отправит в Пакистан». Она радостно кивала и думала, что сейчас они вернутся в свой номер, и что им будет хорошо вдвоем, и что впереди еще почти целая неделя счастья.

РЫЦАРЬ НА ЧЕРНОМ КОНЕ

Во время летних каникул (я перешла тогда в девятый класс) приехала к нам в гости из Москвы младшая бабушкина сестра — тетя Таня. Маме и бабушке тетя Таня сказала, что они совершенно меня распустили, что пора, пора делать из меня человека, что мне скоро в институт поступать, а я (с ума сойти!) ничего в математике не смыслю, а математика — царица наук, она ум в порядок приводит, без нее в приличный вуз не попадешь, а я, вместо того чтобы решать задачи по алгебре, лежу целыми днями на диване и сказки с небылицами читаю...

Читала я, кстати, Бальзака и Стендаля. Но тетя Таня была учительницей математики. Больше того — директором школы. И не какой-нибудь, а московской. Бабушка часто мне повторяла: «Ты Татьяну слушай! Она педагог, директор!»

К этому директору, чтоб я под ее руководством позанималась алгеброй, бабушка и отправила меня в конце июля на недельку. Проводила до вокзала, купила билет на электричку, усадила в вагоне к окошку и поцеловала на прощание в лоб и в нос, «в конопатый твой», как она говорила.

Всю дорогу я читала «Красное и черное». И в тот момент, когда Жюльен забыл о своем недовольстве, увидев мадемуазель де Ла-Моль, по громкоговорителю объявили: «Москва. Курский вокзал. Уважаемые пассажиры, не забывайте в вагонах свои вещи!» Засунув книгу в сумку, я пошла к выходу.

В дверь к тете Тане я позвонила около семи вечера. Тетя Таня встретила меня с видом деловитым и озабоченным. «Быстро мой руки и — за стол! — приказала она. — Через полчаса нам надо быть в школе. Тамарочка уже там». И пока я торопливо ела, объяснила мне, что Тамарочка — пианистка, на редкость талантливая и работоспособная (не чета мне, диванной мечтательнице), приехала из Батуми поступать в Гнесинку. «Я с ее родителями давно знакома, — сказала тетя Таня. — Каждое лето у них останавливаюсь, когда отдыхать езжу. Удивительно талантливая девочка! Она сейчас к экзаменам готовится. Играет по четыре часа ежедневно в школьном актовом зале. Там у нас инструмент неплохой. Допивай чай и пойдем! Приобщишься к подлинно прекрасному: музыка — это тебе не сказки с небылицами».

Школьная вахтерша, увидев меня с тетей Таней, приветливо мне улыбнулась: «Что, Татьяна Гавриловна, еще одну музыкантку привели? Какая рыженькая, славная!» — «Нет, — отрезала тетя Таня. — Это так... Взяла ее послушать, каких успехов может добиться человек упорным, постоянным трудом». Вахтерша опять мне улыбнулась, на этот раз сочувственно.

Из-за дверей актового зала слышались громкие звуки рояля. Это была так называемая серьезная музыка, которую бабушкина соседка тетя Катя называла «по башке колотилка». Тетя Таня, строго глядя на меня, прижала палец к губам и на цыпочках вошла в зал. Я за ней.

По два, по три раза Тамарочка проигрывала один и тот же пассаж. Она раскачивалась взад-вперед, словно налегая на весла, но впечатление было такое, будто лодка плотно села на мель и никак не может сдвинуться с места. И вот наконец-то она сдвинулась и тут же уткнулась носом в берег. Тамарочка с грохотом бросила весла.

«Что ты исполняла, Тамарочка?» — спросила тетя Таня умиленным учительским голосом. «Тридцатый этюд Черни», — ответила Тамарочка, медленно вставая из-за рояля. Крышку его она закрыла бережно и на мгновение застыла на сцене, словно ожидая аплодисментов. Тетя Таня захлопала в ладоши. Я тоже, после того как она ткнула меня в плечо.

Тамарочка спустилась со сцены к нам. Высокая, худенькая, она была в платье с открытым верхом, и поэтому ее и без того длинные руки казались еще длиннее. Они были покрыты редкими черненькими волосками. И ноги, кстати, тоже, словно Тамарочка надела колготки телесного цвета с мелким черным узором. А лицо у нее было бледным. Я даже удивилась: жить в Батуми и не загореть! Бедная! Наверное, целыми днями сидит за фортепиано, на море некогда сходить!..

Едва мы вышли за ограду школы, как возле нас притормозил едущий мимо мотоцикл, черный, сверкающий, словно концертный рояль.

«Здравствуйте, Татьяна Гавриловна!» — подняв прозрачное забрало такого же черного и блестящего шлема, крикнул мотоциклист. «Здравствуй, Эмиль, — ответила тетя Таня. — Знакомься: это Тамарочка, талантливая пианистка! — меня тетя Таня в расчет не брала. — А это Эмиль — мой лучший ученик, гордость школы, студент МФТИ. Московского физико-технического института», — расшифровала тетя Таня.

А я разглядывала свое отражение в бензобаке мотоцикла, словно в кривом зеркале комнаты смеха: глаза зеленые и выпученные, как у тети-Катиного рыжего кота, нос огромный и тоже рыжий от веснушек, каждая размером с божью коровку. «Вот так да!» — вырвалось у меня. «Что, нравится? — спросил Эмиль. — Хочешь, прокачу? — и, не дожидаясь ответа, снял шлем со своей головы и надел на мою. — Не бойтесь, не уроню, — успокоил он тетю Таню, заметив, что та нахмурилась. — Мы у подъезда вас подождем».

Уже сидя за спиной Эмиля, я глянула через плечо на Тамарочку. Она стояла, закусив нижнюю губу. Наверное, тоже хотела прокатиться.

Ух, как мы быстро неслись! Дыхание перехватывало от восторга. И было немножко боязно: не слишком ли высоко встречный ветер задирает подол моего платья? Оно было легкое, шелковое.

Оказалось, Эмиль живет в том же доме, что и тетя Таня.

Дожидаясь их с Тамарочкой, мы с Эмилем болтали. Я призналась, что математику не выношу. «Не любишь, значит, царицу наук? Не признаешь монархию? — спрашивал Эмиль. — Ты по природе демократка?» Я в ответ хохотала. «И не считаешь, что математика ум в порядок приводит? Один мой знакомый поэт — студент Литинститута — тоже не считает. Даже эпиграмму на меня сочинил:

Всего в уме навалом:
И эпсилон, и зет,
И дифференциалы —
Порядка ж нет как нет!»

И я опять хохотала. А Эмиль уже рассказывал анекдот: летят Шерлок Холмс и доктор Ватсон на воздушном шаре. Поднялся ветер и занес их в незнакомую местность. Потом ветер утих, шар снизился. Внизу идет какой-то джентльмен, и Ватсон кричит ему: «Скажите, пожалуйста, где мы находимся, сэр?» Тот, подняв голову, отвечает: «В корзине». Вновь поднимается ветер, и шар взмывает ввысь. «Мы с вами повстречали математика, дорогой Ватсон», — говорит Холмс. «Откуда вам это известно, Холмс?» — «Элементарно, Ватсон! Только математики дают абсолютно точные и никому не нужные ответы». На этот раз я хохотала так, что на глазах выступили слезы, а когда смигнула их, то увидела перед собой тетю Таню и Тамарочку. Одна по-прежнему хмурилась, а другая стояла с закушенной губой. «Ну, я повел своего жеребца на конюшню», — сообщил Эмиль и с треском укатил.

За ужином тетя Таня расхваливала Тамарочке Эмиля: ах, какой умный молодой человек, будущее светило теоретической физики; ах, какие у него высокопоставленные родители и, ах, как чудесно бы было, если б Тамарочка поближе с ним познакомилась и подружилась! А Тамарочка опускала блестевшие глаза и прикусывала губу, сдерживая улыбку. «Завтра вечером пригласим Эмиля к нам, чайку попить», — решила тетя Таня.

На следующий день уже с утра она начала подготовку к запланированному ею вечернему чаепитию. Стирая тряпочкой пыль с очередной хрустальной вазы (их у тети Тани было много), она инструктировала Тамарочку: «Булочная та, которая у метро. Торт купишь большой, маленький не бери! Нет, лучше я сама с тобой схожу! — и, ставя вазу в центр стола, добавила: — Эмиль всегда приходит ко мне с букетом. А ты... — обратилась она ко мне. — Вот тебе задачник! Решай, начиная со сто восемьдесят пятого номера!» И они ушли.

Я начала читать условие задачи: «В трех книгах 680 страниц. Количество страниц во второй книге составляет 60 % количества страниц первой книги, а число страниц третьей книги...»

«Господи! — мысленно воскликнула я. — Да какое мне дело, сколько в книге страниц! Главное, чтобы книга была интересная». А у меня интересная книга была. Я достала из сумки Стендаля и зачиталась. В тот момент, когда Жюльен с приниженным видом, в старомодном костюме и галстуке сомнительной белизны стоял в приемной у маркиза, у меня за спиной раздался радостный Тамарочкин голос: «Представляешь, как замечательно все вышло! Мы с тортом, а навстречу Эмиль. Мы его и пригласили. Сказал, что придет вечерком. Обязательно!»

Про задачки по алгебре тетя Таня, слава богу, не спросила. Им с Тамарочкой было не до меня. Тамарочка взялась примерять все свои наряды один за другим. А тетя Таня, как член жюри на показе мод, оценивала. Выбрала бордовый брючный костюм с набивным рисунком из геометрических фигур: кружочков и ромбиков. Тамарочка, стоя в нем перед зеркалом, то распускала волосы по плечам, то стягивала их в хвост, то собирала пучком на макушке. И, попросив у тети Тани полотенце, пошла в ванную. Потом, с этим полотенцем на голове, уселась в кресло и принялась разглядывать свои ногти. А тетя Таня, восторженно ахая, говорила ей, что у Эмиля дома (вот пригласит он тебя в гости, сама увидишь!) прекрасный чешский рояль, великолепного звучания, не то что школьный... Тут она посмотрела на меня и велела: «Сходи-ка погуляй во дворе!»

Из дома я выскочила вприпрыжку, и тут же передо мной с треском стал как вкопанный уже знакомый черный мотоцикл. «Прокатимся!» — предложил Эмиль и, не дожидаясь ответа, снял с головы и надел на меня шлем... И снова от скорости перехватывало дыхание, и развевался на ветру мой шелковый подол. Сначала Эмиль сделал остановку у ларька с мороженым, купил нам эскимо и тут же начал болтать. «Вот, — говорил он, — человек придает еде форму цилиндра, а потом уничтожает эту геометрию. Потому что геометрия охлаждает». Его эскимо, которым он размахивал, как дирижерской палочкой, таяло, и он то и дело облизывал пальцы, а я давилась мороженым от смеха и закапала себе платье. «Ты живая и веселая, — одобрил Эмиль. — Это здорово!..» Второй раз мы остановились возле фонтана, и когда уселись на скамейку, Эмиль снова заговорил: «Раньше извозчики поили из этого фонтана лошадей, а теперь для чего он? Только для эстетики. Правильно написал мой приятель из Литинститута:

Никакого смысла ныне
В догорающей лучине,
Но зато сияет в ней
Красота минувших дней».

И я опять хохотала.

«Но фонтану мы смысл вернем! — провозгласил Эмиль. — Руки вымоем. И лица тоже. А то они липкие от мороженого». Мы больше забрызгались, чем умылись, но было весело. Я попыталась замыть перепачканное платье, но только развезла по нему коричневые пятна от эскимо.

А потом мы поехали в Парк культуры и отдыха. Эмиль не умолкал. Я уже уловила закономерность: как только прекращал трещать его мотоцикл, начинал трещать он сам. Рассказывал он обо всем — как говорится, «от Адама до Потсдама». «А правда, что у вас в квартире есть рояль? — спросила я, когда он, переводя дыхание, на секунду замолчал. — А кто на нем играет?» — «Настройщик, — ответил он. — Перед тем, как в гости к нам приходит Эмиль Гилельс. Мама меня в его честь назвала. Она училась у него в консерватории. А потом вышла замуж за папу — замминистра. И играет теперь, как говорит папа, только на тонких струнах его души. А на толстых играет министр». В парке мы катались с Эмилем на каруселях: на одной, другой, третьей... «А не поехать ли нам на Красную площадь? — спросил он, когда мы, шатаясь, сошли с четвертой. — Куранты послушаем. И сколько же они нам пробьют?..» Эмиль взглянул на часы: «Семь уже не успеют. Значит, половину восьмого». — «Ой, — спохватилась я, — тебя же тетя Таня с Тамарочкой к чаю ждут!» — «Успеем, — сказал Эмиль, — летний вечер долгий. Сейчас куплю цветы и поедем». И он кинулся к киоску покупать букет.

С этим букетом я и вошла в квартиру тети Тани. И радостно сообщила, что мы с Эмилем катались по Москве, что он просил передать цветы, а сам вот-вот будет, только поставит мотоцикл. В ответ тетя Таня начала кричать, что я совершенно безответственная, легкомысленная девчонка, отпетая эгоистка, которой дела нет до других, что способностей к математике у меня ноль (ни одной задачи не решила!), что со мной заниматься — только попусту время тратить и ничего никогда из меня не выйдет, что мать и бабушка меня вконец избаловали, вечно мне потакают, в задницу дуют, вот и вырастили цветочек, нечего сказать! Красавица наша! — передразнила она маму. — Ты себя в зеркало-то видела? Растрепанная, конопатая, чумазая, третий день в одном и том же платье. Очень ты такая Эмилю нужна! И он тоже хорош, рыцарь на черном коне! Красивая, талантливая девушка весь вечер его ждет, а он эту замарашку по Москве катает. Куда? Куда ты пошла?..» У меня вспотели ладони, особенно правая, в которой я держала букет, о нем я совсем забыла. От тети Тани, решила я, надо уезжать немедленно. Забрать со стола своего Стендаля, сумку — вон она, на стуле! — но сначала куда-нибудь деть этот букет. Куда?.. На краешке дивана неподвижно сидела Тамарочка. С высокой прической, в бордовом брючном костюме, опустив глаза и, как всегда, закусив нижнюю губу. Я положила букет рядом с ней, точно к памятнику, схватила свои вещи и, на ходу запихивая книгу в сумку, выскочила из квартиры, чуть не задев дверью Эмиля. Сбегая по лестнице, я слышала, как тетя Таня кричала мне вслед: «Ну-ка вернись, вернись немедленно!..»

Эмиль на мотоцикле догнал меня уже почти у станции метро. «Ты успокойся, — убеждал меня он. — Обычное дело. Во всех семьях играют на тонких струнах души. Сейчас вернемся, попьем чайку, а завтра опять куда-нибудь съездим. На Красную площадь, мы же сегодня не успели. Или на теплоходе по Москве-реке покатаемся. Или

в Пушкинский музей сходим. Хочешь?.. Давай не будем никого огорчать...» Эмиль говорил со мной, как с ребенком. И я вдруг поняла, что теперь он не тот мой дневной веселый спутник, а лучший ученик Татьяны Гавриловны, рассудительный студент Физтеха, восходящее светило теоретической физики, возможный жених талантливой пианистки Тамарочки. «Да ну их всех!» — подумала я и твердо сказала: «Нет, мне надо домой, во Владимир. Я опаздываю: в половине девятого — последняя электричка». — «Сколько до Владимира километров? Двести? Электричка часа три идет? Давай я тебя на мотоцикле за два довезу!» — «Нет, — ответила я. — На электричке поеду». — «Садись, — Эмиль протянул мне шлем, — я тебя до вокзала подброшу, чтоб не опоздала».

Эмиль ехал быстро, но дух на этот раз не захватывало, и развевающийся подол платья уже не беспокоил меня.

В электричку я вбежала за минуту до отправления. Двери вагона закрылись. Поезд тронулся. Сквозь стекло я увидела, как Эмиль сдержанно помахал мне рукой.

Мама и бабушка уже ждали меня. Тетя Таня послала им телеграмму — вызов на междугородный переговорный пункт в почтовое отделение. Квартирного телефона у нас тогда еще не было, а сотовые появились лет через двадцать.

Мама приготовила мою любимую тушеную картошку с мясом, бабушка достала к чаю конфеты из праздничного неприкосновенного запаса. Я ела все сразу: и картошку, и конфеты — и запивала горячим чаем. «Слава богу, — радовалась мама, — вернулась красавица наша!» — «Не осилила, значит, Татьяна-то, не сделала из тебя человека, — улыбнулась бабушка. — Тоже мне педагог, директор. Обидела только ребенка нашего. А ты не расстраивайся, и без нее справимся, да?»

Перед сном я дочитывала «Красное и черное», и в тот момент, когда Матильда положила на маленький мраморный столик голову Жюльена, у меня начали сладко слипаться глаза.

Владимир СУТЫРИН

ЦАРИЦЫНО

Три визита в заповедный уголок

Познавая белый свет или, вернее, погружаясь в глубины знаний о мире, я, одолевший пять лет университетского курса, вдруг причалил к берегу века XVIII и влюбился в это столетие. Да и как можно было не влюбиться, когда эти сто лет вместили в себя бездну всего: и петровскую революцию сверху, и аскетичное (по сравнению с «нарышкинским») петровское барокко с его острыми шпилями и геометрически правильными угловыми лопатками, а следом — растреллиевское барокко с излишеством декора на насыщенном цветом фоне, и отвязное рококо, сменившееся затем строгостью классицизма, который дал четкое ощущение порядка и величественности... В этом веке зародилась и расцвела (еще неумело) русская светская литература — сначала силлабическая поэзия с рифмой *аа,* а потом и силлабо-тоническая, гораздо более близкая к нам. Перебродившая архаика дала Державина, от которого, как от порога, оттолкнется юный Пушкин, родившийся в предпоследнем году этого интереснейшего века; затеплится и разгорится русский театр, вершиной драматургии которого станет урожденный немец Денис фон Визен, превратившийся в конце концов в русского Фонвизина, репризы из чьих пиес будут жить в нашем языке последующие века... А проза? Привитый на русской почве сентиментализм дал Карамзина, литературный слог которого и сегодня читабелен и понятен, а редкие церковнославянизмы придают тексту его «Записок путешественника», коие вовсе не обычный путевой дневник, как может показаться на первый взгляд, а самое что ни на есть литературное произведение в жанре путевого дневника, шарм времени *plusquamperfekt...*

Интересно, что два столетия спустя, на рубеже 1960—1970-х годов, мода после крена в модерн вдруг резко двинулась в сторону XVIII века: стали вновь актуальны парики (у женщин), остроносые туфли уступили место откровенно тупоносым, утолщились женские каблуки и выросли мужские, заграничные рок-группы и вслед за ними наши ВИА обрядились в камзолы и жабо, а у любителей классической музыки в моду вошли основательно позабытые к этому времени Вивальди, Глюк, Гендель.

Но это все были, так сказать, реплики, оттенки и намеки...

Сам же XVIII век полностью не растворился во времени, и если его переплетенные в уже порыжевшую и истрепавшуюся на краях кожу тома были надежно спрятаны

Владимир Алексеевич Сутырин окончил Уральский госуниверситет и ВГИК. Автор ряда книг художественной и документальной прозы. Лауреат литературных премий. Публиковался в журналах «Новый мир», «Континент», «Юность» (лауреат премии журнала), «Литературной газете» и «Литературной России». Член Союза писателей России. Живет в Екатеринбурге.

в библиотечных фондах редких книг и изредка отсвечивали желтизной бумаги под стеклом букинистических прилавков, то его архитектура еще жила полной жизнью, служа прапрапрапраправнукам тех, для кого когда-то эти строения возводились.

Первые представления о ней были получены мной из монографий и альбомов, которые щедро издавались в советские годы. Понятно, что многое из выстроенного прежде с веками потеряло свой первоначальный облик в угоду обновлявшейся моде и фантазиям владельцев. Но то, что сохранилось в неизменности, не могло не вызывать восхищения: и Зимний дворец, и Смольный собор с монастырем, и Адмиралтейство в бывшей столице империи. Уничтожительный пожар 1812 года здорово постарался в Москве, но и оставшееся — Меншикова башня, Пашков дом, старый университет — внушало если не восторг, то уважение. Еще больший интерес вызывало то, что уже нельзя было увидеть.

Помню поразивший меня проект реновации Московского Кремля, придуманный архитектором Василием Баженовым, видимо, в подражание европейским версалям и трианонам. Представляете, он предложил снести старые кремлевские стены и вместо них окружить Ивановскую площадь с ее колокольней и соборами этаким круговым супердворцом со множеством колонн по фасаду, который бы занял все пространство прежнего Кремля! Со стороны Москвы-реки этот дворец должен был выходить к самому берегу.

Вопрос не в том, кем можно было бы заполнить этот дворцовый монстр в случае его постройки (ведь императорский-то двор пребывал не «на Москве», а в «Питербурхе»), а в том, что никакая казна не выдержала бы такой стройки, да и по срокам сооружения оный мог быть возведен никак не раньше, чем лет через тридцать—пятьдесят, когда и архитектурная мода станет другой, и тронная особа поменяется...

Мне довелось случайно увидеть уменьшенный макет этого гигантского сооружения на верхнем этаже Русского музея, куда его, спрятав под плексиглас, загнали, должно быть, ввиду курьезности, с сегодняшней точки зрения, этой архитектурной идеи. А ведь всю предварительную работу архитектор делал не сам по себе, а по заказу августейшей правительницы. Она, видимо, желала обновления старой столицы, но когда гений зодчего выдал творческий продукт, заказчице вдруг стало боязно от размаха его фантазии: не потянуть...

Вообще, реализованные проекты выдающихся архитектурных умов — это лишь вершина айсберга. Очень немалое из фантазий этого рода мастеров так и осталось на бумаге. Баженов — не исключение. В более близком к нам XX веке нельзя было увидеть в натуре не только его самый грандиозный замысел, но и в законченном виде самый романтический — загородную царскую резиденцию в подмосковном Царицыне. Хотя...

Царицыно мыслилось не как Версаль. XVIII век дал искусству не только барокко и классицизм, но и реминисценцию средневековой европейской готики. Именно как за́мок по образу мыслился архитектору этот комплекс различной величины зданий. И опять же, не его фантазии породили этот проект, а воля императрицы, которой очень уж приглянулся загородный уголок, именуемый... Черной Грязью, на берегу реки... Язвенки. И он был куплен у прежнего хозяина Кантемира и отдан на волю придворного архитектора В. Баженова...

Как уже сказано, прежде, чем увидеть многое въяве, я ознакомился с памятниками по книгам. Таким образом, когда стал регулярно наезжать в Москву сначала по служебным, а потом по учебным делам, то уже точно знал, в каком направлении мне надо отправиться в свободное время. Тогда еще не было в ходу такого американистого

термина, как дорожная карта, так вот именно своего рода «дорожную карту» вычерчивал я на листе бумаге: где находится тот или иной объект и как до него рациональней добраться.

В 1980 году, будучи абитуриентом института по имени ВГИК, я садился на автобус (5 коп.), доезжал до станции метро «ВДНХ», спускался вниз (еще 5 коп.) и прямехонькой дорогой ехал до станции «Октябрьской». А там уже, ориентируясь по сторонам света или приглядывая в план города и свою «дорожную карту», двигался в направлении Донского монастыря... Сам монастырь мне был малоинтересен, а вот его старый некрополь — очень даже, поскольку он представлял собой некий портал, через который XVIII век, а вслед за ним и век XIX естественным образом уходили в историю. И в качестве следов этих ушедших столетий здесь были могилы многих видных деятелей прошлого: поэтов М. Хераскова, А. Сумарокова, И. Дмитриева, прозаиков В. Одоевского и В. Соллогуба, философа П. Чаадаева, а кроме того, матери И. Тургенева, бабки Л. Толстого, дядьки и теток А. Пушкина и многих других неизвестных мне личностей, чей уход был помечен датой: тысяча семьсот... тысяча восемьсот... Здесь же я увидел и три впечатляющих надгробия из подмосковного белого камня — этакие каменные гробы на ножках — явно стилистика интересующего меня столетия! Прочесть же, что на них вырезано, увы, было невозможно...

Так же, согласно другой «дорожной карте», я оказался и в Коломенском. Поразило то, что на этом высоком берегу, кроме знаменитой на весь мир шатровой колокольни, была и... доживающая свой век деревенская улица, на которой еще жили. До памятников архитектуры, к счастью, тогда еще не добрались реставраторы, и на своих посеревших, бывших когда-то белыми стенах был заметен устойчивый шарм давно ушедшего времени.

У экскурсовода узнал, в каком месте здесь находился разобранный Екатериной по причине обветшания деревянный теремной дворец царя Алексея Михайловича, и, выйдя на точку, увидел ровную, ничем не занятую, поросшую травой площадку... (Градоначальника Лужкова, как и президента Ельцина, в те годы еще и в помине не было, но о́но местечко отдыхало — ждало своего часа, когда новые россияне возьмут да и восстановят дворец. И сегодня он есть!)

В этих самодеятельных экскурсиях меня сопровождал живший в одной со мной комнате в общежитии земляк, фотограф Игорь Иванов, поступавший на операторский. У него был к этим древностям свой — фотографический — интерес.

Так же вдвоем мы отправились с ним и в Царицыно — загадочное место уже не за пределами Москвы, как в XVIII веке, а окруженное новостройками, хотя и отстоящими на разумном пределе от этого природного парка.

Что я знал об этом месте? То, что это долгострой еще с 1775 года. Екатерина, велев спроектировать и построить свою загородную резиденцию в Царицыне, вдруг охладела к этой затее и махнула на нее рукой. С тех пор ни один из ее наследников так и не смог довести дело до конца, и возведенные, даже подведенные под крышу стены так и стояли без использования, превращаясь в живописные руины.

Что интересно: ни у кого в советское время не поднялась рука разобрать все это на кирпичи для новых, нужных ко времени построек!..

В то время не было еще станции метро «Царицыно» («Ленино») вблизи парка, и мы поехали до «Кантемировской», а потом сели на автобус, который довез нас до исторического места со стороны Фигурного моста. Вход был, конечно, впечатляющим: как только мы прошли под аркой, обрамленной как бы крепостными башнями, справа и открылся самый крупный архитектурный объем комплекса — краснокирпичный корпус дворца

с пустыми стрельчатыми оконными проемами и без крыши. Дикая растительность, занявшая всю преддворцовую лужайку, уже перекинулась и на само здание и побежала по карнизу, оставляя в укромных, недоступных ветру местах мелкие лиственные деревца. Слева от дворца выделялся своей основательностью Хлебный дом, в котором, надо полагать, должны были храниться пищевые припасы и вестись приготовление пищи для большого числа насельников дворца в период, когда ее императорское величество изволит поселиться здесь во время нечастых наездов в Первопрестольную... (Шутки шутками, но останавливаться Екатерине, будучи в Москве, приходилось в частных хоромах, поскольку достойного ее ранга дворца в старой столице просто не было: Кремль тогда представлял собой убогое, запущенное пространство, ставшее притоном для бездомных и жулья. Вот по какой причине и траты на приобретение Черной Грязи...)

Хлебный дом соединялся с дворцом изумительной по своей фантазии галереей, выполненной в стиле причудливой смеси готического, мавританского и старомосковского вкусов. По этой галерее, не иначе, должны были с пылу с жару доставляться неостывшими яства из императорской кухни. Правда, галерея прерывалась широкими и высокими арочными воротами, и тут уж я не знаю, как они преодолевались изобретательными поварятами...

Чуть ниже по рельефу располагался одноэтажный Кавалерский корпус. Его окна были застеклены, и, значит, он использовался для каких-то нужд — возможно, там обитал надзиратель, отвечающий за сохранность этих живописных руин. Дальше, вправо от дворца, шла березовая аллея и были выстроены с изящным декором из белого камня два корпуса меньшего объема — Малый дворец и Оперный дом. И так же, как и в Большом дворце, внутри (а входы не были заколочены) царило запустение — поросший травой хаос векового мусора. Лишь брошенный кем-то свежий пакет из-под кефира говорил о том, что мы все же в XX веке.

Аллея выводила нас к Фигурным воротам, также в за́мковом стиле — с башенными опорами, слуховыми окнами-люкарнами и украшенным навершием из множества белых колонок. Особое восхищение вызывало изящное кружево из белого же камня, занимавшее верхний, мавританский, свод ворот. В реалии оно должно было быть тяжелющим, но выглядело легко и... не падало. И опять же удивило, что местные вандалы за прошедшие не то что десятилетия — века не добрались своим деструктивным умом до его свержения.

Через эти ворота мы попали в природный парк — не регулярный, «французский», а в естественный, «а́нглийский», где дорожки подчинены рельефу местности и где на редких пригорках были расположены павильоны (неизменный атрибут парка). При этом совсем исчез стиль самого дворца — павильоны носили сугубо классицистический характер. Это звучало как смена темы и настроения. Были и организованные руины, выложенные где плитняком, где кирпичом. По ним, вбивая клинья в стену, лазили альпинисты. (Вандалы — не вандалы?)

Отсюда шел спуск к реке, но туда мы не пошли, наполнив уже сознание полученными образами несостоявшейся царской резиденции.

Нужно сказать, что большую часть жизни я сам был отъявленным фотографом, и во всех моих путешествиях меня сопровождал фотоаппарат «Зоркий», который я ценил за компактность (объектив вдвигался в тело аппарата) и оптическую подстройку под глаз. Так что и в тот раз я унес собой на черно-белой пленке изображения царицынских чудо-построек...

Не менее важно понять мой тогдашний интерес к архитектурному эксклюзиву еще и потому, что в 1970—1980-х наша страна жила в условиях тотальной типизации по-

строек: в различных городах массово возводились одной и той же конфигурации жилые дома, и, проснувшись утром на скамеечке после накануне бурно проведенного вечера и обведя мутным взором стандартный городской пейзаж, вполне обоснованно, подобно булгаковскому Степе Лиходееву, можно было воскликнуть: «Скажите, а какой это город?» Да что там жилищная застройка! Даже театры — казалось бы, должные быть доминантными в населенном пункте объектами — и те строились по типовым проектам (ТЮЗ — что в Свердловске, то и в Горьком. Думаю, и во многих других городах). Поэтому именно архитектурная мысль свободного от тотальной типизации XVIII столетия всецело подтверждала более позднюю метафору «художника слова» (как написано на памятнике) Николая Васильевича Гоголя, что-де архитектура — это застывшая в камне музыка...

Единичная поездка в Царицыно — с тайной его судьбы — не могла полностью исчерпать моего интереса к этой теме, и спустя пару лет, уже студентом, я снова отправился туда. На этот раз в компании со своим соучеником и приятелем Владиславом Сусловым, тоже земляком-уральцем. Теперь мы приехали к парку с обратной стороны — от вошедшей в строй станции метро «Орехово» и вышли к ансамблю аккурат со стороны Фигурных ворот.

День был летний, солнечный, и старинные руины выглядели более радостно, как будто и не руины вовсе... В этот раз я уже не искал новизны, а старался настроить себя на вибрацию данного места, почувствовать, что виделось архитектору, когда он замысливал сделать эту резиденцию именно такой.

А ведь у Царицына был не один архитектор!..

Баженов, построив все малые строения комплекса, не угодил заказчице с главным дворцом. Собственно, их было два — одинаковых: для императрицы и для наследника. Возможно, это-то ее и не устроило: известно прохладное отношение Екатерины к Павлу. Вероятно, сын напоминал ей и видом, и норовом своего отца — Петра III, свергнутого ею с помощью гвардии и позже умершего в заточении. Построенные уже эти два дворца императрица приказала разобрать до основания и, отстранив Баженова от дальнейшей работы, велела взяться за проект Большого дворца его ученику Матвею Казакову.

Как отнесся к этому мэтр Баженов? То, что с обидой, безусловно. И вместе с тем не без гордости, ибо ученик — это продолжение мастера, его школа. Как напишет позже поэт:

Художник, воспитай ученика,
Сил не жалей его ученья ради,
Пусть вслед твоей ведет его рука
Каракули по клеточкам тетради,

Пусть на тебя он взглянет свысока,
Себя на миг считая за провидца.
Художник, воспитай ученика,
Чтоб было у кого потом учиться.

И впрямь, Казаков не испортил первоначального замысла мастера. Его Большой — действительно большой! — дворец стал ведущим корпусом всего ансамбля и доселе является как бы марочным образом всего Царицына. Утвержденный заказчицей в чер-

теже, он был выстроен. Но... уже в реальном виде снова не удовлетворил Екатерину, и она окончательно повернулась к этой затее спиной...

Почему?

Это главный вопрос, связанный с судьбой Царицына.

Подлинных свидетельств о том не сохранилось. А потому в ходу домыслы, гипотезы, которые, конечно же, имеют право на существование, но окончательного ответа не дают... Как истый поклонник этого архитектурного чуда попытался внести свою лепту в этот дискурс и я...

Дело в том, что на четвертом-пятом курсах историю искусств у нас в киновузе читала знаменитая теперь по более позднему телевизионному циклу «Мост над бездной» Паола Дмитриевна Волкова. Собственно и тогда, в 1980-х, она была уже знаковой личностью, по крайней мере во ВГИКе, и все студенты относились к ней с исключительным уважением... В чем была ее харизма? В какой-то почти неощутимой свободе мысли. В киноинституте тогда было достаточно авторитетных преподавателей, тем более что читали они не только у нас, но и в МГУ и других престижных вузах. Но именно Волкова вызывала особую симпатию у студентов. Она преподавала, так сказать, не по букве программы, а повинуясь какому-то своему внутреннему течению мысли и конструированию образа... Тут нужно понимать, что никто из нас — одногруппников — курса истории искусств в прежней своей жизни не слушал: один был геолог, другой физик, третий медик, четвертый журналист, и даже я, филолог по первому образованию, всю свою любовь к искусству (в том числе к архитектуре) выпестовал самостоятельно. А тут с нами рассуждала об искусстве сама Паола Волкова. Она тогда уже репутационно в среде студентов была «сама», и абсолютно не случайно, когда спустя несколько лет после нашего выпуска вслед за перестройкой и V съездом Союза кинематографистов в киновузе вспыхнула студенческая «революция» несогласных с методом обучения, в коллегиальный орган управления ВГИКом наряду со студентами-активистами молодежной массой было выдвинуто только два преподавателя — Паола Дмитриевна Волкова и Ливия Александровна Звонникова, тоже знаковая личность среди педагогов, причем обе по специализации — не киношницы!..

Так вот, на пятом курсе нам, студентам-заочникам, полагалось выполнить контрольную работу по истории искусств. Был список предложенных тем, но можно было инициировать и свою. Я выбрал Царицыно...

К этому времени уже вышла биографическая книга В. Пигалева о Баженове, и я был в курсе сущих толкований о его творческой судьбе. Книга эта, тогда мне понравившаяся, тем не менее была по-советски сдержанна: называла явления, но не углублялась в них. Разумеется, темы религии, самодержавия, масонства были в тогдашней литературе под негласным запретом, что выражалось в тщательном редактировании авторских текстов. Читатель получал только намеки, расшифровывать кои ему предстояло самому.

Контрольная же работа — материал ученический и, следовательно, никакой внешней редактуры не предусматривала. И эта нескованность плюс то ощущение, что пишется для прочтения П. Д. Волковой, чьим мнением мы дорожили, и позволили мне высказаться самостоятельно, а не воспользоваться элементарной компиляцией из чужих источников. И вот какие мысли я изрек тогда на бумаге (цитирую по машинописи контрольной, сохранившейся в моем архиве):

...Баженов строил дворец, а выстроил руины... Почему же Екатерина прокляла Царицыно?

В принципе Баженов сам виноват в том, что дворец не пришелся по вкусу императрице. Он слишком буквально понял ее указание о «готическом замке». И хотя формально дворец далек от замка, по стилистике — это готический замок. А у готики при всем ее изяществе и вверх стремительности есть одно отрицательное свойство — она м р а ч н о в а т а. Мрачноват, хотя и величествен Нотр-Дам де Пари, филигранны, но мрачноваты соборы Реймса и Кёльна. Готика своей массой угнетает психику, заставляет человека почувствовать себя песчинкой в мировом космосе. Устроило бы это Екатерину? Конечно, нет! После растреллиевской роскоши Петербурга и Царского Села, после праздничного изящества барокко — изящество мрачноватого замка. Нет! Матушка-государыня была чужда настроениям одиночества и таинственности, что так свойственно было ее наследнику. Более того, привыкшая к регулярным дворцам и садам, она, вероятно, не смогла воспринять царицынский хаос как единое целое.

Но ведь она сама хотела именно такой дворец, скажете вы. Совершенно верно. Вспомним, однако, что понравилось ее императорскому величеству в Черной Грязи. Она увидела там пастораль — дикую и прекрасную природу, песни и хороводы «пейзан», играющих специально для нее. Все это произвело на Екатерину весьма радужное впечатление, на эту музыку и легли слова Г. Потемкина о дворце в готическом стиле. Ничего подобного у русской императрицы тогда еще не было, и вполне естественно, она, уроженка Запада и сама немка, воспитанная на готике у себя на родине, «с легкостью необычайной» пожелала иметь оное и в своем высочайшем распоряжении.

Баженов, всегда четко понимавший заказ, развил стилевую идею строго в русле желания заказчицы. Готика так готика, усадьба так усадьба. Что из этого вышло — нам известно. Утвердив проект, Екатерина отвергла реалию...

Я побывал в Царицыне в солнечный августовский день, когда, кажется, даже камень улыбается. Но безмолвствовали царицынские руины. Первое впечатление — не запустение, нет. Разве могут считаться запущенными Фигурный мост и Хлебные ворота? Они великолепны. Но общее впечатление — увы... Я почувствовал себя на царицынской лужайке страшно одиноким. Вот она, готическая м р а ч н о в а т о с т ь. И это в черте современной столицы, в каком-то часе езды от Калининского проспекта! А каково же ощущалось два века назад, когда Царицыно было д а л е к о от Москвы? Едешь себе, едешь с намерением прекрасно отдохнуть на лоне божественной природы, а приезжаешь в мрачные казематы, где не то что отдыхать, от врагов прятаться — и то страшно. Казаковская переделка дворца лишь усугубила это впечатление...

Ну и, конечно, не нужно забывать, что Царицыно от первого штриха на бумаге до строительства последнего павильона рождалось на протяжении десяти лет — в 1775—1785 годах. За это время могли измениться как вкусы императрицы, так и политическая ситуация в империи. А ведь Баженов принадлежал к ненавистным Екатерине мартинистам... Вот тут, вероятно, и сыграл не последнюю роль слух о кощунстве зодчего над православными догматами...

Сегодня, спустя почти сорок лет после написания этих строк, я не стану их опровергать, поскольку в большей части согласен со своими давешними студенческими домыслами. Разве что хочу кое-что уточнить и, может быть, добавить.

Решение о приобретении Черной Грязи и строительства здесь загородного дворца было принято императрицей в эйфории победы над турками в 1774 году и заключения очень выгодного для России Кючук-Кайнарджийского договора. Эта победа давала России реальный выход к Черному морю и укрощала агрессивные амбиции татарского Крыма и самой Турции. Заключение этого мирного договора праздновалось в Москве на Ходынском поле, где тем же Баженовым был выстроен целый деревянный

город, а павильоны носили названия взятых крепостей: Керчь, Еникале, Азов и т. д. После празднования деревянные постройки были разобраны. Возведение же дворцового комплекса в долговечных материалах — это уже как бы утверждение завоеванного на долгие времена. Так что мотивация — дворец-памятник славной победе — была вполне убедительной.

Но десять лет, как справедливо отмечено в студенческой работе — срок в человеческой жизни немалый, тем более — в жизни женщины, которая может быть подвергнута и возрастным капризам, смене настроений по пустяковым, казалось бы, поводам, а то и по поводам весьма серьезным — государственного и тем более международного уровня. За это время Российская империя пережила ужас пугачевщины, унесшей жизнь многих дворян, военных и чиновников, и подавленной ценой немалых усилий со стороны государства (об этом детально написано в историческом труде А. С. Пушкина «История пугачевского бунта»). Екатерина, не забывая о своем нелегитимном вступлении на российский престол, вполне обоснованно опасалась внутренней фронды, которая точно так же могла сместить и ее саму. Имея частную переписку с французским вольнодумцем Вольтером, она понимала и ту угрозу самодержавию, которая идет от европейских политических течений. Да и по поводу внутренних масонов — «мартышек», как она называла мартинистов, у нее никаких заблуждений не было: потенциальная «пятая колонна»...

И вот недруги Баженова уже нашептывают ей, что за планировку царицынской усадьбы (цитирую опять же свою контрольную работу): «...архитектор взял композицию православного монастыря, но вместо храмов и часовен расположил увеселительный дворец и интимные беседки для кавалеров и дам, и будто бы все это — для издевательства над святынями православия, что является обязанностью масона. А чтобы это не бросалось в глаза — избран старорусский стиль...» (имелось в виду сочетание красного кирпича и белого камня. — *В. С.*)

Зачет по истории искусств я тогда получил, и экземпляр этой контрольной работы мне был возвращен методистом Чавушьян без единой пометки Волковой. А ведь хотелось знать ее мнение о работе! Но она, прочтя и зачтя контрольные всему курсу, ни об одной особо не распространялась. В аудиторном дискурсе я затронул тему роли масонства в искусстве, однако Паола Дмитриевна ее не подхватила и развивать не стала. Тогда я прямо задал вопрос: «Так все-таки масонство — это хорошо или плохо?» Она и тут ушла от конкретного ответа, сказав, что в этом, как во многом другом, все не так однозначно. Бóльших пояснений я от нее не получил...

Но возвращаясь к затронутой теме, на которую доселе нет конкретного ответа: почему Екатерина оставила своим вниманием практически достроенный дворцовый комплекс Царицыно, можно попытаться проверить казавшуюся в 1980-х годах романтической версию о масонской подоплеке баженовских строений в бывшей Черной Грязи.

В своей студенческой работе 1985 года я сделал оговорку: «Для того чтобы определить истинность этой версии, надо быть компетентным в обоих вопросах — православии и масонстве. Я не могу этим похвастаться, поэтому ограничусь лишь с в о и м и с о б с т в е н н ы м и н а б л ю д е н и я м и...»

И сегодня, спустя десятилетия, я буду руководствоваться тем же принципом.

На что я обратил внимание: эмблема мартинистов представляет собой хорошо известную сегодня гексаграмму — переплетенные межу собой два равносторонних треугольника, направленные вершинами навстречу друг другу. В итоге получается шесть хорошо читаемых острых углов. Впрямую этого символа в декоре зданий Царицына нет. Но если посмотреть на белокаменные украшения Большого моста через овраг,

то обращают на себя внимание хорошо сохранившиеся декоративные детали: поставленный на угол квадрат, напоминающий соединенные концами наугольники, его пересекают крест-накрест две рельефные как бы спицы с заостренными концами, в которых видятся ножки циркуля. При желании это можно понять как скрытые масонские атрибуты. А прорезной образ солнца в сквозных проемах-люкарнах напоминает такой же остроконечный венец у Гекаты — языческой богини колдовства, мрака, подземного царства. Обилие намеренно острых деталей мы видим и в оформлении башен, декоративном завершении корпусов, и особенно они бросаются в глаза во внутреннем своде арки ворот Хлебного дома — точно зубы акульей пасти. Зачем они?.. Документально зафиксированного обоснования автором этих изысков не имеется. (Вспомнилось белее позднее: «Я с детства не любил овал! Я с детства угол рисовал!» В этом стихотворении угол — образная антитеза благости, наступившей после грозы: «...и снова тишь, и снова мир», после чего и следуют приведенные выше строки.)

Вообще обилие острых углов воспринимается как знак агрессии, беспокойства. При этом, когда смотришь на объект в целом, детали конкретно как бы не читаются, но... работают, делают свое дело. Как знать, может, именно это почувствовала Екатерина, когда посетила почти завершенное Царицыно в 1785 году... Нет, она не предала остракизму все построенное, конкретно ее недовольство ударило по главному дворцу, и она велела передать дело в другие руки. Но видимо, уже тогда ее интерес к этой затее неуклонно пошел на убыль, что косвенно подтверждает и ставшее нерегулярным дальнейшее финансирование стройки...

С моим однокурсником Сусловым мы двигались по березовой аллее от Фигурных ворот. Выбрав наиболее чистый и сохранившийся дверной проем в Оперном доме, я поставил в него Владислава и сфотографировал. Решение было ассоциативным, поскольку я знал, что Суслов — меломан, любитель серьезной музыки — как классики, так и рока. По темпу исполнения известного произведения он мог определить, кто из дирижеров стоял на записи за пультом — Клемперер или Караян. Потому к делу пришелся на нашем пути и Оперный дом, в котором так и не удалось императрице прослушать ни одного исполнения...

Мы вышли на площадь перед Главным дворцом, возведенным уже Казаковым. Он впечатлял даже в своем безбашенном состоянии. Причем сами башни-то по углам дворца высились, но вот крыши над зданием и ними не было. И я не мог представить, какой же она мыслилась архитектору — не тривиальной же четырехскатной?..

День выдался погожим, и царицынские руины не казались мрачными, как в первое посещение. Хотя все же это были руины... Мне подумалось, ну ладно Екатерина, а на протяжении последующих-то двухсот лет почему не вернулись к этому проекту? И если масонская подоплека причиной, то ведь именно при Павле I, магистре Мальтийского ордена, строительство Царицына и было прекращено окончательно. Возможно, у него руки просто не дошли до этого подмосковного замка, поскольку он заказал Баженову замок в Петербурге — Михайловский, который до роковой ночи 11 марта 1801 года император и обжить толком не успел.

Ну а дальше? Неужели все последующие два столетия этот недострой так и стоял, разрушаясь?..

И вот когда я уже в XXI веке взялся за написание этих строк, достал всю свою накопленную за годы литературу по данному вопросу, вдруг выяснил, что ничего подобного. В последующие годы эти еще не ставшие руинами постройки пытались как-то использовать!

В конце XVIII столетия дворец был-таки завершен крышей согласно проекту Казакова. На пейзажном виде «села Царицына» 1835 года художника В. Аммона я увидел панораму совсем неруинированных построек. Да, профиль крыши основной части дворца и его башен был решен отнюдь не тривиально. Дворец смотрелся великолепно!.. При Николае I здесь решено было разместить военное училище. Но внутренняя планировка строений, рассчитанная на загородный интим, не позволила организовать здесь полноценный учебный процесс для будущего офицерского корпуса. От идеи отказались. Новых продуктивных предложений о целостном использовании несостоявшейся царской резиденции не поступило... В 1882 году с дворца содрали металлическую крышу и предназначили для других нужд. Исключительные по красоте изразцы на печах были демонтированы и тоже отправлены сегодня уже невесть куда. Вот тогда главная постройка Царицына и стала медленно погружаться в свое нынешнее состояние, в результате чего интерьеры дворца были утрачены напрочь...

Единственным живым объектом в этом каменном безмолвии оказалась церковь, построенная, как выяснилось, еще до прихода сюда Баженова. Суслов, начинавший осваивать православную тему, отправился туда ставить свечи. А я вошел под несуществующий свод одной из башен дворца, чтобы ощутить прохладу ушедших времен и жалость по тому, что уже никогда не состоится. Запах сырости, буйно разросшаяся крапива и вросшие в землю кучки давнего строительного мусора подтверждали, что новая жизнь здесь не взойдет. Я поднял у стены обломок старого «казаковского» кирпича со следами известковой связки — и спустя двести лет она не желала отколупываться от шершавого естества брошенного стройматериала.

Этот тяжелый сувенир, опустив в сумку, я унес с собой. Кирпич потом несколько десятилетий лежал в моей кладовой, пока однажды я его... не выбросил, полагая, что мне уже не суждено вернуться к царицынской теме.

А вот вернулся...

Никогда не выбрасывайте свидетельства прошлого! Они, как призраки давно минувшего (плюсквамперфект), способны напоминать о себе время от времени, и особенно тогда, когда этого не ждешь. И даже уйдя от вас, эти артефакты обладают способностью телепортации из небытия своего образа — вы имеете возможность представить их в мельчайших деталях, будто взвешивая на ладони и чувствуя их тяжесть. И если они уже не несут реальных запахов тех давних лет, то память ваша сама подскажет их с точностью. Память на запахи развита в человеке острее, чем на все другое...

И все же мое возвращение к Царицыну произошло не сегодня, а значительно раньше. Все годы, прошедшие после окончания вуза, я имел возможность ежегодно бывать в Москве. Но лишь однажды у меня появилось свободное время для того, чтобы днем сходить «куда-нибудь». Вариантов было много, но я вспомнил именно про Царицыно. И вспомнил потому, что еще в 1980-е годы из газеты «Советская культура» узнал, что тогдашние власти предержащие собрались наконец-то решить положительным образом «охраняемые государством» царицынские руины. После этого прошло еще порядка двух десятилетий, пока дело таки сдвинулось с мертвой точки («В России надо долго жить» — говорил К. Чуковский), и вот пришло известие, что-де главный Царицынский дворец не только восстановлен, но уже и музеефицирован, и эта историческая локация стала привлекательной для отдыха москвичей. Я, конечно, не мог остаться равнодушным. Вот почему в моих планах и появился третий визит в это место.

Это случилось в году, если не ошибаюсь, 2010-м. Освежив в памяти сетку московского метро, я спустился под землю и вскоре вынырнул на краю Царицынского парка.

Стоял сентябрь, самое его начало, когда нет прежней жары, но город еще держит остаточное тепло и делится им с уже остывающей природой. Яркое, но нежаркое солнце превращало обычный будний день в праздный, и потому, наверное, ореховый парк с темно-зеленой листвой смотрелся привлекательно. Помнится, это праздничное, созданное природой настроение вдохновило меня настолько, что я захотел поделиться им с живущим в Москве сыном и позвонил ему с парковой дорожки, призывая взять с собой подругу и присоединиться ко мне, на что он, конечно, ответил отказом, ибо был заранее запрограммирован на какие-то другие дела. И я стал впитывать удовольствие от этой прогулки самостоятельно...

Думал, что, следуя выложенной бехатоном дорожкой, выйду прямо к знакомым мне Фигурным воротам. Но нет: впереди замаячил павильон «Миловид» — в классическом стиле, с нарисованными под арочным сводом кессонами и двумя парными сфинксами с женскими лицами, смотрящими вдаль — в сторону реки (прудов?). Прежде чем достать и расчехлить всегдашний свой фотоаппарат (теперь уже цифровой), я все же задумался: а были ли эти сфинксы тогда — два-три десятка лет тому, когда я впервые увидел этот павильон?.. Память могла подвести, но отличное состояние этих беломраморных персонажей подсказывало, что если они не новодел, то явно где-то хранились. На их теле не было ни единого скола и тем более грязи от разбитных надписей. Хотелось думать, что это все же родное — то, что было поставлено у входа под свод павильона давным-давно. Я всматривался в идеального рисунка бесстрастные лица этих двух изваяний, и мне в какой-то момент показалось, что они похожи на ту женщину, которую я когда-то любил, но она осталась ко мне равнодушной.

Я опустил руку на голову женщины-сфинкса и почувствовал внутренний холод этого существа. Я заглянул ей в глаза, но она меня не увидела: взгляд ее беззрачковых мраморных глаз был обращен внутрь, а может быть, наоборот — смотрел сквозь меня далеко вперед, стараясь сквозь листву увидеть дальний берег пруда, чтобы понять, кто это там далеко хохочет над водной гладью и чей хохот, отраженный водой, поглощается затем зеленью парка и лишь частью долетает сюда, на склон высокого берега.

И я сфотографировал эти мраморные изваяния, напомнившие мне о прошлом.

Затем, доверясь опыту, двинулся влево от павильона, и вот уже показались знакомые Фигурные ворота. Они были целы! Более того, внизу белокаменного кружева появилась не чаемая мной... каменная шишечка. Когда-то, на заре эпохи разорения дворца, ее похитили вандалы (в качестве легкой добычи), и теперь, изготовленная заново, она была подвешена на малозаметную прежде старую железную серьгу, выходящую из узора.

А дальше — предстал Оперный дом. В оконные проемы вставлены новенькие застекленные рамы, навешена дверь, кирпичные стены очищены пескоструем. Здание, конечно, ожило, но... (я это остро почувствовал) потеряло свой прежний шарм старинного строения. Не заходя внутрь, я представил, что и интерьеры сияют новизной и обжиты любителями классического искусства. Но то ли это Царицыно, которое я видел дважды в уже прошедшем XX веке?..

Восприятие возрожденных к жизни памятников архитектуры, как и любая монета, имеет аверс и реверс — когда, с одной стороны, радуешься тому, что старый дом функционирует и ныне, а с другой — ищешь и не находишь в возрожденном памятнике привкус прошлого. И даже виденный мной прежде вензель императрицы — «Е» в окружении извилистых (масонских!) лучей солнца — курьезно кажется сегодня восстановленным из современных материалов (хотя точно знаешь, что он сохранился с былых времен). Сколько еще должно пройти времени, чтобы эти ожившие строения постарели, покрылись временно́й патиной уже XXI века, и в них верилось как в действительные следы ушедших времен...

А вот уже и освещенный солнцем тыльный фасад обновленного Большого дворца. Отсюда, от аллеи с Оперным домом и Малым дворцом, он выглядит великолепно — как некое подобие виденного на картинках парижского Пале-Рояля. Так вот как должны были завершаться башни, возведенные Матвеем Казаковым! Все же, моделируя реплику из архитектурного прошлого, архитектор не преминул сделать модный, характерный для конца XVIII века этот акцент — как финальную точку построенного объекта.

Было заразительно свернуть с аллеи и пройти к дворцу через зеленую лужайку, чтобы сразу выйти с обратной стороны к галерее из Хлебного дома в Большой дворец, но я решил взглянуть на восстановленный объект с лица — с той точки, откуда увидел его еще руинированным в первый раз.

И он меня не разочаровал! Это был действительно Большой дворец — вот на его-то фасадных пространствах все восстановленные детали теряли свою новизну и, точно соль с перцем, ненавязчиво доводили это архитектурное блюдо до совершенства.

(А ведь я, едучи сюда, так боялся разочарования именно от внешнего вида возрожденного главного строения ансамбля. Не случилось, и я был этому рад: что-то в нашей текущей жизни совершается и к лучшему!)

На подстриженной лужайке, полóго поднимавшейся к главному фасаду Большого дворца, я заметил торчавшую из земли аннотационную табличку и, приблизившись, прочел, а затем и увидел откопанные следы фундамента Большого кавалерского дворца, построенного В. Баженовым и уничтоженного по приказу Екатерины. Судя по периметру, он был немал и, возможно, хорошо соотносился с другими строениями ансамбля. Однако... как говаривали в нашем Отечестве в более поздние времена, заказчик всегда прав. Тем более заказчица...

Опять же, соотнесясь с Европой уже XXI века, «оживители» дворца устроили вход в музейное пространство не через главный подъезд, как планировалось изначально, а «аки в Лувре»: соорудив за аркой галереи, что ведет из Хлебного дома, «египетскую» пирамиду из прозрачных материалов, войдя в которую и спустившись под землю, ты попадешь и в гардероб, и в кафе, и в сувенирную лавку, чтобы потом, поднявшись, оказаться уже в теле самого дворца с его исторической экспозицией, посвященной тому, что не состоялось в реальности на исходе века XVIII. Здесь же и трон императрицы, и ее наряды, и эскизный рисунок парных дворцов Баженова, от которых она отказалась...

Но память об обоих авторах Царицына здесь блюдут в равной степени. Это недвусмысленно подчеркивается двумя изящными фигурами зодчих, поставленных на пьедестал на фоне Хлебного дома. Сейчас модно делать памятники полихромными: основная часть корпуса запатинированна, а лица и детали одежды — из сияющей меди. Эффектно, но есть какой-то несерьез в таком подходе, как бы нарушение жанра... И еще: мало того, что фигуры гиперреалистичны, словно фотография, они безэмоциональны и не несут никаких визуально ощутимых личностных отличий одного персонажа от другого — стоят, как близнецы-братья, фигурки с конвейера. У меня даже возникла мысль, что это продукция не ваятеля, а... искусственного интеллекта, коему задали исходные, и он нарисовал в 3D один к одному то, что хотелось скульптору.

(Эх, не было таких возможностей у самих Баженова с Казаковым, а то бы не кануло в небытие на целых два века их общее детище...)

А кануло оно, как говорилось выше, из-за увлечения Баженова масонской символикой. Уже работая над этим очерком, я нашел тому недвусмысленное подтверждение. В просветительском фильме из серии «Тайны мировой архитектуры. Вольные каменщики», посвященном в том числе и Царицыну (авторы Н. и Н. Геташвили, режиссер Д. Васильев), помимо прочего указано на те детали в декоре строений этой царской ре-

зиденции, на какие я в свое время просто не обратил внимания. Ну подумаешь, схематические изображения солнца и луны... А у масонов, оказывается, это символ стремления к самоусовершенствованию. Или сплетенные друг с другом кокошники на галерее Хлебного дома... А это символ сплетения масонских братских сердец. Или вот пресимпатичнейшая объемная композиция в нише Хлебного дома, повторенная дважды, — каравай, а сверху солонка. Символ провианта? Не только: соль — один из трех элементов, из которых, по учению вольных каменщиков, будет создан новый мир. И наконец, еще одна эмблема, смысл которой я понял только из этого фильма, — символический узел, олицетворяющий тесную сцепку тех, кого императрица именовала «мартышками»... Разумеется, при таком обилии крамольного декора, который жившим тогда бросался в глаза и был им понятен, рассчитывать на доброжелательность со стороны абсолютной монархии было наивно. Даже не верится, что тогдашняя фронда была столь простофильна...

Впрочем, что сегодня судить былые особенности жизни. Каждому времени — своя степень мудрости, как и своя доля наива. Главное же то, что нынче, в XXI веке, давняя, нераскрывшаяся жемчужина архитектурного замысла обрела наконец свое завершение и может теперь радовать как любителей зодческого эксклюзива, так и просто любителей отдохнуть на природе, не выезжая за пределы Москвы. И это — логическое завершение моего давнего интереса к архитектурному чуду, именуемому Царицыном...

Впрочем, вот еще что. Прощаясь с XVIII веком и его своеобразием, я хочу вспомнить свое второе посещение Донского монастыря тогда же, в 1980-е. В тот раз меня сопровождал уже упоминавшийся сокурсник Владислав Суслов, а это значит, что не только я мог запечатлеть его на фото для истории, но и он меня. И вот, поравнявшись в старом некрополе с теми тремя белокаменными надгробиями «века осьмнадцатого» с трудночитаемыми надписями, я присел на одно из них и попросил приятеля запечатлеть меня общим планом, что он успешно и сделал...

Прошло лет десять. В 1990-е я стал активно стихотворствовать. И вот как-то мне попалась на глаза та давняя фотография из Донского монастыря, и родились строки:

Я сидел на масонских надгробьях,
Восемнадцатый век поминая,
И мне виделись лед, и сугробы,
И Москва совершенно иная.

И бежали на масленку тройки,
Обдавая обочины снегом.
И вкушали в застольях настойку,
Заедая изысканной снедью.

Были вирши и с пафосом речи.
А потом, запершись в кабинетах,
Говорили опасное нечто
И давали друг другу обеты.

В этот час в Черногрязье Баженов
Сочинял в кирпиче свою песню,
Что слагалась согласно сюжету,
Утвержденному тайно и вместе.

А другой брат — Демидов Прокофий,
Отерев сальность губ полотенцем,
Перед тем, как усесться за кофий,
Погрозил предкаминным поленцем:

«Мол, каков ты ни есть розенкрейцер
Иль „мартышка“ с сафьяновым задом,
На прощенье долгов — не надейся,
И ссылаться на братство не надо.

Разорю, ишь, и вся тут недолга,
Не боюсь, что якшаешься с принцем.
Как пущу бурлаком да по Волге,
Враз узнаешь магнатский мой принцип».

И уже собирались жандармы
(Или как то звалось в оны годы)
Отвезти в кандалах, а не в бармах
Новикова на финские воды...

Восемнадцатый век, словно птица,
Надмогильную песню щебечет —
То пытается из виду скрыться,
То ложится шинелью на плечи.

То заводит старинную сказку,
В толкованье которой нет проку...
И вздохнул под плитою Херасков,
Не сумевший остаться пророком.

Стихи понравились главному редактору журнала «Юность» Виктору Сергеевичу Липатову, и он опубликовал их в очередном номере в составе моей подборки.

С тех пор прошло еще полтора десятилетия. В Царицыне я больше не был — не хочется потерять то благостное впечатление, что приобрел в последний раз...

А вот в Донской монастырь сходил — все прежнее осталось на месте: и три «масонских» надгробия, и Херасков, и другое. Разве что сам монастырь ожил, церковь активно взялась за его освоение. В главном храме жарко пылали свечи, пелись псалмы, и было в достатке народу.

Видел и новых насельников старого погоста — могилы Деникина, Ильина, Солженицына. Они смотрелись новенькими инородными вставками в этом увядающем царстве прошлого и не вызывали должного пиетета.

Легкий ветерок, что тронул верхушки редких деревьев, вдруг навеял ставшую уже банальной мысль, что-де история сослагательного наклонения не имеет, и потому если в первый раз ее сюжет прозвучал в высокой тональности драмы или даже трагедии, то повторно, увы, выйдет подобие «кикса» (фальшиво взятой ноты)...

Дмитрий ЛАНКО

ШКОЛА И ФИНСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО

Мечты Микаэля Агриколы и реальность в стиле стимпанк

Девяносто лет назад в Хельсинки освятили новую церковь. Тяготы Великой депрессии остались позади, в финской столице активно строились заводы и фабрики. И дома для рабочих, которые тогда возводились как можно ближе к самим заводам, поскольку личных автомобилей у финских рабочих девяносто лет назад еще не было, да и в трамваи все они не поместились бы. А еще строились церкви, чтобы рабочим было куда ходить по воскресеньям. Новая церковь, о которой здесь пойдет речь, стала самой рабочей из всех рабочих церквей Хельсинки — недаром улица, на которой стоит эта церковь, и тогда, и сейчас называлась Заводской. Новая церковь идеально вписалась в урбанистический пейзаж заводского района с его краснокирпичными фабричными зданиями, дымовыми трубами и рабочими бараками, а ее тридцатиметровый шпиль прорезал пасмурное северное небо финской столицы, в котором промышленный дым заполнял редкие разрывы в облаках.

Поначалу, правда, муниципалитет хотел построить церковь в традиционном для скандинавских городов стиле — с белыми стенами без единого украшения, призванными подчеркнуть скромность и чистоту лютеранской веры. Но когда архитектор Ларс Сонк принес свой проект в стиле, который историки XX века назвали скучным словом функционализм, а искусствоведы сегодняшнего дня определили бы как стимпанк, даже консерваторы из городской комиссии по строительству поняли, что это — именно то, что нужно. В Хельсинки тридцатых годов прошлого века прежние господа помещики уступали дорогу капиталистам — новым властителям улиц и городов, толпы пролетариев, шагающих на работу под рев заводских гудков, заставляли традиционных бюргеров прижиматься спинами к стенам домов, мальчишки-беспризорники сновали среди добропорядочных граждан, а навстречу спешащим за покупками матерям семейств решительно чеканили шаг не добитые в гражданскую войну феминистки.

В таком городе и в таком районе для краснокирпичной церкви под стальным куполом было самое место. За девяносто лет этот район Хельсинки существенно изменился. Правда, старая верфь стоит на том же месте — у воды. Однако большинство заводов переехали подальше от центра города. И рабочие здесь больше не живут — едва ли простой рабочий сегодня может позволить себе квартиру почти в самом центре Хельсинки. Лишь одна старая заводская труба по-прежнему бросает вызов шпи-

Дмитрий Александрович Ланко — кандидат политических наук, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, автор книги «Процессы глобализации, регионализации и локализации вокруг Балтийского моря». Живет в Санкт-Петербурге.

лю старой церкви. Да высится водонапорная башня посреди парка. И сама старая церковь по-прежнему на месте. Церкви оказались долговечнее заводов. Те же, кто в прошлом веке верил, что заводы, мол, скоро вытеснят церкви из городского пейзажа и новыми архитектурными доминантами станут лаборатории гениальных почти до безумия ученых и инженеров, которые поведут человечество прямиком к звездам, видимо, ошиблись.

Про старую церковь нельзя сказать, однако, что она доживает свой век. Хотя заводы и фабрики в этом районе уступили место художественным галереям и зарубежным посольствам, включая и российское, старая церковь по-прежнему является главным украшением района. Потому что заводская архитектура может быть по-настоящему прекрасной. А тот, кто не способен искренне восхищаться шедеврами заводской архитектуры, не достоин благ модернизации. Превозносить достижения модернизации и одновременно мечтать о том, чтобы с городских улиц побыстрее исчезли краснокирпичные корпуса, где эти достижения модернизации и были выкованы — это все равно что любить круассаны на завтрак, но презирать крестьян, вырастивших зерно, ставшее теми самыми круассанами. К счастью, людей, не любящих заводскую архитектуру, не так-то много. Иначе бы интерьеры в стиле лофт не оказались так популярны в наши дни.

Однако вернемся на девяносто лет назад. Только что построенная церковь была освящена в честь Микаэля Агриколы — человека, познакомившего финнов с лютеранской верой. За свою недолгую жизнь — а Микаэль Агрикола умер, не дожив и до пятидесяти — этот человек успел поучиться у самого Мартина Лютера, бешено работать под началом шведского короля, решившегося обратить всю страну в лютеранство, дослужиться до архиепископа всей Финляндии и даже возглавить шведскую делегацию на переговорах с Московской Русью по итогам очередной русско-шведской войны. Будучи в Москве, Агрикола встречался с самим Иваном Грозным, который, доверив мирные переговоры новгородскому посаднику, пытал финского архиепископа на предмет протестантизма. Послушав Агриколу, царь счел протестантизм опасной ересью, но идея конфискации монастырских земель запала ему в душу, и впоследствии он включил земли некоторых монастырей в опричнину.

А еще Микаэль Агрикола придумал финскую азбуку. Ученики Мартина Лютера стремились сделать Слово Божье понятным пастве, а для этого требовалось перевести Библию с латинского языка на народные. Однако у финского народа на тот момент письменность отсутствовала, и прежде чем перевести Библию на финский язык, требовалось создать финскую грамоту, что Агрикола и исполнил. В предисловии первого издания Библии на финском языке он написал, что «язык моего народа существовал всегда, своей заслугой я считаю лишь перенесение его на бумагу». Финны оценили его заслуги, поставив ему памятник в Турку перед собором, в котором он проповедовал. Девятое же апреля — день смерти Агриколы, чей день рождения так и остался неизвестным — объявлено в Финляндии Днем финского языка. Финны отмечают его и сегодня, поднимая в этот день флаги над своими домами и вручая лучшим переводчикам премию имени Агриколы.

Впрочем, придумать финский алфавит с такими же буквами, как и в шведском алфавите, перевести на финский язык Библию и издать ее — это только полдела. Чтобы финны могли сами читать Библию, нужно было научить их читать. И хотя во времена Агриколы финнов было много меньше, чем сегодня, научить их всех читать один человек ни за что бы не смог, даже если бы Бог, в которого он так истово верил, ограничил его век не скромными пятьюдесятью годами, а втрое большим сроком. Ведь даже и через триста лет после смерти Агриколы большинство финнов оставались неграмотными. Агрикола завещал финским священникам будущего учить крестьянских

детей грамоте, и редкий священник осмеливался ослушаться его заветов и проигнорировать эти свои обязанности. Однако далеко не все дети хотели учиться, и далеко не все родители считали нужным заставлять их. Потому что для крестьян в грамоте не было нужды.

Нужда сделать всех финнов грамотными возникла лишь в эпоху модернизации. Без модернизации не было бы всеобщей грамотности, а без всеобщей грамотности не было бы модернизации. Крестьянину грамота не нужна, поскольку всю работу на поле крестьянин делает сам. Сам пашет и сеет, сам заботится о всходах и борется с вредителями, сам собирает урожай, обмолачивает его и отвозит зерно на мельницу. И сам же долгими финскими зимними вечерами чинит примитивные приспособления, помогающие ему пахать и сеять, убирать и молотить, лишь изредка обращаясь за помощью к кузнецу. А в свободное время крестьянин успевает еще огородничать и строить, ходить за скотиной и ловить рыбу, и даже охотиться, пока не видит помещик. Всю эту работу крестьянин выполняет сам, с помощью своих домочадцев и немногочисленных работников, которые все живут в его доме, а потому нашему крестьянину нет нужды писать им инструкции на следующий день.

Другое дело — завод или, например, та же верфь, которая и в наши дни возвышается в противоположном от Российского посольства конце Заводской улицы в Хельсинки, хотя сегодня жизнь на верфи не кипит так бурно, как в тридцатые годы прошлого века. В строительстве каждого корабля принимают участие тысячи людей, каждому из которых не хватит и всей жизни, чтобы лично встретиться со всеми остальными по очереди и обсудить, как они должны взаимодействовать между собой, чтобы из их разрозненных усилий получился корабль. Без письменных инструкций и служебных записок корабль не построить. А значит, все рабочие, как минимум, должны уметь читать, а еще лучше — чтобы они умели также писать и считать. Однако научить рабочих читать инструкции, составленные инженерами и мастерами, — это только полдела. Даже если рабочие смогли прочитать и понять инструкцию, они еще должны ее выполнить. Дисциплинированными люди не рождаются, но становятся. В школе.

Если крестьянин будет прилежно работать, то он сам, его семья и работники будут сыты весь год. Если будет лениться — они все умрут с голоду. Соседи будут грустить, и даже сам помещик придет в церковь на отпевание и скажет дежурные слова о том, что покойный был, по сути, хорошим человеком, но на все воля Божья. Однако с экономической точки зрения лень одного крестьянина не нанесет помещику серьезного ущерба. Просто один год один крестьянский двор не заплатит оброка. Но на будущий год на этом дворе поселится новая крестьянская семья, и оброк будет уплачиваться по-прежнему. Другое дело — завод или та же верфь. Там успех общего дела зависит от усердия каждого работника. Если корабль, над созданием которого в течение нескольких лет трудились десятки инженеров и тысячи рабочих, утонет из-за того, что у одного-единственного рабочего в один-единственный день болела голова, а потому он не заклепал швы должным образом, получится нехорошо.

На заводе дисциплина — это ключ к успеху. Много лет назад в пивной на Заводской улице в Хельсинки один финский инженер, работавший на той самой верфи, рассказал мне легенду про Киллроя. А много лет спустя в Петербурге уже русский инженер, также имеющий непосредственное отношение к судостроению, рассказал мне ее снова. Легенду про Киллроя слышали большинство людей, работающих в судостроении, в Америке и в Англии, в России и в Финляндии, и наверняка также в Японии и Южной Корее, где тоже строят много кораблей, хотя тому у меня и нет прямых доказательств. В старину, гласит легенда, стальные листы, из которых собирались корпуса кораблей, прикрепляли друг к другу не сваркой, как сейчас, а заклепками. Один

рабочий заползал внутрь строящегося корабля, вставлял заготовку для заклепки в заранее сделанное отверстие и изо всех сил наваливался на шляпку будущей заклепки всем телом, стремясь удержать ее неподвижно.

В это время другой рабочий снаружи корабля изо всех сил бил кувалдой по высунувшемуся на его сторону концу заготовки для будущей заклепки, чтобы расплющить его во вторую шляпку — уже с внешней стороны. Это была очень трудная работа. Представьте себе человека, сидящего в неудобной позе в железной бочке, по которой снаружи кто-то колотит кувалдой. Даже не подозревая, что он не просто делает корабль, но выковывает блага модернизации, которые мы, его потомки, подчас недостаточно ценим сегодня. И так по много часов в день с коротким перерывом на обед. Неудивительно, что у тех рабочих, кто клепал корпуса кораблей, часто болела голова. Чтобы больная голова не становилась причиной некачественно заклепанных швов, на верфи работал контролер. Когда рабочие, клепавшие один из швов будущего корабля, уходили на обед, контролер заползал внутрь корабля и проверял, качественно ли установлены заклепки.

Заодно контролер считал, сколько заклепок установила каждая бригада, потому что зарплату рабочим платили в зависимости от того, сколько заклепок они установят за день. Проверив качество заклепок и пересчитав их, контролер делал мелом на корпусе корабля отметку, чтобы вечером еще раз вернуться и посчитать, сколько заклепок те же рабочие установили после обеда. Рабочие, в свою очередь, вернувшись с обеда, стирали отметку, нарисованную контролером, и рисовали другую отметку, чтобы часть заклепок, установленных в первую половину дня и уже учтенных контролером, были вечером им посчитаны за заклепки, установленные во вторую половину дня, и учтены повторно. Тогда и рабочие бы получили за эти заклепки двойную плату. В какой-то момент уже управляющие верфью заметили, что по планам, составленным инженерами, в корабле должно быть около десяти тысяч заклепок, а рабочим приходится платить за установку двадцати тысяч заклепок.

Контролерам был отдан приказ усилить бдительность. Разные контролеры выполнили этот приказ по-разному. Киллрой — это была фамилия контролера, работавшего, по легенде, на одной из верфей на Восточном побережье США — поступил следующим образом. Раньше он просто проводил черту в том месте, где заканчивался ряд заклепок в тот час, когда он приходил с проверкой. Теперь же он начал не просто проводить черту, но рисовать над чертой полголовы очень сердитой утки, как будто выглядывающей из-за черты, как из-за забора. И писать рядом слова «Киллрой был здесь». Убедительно воспроизвести картинку с сердитой уткой, выглядывающей из-за забора, рабочие не могли. Пришлось им перестать жульничать. Зато жульничать начали те самые управляющие, которые здорово сэкономили на оплате труда рабочих благодаря творческим способностям Киллроя. Они придумали, что готовый корабль можно красить снаружи, а изнутри — необязательно.

Так они сэкономили еще и на краске. В результате десятки кораблей с той верфи так и отправились в плавание — неокрашенными изнутри, со сделанными Киллроем рисунками мелом, которые никто не потрудился стереть. И тысячи моряков, ходивших на тех кораблях, увидели эти рисунки и надписи. Правда, они не знали, что Киллрой — это контролер на верфи, а потому подумали, что так зовут сердитую утку. Если бы это происходило сегодня, культурологи сказали бы, что родился новый мем. А еще утку Киллроя увидели тысячи рабочих в тех доках, куда эти корабли заходили на ремонт. Так родилась легенда о Киллрое, которую сегодня пересказывают друг другу и всем готовым слушать работники судостроительной отрасли во всех приморских городах мира. Еще одна легенда о том, что блага модернизации не бы-

ли бы выкованы без изнурительного труда и строжайшей дисциплины среди тех, кто их ковал.

Если контролер на верфи замечал, что какие-то рабочие делают заклепки некачественно, он заставлял их переделывать работу. Но что делать, если рабочие вообще не пришли на работу? Останавливать производство? Ни в кое случае! Нужно немедленно взять на работу других рабочих. Которые должны быть готовы в кратчайшие сроки научиться делать работу, не сделанную прогульщиками. А для этого у всех рабочих должен быть одинаковый набор базовых знаний, который позволял бы одним рабочим без особых проблем заменять других. Потому что этого требует экономика. У людей непосвященных контора из анекдота, где компьютерных дел мастер пылесосит пол, потому что уборщицу отправили срочно отвезти документы партнерам, потому что курьер занят тем, что переустанавливает программное обеспечение на компьютере секретарши директора, вызывает улыбку.

Однако с точки зрения экономики контора, где компьютерных дел мастер, уборщица и курьер могут в случае необходимости без проблем заменить друг друга, идеальна. Потому что в такой конторе никогда не случается простоев. Поэтому в эпоху модернизации школа должна учить людей не только читать, писать, считать и дисциплине. Школа должна учить людей быть одинаковыми, чтобы в случае чего они могли заменять друг друга. Когда я пишу, что без всеобщей грамотности не было бы модернизации, я имею в виду, что модернизация невозможна без общеобразовательной школы. Однако я не имею в виду идеальную школу сегодняшнего дня, в которой терпеливые педагоги трудолюбиво выявляют уникальные таланты у каждого из своих учеников, чтобы составить для каждого из них персональную программу обучения, в наибольшей степени соответствующую его особенностям, следование которой позволило бы максимально раскрыть индивидуальность каждого обучающегося.

Я имею в виду идеальную школу эпохи модерна, где всех учеников делают одинаковыми. Школа — это место, где каждого ученика должны научить, что слово «молоко» пишется с тремя буквами «о» и никак иначе. И если я создам инновационную школу, в которой я буду поощрять учеников писать слово «молоко» так, как им заблагорассудится, лишь бы это способствовало развитию уникальных индивидуальностей каждого из учеников, то мне скажут, что я создал плохую школу. Потому что ее выпускники не умеют грамотно писать. В России хорошей школой считается та, где большинство выпускников знают, что день рождения Александра Сергеевича Пушкина приходится на шестое июня. В Финляндии большинство выпускников школ знают, что День финского языка, он же день смерти Микаэля Агриколы — девятое апреля. И хотя едва ли кому-нибудь из них это знание помогает в профессиональной деятельности, без школ, которые вдолбили эту информацию в головы финнов, в Финляндии не было бы модернизации. О том, как это произошло — это эссе.

Казалось бы, при чем тут немцы

Не только экономике нужны одинаковые люди, чтобы они могли заменять друг друга. Еще больше одинаковые люди в эпоху модерна были нужны армии. Это в средние века каждый рыцарь, являвшийся во время войны под знамена своего короля, воевал, как хотел. Теоретически у средневековых королей тоже были представления о тактике и стратегии, о необходимости отправить вперед авангард и приберечь на переломный момент битвы засадный полк. Однако в реальном бою все эти мудрые соображения отходили на второй план. Каждый рыцарь, напрочь забыв о том, на какой фланг его поставил король, стремился туда, где, по его мнению, можно было наилуч-

шим образом проявить личную доблесть. Потому что того, кто наилучшим образом проявит свою доблесть в бою, после победы ждут милости от короля, почести при дворе, а также земли на завоеванных территориях, которые король будет щедро раздавать самым храбрым из своих рыцарей.

Тому же, кто будет дисциплинированно ждать своей очереди проявить личную доблесть на правом фланге, куда его поставил король, в то время как основные события будут происходить на левом, не достанется ни милостей от короля, ни почестей, ни земель. В результате уже через несколько минут после начала средневековые битвы распадались на множество индивидуальных сражений между рыцарями, кони и люди смешивались в кучу, как писал Лермонтов — большой поклонник идеи рыцарской доблести, явно родившийся не в свое время, а исход битвы попадал в зависимость от удачи отдельных рыцарей. Толстовский князь Андрей Болконский, подобно Лермонтову, тоже родился не в свое время. В средние века один рыцарь в самом деле мог своей доблестью изменить ход битвы, а вместе с ней — и ход истории. На поле Аустерлица же у князя Андрея такая возможность отсутствовала даже гипотетически.

Изобретение огнестрельного оружия и артиллерии положило конец средневековым войнам. Теперь ни один рыцарь не успел бы доскакать до неприятеля, чтобы проявить личную доблесть — его бы подстрелили еще на подходе. Некоторые короли пытались экспериментировать с обучением потомков бывших рыцарей владению огнестрельным оружием, вербуя обедневших гасконских дворян в мушкетеры, однако эти эксперименты оказались не вполне удачными. С храбростью у дворян было все в порядке, а вот дисциплина, необходимая, чтобы держать строй, у них отсутствовала напрочь. Вскоре рыцарей оставили в покое, превратив в помещиков и заставив служить экономике, а не войне. В войнах же решающую роль начали играть наемники. Однако денег у европейских королей позднего средневековья было мало, а потому они вскоре додумались использовать в войнах простолюдинов.

Еще Макиавелли писал, что собственные граждане гораздо лучше пригодны для военной службы в интересах своего Отечества, чем наемники. Правда, он писал о горожанах, а не о крестьянах. Однако и крестьяне, как оказалось, могут воевать не хуже горожан и дворян-рыцарей. Шведский король Густав II Адольф в годы Тридцатилетней войны первым из европейских монархов додумался ввести всеобщую воинскую повинность, и Швеция вышла из войны среди победителей. Финляндия тогда была под властью Швеции, и финские крестьяне тоже внесли вклад в шведскую победу. Особенно отличилась финская крестьянская конница — так называемые хакапелиты — сегодня это слово известно каждому автомобилисту благодаря тому, что им названа популярная модель шин. Правда, если рядовыми в шведской армии служили и крестьяне, то большинство офицеров набиралось из дворян.

Становиться офицерами крестьянам мешали не только сословные предрассудки, но и отсутствие образования. Впрочем, у офицеров из дворян с образованием тоже были проблемы. Нет-нет, я не имею в виду, что многие из них не умели читать и писать и возили в обозе толмача, чтобы разбирать королевские депеши. Читать и писать они умели замечательно. Однако большинство из них получали образование дома. Даже будущий основоположник диалектического материализма Георг Гегель в молодости работал домашним учителем, пока его отец не умер и не оставил ему наследство, чтобы он мог посвятить все время философским изысканиям. Домашние учителя прекрасно справлялись с задачей научить отпрысков аристократических семей не только чтению, письму и счету, но и классическим и современным иностранным языкам, логике и риторике, математике и астрономии, искусствам и богословию, праву и медицине. И даже владению шпагой.

Однако домашние учителя, как правило, были вольнодумцами. Особенно очевидным это стало после Великой французской революции, которой симпатизировало большинство образованных людей Европы того времени, включая того же Гегеля. В результате военными офицерами, например, в Пруссии становились люди, которым все детство учителя вдалбливали в головы, что Франция — самая прогрессивная в мире страна. Неудивительно, что в 1806 году Пруссия потерпела сокрушительное поражение от войск Наполеона. Прусский король Фридрих Вильгельм III возложил вину за поражение на воспитанное домашними учителями, которые все поголовно были поклонниками Франции, прусское офицерство и постановил ввести в стране обязательное школьное образование. Чтобы дети всех сословий, кому предстояло в будущем стать прусскими офицерами, учились не только наукам, но и Родину любить.

Поручить школьную реформу Вильгельму фон Гумбольдту, который сам в молодости ездил в Париж, чтобы своими глазами увидеть Великую французскую революцию и, по его собственному выражению, «присутствовать при похоронах французского деспотизма», было, конечно, рискованным шагом со стороны прусского монарха. Однако выбирать ему было особо не из кого. И рискованная ставка оказалась выигрышной. В короткие сроки в Пруссии появилась система общеобразовательных школ. Уровень образования у выпускников был, конечно, ниже, чем у дворянских детей, получавших домашнее образование. Но это всегда так: чем больше у тебя учеников, тем меньше они знают. Если отбирать для учебы только самых лучших, то можно вырастить нескольких гениев. Если же стремиться научить всех, то уровень подготовки окажется средненьким. Зато в гумбольдтовских школах учеников учили не свободе, но дисциплине, не культивировать свою индивидуальность, но быть как все, не вольнодумству, но верности престолу.

Образованные европейцы за это окрестили Пруссию первой половины XIX века «центром реакции». Впрочем, не все. Тот же Гегель, получивший при Фридрихе Вильгельме III пост профессора в незадолго до того основанном этим монархом Берлинском университете, читал там лекции по философии истории, из которых выходило, что современная ему Пруссия под властью мудрого кайзера смогла взобраться на вершину человеческого развития. Якобы лишь в Пруссии государство и граждане — антагонисты в других странах и в прошлые эпохи — смогли объединить свои усилия ради величия Родины. Эти лекции слушали будущие прусские школьные учителя перед тем, как отправиться к своим кафедрам в городах и селах, где им предстояло учить будущих офицеров прусской армии. И ждать результатов не пришлось долго. Уже к концу XIX века Пруссия, одержав ряд военных побед над соседями, превратилась в Германскую империю.

В 1866 году, когда прусская армия нанесла поражение Австрии в битве при Садове на территории современной Чехии, немецкий географ и антрополог Оскар Пешель написал, что эта победа ознаменовала «победу прусского учителя над австрийским школьным учителем». Молва немедленно приписала эту фразу тогдашнему министру-президенту Пруссии Отто фон Бисмарку, но если Пешель и обиделся из-за этого, то он не подал виду. Потому что он тоже ходил в немецкую школу, правда, не в Пруссии, а в Саксонии, где его научили, что индивидуальность — это плохо, а быть как все — это хорошо. Победы прусского оружия, последовавшие за битвой при Садове, сделали это заявление все более популярным. В результате и через сто лет после битвы при Садове немецкое образование, как школьное, так и университетское, считалось лучшим в мире, а другие страны, даже США, пытаясь строить свою систему образования, ориентировались именно на Германию.

Тем более что результатом школьной реформы Гумбольдта стали не только военные победы Пруссии. Оказалось, что всеобщее образование, причем именно такое, какое создал Гумбольдт — не столько способствующее развитию индивидуальных особенностей учеников, сколько делающее их одинаковыми, — приносит удивительные результаты также и в мирной жизни. Тому, как всеобщее образование превратило Германию в одного из лидеров европейской экономики, не один десяток страниц посвятил американский социолог Рэндалл Коллинз. Оно и неудивительно: хотя Коллинз и родился в Америке, мальчишкой он жил в послевоенном Берлине, где его отец работал в американской оккупационной администрации. И хотя Коллинз окончил целых три американских университета и ни одного немецкого, его студенческие годы пришлись на начало шестидесятых годов прошлого века, когда американская профессура еще восхищалась немецкими университетами.

Коллинз согласен, что общеобразовательная школа, задуманная Фридрихом Вильгельмом III ради того, чтобы в будущем чаще выигрывать, чем проигрывать войны, подготовила для Пруссии не только непобедимую армию солдат, но и армию рабочих. Причем рабочих именно таких, какие были нужны экономике эпохи модерна: прекрасно образованных, дисциплинированных, бесконечно преданных своей стране и в любой момент готовых заменить друг друга у станка. В то время как французские рабочие не мыслили трудового дня без нескольких перерывов на обед, причем обязательно с вином, немецкие рабочие были готовы работать от зари до зари, не позволяя себе выпить пива до того, как рабочий день завершится. Так они создали то, что сегодня встречается все реже, но чем Германия еще какое-то время будет знаменита далеко за своими пределами: немецкую точность и немецкое качество.

Коллинз утверждает, что общеобразовательная школа создала также и немецкую бюрократию. Основу немецкой бюрократии заложил еще прусский король Фридрих II, прозванный Великим. В отличие от Фридриха Вильгельма III, который жил уже после Великой французской революции, а потому хорошо знал, что вольнодумство, как правило, заканчивается тем, что королю отрубают голову, Фридрих II благоволил вольнодумцам, за что подданные также прозвали его «королем-философом». Не любя Берлина, он переехал жить в Потсдам, куда пригласил из Франции самого Вольтера, чтобы тот помог ему переустроить общественную жизнь в Пруссии в соответствии с идеями эпохи Просвещения. Одним из аспектов этого переустройства стало введение экзаменов для желающих занять должность на государственной службе. Ведь раньше в Пруссии, как и в других европейских странах, государственные должности продавались всем, кто был готов заплатить.

Мечтая переустроить всю общественную жизнь в Пруссии, Фридрих II в то же время руководствовался принципом, предписывающим жить самому и давать жить другим. Поэтому аристократы, желающие получить должность на государственной службе, освобождались от экзаменов. В результате большинство должностей остались в руках аристократов, которые исполняли свои обязанности, исходя из интересов в первую очередь своего клана, а уж потом — своего кайзера. Серьезные изменения начались лишь через сто лет. К тому времени общеобразовательные школы сделали жителей Пруссии практически поголовно грамотными, а благодаря этому число людей незнатного происхождения среди чиновников возросло. Да и выходцы из аристократических родов изменились: теперь, когда и дворяне были обязаны отправлять своих детей в общеобразовательные школы, их дети тоже усвоили, что интересы кайзера нужно ставить на первое место.

В результате к концу XIX века у Германии была лучшая в мире бюрократия. Впрочем, лучшая в мире бюрократия способна не только заставить все поезда в стране всег-

да приходить строго по расписанию, она также способна строго по расписанию совершать чудовищные преступления. Я не знаю, кого ожидала увидеть на скамье подсудимых Ханна Арендт, отправляясь в Иерусалим на суд над архитектором холокоста Адольфом Эйхманом. Но увидела она там банального чиновника, правда, очень хорошего чиновника. Этот чиновник поставил себе целью создать самую эффективную в мире систему по уничтожению евреев, и он ее создал. О том, что его система убивает людей, он как-то не думал. Потому что немецкие школы, одну из которых когда-то окончил и Эйхман, готовят не философов-гуманистов, но чиновников. Свою книгу об этом чиновнике Ханна Арендт назвала «банальность зла». Прочитав эту книгу, я начал бояться слова «эффективность».

Прусский король Фридрих Вильгельм III, однако, не боялся слова «эффективность»; наоборот, об эффективности он мечтал. Он мечтал о самых эффективных в мире солдатах, рабочих и чиновниках. Немецкая общеобразовательная школа, созданная по рецептам Гумбольдта, дала ему их. Король был счастлив. Чего не скажешь о немецких детях. Детям, видите ли, не нравится, когда их делают одинаковыми. Наоборот, каждый ребенок верит, что он — особенный. И ни один из них не ошибается. Поэтому дети бунтуют. Литература посвятила этому бунту миллионы страниц, а кинематограф — миллионы метров кинопленки. В самых дальних уголках Европы XIX века, докуда только добрались идеи Гумбольдта, школьники бунтовали, а писатели пытались перенести их чувства на бумагу. В России, где идеи Гумбольдта одинаково захватили как революционеров, так и консерваторов, бунтующие школьники тоже поселились на страницах книг.

Бунтуют Тема и его товарищи-гимназисты у Николая Гарина-Михайловского. Особенное негодование Темы вызывает необходимость изучать в гимназии классические языки. Когда его товарищи решаются издавать рукописный журнал, Тема вызывается написать эссе о ненужности классических языков. Его аргументы, впрочем, Гарин-Михайловский читателям не раскрывает. Кроме, пожалуй, того парадокса, что классики почитаются великими мыслителями, однако они стали таковыми, не читая классиков, поскольку до них никаких классиков не было. И читатели понимают, что аргументы Темы не имеют никакого значения для повествования, потому что Тема бунтует не против классических языков как таковых, но против того, что гимназия пытается сделать его таким же, как все. Все должны учить классические языки, значит, и Тема должен. А Тема не хочет быть, как все. Вот и бунтует. А классические языки — это только предлог.

Бунтуют братья Леля и Ося у Льва Кассиля. Сведения об их бунтах заносятся в кондуит — журнал для записи проступков учеников. После прихода революции ученики сжигают кондуит, потому что теперь вместо старой гимназии будет новая школа, в которой все будет так, как хотят ученики, а потому они перестанут бунтовать, и записывать в кондуит станет нечего. Однако мечты о школе с ученическим самоуправлением, где нет ничего, против чего ученики могли бы бунтовать, а потому нет и проступков, так и остаются мечтами. У Белых и Пантелеева в Республике ШКИД самоуправления — хоть отбавляй, но без кондуита все равно не обойтись. Правда, теперь он называется «летописью». Ведь новая школа делает со своими учениками то же, что и школа старого режима: воспитывает их всех одинаковыми. Все бывшие беспризорники становятся комсомольцами и активистами, потому что, как мудро замечает Цыган в финале книги, «Шкида хоть кого изменит».

Школа эпохи модерна меняла своих учеников, а ученики, не желая меняться, бунтовали. Под влиянием этого бунта менялась и школа. У сегодняшней школы мало общего со школой эпохи модерна. Многие читатели еще помнят старую школу, которая

пыталась делать всех одинаковыми: сначала октябрятами, потом пионерами, а потом и комсомольцами. В той старой школе родительские собрания были местом, где учителя ругали родителей за то, что их дети плохо учатся и не желают быть, как все. В сегодняшних школах царят ученики и их родители. И родительское собрание в сегодняшней школе — это место, где родители ругают учителей за то, что те якобы плохо учат их детей и не желают принимать во внимание индивидуальные особенности каждого ребенка. От такой школы не стоит ждать, что из нее выйдут идеальные солдаты, рабочие и чиновники. Впрочем, может, оно и к лучшему? Второго Эйхмана планета может и не перенести.

Рождение народной школы

В Швеции, под властью которой в XVIII веке находилась Финляндия, все происходило примерно так же, как в Германии. В чем-то Швеция была впереди, в чем-то — Германия. Как я уже говорил, шведский король Густав II Адольф первым додумался ввести всеобщую воинскую повинность для простолюдинов. Тогда же у шведского короля появилась идея, что негоже, когда детей шведских аристократов учат домашние учителя-вольнодумцы, а детей шведских крестьян — священники в воскресных школах. Потому что священники, помимо грамоты, вдалбливают детям крестьян в головы, что воля Господа, озвученная архиепископом, важнее воли короля. А домашние учителя учат детей, что важнее воли короля — воля их собственных родителей, которые платят этим самым учителям зарплату. Получается, что авторитет короля — где-то на третьем месте, после родителей и церкви. Ситуация, с точки зрения короля, совершенно ненормальная.

Постепенно короли начали понимать, что за обучение детей должны платить они сами, а не родители и церковь. И даже начали что-то делать в этом направлении. Тот же Густав II Адольф, завоевав в годы Тридцатилетней войны Прибалтику, повелел основать в Дерпте — нынешний город Тарту в Эстонии — университет за счет королевской казны. Эта политика продолжилась и после смерти короля. Пока его преемница на троне королева Кристина оставалась несовершеннолетней, регентский совет под руководством государственного канцлера Акселя Оксенштерна основал в Або — нынешнем городе Турку в Финляндии — еще один университет. При следующем шведском короле Карле X Густаве государственным школам нашли новое применение — воспитание лояльных подданных на завоеванных территориях. Дело в том, что до Карла X Густава Шведское королевство контролировало только северную часть территории нынешней Швеции.

Южная же ее часть оставалась под властью Дании. Причем Дания хотела все больше, правда, получалось это у нее все хуже. Когда Дания в очередной раз напала на Швецию, Карл X Густав одолел датские войска и присоединил к Швеции южную часть Скандинавского полуострова. На словах, население этих земель было счастливо оказаться под властью шведского короля. Потому что кто не демонстрировал счастье достаточно убедительно, тому отрубали голову. Однако говорило население только что присоединенных земель по-датски, и у шведского короля возникли опасения, что вместо лояльных подданных он получил ждунов, которые будут тихонько саботировать его приказы, пока датчане в следующую войну не придут их освобождать. И тогда король построил им школы, где их учили шведскому языку, параллельно объясняя, что тот язык, которому их научили отец и мать, — это простонародный язык, а теперь их научат элитному языку.

Шведский язык похож на датский, поэтому уловка сработала. И сегодня большинство населения Южной Швеции верит, что они — такие же шведы, как и те, кто живет в районе Стокгольма и севернее. Однако пока шведские короли переучивали вчерашних датчан в шведов, им было не до школ в Финляндии. Тем более что финский язык совсем не похож на шведский. И объяснить финнам, что они говорят на шведском языке, только сильно исковерканном простонародными выражениями, все равно не получилось бы. Поэтому финны были признаны дикими. Где-то на уровне подсознания шведские короли помнили, что финнам как-нибудь нужно построить школы, чтобы со временем преодолеть их дикость. Однако каждый раз, когда очередной шведский король вспоминал про необходимость построить школы для финнов, подданные напоминали ему о других неотложных делах, на которые тоже требуются деньги, и постройка школ для финнов опять откладывалась.

Получилось, как в той же Пруссии в том же XVIII веке. Формально всеобщее, включая и крестьян, но пока необязательное образование в Пруссии было введено еще при Фридрихе Вильгельме I, однако реально этим занялся, как мы помним, лишь Фридрих Вильгельм III сто лет спустя. Так же и в Финляндии. Формально еще со времен королевы Кристины в Швеции, а следовательно — и в Финляндии существовали общеобразовательные школы трех уровней. Младший уровень назывался педагогиями, там учили читать, писать и считать. По-шведски. Читать и писать по-фински крестьянские дети по-прежнему учились в воскресных школах. Церковь не забывала заветов Микаэля Агриколы, светские же власти полагали, что учить крестьянских детей читать и писать по-фински — пустая трата времени. Ведь других книг, кроме Библии, на финском языке не было. Научатся читать Библию — уже молодцы. А серьезное образование должно быть на шведском языке.

Средний уровень назывался тривиальной школой, там уже учили не только шведскому, но и немецкому и французскому, а также классическим языкам, математике и риторике. Лучшая в стране тривиальная школа была в Турку, где учили те же преподаватели, что и в университете. Ее выпускники могли сразу поступать в университет. Для тех же, кто заканчивал тривиальную школу в других городах, требовалось окончить школу высшего уровня — гимназию. Впрочем, гимназия в Финляндии в начале XVIII века была всего одна — в Выборге, новые гимназии начали создавать лишь после того, как Выборг при Петре I стал российским. Тривиальные школы и гимназии были исключительно в городах, да и большинство педагогий тоже, педагогия в сельской местности была редкостью. Для деревенских детей устраивали вахтовые школы: учитель ходил из деревни в деревню, обучая детей в одной деревне по понедельникам, в другой — по вторникам и так далее.

Ситуация начала меняться лишь в XIX веке, когда Финляндия оказалась под властью Российской империи. Не то чтобы император Александр I, присоединив Финляндию, немедленно поручил созданному им для управления этой землей финляндскому Сенату начать строить школы в каждом городе и в каждой деревне. Просто так совпало. Возможно, немецкий опыт оказался заразительным. Несомненно, однако, что заняться всеобщим образованием в Финляндии вдруг захотели все: помещики и крестьяне, священники и горожане, финские националисты и имперские власти. В каждом сословии вдруг обнаружились сторонники общеобразовательных школ. Впрочем, первыми всеобщим образованием в Финляндии занялись понемногу начавшие появляться промышленники. Как я писал выше, не только без всеобщего образования не было бы модернизации, но и без модернизации не было бы всеобщего образования. Появились фабрики — появились и школы.

Например, уже через десять лет после перехода Финляндии под власть России в городе Тампере шотландский квакер Джеймс Финлейсон построил первую в Финляндии ткацкую мануфактуру по английскому образцу. Для мануфактуры требовались более квалифицированные сотрудники, чем были нужны для железоплавилен, лесопилок и верфей, работавших в Финляндии еще в шведское время. А главное, их потребовалось много больше, чем существующие педагогии могли дать. Поэтому Финлейсон распорядился построить при мануфактуре народную школу. Крестьяне, у которых в семье было больше детей, чем они могли прокормить, могли послать кого-то из своих детей в народную школу, где учеников не только учили, но и кормили, а после завершения школьного курса ученики могли получить работу на мануфактуре, где платили больше, чем мог заработать крестьянин, за исключением самых зажиточных.

В деревнях бедные крестьяне могли согласиться отправить «лишний рот» на обучение в город, однако постройку школ в деревнях они считали лишним. Достаточно и воскресной школы. Для бедного крестьянина дети были бесплатной рабочей силой, которую уже в пять лет можно отправить пасти козу. Теоретически крестьяне были не против того, чтобы их дети учились. Но лишь в свободное время, которого у крестьянина, как правило, нет. Другое дело — зажиточные крестьяне, которые могли нанять работников на то время, пока их дети в школе и не могут работать по хозяйству. Помещики тоже далеко не все приветствовали школы для крестьянских детей. Конечно, среди помещиков находились те, кто, подобно толстовскому Левину, мечтал внедрить в своем хозяйстве скоропашку, чтобы увеличить свои доходы. Крестьяне, как правильно заметил Лев Толстой, внедрение скоропашки саботировали, в этом вопросе финские крестьяне ничем не отличались от русских.

Прогрессивные помещики считали, что крестьяне не принимают скоропашку потому, что они необразованные. Вот если бы дать им знания, тогда крестьяне и сами бы сообразили, что скоропашка — это не только способ для помещика нажить больше денег, это и для них, для крестьян — гарантия, что удастся собрать большой урожай. И часть этого урожая сохранить на тот случай, если на следующий год не повезет и деревенским придется голодать. В XIX веке образованные люди — а большинство помещиков были образованны — верили, что знания делают людей прогрессивными. Это сейчас мы знаем, что если научить людей читать и дать им через Интернет доступ ко всем знаниям мира, они будут с гораздо большим интересом читать про то, как инопланетяне похищают людей, чем про то, как люди строят корабли для полетов в космос. А тогда люди еще были наивные, даже прогрессивные помещики. Вроде толстовского Левина.

В городах, наоборот, бедные горожане в большинстве своем были за всеобщее образование, в то время как богатые — за исключением сверхбогатых промышленников, но их было мало — выступали против. Бедные горожане верили, что для их детей общеобразовательные школы — это единственный способ выбраться из нищеты. Богатые же горожане считали, что бедные должны больше и лучше трудиться, чтобы заработать на образование для своих детей. А то если все бедняки пойдут учиться — кто же тогда будет работать? Впрочем, и среди богатых горожан находились те, кто выступал за всеобщее образование — это были, главным образом, финские националисты. Парадоксально, но большинство финских националистов в XIX веке были шведами. Просто они испытывали, как сказали бы сегодняшние психологи, кризис идентичности. Ведь они были шведами, которые при этом не жили в Швеции.

Финский национализм — тема настолько богатая, что когда-нибудь я соберусь и напишу отдельное эссе про то, как национализм в Финляндии способствовал модернизации. Однако несомненно, что в XIX веке некоторые живущие в Финляндии шве-

ды вдруг возомнили себя финскими националистами и начали думать, что все проблемы их страны — не в отсутствии общеобразовательных школ как таковых, но в отсутствии школ, где учили бы на финском языке. Тем более что многие священники, помня заветы Микаэля Агриколы, были с ними согласны. Правда, для священников идея создать общеобразовательные школы выглядела привлекательной по другой причине, нежели для финских националистов. Дело в том, что в Финляндии XIX века начали распространяться ереси. Как мы помним, ереси тогда распространялись по всей Европе, и в России была своя штунда, которую так ругал Достоевский.

Ереси одинаково распространялись и среди богатых горожан, и среди аристократов, и среди беднейших крестьян. Тем более что ереси — в отличие от официальной церкви — не осуждали потребления алкоголя. И если среди дворян и богатых горожан ереси распространялись потому, что те бесились с жиру, то крестьяне, по мнению священников того времени, поддавались очарованию еретических проповедников из-за своей неграмотности. Вот если бы заставить всех крестьянских детей пойти в школу и научиться грамоте — а в воскресных школах грамоту осваивала лишь незначительная доля крестьян, — тогда деревенские сами прочитали бы Евангелие и не слушали бы лживых проповедей еретиков. Любопытно, что идея всеобщего образования была популярна не только среди священников, видевших в школах возможность укрепить свою власть, но и среди тех в имперской администрации и в финляндском Сенате, кто надеялся ограничить власть церкви.

В середине XIX века в России прошла земская реформа, попытавшаяся создать систему местного самоуправления в деревне, формально независимую и от местных дворянских собраний, и от церковных приходов. Поскольку Финляндия тогда находилась под властью России, там прошла аналогичная реформа. Формально старт реформе местного самоуправления дал финляндский Сейм, впервые созванный императором после Боргоского сейма 1809 года, на котором Финляндия присягнула на верность Российской империи. До этого местное самоуправление в Финляндии действовало лишь в городах, в деревне же впервые жителям было поручено избрать местные советы, в которые могли выдвигаться не только помещики и священники, но и главы крестьянских хозяйств. Причем это могла быть и женщина, если на каком-то крестьянском дворе хозяин умирал до достижения совершеннолетия старшим сыном — неслыханный либерализм для XIX века.

Сейм, давший старт коммунальной реформе — а органы местного самоуправления в Финляндии были названы на шведский манер коммунами, — наделил коммуны правом создавать народные школы. Но строить школы пока не было обязанностью коммун. Местные помещики, священники и главы крестьянских хозяйств, собравшиеся на местный совет, могли сами решать, будут они строить школу или нет. А как мы помним, и среди помещиков, и среди крестьян, и даже среди священников были как сторонники строительства общеобразовательных школ, так и те, кто считал, что воскресной школы достаточно. Многое зависело от личного фактора. Если в деревне был образованный сын местного помещика или священника или даже получивший образование в городе крестьянский сын, кто был готов взять на себя обязанности учителя, школа строилась. Если же учитель не находился, то и школа не появлялась.

Вопрос о том, на каком языке в школе должны учить, также решался исходя из местных обстоятельств. Если родным языком большинства жителей деревни был финский, то устраивалась школа на финском языке. Если родным языком большинства жителей был шведский — а шведы в Финляндии XIX века были не только помещиками, священниками и горожанами, но и крестьянами, — то устраивалась школа на шведском языке. Если в деревне жили и те и другие — устраивалась школа на двух

языках. В городах на востоке Финляндии, ближе к Петербургу, где проживало много русских и представителей других национальностей, устраивались школы на русском и немецком языках. К концу XIX века в Лапландии появились даже школы на саамском языке, если находился учитель, готовый не только учить, но и создавать пособия, по которым учить, поскольку учебникам на саамском языке взяться тогда было неоткуда.

Активно обсуждался и вопрос о том, следует ли всем детям учиться вместе или нужно строить отдельные школы для мальчиков и для девочек. Тут тоже все решалось исходя из местных обстоятельств. В некоторых городах, где денег было больше и где раньше уже существовали школы для мальчиков, были построены отдельные школы для девочек. В бедных городах и в деревнях же такой возможности не было. Как правило, здание для деревенской школы строили сами родители учеников. И они же делали мебель своими руками. Даже в тех деревнях, где жители принимали решение сделать школу, они могли построить и обставить одно школьное здание, но не два. В таких местах создавались общие школы, в которых мальчики и девочки учились все вместе. На классы по возрастам и уровню подготовки учеников школы тоже зачастую не делились. В иных школах был всего один учитель и всего один класс, в котором занимались все школьники вместе.

Финляндский Сенат активно помогал коммунам строить школы. Сенат выделял коммунам деньги на постройку народных школ и создавал учительские курсы. Когда кто-либо из членов Сената посещал какую-либо коммуну, если там вдруг не было народной школы, он собирал местных помещиков, священников и зажиточных крестьян и вел с ними долгие беседы о необходимости все-таки построить школу. И эти усилия принесли плоды. В какой-то момент школ в Финляндии стало столько, что Сенат смог принять постановление, по которому школа должна быть в каждой коммуне. Потому что в большинстве из них школы уже были. А потом — и постановление, по которому школ должно быть столько, чтобы ни одному ребенку не нужно было идти в школу более четырех километров. И если в середине XIX века в Финляндии было всего несколько десятков педагогий, то сто лет спустя каждый ребенок в стране получил возможность ходить в школу.

Школа становится обязательной

У каждого народа, пережившего модернизацию, есть свой великий просветитель. У немцев был уже упомянутый здесь Гумбольдт. У русских был Анатолий Луначарский. Хотя русские правые сегодня утверждают, что Луначарский был революционер, а потому великим русским просветителем следует считать Сергея Уварова. А русские левые говорят, что Уваров был реакционер, а потому великим русским просветителем следует все-таки считать Луначарского. Помянем обоих, раз уж конфликт между «красными» и «белыми» в России все никак не может закончиться. У японцев был Юкити Фукудзава. Великого финского просветителя звали Микаэль Сойнинен. Родители назвали его в честь Архангела Михаила Микаэлем — как Агриколу. И в этом был знак. Другим знаком было то, что его отец Юхан Юнссон учился в гимназии в городе Куопио на востоке Финляндии, когда там преподавал, пожалуй, самый известный финский националист XIX века Юхан Снельман.

Правда, Юнссон-старший окончил гимназию, когда Снельман уже переехал в Хельсинки. Окончив гимназию, Юнссон отправился вслед за Снельманом в Хельсинки, где поступил на теологический факультет университета. С таким образованием было бы странно, если бы он не стал священником, и действительно, Юнссон-старший не толь-

ко стал священником, но и заседал в палате духовенства финляндского Сейма. Во второй созыв Сейма, провозгласивший коммунальную реформу, Юнссон-старший пройти не успел, зато он заседал в Сеймах третьего, четвертого, пятого и шестого созывов. В Сейме он голосовал солидарно с другими представителями Финской партии, объединявшей тех финляндских шведов, кто, подобно Снельману, считал себя финским националистом. Им оппонировали те финляндские шведы, кто не считал себя финским националистом и принадлежал, соответственно, к Шведской партии.

В промежутках между созывами Сейма Юнссон-старший преподавал теологию и даже какое-то время был директором своей альма-матер — гимназии в Куопио. В конце жизни он был назначен епископом в Порвоо, но не успел занять кафедру, поскольку умер. Сын такого отца просто должен был стать депутатом парламента от Финской партии, впрочем, необязательно от духовенства. Тем более что после Русской революции 1905 года, которая была и Финской революцией, коль скоро Финляндия тогда была частью Российской империи, сословный Сейм был отменен, а вместо него была создана Эдускунта — парламент нового типа. В нем представители четырех сословий — аристократы, духовенство, горожане и крестьяне — заседали не раздельно каждый в своей палате, а все вместе, избираемые прямым голосованием граждан. Предполагалось, что так в парламенте окажется больше крестьян — ведь крестьяне составляли подавляющее большинство жителей страны.

На деле же вышло, что крестьяне получили возможность избрать своим представителем в парламенте местного священника. Или его сына, местного учителя. В начале XX века между священниками и учителями в Финляндии еще не было большой разницы. Хотя коммунальная реформа за полвека до этого ставила целью отделить образование от церкви, шла она медленно. Многие священники были одновременно и учителями, как Юнссон-старший. А многие учителя были одновременно помощниками священника. В финляндском Сенате вопросами образования и церкви ведала одна и та же комиссия. Впрочем, были в Финляндии начала XX века и просто священники. А были и просто учителя. Реформа постепенно достигала своих целей. Несомненно, однако, что и священник, и учитель были уважаемыми людьми что в городе, то и в деревне, и горожане и крестьяне охотно выбирали священников и учителей депутатами парламента.

Юнссон-младший после окончания университета работал учителем и директором школы, одно время возглавлял женские учительские курсы. Финны допускали, что учителем может быть женщина, тем более что в огромной стране, где по закону ни один ребенок не должен идти до школы больше четырех километров, если бы учителями могли быть только мужчины, учителей на все школы не хватило бы. Однако на посту главы женских учительских курсов они предпочитали все-таки видеть мужчину. После женских учительских курсов Юнссон-младший стал инспектором народных школ, как папа Ленина, только не в Поволжье, а в округе Хямеэлинна — на полпути между Хельсинки и Тампере. И в какой-то момент он созрел для того, чтобы, подобно собственному отцу, избраться в парламент. Правда, чтобы стать депутатом, Юнссону-младшему пришлось сменить фамилию, полученную от отца.

В XIX веке, как я уже говорил, большинство финских националистов были шведами. Поэтому никого не удивляло, если активист Финской партии носил типичную шведскую фамилию, например Снельман или Юнссон. Однако к началу XX века многие финны благодаря системе народных школ смогли получить образование, стать уважаемыми людьми, вступить в Финскую партию, которая к тому времени разделилась на старую Финскую партию и Младофинскую партию, и даже избраться в парламент. Теперь депутат от Финской партии со шведской фамилией выглядел стран-

но. Поэтому Юнссон-младший взял фамилию Сойнинен. Ему даже не пришлось ничего придумывать, потому что еще раньше его старший брат Элиэль взял фамилию Сойсалон-Сойнинен, когда занялся политикой. Элиэля застрелил террорист-революционер в самом начале революции 1905 года; взяв его фамилию, Микаэль продолжил дело брата.

Правда, как и Ленин, который, как известно, тоже продолжил дело брата, Микаэль Сойнинен пошел другим путем. Его брат Элиэль был последовательным сторонником Финляндии в составе Российской империи и даже служил прокуратором финляндского Сената при генерал-губернаторе Николае Бобрикове. Бобрикова финские террористы застрелили на восемь месяцев раньше Элиэля. Поэтому Микаэль Сойнинен вступил в старую Финскую партию, которая безусловно выступала за Финляндию в составе Российской империи, а убийц Бобрикова и Сойсалон-Сойнинена именовала просто «убийцами». Младофинская партия, которая требовала от императора конституции, а убийц Бобрикова и Сойсалон-Сойнинена называла «революционерами», была ему не по душе. Однако, избравшись в парламент, он занялся не вопросами взаимоотношений между Финляндией и Петербургом, а — ни много ни мало — улучшением финского народа.

Взгляды людей эпохи модерна вообще сильно отличались от сегодняшних. Тогда люди верили в возможность улучшить человеческую природу. Жан Жак Руссо, например, на полном серьезе настаивал, что детей нужно во младенчестве отнимать у родителей и помещать в специальные воспитательно-образовательные учреждения, где под влиянием передовых педагогов-наставников из этих детей вырастут новые, лучшие люди. Потому что если оставить детей с родителями, то под их влиянием дети вырастут такими же реакционерами. И никакой модернизации никогда не произойдет. Правда, он не объяснил, где взять столько передовых педагогов-наставников. Равно как он и не объяснил, зачем женщины будут рожать детей, если у них этих детей будут отбирать. В целом многие женщины поддерживают передовые революционные идеи, однако немногие из них готовы ради воплощения этих идей на практике превратиться в машины по производству детей.

Русские коммунисты, как и большинство людей эпохи модерна, тоже верили, что природу человека можно улучшить. Собственно, на вере в то, что советская власть будет способна создать человека нового типа — советского человека, основывались все их планы. Ведь люди начала XX века не могли жить по принципу «От каждого по способностям — каждому по потребностям». Если бы коммунизм был введен в одночасье, эти люди, будучи ленивыми, начали бы занижать свои способности и завышать свои потребности, в результате никто бы не работал. Поэтому переход к коммунизму, который всегда был где-то на горизонте, постоянно откладывался самими коммунистами. Вот когда вырастут люди нового типа, которые будут способны работать изо всех сил, постоянно увеличивая свои способности, и при этом останутся скромными, постоянно сокращая свои потребности, вот тогда коммунизм и станет возможным.

Сегодня же большинство теоретиков модернизации сходятся в том, что природу человека нельзя изменить. Наоборот, благодаря тому, что люди ленивые, они смогли создать прекрасные достижения модернизации, например стиральную машину. Модернизация случится там и тогда, где и когда будут созданы правила, которые позволят изобретателю стиральной машины удовлетворить больше своих потребностей, чем тому, кто ничего в своей жизни не изобрел, но всю жизнь исполнял инструкции, написанные другими, как его научили в школе гумбольдтовского типа. И это

не зависит от того, коммунизм у нас на дворе или капитализм. Если премию за изобретение стиральной машины получает ее изобретатель, то стиральная машина рано или поздно появляется. А если эту премию получает инструктор райкома при коммунизме или эффективный менеджер при капитализме, то стиральной машины не будет. И модернизации не будет тоже.

В начале XX века, однако, большинство тех, кого мы сегодня назвали бы лидерами общественного мнения, верили в возможность улучшения человеческой природы. Верил в это и Микаэль Сойнинен. Улучшить финский народ он полагал двумя способами. Во-первых, финскому народу нужно было дать образование. Осенью 1918 года, когда гражданская война в Финляндии уже завершилась, Сойнинен получил должность министра церкви и образования. Мы помним, что в российский период в финляндском Сенате делами церкви и образования ведала одна и та же комиссия, и после провозглашения независимости Финляндии вследствие Октябрьской революции 1917 года в России финны решили в этом вопросе пока ничего не менять. Потому что от перемен и так кружилась голова. Министром Сойнинен пробыл полтора года, вплоть до весны 1920 года, после чего вернулся на должность депутата парламента.

За это время Сойнинен успел сделать начальное образование в Финляндии обязательным. Еще со шведских времен в стране был закон, что тех родителей, кто не позволяет своим детям посещать школу, следует штрафовать. Однако применялся он крайне редко. Теперь же, если какой-то ребенок не посещал школу, вина автоматически возлагалась на родителей. Объединение дел церкви и образования в рамках одного министерства оказалось тут как нельзя кстати. Ведь в Финляндии начала XX века новорожденных детей непременно приносили в церковь крестить. Священник делал запись о рождении нового финна в церковную книгу. Сведения о рождениях из церковных книг передавались в министерство. А школы передавали в министерство сведения обо всех учениках. И если министерство выясняло, что какой-то ребенок должен, но не посещает школу, оно начинало бить тревогу.

Вторым направлением, по которому Сойнинен планировал исправлять природу финнов, была борьба с алкоголизмом. Для финнов в начале XX века алкоголизм был серьезной проблемой. Иногда из-за алкоголизма люди даже не выходили на работу. Собственно, это была одна из причин, почему модернизация требовала создания в Финляндии школ гумбольдтовского типа, которая дала бы всем финнам одинаковый минимум знаний, чтобы они легко могли заменять друг друга, а фабрики, заводы и верфи не простаивали бы из-за того, что один-единственный, но незаменимый сотрудник ушел в запой. Фраза «Незаменимых у нас нет» должна была бы стать лозунгом эпохи модернизации. Впрочем, Сойнинен боролся с алкоголизмом не только потому, что надеялся таким образом повысить в Финляндии производительность труда. Просто он считал, что на смену старым — пьющим — финнам должны прийти новые — непьющие.

Бороться с алкоголизмом депутаты финского парламента начали еще в имперские времена. Они регулярно принимали закон о запрете производства и продажи алкоголя в Финляндии. Однако в имперские времена закон, принятый финским парламентом, вступал в силу только после его подписания императором. А Николай II раз за разом этот законопроект отклонял. Однако когда Финляндия стала независимой, сухой закон был немедленно принят. Последствия сухого закона в Финляндии оказались схожими с теми, которые наблюдались в США и которые многократно за прошедшие сто лет были воспеты в американской литературе и в кино, начиная с публикации как раз сто лет назад «Великого Гэтсби». Активизировались контрабанда и незаконная торговля. Однако депутаты парламента, включая и Сойнинена, продолжали

настаивать на необходимости сохранения сухого закона, который, по их мнению, вот-вот породит для Финляндии нового — непьющего — человека.

Сухой закон в Финляндии пережил Сойнинена — одного из самых верных своих сторонников. Сойнинен, как и Ленин, умер в начале 1924 года. После этого сухой закон просуществовал в Финляндии еще более пяти лет. Депутаты парламента сохраняли бы его и дальше, но президент Лаури Реландер, всю жизнь руководствовавшийся правилом, которое предписывает жить самому и давать жить другим, организовал референдум по вопросу о его отмене. Причем в отличие от большинства референдумов, где гражданам дается возможность выбрать один из двух вариантов, финнам в тот раз разрешили выбирать из трех вариантов: сохранить сухой закон, разрешить только пиво или отменить сухой закон совсем. Финны проголосовали за полную отмену. Депутаты парламента не могли пойти против народной воли, но взамен они создали государственную монополию на производство и продажу алкоголя в стране, благодаря чему цены на выпивку взлетели до небес.

Обязательное образование и сухой закон, по замыслу Сойнинена, должны были взаимно дополнять друг друга. Взрослые финны, бросив пить, смогли бы использовать освободившееся время, чтобы научиться чему-то новому. А финские дети, которые теперь все поголовно были обязаны ходить в школу, учились там не только грамоте и счету, но и узнавали, что алкоголь — это яд. В начале XX века, пока в Финляндии не было бесплатных поликлиник, как сейчас, школа занималась также и охраной детского здоровья. Регулярные осмотры и вакцинация стали для финских школьников обыденностью. Также на школьных учителей была возложена обязанность рассказывать ученикам и их родителям об «истинных» способах лечения болезней, эффективность которых доказана последними исследованиями в медицинской науке, а также предупреждать их о вреде «ложных» способов лечения, применяемых в традиционной медицине.

В 1911 году учительница Сивия Хейнямаа, выпускница женских учительских курсов, которые когда-то возглавлял Сойнинен, опубликовала одну из первых детских книг на финском языке — «Необыкновенная жизнь Ристо Роопенпойка». Сюжет ее основывался на книге Даниэля Дефо «Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо» с той лишь разницей, что главный герой попал не на тропический остров, но на остров у берегов Финляндии. Там он не встречает дикарей-людоедов, зато среда максимально приближена к той, с которой с рождения были знакомы финские школьники. Выбор именно «Робинзона Крузо» для адаптации в доступную для финских детей книгу был не случаен. Ведь создавая эту книгу, Дефо руководствовался теми же идеями об улучшении человеческой природы, которой руководствовался Руссо, когда писал своего «Эмиля», и русские коммунисты, когда пытались создавать советского человека.

Этой идее следовали просветители в разных европейских странах, включая и Сойнинена в Финляндии, активно продвигая идеи государственной поддержки всеобщего школьного образования и сухого закона. Оказавшись на необитаемом острове, Робинзон Крузо был поставлен перед необходимостью познать истинные законы окружающего мира, а не распространенные в обществе ложные стереотипы об этом мире, и использовать знание этих законов для выживания, самосовершенствования и построения новой цивилизации, в которой не было бы места недостаткам, присущим цивилизации старой. Прежде чем сделать свою жизнь на необитаемом острове комфортной, Робинзон должен был изменить сам себя. Так же и финны не смогут приобрести блага модернизации и насладиться ими прежде, чем они смогут изменить сами себя. По замыслу Сойнинена, общеобразовательная школа должна была создать нового человека, способного построить новую Финляндию.

Школа становится долгой

В народе говорят, что ничто не дается человеку одновременно дешево, качественно и быстро. Мол, из трех можно выбрать только два: либо дешево и качественно, но долго, либо качественно и быстро, но дорого, либо уж быстро и дешево, но тогда некачественно. В своем стремлении заставить каждого ребенка ходить в школу финны выбрали долгий вариант. В первой половине XX века Финляндия все еще была очень бедной страной, и позволить себе дорогую школу они просто не могли. А некачественную — не захотели. В результате все финские дети реально пошли в школу лишь через пятнадцать лет после того, как Микаэль Сойнинен убедил парламент принять закон, по которому они должны были туда ходить. Сам Сойнинен к тому времени уже давно умер, но у него нашлись последователи, которые продолжали ездить по финским деревням, где еще не было школы, убеждая деревенский актив все-таки построить школу и нанять учителя.

Первоначально финские дети были должны посещать обязательную школу только первые четыре года. Предполагалось, что четыре года вполне достаточно для того, чтобы научить всех детей чтению, письму и счету. А также дисциплине и быть, как все. А еще дать им всем те знания, которые должны быть у каждого финского ребенка. Например, что День финского языка, он же день смерти Микаэля Агриколы — девятое апреля. После начальной четырехлетней школы можно было поступать в гимназию и учиться там еще четыре года, но это — уже по желанию. До Второй мировой войны гимназии в деревнях были редкостью, и ходить туда могли только те дети, кого родители были готовы отпустить учиться в соседний город или поселок. Лучшие выпускники гимназии могли поступать в лицей, для окончивших который открывалась дорога в университет. Те же, кто не поступил в лицей, могли пойти в профессиональное училище, для окончивших которое открывалась дорога в политехник.

Естественно, что далеко не каждый финский ребенок в таких условиях после окончания начальной школы шел в гимназию, еще меньше детей шли в лицей, а в университет — и вовсе единицы. Чуть больше детей шли в профессиональное училище и затем в политехник. Однако большинство из них не заканчивали даже и гимназии. Особенно в деревнях. Ситуация начала меняться лишь после окончания Второй мировой войны, когда в Финляндии началась бурная индустриализация, и стране понадобились уже не только рабочие, готовить которых могла и начальная школа, но и инженеры, причем в таких количествах, что пригласить столько инженеров из других европейских стран оказалось решительно невозможно. Тем более что в других европейских странах — по обе стороны «железного занавеса» — в это же время тоже бурными темпами шла индустриализация, и там тоже требовались инженеры во все возрастающих количествах.

Чтобы как можно больше детей добралось до профессионального училища и политехника, где они смогли бы выучиться на столь нужных стране инженеров, гимназию в Финляндии после окончания Второй мировой войны сначала сделали обязательной, а потом продлили до пяти лет. То есть сначала все дети должны были в обязательном порядке четыре года ходить в начальную школу, а потом еще пять — в среднюю. Со временем — раз уж и начальная, и средняя школы стали обязательными — их объединили в одну, получившую название «базовой» школы. Каждый ребенок должен был обязательно посещать базовую школу в течение девяти лет, после чего отличники поступали в лицей и дальше в университет, хорошисты поступали в профессиональное

училище и дальше в политехник учиться на тех самых столь нужных стране инженеров, а троечники шли на работу уже в шестнадцать лет.

Так уж совпало, что в середине XX века, когда Финляндии понадобилось множество инженеров, президентом страны стал Урхо Кекконен, человек, которого сегодня в России помнят как большого друга Советского Союза. Впрочем, по многим вопросам Кекконен и советское руководство расходились во взглядах. Например, СССР теоретически был государством рабочих и крестьян. Однако если вспомнить, как в Советском Союзе жили рабочие, и как — крестьяне, то становилось понятно, что СССР был в большей степени государством рабочих и в меньшем — крестьян. Кекконен теоретически тоже был президентом всех финнов, и горожан, и сельских жителей. Однако в большей степени он был президентом сельских жителей и в меньшей — горожан. Потом что сельские жители охотнее голосовали за него и его Центристскую партию, в то время как горожане голосовали то за социал-демократов с коммунистами, а то — за консерваторов с либералами.

Благодаря голосам сельских жителей Кекконен оставался президентом Финляндии на протяжении четверти века. Взамен он создал в Финляндии лучшие сельские школы в мире. В большинстве европейских стран его времени хорошие школы были только в городах. В городах были даже элитные лицеи и гимназии. А в деревнях были тоже школы, но не такие хорошие. Если кто хочет после окончания обязательной школы встать за плуг рядом со своим отцом — тому сойдет и деревенская базовая школа. А кто хочет после школы еще поступить в профессиональное училище и дальше в политехник, а тем более — в лицей и дальше в университет, тому нужно обязательно ехать в город в хорошую школу. Потому что поступить после деревенской школы в лицей или даже в профессиональное училище — нереально.

Кекконен эту систему поломал. Как оказалось, это не так трудно. Ведь почему в деревне плохие школы? Потому что выпускники университетов не хотят ехать туда учителями. А почему выпускники университетов не хотят быть учителями в деревенских школах? Потому что в деревне — плохие школы, и они опасаются, что когда родятся их собственные дети, они не смогут пойти в хорошую школу, если будут жить в деревне. Получается заколдованный круг: в деревне — плохие школы, поэтому выпускники университетов не хотят ехать туда учителями, поэтому в деревне — плохие школы. Если же разорвать этот заколдованный круг, то и школы в деревне станут хорошими, и выпускники университетов захотят туда поехать работать учителями, чтобы и когда их собственным детям, родившимся в деревне, придет время идти в школу, у них была бы хорошая деревенская школа.

Разорвать заколдованный круг также оказалось нетрудно. Во-первых, потребовалось сделать зарплату всех учителей одинаковой: что в городе, что в деревне. А не так, что в Хельсинки учитель получает тысячу марок в месяц, а в деревне — только пятьсот. А кто возмущается, мол, как так: детей и в Хельсинки, и в деревне нужно одинаково учить, что День финского языка — девятого апреля, но в деревне за это платят вдвое меньше, чем в столице, — тем отвечать, что в столице, мол, и жизнь дороже. Потому что это неправда. Продукты в деревенском магазине стоят столько же, сколько и в столице. Конечно, в столице дороже снять квартиру. Но финны быстро сообразили, что ставить лошадь впереди телеги — неправильно. Ведь это не зарплаты в столице больше, потому что там дороже квартиры, а квартиры в столице дороже, потому что там больше зарплаты. И если разница в зарплатах в столице и в деревне станет меньше, то и разница в ценах на квартиры уменьшится.

Во-вторых, потребовалось сделать зарплату всех учителей независимой от результата их труда. А не когда зарплата — это только половина того, что учитель получает,

а вторая половина — это премия за то, что под руководством этого учителя ученик написал работу, завоевавшую первый приз на конкурсе ученических работ. Или за еще что-то подобное. Потому что когда зарплата учителя не зависит от результата, он распределяет свое рабочее время поровну между всеми учениками: и успевающими, и отстающими. Иначе получится, что у учителя есть один любимый ученик, по совместительству — сын директора школы, который выигрывает конкурсы. И учитель с ним возится, чтобы он выиграл еще больше конкурсов. А остальные дети предоставлены сами себе, хотят — читают, не хотят — в окно глядят. В хорошей школе ученики глядят в окно только тогда, когда им этого самим хочется, а не когда учитель не обращает на них внимания.

В-третьих, потребовалось сделать всех учителей несменяемыми. А не заставлять учителей каждый год заново проходить аттестацию. Потому что если кого взяли на работу учителем, значит, он, скорее всего, достоин этой высокой должности и заставлять его заново доказывать, что он достоин — бессмысленная трата времени и самого учителя, и проверяющих. Конечно, школьная программа со временем меняется, и учитель должен узнавать об этом первым. Например, Плутон, до 2006 года считавшийся девятой планетой Солнечной системы, впоследствии был причислен к классу карликовых планет, и планет в Солнечной системе стало восемь. Что если учитель не узнает об этом вовремя и будет продолжать учить, что планет в Солнечной системе — девять? Как оказалось, ничего страшного в этом случае не произойдет. Ведь главное — это чтобы все школьники поняли, что все планеты Солнечной системы, включая Землю, вращаются вокруг Солнца.

И неважно, что какой-то ученик не будет знать, что планет этих — восемь, а так и будет думать, что их — девять, потому что когда-то учитель пропустил новую информацию и продолжал учить по старинке. Ведь большинство окончивших школу до 2006 года до сих пор так думают. Главное — это чтобы ученик, пытаясь выучить названия всех восьми планет, не пропустил самую важную информацию и не начал думать, что все восемь планет вращаются вокруг Земли, как оно нам отсюда кажется. Иной чиновник спросит: как же, если сделать учителей несменяемыми, ими руководить? Ведь они могут и вообще перестать на работу ходить, продолжая получать зарплату как ни в чем не бывало. Однако выяснилось, что несменяемые учителя ходят на работу так же, как и те, кто каждый год проходит аттестацию. Потому что сегодняшние учителя когда-то были лучшими учениками в гумбольдтовской школе, где их учили быть, как все. А все ходят на работу каждый день.

Появление в Финляндии лучших в мире сельских школ совпало с периодом бурного экономического роста. С одной стороны, лучшие в мире сельские школы давали Финляндии высококвалифицированные кадры, чтобы период экономического роста продолжался как можно дольше. С другой стороны, бурный экономический рост приносил все больше денег в бюджет страны, из которого финансировались лучшие в мире сельские школы. Впрочем, не обошлось и без проблем. Например, резко увеличилось число детей, знающих достаточно, чтобы после окончания базовой школы поступить в лицей, а затем — и в университет. Конечно, можно было ужесточить правила приема в лицеи и университеты, чтобы туда принимались только лучшие из лучших, но Кекконен решил иначе. Количество мест в имеющихся лицеях и университетах было резко увеличено; также началось строительство лицеев и университетов там, где их сроду не было.

За годы президентства Кекконена число университетов в Финляндии выросло с трех до десяти. В три с половиной раза увеличилось и количество студентов. Однако это

породило новые проблемы. Например, раньше университетский диплом становился пропуском в элиту страны. Теперь это стало невозможно, поскольку такую большую элиту Финляндии стало не прокормить. Пришлось найти для университетов новый смысл существования, и даже два. Во-первых, университеты занялись исследовательской работой. Раньше научные исследования велись, главным образом, в институтах Финляндской академии, где не было студентов, а преподаватели университетов, главным образом, учили, не отвлекаясь на научную работу. Теперь же преподаватели университетов начали совмещать учебную и научную работу, а Финляндская академия превратилась в организацию, распределявшую деньги между преподавателями, ведущими наиболее перспективные научные разработки.

Во-вторых, смыслом существования университетов стала защита прав человека. Ведь чтобы защищать свои права, человек должен в первую очередь узнать о том, что эти права у него есть. А этому учат как раз в университетах. Это, правда, породило новые проблемы. Выяснилось, что открыть новую планету транснептуновой популяции, в которую, помимо уже помянутого здесь Плутона, входят также такие карликовые планеты, как Эрида и Церера, и написать про это диссертацию — сложно. Потому что новых планет на всех астрономов не хватит. Зато легко написать диссертацию про то, что среди астрономов в XX веке большинство было мужчинами и что это — явная дискриминация. А защитив такую диссертацию, можно со временем даже занять кресло заведующего кафедрой астрономии вместо того парня, который открыл новую планету, потому что его заслуги в астрономии, конечно, велики, но вот в защите прав человека он ничего не смыслит.

Впрочем, эти проблемы свалились на Финляндию лишь через тридцать лет после смерти Кекконена. Первые же четверть века все было просто прекрасно. И когда на рубеже третьего тысячелетия Организация экономического сотрудничества и развития придумала раз в три года тестировать школьников из десятков стран, чтобы определить, где же в мире самые лучшие школы, выяснилось, что самые лучшие школы в мире находятся в Финляндии. Во всяком случае, по данным Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся, более известной по латинской аббревиатуре PISA, в 2003 году финские школьники были впереди планеты всей по чтению и естественнонаучной грамотности, отставая от гонконгских школьников лишь по математике. Тогда все мировые специалисты по педагогике отправились в Финляндию, чтобы попытаться понять, в чем же секрет финского чуда, теперь уже не только в экономике, но и в образовании.

Тут-то и выяснилось, что секрет в том, что в Финляндии все школы — одинаковые. Во всяком случае, одинаковыми они были двадцать лет назад. В Германии, с которой финские просветители брали пример в XIX веке, сто лет спустя на будущее ребенка влияла способность родителей определить его в хорошую школу. В Финляндии же в конце XX века можно было идти совершенно в любую школу, хоть в центре Хельсинки, а хоть и в отдаленной деревне, и результат оказывался одинаковым. Пусть ненадолго, но финны смогли это сделать. Сегодня, к сожалению, Финляндия теряет это свое неоспоримое преимущество. Увеличивается разрыв между сельскими и городскими школами, между школами в столице и крупных городах вроде Турку или Тампере, и в малых городах на периферии, и даже между школами в разных районах одного города. Финны пытаются что-то с этим делать, но то ли они делают что-то не то, то ли им просто не хватает денег.

Зато недавно финны сделали профессиональные училища обязательными для всех выпускников базовых школ. На это финнам денег хватило. Большинство выпускников

базовых школ и раньше продолжали учебу в лицее или в профессиональном училище, но были и те, кто уже в шестнадцать лет шел на работу. Теперь все дети, кто не поступил в лицей, обязаны посещать профессиональное училище, как минимум, до достижения восемнадцатилетнего возраста. Дальше человек — сам себе хозяин, и заставлять его учиться финское государство пока не считает себя вправе. Впрочем, последнее время финское государство не пытается заставлять учиться даже и школьников. Ходить в школу они обязаны, а вот учиться там — нет. Можно весь день смотреть в окно, учитель должен это заметить, но не должен этому мешать. Ведь вдруг этот школьник пять лет будет смотреть в окно, а потом изобретет что-то такое, что изменит и Финляндию, и весь мир?

В отличие от времен Кекконена, в современной Финляндии рабочие, которые должны быть одинаковыми, чтобы легко подменять друг друга у конвейера, составляют меньшинство населения. Потому и гумбольдтовская школа, целью которой как раз и было делать всех одинаковыми, ушла в прошлое. Сегодня большинство финнов верит, что их страна вместе с передовыми странами всего мира строит новое общество — общество знаний. Передовыми сегодня являются не те страны, где создаются товары, а те, где создаются новые знания. А те страны, которые заимствуют новые знания у других, отстают в развитии. Чтобы финские дети в будущем могли создавать новые знания, сегодня школа должна им давать максимальную свободу. Не заставлять всех учить, что слово «молоко» пишется с тремя буквами «о» и никак иначе, но учить сомневаться в безальтернативности такого написания. Насколько эта теория верна, однако, покажет время.

Вместо заключения

Любопытно, что современная финская школа учит детей сомневаться в том, что писать слово «молоко» с тремя «о» — это единственно правильный вариант, но не учит их сомневаться в том, что нет лучше школы, чем та, где детей учат во всем сомневаться. Получается, что и современная школа делает детей одинаковыми, хоть и совсем не так, как это делала старая гумбольдтовская школа. Впрочем, дети — всегда дети. Они всегда протестуют против того, чтобы школа делали их такими же, как все. Некоторые приносят в школу оружие и стреляют в своих одноклассников. К сожалению, в Финляндии такое тоже случается. К счастью, нечасто. Последний раз такое случилось в 2007 году. И хотя я — не сторонник по любому поводу заменять слово «последний» на слово «крайний» или какой-то другой синоним, в этом случае очень хочется, чтобы такое и вправду произошло в последний раз.

Другие вырастают скептиками. Гумбольдтовская школа породила немало скептиков. Они нашли в себе силы усомниться в истинности тех знаний, которые им вдолбили в школе, подвергли их проверке, убедились в их ложности и смогли сформулировать истинные знания, сделав тем самым важные научные открытия, которые обогатили человечество, хотя и далеко не всегда — тех людей, которые эти открытия сделали. Современная школа тоже порождает скептиков, хотя сегодня сложно сказать, становится ли их больше за счет того, что в школе детей учат во всем сомневаться, или, наоборот, меньше. Как и их предшественники, они тоже сомневаются в том, чему их учили в школе. Например, в том, что Финляндия вместе с передовыми странами мира строит общество знаний. Некоторые из современных скептиков говорят, что Финляндия и некоторые другие страны и вправду строят новое общество, но называть его правильно не обществом знаний, а меритократией.

Согласно определению, меритократия — это такое общество, где принадлежность человека к элите определяется не происхождением или какими-то другими факторами, но исключительно личными заслугами, включая и те знания, которыми обладает человек. Что же здесь плохого? — спросит иной читатель. А плохо то, что и в новом обществе элита мечтает, чтобы их дети тоже были частью элиты. Поэтому представители элиты заставляют своих детей учиться, в том числе писать слово «молоко» единственно правильным способом. А для остальных детей они строят новые школы, в которых детей учат сомневаться в том, что писать слово «молоко» с тремя буквами «о» — единственно правильный вариант. Чтобы через какое-то время дети элиты оказались единственными, кто знает, как правильно пишется слово «молоко», и стали частью элиты, как и их родители.

Отсюда и разница в качестве подготовки учеников между элитными и обычными школами, которой двадцать лет назад в Финляндии не было, а сегодня она откуда-то появилась. Двадцать лет назад в Финляндии никто и слов таких не знал — «элитная школа». Сегодня финские родители постепенно узнают значение этих слов. Впрочем, даже если в Финляндии когда-то и произойдет разделение на хорошие и плохие школы и ответственные финские родители, чьи дети будут приближаться к семилетнему рубежу, подобно ответственным родителям в других европейских странах, будут стаптывать себе ноги в стремлении устроить своего ребенка в хорошую школу, потому что у выпускников плохих школ не будет ни одного шанса попасть в элиту, это еще будет полбеды. Настоящая беда придет тогда, когда те, кто попадет в элиту, уверуют, что они туда попали не благодаря школе, а вопреки ей.

Сто лет назад в Финляндии, если кто смог проучиться в школе девять лет, почти наверняка становился частью элиты. Пятьдесят лет назад все финские дети должны были окончить базовую девятилетнюю школу, и сам факт окончания школы совершенно не гарантировал, что выпускник попадет в элиту. Однако если это все-таки происходило, то люди начинали говорить, что вот эта школа — хорошая, раз в ней учился такой-то, кто впоследствии стал уважаемым человеком. И сам уважаемый человек всегда говорил, что он благодарен своей школе, которая помогла ему подняться так высоко. Даже несмотря на то, что он ходил в гумбольдтовскую школу, где учителя старались делать всех одинаковыми, а он поднялся так высоко как раз потому, что смог стать не таким, как все. Даже веря, что сегодняшняя школа, где от учеников не требуют становиться одинаковыми, но, напротив, стремятся всячески развивать индивидуальные таланты каждого ученика лучше.

Так происходит, но непонятно почему. Ведь в других странах, не в Финляндии, я не раз встречал уважаемых людей, которые утверждали, что они стали таковыми вопреки школе. Мол, пока другим ученикам в школе вдалбливали какую-то чушь, они под партой читали самостоятельно отобранные книги, потому и вознеслись. И позднее, в университете, их, дескать, тоже учили никому не нужной ерунде, но они все равно стали уважаемыми людьми. И чтобы в школах и в университетах перестали наконец вдалбливать в школьников чушь и учить студентов ерунде, учителей и преподавателей, мол, нужно как можно чаще заставлять проходить аттестацию, а их зарплату поставить в прямую зависимость от результатов их работы. Интересно, почему в Финляндии среди уважаемых людей я таких не встречал? Потому что плохо искал? Или потому, что их там мало? И что случится с Финляндией, когда их там станет много? Ответ на последний вопрос я надеюсь не узнать никогда.

Михаил ГУНДАРИН

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОССИЙСКОГО ЧЕЛОВЕКА В ЕГО СОБСТВЕННОЙ СТРАНЕ

Портрет прозаика Евгения Попова в трех историях и трех составных частях

Исполняется 80 лет Евгению Анатольевичу Попову, одному из самых ярких прозаиков поколения, пришедшего в литературу в уже далеких 70-х. «Опоздавший шестидесятник», «самый веселый анархист русской литературы», «сибирский постмодернист»... Когда-то первую подборку его рассказов сопроводил лестным предисловием сам Шукшин (что Василий Макарович делал крайне редко). При этом его старшим товарищем многие годы был Василий Павлович Аксенов — во многом антипод Шукшина. (Шукшин плюс Аксенов — вот кратчайшая формула для описания творческой манеры Евгения Попова, ну конечно, плюс много-много своего.) Книги Попова выходили во множестве стран. Он лауреат многих премий — при этом никогда не стесняется публично высказываться по самым острым вопросам, писать то, что сочтет нужным. Нрав, в общем, имеет довольно неукротимый.

Я имею удовольствие быть его соавтором (четыре книги вместе написали!), биографом и просто младшим товарищем. Поэтому хочу поделиться кое-какими соображениями и наблюдениями по поводу Евгения Попова — прозаика и человека.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ: ПУТЕШЕСТВЕННИК БЕЗ ГРОША В КАРМАНЕ

Родился Евгений Анатольевич в Красноярске 5 января 1946 года. То, что он сибиряк, — это крайне важно для его мировоззрения, да и вообще для жизненных ориентиров (давно обитая в Москве, на родине он бывает регулярно и результативно, участвуя во множестве литературных мероприятий, привозя разных интересных гостей). Отец умер рано, жизнь была бедноватая, поэтому, еще учась в школе, Женя активно работал там и тут, иногда в довольно интересных местах — ну и заработанные деньги тратил тоже довольно интересно. Например, в шестнадцать лет отправился из Сибири в Одессу через Ленинград.

Михаил Вячеславович Гундарин родился в 1968 году. Окончил факультет журналистики МГУ им. Ломоносова. Преподает в вузах, кандидат философских наук. Автор более 10 книг стихов и прозы, многочисленных литературно-критических статей и эссе. В соавторстве с Евгением Поповым написал биографии Ф. Искандера и В. Шукшина. Живет в Москве.

Вот как он сам об этом рассказывает. «За два месяца я заработал целых 350 рублей, и когда товарищи моей старшей сестры позвали меня поехать с ними в Ленинград, где у них была студенческая практика, я с радостью согласился. Они были химики. Ехали в плацкартном. Пили разбавленный спирт. Для эпатажа выставили в вагонном окне огромный портрет временно запрещенного тогда Сталина. В Питере жили на тогдашней окраине, в общежитии Лесотехнической академии. В первый же вечер пошли в ресторан „Кавказский“, выйдя из которого я принял Невский за родной проспект Мира (бывший Сталина), и поехал в троллейбусе неизвестно куда. Очнулся я на охраняемой автобазе, что в районе Старого Невского, в кузове грузового автомобиля. Помню, что ночью шел с кем-то по улице обнявшись, пели Окуджаву „А мы рукой на прошлое вранье, а мы с надеждой в будущее, в свет“. 350 руб. сразу же истратили, пропили, и я поступил работать грузчиком на станцию Кушелевка, где и продолжилась моя трудовая деятельность. Разгружали овощные вагоны. Бомжи, студенты и расконвоированные зэчки, которые не прочь были бы потрахаться со студентами, да условия не соответствовали. Платили пятерку в день. На эти деньги я и мои старшие товарищи посещали музеи, пили. Плюс каждый день по сговору с шофером я воровал ящик слив, которыми мы все питались. Удивительно, что вопреки природе у нас случился не понос, а запор.

Муза дальних странствий и К. Г. Паустовский влекли нас, и мы все с тем же с товарищем поехали из Питера в Одессу. Два общих билета и белый батон на дорогу. В Одессе мы ночевали на скамейке, плавали, ныряли. Курили папиросы „Сальвэ“. Товарищ поплыл на теплоходе еще дальше, в Батуми, а мне уже пора было возвращаться в школу № 20, в десятый класс. Товарищ потом стал большим начальником по линии леса и фанеры.

В Одессе я где-то украл маленький столовый ножик, купил на привозе арбуз и только собрался покушать, как ко мне подошел одессит и сказал:

— Угости меня арбузом.

— На, ешь, — я протянул ему ножик.

Ему это понравилось, и он предложил мне выпить вина. Я ответил, что у меня нет денег.

— Совсем-совсем? — не поверил он.

— Мне ехать в Красноярск, а билет у меня только до Новосибирска, — показал я ему свой проездной документ.

Он понял, что я не вру и пригласил меня в шашлычную, что на углу улицы Дерибасовской и улицы Ласточкина. Его звали Вася.

Выпивали, кушали. Я наслаждался.

К нам подсела сизоносая старая еврейка, персонаж моих ненаписанных „Одесских рассказов“.

— Вася, ты сын хороших родителей. Зачем ты здесь и сидишь за одним столом с такими типами, — указала она на меня.

— А потому что моя бывшая жена Люся... — объяснил Вася.

— Как ты можешь так говорить о порядочной девочке, которую я знаю с детства, — возразила старуха.

— А вот так, — дерзко ответил Вася.

— Налей и мне вина, — кротко попросила бабушка.

Вася налил ей стакан красного вина, который она тут же выплеснула ему в физиономию. Началась дикая драка, как у Бабеля или в фильме Вс. Пудовкина „Мать“.

Я был в восторге, но чтоб меня не замели, вышел на улицу наблюдать всю эту высокохудожественную сцену через окно. Все, как надо: летали стулья, стаканы, визжали бабы...

Подъехали менты, которых тогда звали „мусора“, и стали всех выбрасывать на улицу, в том числе и Васю.

Ночью я сел в поезд и поехал в Сибирь. Паспорта у меня как не было, так и не стало».

А теперь несколько деталей этого и правда феерического путешествия. Примечателен сам способ заработка в Питере — работа на разгрузке наравне со взрослыми мужиками. Фамилии у начальников там были не русские и не московские. Наш герой запомнил, что один, например, звался Кицель. Ему товарищ сказал: «Чего у тебя студенты работают бледные». А он отвечает: «Да не жрут ни хрена. Денег-то у них нету». Как-то грузчики попросили начальника, чтобы им дали поесть огурцов с картошкой, он ответил, что нельзя. Тогда по совету профессиональных грузчиков, пролетариев со стажем, пролетарии начинающие, выкатывая бочку с огурцами, «случайно» ее разбили. Все понимали, это было сделано нарочно. Ну и опять же расконвоированные зэчки...

Ситуация заставляет вспомнить известный рассказ Сергея Довлатова «Виноград», действие которого происходит в сходном питерском месте, на овощебазе, несколькими годами раньше. Студент-первокурсник впервые, похоже, оказывается среди простого народа, в том числе и эмансипированных женщин с уголовным прошлым.

Какая огромная разница между героем Довлатова, интеллигентным петербуржцем 18 лет, и здоровым сибирским подростком шестнадцати! Там, где петербуржец испытал жуткую фрустрацию, запомнившуюся на всю жизнь, красноярец и бровью не повел. Дело в социальном опыте — этот подросток с детства видел много чего, уже несколько месяцев работал на тяжелых работах самостоятельно, только что одолел всю страну на «пятьсот веселом» с бутылью спирта и протестным Сталиным.

И уж совсем фееричным выглядит приобщение Евгения в Питере к дефицитным книгам. Движимый жаждой познания культуры не меньше, чем тягой к постижению жизни, наш герой еще на родине составил заветный списочек. Главным материалом послужила статья небезызвестного критика Тарасенкова из «Нового мира» времен космополитизма с характерным названием «За богатство и чистоту русского литературного языка» и столь же характерными страницами, знаменитыми выражениями типа «Бабель — политическое лицо, которого сейчас хорошо известно». Так вот: подросток выписал нужные фамилии (кроме Бабеля, там был, например, Булгаков и опальный альманах «Тарусские страницы») и в Питере отправился в Дом книги, Дом Зингера на Невском. Он протянул продавщице список, та сказала, едва глянув: «Мальчик, иди отсюда». Видно, восприняла как глумление (может, и как провокацию). Но юного сибиряка это отнюдь не смутило. Он тут же отправляется в библиотеку имени Маяковского и умудряется туда записаться — это без паспорта! Там набирает книг из своего списка, оставляет 25 рублей залога — и исчезает навсегда. Книги потом проделают с ним одесский вояж и доберутся до Красноярска в неказистом чемодане подростка. Кстати, наш герой потом будет проделывать такой трюк неоднократно: бывая в командировках, записываться в местную библиотеку, дать залог и благополучно слинять, набрав дефицитных книжек ровно на сумму залога. Судьба, впрочем, отомстит: посланный из Усть-Каменогорска книжный груз кто-то изымет в свою пользу по дороге...

В Питере (в общем, город в России во все времена называли именно так) подросток пробыл меньше месяца, но, что называется, полюбил на всю жизнь (культурная столица глянулась ему многочисленными забегаловками и свободной продажей пива) и отправился на юг. Вагон, батон, счастье, ночевка на бульваре, море впервые... Наш герой нанырялся настолько, что ночью заболело ухо. Стрельнуло так, что он аж взвыл. И это в абсолютно чужом городе! В 16 лет! Без документов! Слава богу, отпустило.

Наш герой продал подаренные на 16-летие часы человеку, у которого в носок была заткнута огромная пачка денег, пережил описанное выше происшествие в одесском шалмане и отправился домой. Как помним, билет был до Новосибирска. А что же дальше? Еще тысячу километров? Евгений Попов рассказывает об этом так: «А в Новосибирске я просил проводниц жалобно, чтобы мне разрешили немного проехать. Они меня немного побаивались и пускали. А потом пошли контролеры, мне сказали, чтобы я спрятался под нижнюю полку в вагоне. Я туда забрался и заснул. Когда я начал вылезать оттуда, страшно напугал пассажиров... Так и добрался».

Неужели все же это было в порядке вещей тогда, в 1962-м? Конечно, тогда не было хаоса, разгула преступности, но отправиться подростку одному — в такую даль? Я думаю, эта история все же не о времени, а о характере Евгения Попова.

А злополучный украденный паспорт ему вернули по почте. Джинсы, правда, не отдали.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: РАССКАЗЧИК

Рассказы Евгений Попов пишет начиная со школьных лет до сегодняшнего дня — то есть 60 лет с хвостиком! Сначала это были романтические этюды «под Паустовского» (и неплохие, кстати; в своей книжке про Попова «Солнце всходит и заходит» я воспроизвел один из таких — очень симпатичный). Потом романтизм если не ушел, то здорово затаился под слоем бесшабашного, отчасти трагического смеха. Классический сборник Попова «Веселие Руси», изданный сначала в легендарном «Ардисе», а потом многажды переизданный на Родине, как раз и венчает этот этап. Рассказы здесь, что называется, ударные: короткие и яркие. И смешные, между прочим.

Евгений Попов не раз говорил о том, что своеобразной основой его произведений стала так называемая «народная смеховая культура». Наиболее полный ее очерк мы находим в замечательной книге Д. С. Лихачева и А. М. Панченко «Смех в Древней Руси». Коротко напомню базовые тезисы. Смеховая система является неким антимиром, куда переносилось все неблагополучное и неправильное. Смех в этом антимире выступает разрушителем настоящего мира, но создает ему взамен мир свободный и неупорядоченный. Функция смеха, несомая «потешниками», заключалась в создании некоей «отдушины» для общества. Со смехом уходили психологическое напряжение, страхи. Смех строит антимир, как было сказано выше, где отвергнуты социальное неравенство, несправедливость.

В рассказах Евгения Попов мы действительно находим все это. И смех — в основе всего. Но и горечь, конечно, тоже. Шукшин к иронии первых рассказов отнесся без восторга — она ему понравилось меньше, чем остальное. Что остальное, заслужившее шукшинскую похвалу? Умение рассказывать кратко и емко, давать необычных для публики, но реально существующих «проблемных» героев, причем давать умело, мастерски — через диалог, через «скупое», одним штрихом изображение их чувств. Крайне важно, что Шукшин увидел совпадение места действия рассказов Евгения Попова с действительным миром сибиряков. Миром нелегким, проблемным — но в чем-то более свободным (Шукшин дипломатично написал, что свободным от диктата «общего мнения», но мы понимаем, что имелись в виду и иные рамки — прежде всего идеологические).

На следующем этапе (это уже 80-е) в прозу Попова пришли глубокая постмодернистская ирония и усложненная, иногда прямо-таки виртуозная повествовательная техника. «Мерцание» персонажа, внешне простые, но на самом деле очень хитро устроенные сюжетные и психологические перевертыши (книга «Прекрасность жизни», боль-

шие рассказы «Билли Бонс», «Или/или»). «Короткие рассказы „из жизни“, которых я насочинял более двухсот штук, в какой-то период жизни перестали меня удовлетворять, и я постепенно стал от них дистанцироваться, сначала вводя в тексты персону некоего талантливого маргинального самородка Н. Н. Фетисова, от имени которого, кроме собственно рассказов, написал до сих пор не опубликованный сборник абсурдистских пьес для чтения под названием „Место действия — сцена“, а также целый ряд суперграфоманских поэм („Молдаваняска“, „Моцарт и Зеленый горошек мозговых сортов“)» — вспоминает сам Попов.

В этом суждении хорошо видна основа так называемого «концептуализма». Автор больше не берет на себя смелости говорить от имени собственного, гиперромантичного «я». Этого «я», может быть, и вовсе не существует. А существуют пласты социального, политического, научного дискурса, составляющие сознание современного воспринимающего субъекта. Поэт (как видим на примере того же Д. А. Пригова, в начале 80-х бывшего большим приятелем Попова и даже героем его романа «Душа патриота») говорит чужой речью, демонстрируя ее чуждость и деконструируя ее. Например, Пригов пишет, «как Пушкин», — что делают, не осознавая того, миллионы графоманов. Тем самым эти графоманы разоблачаются.

А что же проза? Можно так же стилистически деконструировать, например, официозный или казенно-романтический стиль (что мы видели в ранних рассказах Евгения Попова). Но можно сделать шаг вперед — осуществить тотальную деконструкцию «реального» мира, показывая, что никакой реальности (и никакого реализма, что социалистического, что критического) не существует... Рассказывать долго, а получалось все это у Евгения Попова увлекательно.

Взять того же «Билли Бонса». В рассказе мы неожиданно видим «покушение на святое», на «шестидесятников» и их младших спутников, ровесников Евгения Попова: все, что они делали, оценивается как смешная и нелепая ерунда, вроде описанной в рассказе студенческой забавы в деревне Пупиха, имитации бунта с черным флагом из сатиновых трусов... И неудачник-пират Билли Бонс — вполне подходящий символ этого навсегда проигранного, да так и не начатого толком сражения. Ставится под сомнение возможность перемены нынешнего состояния умов. Черный абсурд и безнадега — вот что вокруг. «Дурак похож на умного, умный похож ли на дурака? О нет, дурак нынче не похож на умного, и умный нынче не похож на дурака. А дурак, похож ли нынче дурак на дурака, и умный похож ли на умного? О нет, дурак нынче не похож на дурака и умный нынче не похож на умного». Да, этот большой рассказ какой угодно, но не смешной... Австрийский исследователь Кристина Энгель находит, что «Билли Бонс» рассказывает в том числе о потере рая как интеллигенцией, так и народом.

На этой постмодернистской волне Попов как-то плавно переехал на поле крупной формы, романов и биографий (о чем будет рассказано ниже).

Ну и уже в нашем веке, в серии рассказов про Гдова (своего рода альтер эго автора) и его друга Хабарова, мы видим уже открытое сатирическое, фельетонное начало, нередко в сочетании с притчей. Странное сближение? Ну еще бы — собственно, вся проза Попова из таких странных сближений, парадоксов, контрастов, игры и состоит.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ: КАК ПОПОВ С РЕЖИМОМ БОРОЛСЯ

И даже неоднократно боролся (это если считать печатные варианты «борьбы» — тут поставим кавычки, ибо ни с кем он бороться не собирался; это режим воображал, что Попов на него покушается). Во-первых, еще в школе они с друзьями затеяли и из-

дали машинописным образом подпольный альманах с диким названием «Гиршфельдовцы». И это в 1962 году, в сибирской глубинке!

Как вспоминает Попов, «литературные кутята, каковыми мы тогда были, решили, начитавшись „Юности“, помочь обновлению Родины в Красноярске. Не зная, что это называется „самиздат“ и что за это в Москве уже начинают сажать. Мы же ничего плохого не делаем! Тексты графоманско-умеренные, за исключением Эдуарда Русакова, даже по первым вещам которого было видно, что это настоящий профессиональный писатель. Мы — школьники из школы № 20, хулиганистые, но „начитанные“ школьники во главе со старшим товарищем, студентом, приятелем моей сестры. Пишущей машинки ни у кого из нас не было, да мы и печатать не умели. Какие-то стихи отпечатали в ГОРОНО, у моей мамы. Потом нашли сочувствующую. Машинистку-студентку. Кстати, все четверо создателей самиздатского альманаха „ГИРШФЕЛЬДОВЦЫ“ были русскими ребятами и детьми офицеров МВД. Кроме Русакова, отец которого пропал без вести на фронте. Среди авторов были студенты, школьники, моя сестра... Успели выпустить 3 номера, пока нас не прикрыли. Сейчас два номера в Красноярском литературном музее, а один безвозвратно утерян. И хорошо. Мне его сейчас стыдно было бы показывать, настолько это было слабо. Играли в богему, печатали 8 экземпляров (две закладки по 4 копии), писали для важности 18 экз. Но „против властей не бунтовали“. ЭПИГРАФЫ К НАШИМ НОМЕРАМ были такие: „Свежести, свежести! Хочется свежести“ (Евг. Евтушенко), „В век разума и атома мы — акушеры нового. Нам эта участь адова по нраву и по норову“ (А. Вознесенский), „А мы рукой на прошлое вранье, а мы с надеждой в будущее, в свет“ (Б. Окуджава)».

И действительно, гораздо интереснее содержание журнала — его название. Скорее оно, как говорили раньше, «обличает» творческий потенциал Евгения Попова и его многолетнего друга, красноярского писателя Эдуарда Русакова (к сожалению, ушедшего из жизни в 2024 году). Откуда такое название — «Гиршфельдовцы»? Какой Гиршфельд имелся в виду?

Георг — немецкий драматург, прозаик и сценарист?

Людвиг Маврикий — польский медик, анатом, профессор Варшавского университета, доктор медицины?

А может быть, Магнус — немецкий врач еврейского происхождения, сексолог, исследователь человеческой сексуальности?

Нет, все это не в стиле юных красноярских самсебяиздателей. Итак... Слово Попову.

«В ресторане „Север“ мы встретили дивного „откинувшегося“ зэка Бориса Исаковича Гиршфельда. Он повыпивал с нами, занял у нас денег, которые, естественно, в указанный срок не отдал. Через неделю мы обнаружили его сидящим в домашних тапочках все в том же „Севере“ у раскрытого окошка. Было жаркое лето. Мы велели ему собираться и повели его на блатную речку Качу, угрожая страшными карами. Он спокойно слушал нас, а когда зашел в ворота низенького дома, где квартировал, то тут же выскочил оттуда с топором и гнал нас, хохочущих, до самого проспекта Мира через улицу Ады Лебедевой, Марковского, Перенсона, и проспект Ленина. Ну, как в честь такого замечательного человека было не назвать журнал?»

Думаю, это и есть сибирский постмодернизм в чистом виде.

Прошло 15 лет. Евгений Попов окончил Геологоразведочный институт в Москве (в идеологические вузы ему, не комсомольцу, хода не было (кстати, в Литинститут его не приняли три раза; теперь он там преподает!). Вернулся в Красноярск. Ушел из геологии, примкнул к литбогеме. Перебрался в Москву (точнее, в Подмосковье, город Дмитров, где выменял на прекрасную красноярскую «трешку», оставшуюся после ро-

дителей, квартирку в бараке). Опубликовал подборку рассказов в «Новом мире» с предисловием Шукшина. На волне одной из кампаний по работе с молодежью даже вступил в СП СССР, не имея ни одной изданной книги! И тут грянула история с «Метро́полем» — так группа писателей (и известных, и начинающих, и подпольщиков со стажем) во главе с Василием Аксеновым назвала свой независимый альманах. Вокруг «Метрополя» сошлись и официально признанные, но по-прежнему притесняемые цензурой писатели (Искандер, Вознесенский, Ахмадулина и другие). И новички (Петр Кожевников). И ветераны подполья вроде Юза Алешковского, в миру успешного детского писателя (кто ж не помнит «Кыш и Два Портфеля»!), но на самом деле автора песен, которые знал весь народ: «Товарищ Сталин, вы большой ученый», «Окурочек»... Для Алешковского это была уникальная возможность увидеть себя напечатанным на Родине. Как и для Владимира Высоцкого, тоже «метропольца» и тоже абсолютно не признанного в роли «нормального», публикуемого поэта. Высоцкий появлялся в штаб-квартире «Метрополя» с лихим вопросом: «Здесь печатают фальшивые деньги?» Но и для Евгения Рейна, Инны Лиснянской, Семена Липкина, например, это был шанс увидеть в печати большие тексты и подборки, не изрезанные цензурой.

Скандал был страшный. Попов вылетел из СП, перешел снова на богемный образ жизни без надежды на публикации, Аксенова выдавили за границу... «Метрополь» был впервые издан в США и сделался знаменит сам, прославив также его участников.

Ну и, наконец, третий заход. В год Московской Олимпиады группа литераторов, среди которых был, само собой, и Евгений Попов, объявила о создании независимого Клуба беллетристов, имеющего эстетические разногласия с Союзом писателей. Кроме того, они попросили Управление культуры Москвы выделить для их посиделок и чтения друг другу художественных произведений небольшое помещение. Но и этого мало — они попросили издать тиражом 500—1000 экземпляров образцы их сочинений, собранные для наглядности в альманах под названием «Каталог». Как вспоминает наш герой: «Мы не таились. Все было открыто. Там были даже анкеты авторов, слегка пародирующие советские. У меня, например, в графе „национальность“ значилось „русский из Сибири“. Напомним — открытыми были и „Гиршфельдовцы“, и „Метрополь“».

Власти ответили жестко. Начались обыски. Свозили нашего героя и на Лубянку — побеседовать. Организаторы «Каталога» не сдавались — жаловались на произвол в ЦК и «дорогому Леониду Ильичу». Попов и Кормер ходили в Управление культуры, где его начальник Ануров (вспоминает Евгений Попов) «интеллигентно посоветовал нам заткнуться, пока не посадили. Что веры в наши хорошие намерения нет никакой, потому что о нас постоянно трубят „Би-Би-Си“ и „Голос Америки“. Для убедительности совета я, Пригов, Кормер и Климонтович получили так называемые „прокурорские предупреждения“: гражданина Попова, что он находится НА ПУТИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, и эта бумага передается в Прокуратуру по месту жительства (гласный надзор)».

В частности, вспоминает Евгений Попов, «инкриминировали, что я:

1. Поддерживаю связь с отщепенцем Аксеновым и постоянно согласовываю с ним свои антиобщественные планы.

2. Поставляю клеветническую информацию западным корреспондентам.

3. Создал ряд произведений БЛИЗКИХ К КЛЕВЕТНИЧЕСКИМ, с элементами цинизма и порнографии.

Вот такая история. Впрочем, „Героем сопротивления, борцом с режимом“ я никогда не был. Меня таковым глупое начальство назначило», — говорит Евгений Попов. И в этой фразе он тоже искренен.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: РОМАНИСТ И БИОГРАФ

С какого-то момента (а именно с конца 80-х) Евгений Попов все больше тяготеет к крупной форме. И она у него всегда очень сложна и прихотлива. Пожалуй, вершиной его концептуалистского этапа стал роман (или повесть), вышедший в начале 90-х, «Накануне накануне» (переписанный в пародийно-актуальном ключе роман Тургенева).

Пожалуй, самая известная вещь в романном жанре у Попова — «Подлинная история зеленых музыкантов» (1998). По крайней мере, с внешней точки зрения роман написан по постмодернистскому канону. Не очень большой текст старого рассказа Попова — и огромный комментарий к нему. Ни много ни мало, 888 позиций, иногда коротких, в пару предложений, иногда обширных, несколько страниц. Подзаголовок — «роман-комментарий».

Вот пример. Фрагмент «основного текста»: апокалиптическое видение герою (тех самых «зеленых музыкантов»)

> Молча корчились они и тянули руки, но народ безмолвствовал (620), народ кротко глядел вперед (621).
>
> — Почему им никто не поможет? — в отчаянье выкрикнул Иван Иваныч.
>
> — Нельзя, — устало (622) ответил Голос. — Невозможно. Сами должны выкарабкаться (623)... Как Достоевский, как Толстой (624)...
>
> И лица их были усталы (625), злы, напряженны. Молча корчились они, и тянули руки, и рвали струны, в кровь сбивая пальцы, и падали, и шатались. Они корчились, они захлебывались, они тонули в мерзкой грязи, они рвали струны и раскрывали рты (626), но ни одного звука не вырывалось из опаленных ртов (627), и молчали балалайки (628), и молчал народ, и стояла на страшной площади жуткая вековая тишина (629).

А вот не несколько комментариев к приведенному фрагменту, чтобы продемонстрировать, насколько они разные.

> (620) Цитата из пушкинского «Бориса Годунова». Пушкин, между прочим, обо всем предупреждал, но его не слушали, ошибочно думая, что он шутит. Про Достоевского думали, что он заговаривается. Безгранично верили лишь Л. Толстому, плохо понимая, что он вообще говорит.
>
> (623) Это? Это еще что такое? А это, пожалуй, сентенция в духе запоздалой к 1974 году эстетики западных молодежных бунтов и революций 1968 года, прокатившихся от Беркли до Праги и включивших в себя выход крохотной группы смельчаков на Красную площадь г. Москвы в знак протеста против «братской помощи Чехословакии». Одновременно это, конечно же, — Россия, и в этом смысле «Зеленые музыканты» — почвенническое сочинение.
>
> (628) Да что же это такое?! Какие еще, к чертовой матери, «балалайки»?!

В общем, вещь получилась очень увлекательной, несмотря на сложность и причудливость конструкции.

А в новом тысячелетии Евгений Попов неожиданно (хотя, собственно. почему? Жизнь во всех ее проявлениях, чужая жизнь в том числе, всегда его интересовала) стал биографом. Первую биографию Попов написал в 2008 году вместе со своим другом Александром Кабаковым — героем стал их общий старший товарищ Василий Аксенов (за нее Попов и Кабаков, кстати, получили «Большую книгу»!). Потом эстафету, что называется, принял я.

За несколько лет мы с Евгением Анатольевичем написали ни много ни мало четыре совместные книги! Биографии тех, кого он хорошо знал: Василия Шукшина, Фазиля Искандера, Александра Кабакова (большое спасибо журналу «Нева» за публикацию глав!). Плюс литературную историю самого интересного года второй половины XX столетия — 1968-го... Как мне работалось с Поповым? Да прекрасно. Он, конечно, горячий спорщик и, повторю, вообще горяч — но умеет прислушаться к чужим словам и вообще ценит чужое мнение. Нечастое качество, между прочим!

Мне кажется, и в биографиях Попов проявил обычные качества своей прозы: иронию, мудрость, горячий интерес к тому, что описывается. Ну а я старался поддержать все это, как мог!

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ: КАК ПОПОВ СТАРШЕГО ТОВАРИЩА ПОЧТИЛ

Как-то уже в послеперестроечные годы наш герой вдруг увидел в телевизоре одного из гонителей «Метрополя», тогдашнего видного литфункционера, который говорил о том, как здорово, что изменились времена — а какие были раньше безобразия! Какие эксцессы! При этом в кадре был один из 12 существовавших в природе экземпляров «Метрополя», который этот гражданин демонстрировал в качестве жертвы былого режима. Умалчивая, понятное дело, о собственной роли, даже как будто намекавший, что помогал «метропольцам».

Попов решил действовать и немедленно написал ему вполне вежливое, политкорректное письмо, где напомнил, что этот экземпляр он лично принес ему и попросил его вернуть «любым удобным для него способом». Гражданин, уверенный в своей безнаказанности, имел глупость ответить тоже письмом, будто снес этот ничтожный экземпляр «на свалку» и поэтому не может вернуть «столь дорогую вам реликвию». Зря он это сделал! Тут в полной мере проявилось свойство нашего героя: уж если он чего решил и на что-то решился, то остановить его непросто.

Попов отправился в ЦГАЛИ, где получил справку о том, что оригинал альманаха является особо ценным экземпляром Центрального государственного архива литературы и искусства Российской Федерации. Далее он взял письмо от своего приятеля, директора сгоревшего потом Манежа Станислава Каракаша, где он просил подарить Манежу экземпляр «Метрополя», но если это невозможно, то он информирует, что Манеж не может заплатить за него более десяти тысяч долларов. Сумма специально была названа дикая, хотя... но не будем забегать вперед. То есть или отдавайте альманах, или раскошеливайтесь на изрядную сумму. С этими двумя бумагами Попов направился в Мещанский суд по месту жительства гражданина из телевизора, ставшего вмиг ответчиком. Как вспоминает наш герой, «суд продолжался почти два года и сам по себе достоин был художественного воплощения. Было весело, на суд приходили все желающие на этот суд полюбоваться. Помню Сашу Кабакова, актера Феклистова и финского переводчика Юкку Маллинена, Аксенова, Маканина...»

В итоге альманах внезапно обнаружился. И не на помойке, а в архиве ИМЛИ. Альманах вернулся к Попову, после чего и пролежал много лет в его комнате (напомним, он же был громадного формата).

Но самое интересное впереди. Диалектически этому экземпляру предстояло превратиться... в мемориальную доску старшему товарищу Евгения Анатольевича — Василию Аксенову!

После его смерти вопрос об установке доски возник, да так и остался висеть в воздухе. Писались письма в поддержку затеи (первым подписался Олег Табаков). Однако

сначала было сказано, что нужно ждать 10 лет после смерти героя — потом, когда 10 лет миновало, начались бесконечные согласования. Меж тем эскиз доски бесплатно сделал Борис Мессерер. Воплотил его скульптор Александр Семынин, нашли гранитную плиту... И вдруг — как гром среди ясного неба — разрешение на установку! А денег-то нет! Тысяч пятьдесят нашли из требуемого миллиона с лишним.

И тут нашего героя осенило — «Метрополь» под кроватью! Альманах, который появился на свет благодаря идее Василия Павловича!

Но сколько он стоит? Были, были сомнения...

Оказалось, дорого стоит! Один из 12 уникальных экземпляров, с собственноручными пометками цековских «тузов и шишек»! В общем, в мгновение ока «Метрополь» ушел коллекционеру за полтора миллиона рублей. Что на тот момент было гораздо больше легендарных 10 тысяч долларов, назначенных некогда как запредельная сумма!

И был праздник. Лето 2023 года. Писательский район Аэропорт. Присутствовал лично и я, потому говорю со всей определенностью: важное культурное событие! Замечательные люди — и замечательный Аксенов!

Как с большим удовольствием вспоминает Попов, «хватило и на „доску“», и на «приведение в порядок» близлежащей территории по требованию районного архитектора, и даже на ментов, обслуживавших разрешенную властями ТОРЖЕСТВЕННУЮ ЦЕРЕМОНИЮ с перекрытием движения по улице Красноармейской около дома 21, угол Аэропортовской. Анна Королева в саксофон дула, Алеша Аксенов, сын, «доску» открыл, Вадим Абдрашитов речь толкнул. Саша Искандер, сын Искандера, был. Много кто был! Телевизионщики все снимали. Хватило денег даже на роскошную пьянку в ЦДЛе... Божий знак! Аксенов сделал альманах, альманах сделал ему «доску».

Тоже, кажется мне, очень говорящая история...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: ПАТРИОТ

Что же сегодня? Все продолжается! Попов с большим удовольствием преподает в Литинституте и Высших литературных курсах. Ездит по стране, участвуя в литературных мероприятиях. Освоил электрический трехколесный самокат, лихо ездит на нем по Переделкину. Остается вице-президентом Русского ПЕН-центра (а долгое время был его президентом). В работе — новые литературные проекты.

И вот о чем я хочу практически напоследок — об идеологии, которая объединяет его прозу разных лет (а она очень идеологична и была идеологична всегда, с самого начала). Я бы назвал ее идеологией интегрального патриотизма.

Евгений Анатольевич никогда не был тем, кого называют «профессиональным патриотом». И даже, случалось, с этими профессионалами был в контрах. Однако Родина, Россия, Сибирь всегда были в центре его прозы.

Интегральный патриотизм — это когда люди систематизируются не по цвету кожи и наличию/отсутствию генетических и прочих национальных признаков. А разделяются на тех, кто исходит из следующей посылки: Россия есть отдельная цивилизация, совмещающая и преображающая черты всех других, западных и восточных, в неповторимое целое. Поэтому мы и похожи, и не похожи на американцев, малайцев, швейцарцев, японцев...

Попов точно не из тех, кто уверен, что Россия — это «недострана», «испорченная», «недозрелая» Европа. Можно ли любить такого уродца? По-своему — конечно. Любить, желать добра, то есть наконец стать настоящей Европой, пусть пока что второ-

сортной, покончить с «азиатчиной» в виде тоталитаризма, чинопочитания, подозрительности по отношению ко всему миру. Но такое уравнивание на правах младшего партнера и есть настоящая гибель России! Попов, да и любимые его герои с уравниванием России, «цивилизационным холопством» не согласны категорически. При этом слепой и безоглядной их любовь к Родине уж точно не назовешь. Например, они не любят начальство. Точнее, относятся к нему с заведомым недоверием. Причем — к любому. Что в прошлом, что в любом будущем. Конечно, для кого-то такая позиция кажется отнюдь не патриотической. И зря. Ведь интегральный патриотизм отнюдь не сводится к сумме отличительных признаков (среди которых вместе с балалайкой, медведем и фамилией Иванов есть и почитание начальства). Россию герои Попова любят не странной, а безусловной любовью, желая ей не меняться в европейскую ли, азиатскую ли сторону, но оставаться самой собой.

Это у Марселя Пруста эпопея кончается просто обретением времени, для героев Попова просто время само по себе малопривлекательно. Им нужно — иное. Как в анекдоте про буддиста, они жаждут получить от судьбы «бутерброд со всем».

Вспоминается один из героев Попова, с намеренно стертой фамилией Петров, работяга и пьяница, употреблявший исключительно парфюмерную жидкость.

> — И что ты находишь в этом одеколоне, дурак? — говорили ему коллеги.
>
> — Я нахожу в нем все, — важно отвечал Петров и пил вместо водки одеколон.
>
> Однако работал он прекрасно, повторяю это.

Да, собственно, герои этой прозы уже и живут в неизменяемой Русской Нирване, в Русской Вечности (то-то пьют столько — как известно, русская алкогольная утопия есть то, что к нирване приближает). Кстати, не очень и понятно, что они вообще употребляют — то ли водку, то ли настойку травы забвения, то ли одеколон, то ли легендарный Русский Эфир.

Ну, в такие дали писателю заглядывать, может, и незачем. Это дело нас, критиков. А сам Попов говорит вот что: «Основная моя тема — приключения российского человека в его собственной стране.

Эти события — всего лишь материал для писателя. Родиться в другое время невозможно, да и, пожалуй, не нужно, потому что все равно получится „аптека, улица, фонарь“. Внутреннее состояние — это поиски „золотой середины“ между беспросветностью и эйфорией, между отчаянием и надеждой. Задача писателя — обрести гармонию хотя бы на собственных страницах и тем самым дать туманный ПРИМЕР. А не учить, проповедовать, раздавать медали вперемешку с розгами и тумаками. С другой стороны — не впасть в нарциссизм, требуя преувеличенного внимания к собственной персоне. Это, впрочем, как кому удастся...

Социальное поведение мое диктуется тем, что я — гражданин России, глава семьи и мне не безразлично, а, скорее, крайне важно все, что происходит в моей стране. Я хочу, чтобы моя страна обрела хотя бы относительные мир, счастье, покой. Но к писательскому ремеслу это не имеет прямого отношения, потому что, на мой взгляд, не слово — „полководец человечьей силы“, а ломоть хлеба, стакан вина, чистая рубашка и любовь».

Прав!

К 250-летию Эрнста Теодора Амадея Гофмана

Альберт ИЗМАЙЛОВ

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОФМАНИАНА

В этом доме, стоящем на углу Невского и Мойки, располагался в 1920-е годы Дом искусств. У крытого подъезда висела желтая афиша о встрече поэтов. Было ветрено. Фонари в городе не горели. Город казался молчаливым. Мелькала тень случайной машины, переваливая через горбатый мост.

Только некоторые окна дома были освещены. Там, в уютном белом узком зале, висели по стенам бронзовые кенкеты. У окон, посередине зала высилась мраморная фигура мага и чародея Лингорста. На узком помосте стоял маленький столик с тонко выточенными ножками. На отполированной крышке столика лежала книга Гофмана. Вокруг столика расположились литераторы — «Серапионовы братья». Как и герои Гофмана, по вечерам, ближе к ночи, они собирались здесь и рассказывали друг другу разные истории, обсуждали первый опубликованный в России рассказ Гофмана «Мадмуазель де Скюдери», спорили о постановке «Принцессы Брамбиллы», говорили о цвете музыки, осязаемости и обоняемости звука, о том, что жизнь людей сера в настоящем, но даже в новых временах сохранились чистые души. Обсуждали гофмановскую концепцию о двуединой сущности мира — духовного и материального, невидимого и легко ощутимого.

Николай Гумилев пытался расширить признаками «двуемирия» горизонты земного и волшебного мира, образами разбойника, мытаря и блудницы. Анна Ахматова говорила о романтизме гофмановских фабул и текстов.

Так рождалась «петербургская гофманиана».

Анна Ахматова то «роскошествовала в одиночестве», то среди призраков и теней писала «зеркальным письмом», то ждала чего-то, кого-то, то читала в узком кругу — протяжно, глуховато, ровно, без интонаций. То подолгу молчала. И это околдовывало.

Нет, она не была песнью одного поколения. Она была и остается символом двойственности мира. Мира добра и зла. Материи и духа. Как и душа Эрнста Теодора Амадея, ее душа жаждала найти дверь и войти в волшебную страну.

Где-то открывались и закрывались двери. А в Доме книги и в Лавке писателей ее книг не было.

Везде она была такая разная. Но в ее петербургском тексте слышен петербургский язык, петербургский акцент, петербургская интонация. Как и у Гофмана.

Альберт Федорович Измайлов родился в Ленинграде в 1937 году, житель блокадного Ленинграда, кандидат филологических наук.

Гофмановский текст — мифологизированный. В нем есть и романтическая ирония, гротеск, психологизм, образы-маски, зеркала...

Эти элементы техники «оживления неодушевленного» мы видим и слышим в прозе, поэзии, драматургии нашего Серебряного века.

Маг и чародей Лингорст помогал перемещаться во времени и пространстве. Так, любой мог оказаться в Коктебеле, идти по улице Александра Грина, переходить обходными путями к улице Волошина, сворачивать на улицу Ахматовой и встречаться с улицей Николая Гумилева.

У подножия Карадага шумел ветер в листве. В его свежем дыхании невольно слышится женское имя, похожее на серебряный колокольчик. Пикируются эпиграммами поэты. Недобрые шутки отпускаются по поводу неоромантической экзотики.

А маленькая романтическая креолка рванулась вдруг к другому. А поэт ловил в море тарантулов. По ночам в чердачной душной комнатушке писал поэму.

У морского берега Коктебеля бурлила литературная «игра». Шелестели паруса кораблей. Капитаны бросали свои фрегаты на «вражьи фелуки». Вернувшиеся в родной порт веселые матросы затевали драки с «солдатами форта».

Как утренний туман, уплывали в прошлое былые прелестные дни.

Край голубых холмов хранил и хранит память о поэте. Памятник ему стоит на главной улице Коктебеля. Боком к Дому культуры, лицом к морю. Он высится одиноко. На монументе слова: «Гумилев Николай Степанович. Род. 15 апреля 1881 г. Расстрелян 24 августа 1921 г.».

А слева его поэтические строки:

Еще не раз вы вспомните меня
И весь мой мир волнующий и странный.

Волны памяти переносили на петербургский берег речки Лубьи. Не раз гимназисты бегали после уроков на ее берега играть в футбол и купаться. Иногда они вскакивали в вагон трамвая, чтобы, проехав несколько остановок, спрыгнуть на ходу и оказаться в лесной тиши, на зеленой поляне, один на один с птичьим граем.

Когда трамвай летел по Ириновскому проспекту, когда гремел по трем мостам, то казалось, что и впрямь заблудился этот старый трамвай «в бездне времен». И когда он стучал по мосту через речку Лубью, то застывал голос в горле:

Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон...

Цвет воды в Лубье, то черный, то светло-коричневый. То ли это от цвета древесной коры, то ли от бревен, которые в ту пору еще сплавляли по реке?

В вечернем сумраке огни трамвайного вагона: красный и желтый — световые знаки маршрута № 12. Словно куплен трамвайный билет в Мистерию Духа, откуда нищий старик из гумилевского стихотворения «Заблудившийся трамвай» «бросил нам вслед пытливый взгляд».

Где я? Так томно и так тревожно
Сердце мне стучит в ответ:
Видишь вокзал...

...на котором начертано: «Ржевка», видишь платформу Бернгардовка.

И многократный звонок трамвая на повороте напоминает звук старинного струнного инструмента, звучащего здесь над лесами, водами, тропами давным-давно.

В том лесу белесоватые стволы
Выступали неожиданно из мглы...

Эти тускло-белые стволы напоминают безысходную стену, преграду, средостение природное, общественно-социальное. Словно белесая ночь незаметно трансформируется во тьму августовской ночи. Как в двойственности бытия свет переходит в тьму. И лишь заблудившийся трамвай, магически огибая эту стену, мчит нас из прошлого в будущее, из настоящего в прошлое, из отчего края в сторону заморскую и обратно.

Вернись в меня, дитя.
Стань грязным илом,
Там в глубине болот,
Холодным скользким дном.
Ты можешь выбирать
Между Невой и Нилом
Отдохновению
Благоприятный дом.

Заблудившийся трамвай мчит дальше от Бернгардовки, мимо переулков с дощатыми заборами. Пассажиры не выходят. Они не могут сойти. Нет остановки. Да и зачем они бы приехали сюда? Будить память не следует. Любовь с рассудком редко живут в ладу. И надо ли покупать билет в Мистерию Духа? Ведь не всем пассажирам фантомного трамвая это по карману. Надежда тает. Ведь вместо живого билета в далекое путешествие нередко «мертвые головы продают».

И Николай Гумилев вскочил на подножку трамвая, как в «дело Таганцева». И трамвай бежит мимо серых цехов, где рабочий «занят отливаньем пули, что меня с землею разлучит». И там, где «врезан Исаакий в вышине», отслужат «и панихиду по мне».

И вот вся жизнь!
Круженье, пенье,
Моря, пустыни, города,
Мелькающее отраженье
Потерянного навсегда.

Последний путь по охтинской низине, меж берегов ручьев, речушек, рек, поэт двигался сквозь век, пространство и природу...

Я из дому вышел, когда все спали,
Мой спутник скрывался у рва в кустах,
Наверно, наутро меня искали,
Но было поздно, мы шли в полях...

И светила в рассветном небе «звезда долин, лилея голубая», и дымился волглый туман, сквозь который проступали пегие облака и красные прутья, и пахло порохом.

А на дне сознания Гумилева сквозь белый холод последней боли медленно остывало видение: зарождение, преображение и пронизанная огнем звезда. И на пороге ночи и дня были враждебны и тишь полей, и тени статуй в нишах дворцов. Река Лубья несла свои воды сквозь время.

Анна Ахматова вспоминала: «Я про Колю знаю. Их расстреляли близ Бернгардовки по Ириновской дороге. У одних знакомых была прачка, а у той дочь — следователь. Она, то есть прачка, им рассказала и даже место указала со слов дочери. Туда пошли сразу, и была видна земля, утоптанная сапогами. А я узнала через 9 лет и туда поехала. Поляна; кривая маленькая сосна; рядом другая, мощная, но с выворочными корнями. Это и была стенка. Земля запала, понизилась, потому что там не насыпали могил. Ямы. Две братские ямы на 60 человек. Когда я туда приехала, всюду росли высокие белые цветы. Я рвала их и думала: „Другие приносят на могилу цветы, а я их с могил срываю...“ Приговоренных везли на ветхом грузовике, везли долго, грузовик останавливался».

Друзья, сотрудники издательства «Всемирная литература» где работал поэт, пытались его спасти, обращались в различные органы. Не помогло.

В конце августа 1921 года Н. С. Гумилев был расстрелян вместе с другими приговоренными по «делу Таганцева».

В газете «Петроградская правда» было опубликовано сообщение о раскрытии антисоветского заговора и расстреле активных участников комплота, напечатан список приговоренных. Листовки с этим списком были расклеены по городу. В Казанском соборе в сентябре 1921 года поочередно отслужили панихиды по расстрелянным.

На лесной территории, ограниченной шоссе от Ржевки в сторону Бернгардовки излучиной речки Лубьи и землями Ржевского полигона, образовалось народное мемориальное кладбище. Сюда идут и идут люди. Темнеет август над водами Лубьи. Звучат стихи.

...Но что нам делать
С розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой.
Что делать нам
С бессмертными стихами?
Ни съесть. Ни выпить,
Ни поцеловать.
Мгновение бежит неудержимо.
И мы ломаем руки, но опять
Осуждены идти
Все мимо, мимо...

Не все рассказы участников петербургского клуба «Серапионовы братья» отвечали требованиям фантазии самого разного свойства, отвечали требованиям гармонии слова и музыки. Но главное, в них билось искреннее стремление выйти за рамки образов как копий с натуры, раскрыть чувства творца в прекрасных порывах вдохновения, нащупать точки воззрения на высокую роль искусства в противоречивых буднях бытия. И когда отечество призывает художника, он вряд ли может ослушаться этого благородного зова.

Роман Вениамина Каверина «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове» — это русская гофманиана, как мир пустых университетских аудиторий 1920-х годов, как Петербург, которого нет, а Ленинград «нас не касается».

В среде «Серапионовых братьев» одним из талантливых и проницательных литературных критиков был Илья Груздев. Его эссе были умны и не лишены фельетонного блеска.

«Серапионы (по крайней мере основное ядро их)... — писал он М. Горькому в 1926 году, — сбивают литературные шаблоны и потому-то все они в своем творчестве ироничны, вопреки казенным требованиям пафоса во что бы то ни стало... Посмотрите... как саркастически смеется Зощенко над казенным пафосом. Как умно делает это Федин в „Наровчатской хронике“. А разве тихоновские „Поиски героя“ не веселая ирония на ту же тему? <...> И за то, что Серапионы так чутки ко всякой фальши, ко всякой лавреневщине и лидинщине, я их бесконечно люблю».

Илья Груздев входил в правление издательства «Прибой», вместе с Константином Фединым, Сергеем Семеновым, Михаилом Слонимским участвовал в создании «Издательства писателей в Ленинграде».

В годы ленинградской блокады Груздев был контужен при бомбежке, но после выздоровления продолжал писать статьи в городские и фронтовые газеты, выступал в частях Ленинградского фронта, вел передачи на Ленинградском радио, написал книгу очерков «Балтийские истребители», в соавторстве с Б. Четвериковым создал пьесу «Вороний камень», которую высоко оценил И. Сталин.

У «Серапионовых братьев» все-таки была главная идея: «Здравствуй, брат, писать очень трудно». У каждого из них было свое литературное кредо. У Николая Тихонова: любить слово в безжалостную судьбу столетья золотого.

У Константина Федина: искусство, литература — христианские по сути, это жалость и сострадание.

У Вс. Иванова: литература — это высокое общественное служение, требующее от писателя индивидуальности и героизма.

У Михаила Слонимского: литературно-духовные ценности — правда, честность, свобода.

У Михаила Зощенко: я не коммунист, не монархист, не эсер, а просто русский.

Тема сохранения исторических, духовно-нравственных ценностей в нашей жизни, в русской литературе и истории была актуальна всегда. Еще Пушкин показал, что в недрах русского миросозерцания скрываются задатки русского творческого Возрождения. И в конце XIX — начале XX столетия эти задатки Русского Возрождения, Русского Ренессанса проросли в новой русской литературе.

Писатели Русского Ренессанса своим созидательным словом способствовали и способствуют раскрепощению сил русского национального возрождения во всех сферах творчества.

Вера КАЛМЫКОВА

НЕПОСИЛЬНО ДЛЯ НАИВНОЙ ДУШИ,

или Страх жизни в «Отражениях» Иннокентия Анненского

В русской критике начала XX века «Книга отражений» (1906) и «Вторая книга отражений» (1909, посмертно) Иннокентия Федоровича Анненского (1855—1909) — образцовые эссе, вершина жанра. Ее не удалось взять никому — ни Максимилиану Волошину с его «Ликами творчества», ни Николаю Гумилеву с «Письмами о русской поэзии», ни Валерию Брюсову с «Далекими и близкими».

Обе «Книги отражений» — результат медленного чтения классических произведений, эстетическое проникновение в сущность героев, в авторский замысел и воплощение. Анненского интересовало то, до чего современники доросли годам к 1920-м, не ранее. Он выделил в литературе художественное *Я,* позже названное в поэзии лирическим героем. Он нащупал диалогическую природу словесного искусства. Он показал, что одно и то же явление видится иным в художественном произведении в зависимости от того, кто и откуда смотрит — автор или герой, а если герой, то какой именно.

Однако написанное Анненским по достоинству не оценено ни современниками, ни потомками.

Современники просто не успели: Анненский буквально ворвался в литературу, предложив нечто совершенно особенное. Его стихи и эссе-«отражения» выполнены в русле «чистого искусства», которое пугало даже Вячеслава Иванова или Андрея Белого, недаром увлекавшихся теургией и прочими околофилософскими исканиями. Потомки... краткий всплеск массового интереса к русскому символизму ограничивается, пожалуй, 1990-ми годами; быстро победившие contemporary art и постмодернизм, при всей их эстетической неоднозначности, восходят скорее к авангарду, чем к символизму. И начало модернизма в России по-прежнему покрыто любимым символистами туманом.

Вышло так, что автору не удалось вкусить плоды своих трудов. Книги стихов — «Тихие песни» (1904, под псевдонимом Ник. Т-о) и «Кипарисовый ларец» (1910, посмертно) — должны были ошеломить, но прошли почти незамеченными. Он успел «прочитать благожелательные, но торопливые рецензии Гумилева <...> и К. Эрберга <...>»[1] на свою эссеистику, получить несколько восторженных откликов в письмах — и только. Более того, за статью «О современном лиризме», опубликованную в первом номере журнала «Аполлон», долженствовавшую принести Анненскому славу первого литературного критика России, автору пришлось едва ли не извиняться...

Вера Владимировна Калмыкова родилась и живет в Москве, поэт, кандидат филологических наук, редактор, автор научных и научно-популярных книг и статей.

[1] Тименчик Р. Д., Черный К. М. Анненский // Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь. Т. 1. М.: Сов. энциклопедия, 1989. С. 88.

Судьба писателя всегда складывается из мириадов факторов, причем рациональному анализу поддаются единицы. Среди умопостигаемых причин *казуса Анненского* — и программная субъективность его взгляда, подчеркнутая в каждом «отражении»-эссе; и недостаточная образованность его рецензентов, о которой честно написала в 1910 году Любовь Яковлевна Гуревич; и наступивший всего через несколько лет после публикации его книг катастрофический культурный перелом, в результате которого *эстетическая* критика стала невозможна, но зато восторжествовала *партийная*. Однако где Анненский — и где партийность: этот автор не удосужился примкнуть ни к одному идейному течению эпохи модернизма, а политики очевидно чурался. Объяснимо до прозрачности, почему в первые советские десятилетия и Анненский-поэт, и Анненский-литературовед оказался плотно задвинут на антресоли родной литературы (после 1923-го, обильного публикациями, в 1939 и 1959 годах все же вышли два сборника стихов).

Были, правда, в 1920-е годы попытки возвратить и укоренить в пореволюционной культуре, так сказать, *привить к советскому дичку* Анненского-поэта. Лингвист, профессор, впоследствии академик Борис Александрович Ларин (1893—1964) в 1923 году писал:

> Чуть заходит речь об эмоциональной природе прекрасного в поэзии, кое-кто нетерпеливо отмахивается.
>
> Правда, давно замечено, что разговорная речь среднего обывателя гораздо богаче эмоциями, чем поэтическая. (У него постоянно преобладают чувства над мыслью).
>
> Затем, эмоции — темная область, не долго о них рассуждать.
>
> Отсюда почти заповедь: — отстранить их из научного веденья, будто их и не бывало.
>
> Такая чувствобоязнь — почти хороший научный тон у нас.
>
> И как всегда в хорошем тоне тут самоограниченье и притворство.
>
> Никто не может отрицать, что эмотивность, волненье, заразительность именно этого рода — важный и неотъемлемый момент поэзии, когда эстетическое действие ее сбывается. Но, правда, надо говорить об этом как-нибудь по-новому, хотя это и трудно.
>
> А вот сказаться немогузнаем, устранить вопрос — непростительно легко, и вовсе не «научно-добросовестно».
>
> Эмотивный символ — часто бездыханный и для нас, и для самого поэта, как игла громоотвода: он бездейственн, но бывает путем разряда — проявленья душевного напряженья грозовой силы. Лирическое стихотворение должно быть чертой духовного горизонта, пределом ясной выси познаваемого и темной душевной стихии («чистой душевности»).
>
> Оба простора за ним, не один: — Но отличий «лирических чувств» в абстрактности их, неприуроченности к случайному, единичному и несобственности, они над-личны.
>
> <...> И, конечно, редки такие стихи, не всем они донимательны. Чаще — немощь памяти и бледные вымыслы чувства, — непробудное бормотанье, — у тех поэтов, чьи чувства «несказанны», а стихи патетичны — вместо музыки.
>
> Мощная эмотивность в лирике тогда, когда она вовлекает нас в разлад и борющуюся враждебность — ясного духа и напора страсти[2].

Статья Ларина о «Кипарисовом ларце» опубликована в издании «Литературная мысль. Альманах II» и раскритикована Ю. Н. Тыняновым. Ларин попытался соединить анализ художественной формы с читательской и исследовательской эмпатией,

[2] Ларин Б. А. О «Кипарисовом ларце» // URL: https:// annenskiy.lit-info.ru/annenskiy/articles/larin-o-kiparisovom-larce.htm (дата обращения: 29.06.2025).

сочувственным проникновением в текст и через него во внутренний мир автора. Такая исследовательская задача не могла быть встречена на ура русской наукой, в то время еще не пришедшей в себя после десятилетий подмен критики — то борьбой за права народа, то апелляцией к божественному глаголу, то демиургией или теургией. Формалисты хотели прежде всего анализа, и «чувствобоязнь» у них была проявлением страха перед непрофессионализмом.

Но и Ларин писал все-таки о стихах, а не о критических опытах Анненского...

Главная причина непонимания и забвения, конечно, — стиль Анненского. Трудна и опасна работа исследователя, который принимается в сплошном потоке сознания поэта-эссеиста, мыслившего целостно, отделять друг от друга в его прозе точные микроцитаты, пересказы, реминисценции, аллюзии и другие возможные отсылки; эту работу можно проделать, но понимание отдельно взятого абзаца как звена в цепи размышлений именно Анненского, и никого иного, равно как и понимание *целого* текста, от этого никаким образом не прирастет. Чужое слово растворяется в насыщенном субстрате *отражений,* субъективируясь — и становясь в идеале словом читателя, если тот отважится на *исполняющее понимание* (выражение Осипа Мандельштама), то есть на чтение-*отражение*.

Лишь в 1979 году маятник откачнулся в противоположную сторону: в знаменитой серии «Литературные памятники» издательства «Наука» вышел том, включавший в себя обе книги критики Анненского, разрозненные по разным изданиям статьи, а также письма[3]. Издание сопровождалось исследованиями Натальи Туймебаевны Ашимбаевой, Ирены Исааковны Подольской и Андрея Венедиктовича Федорова, кстати сказать, сверстника первой «Книги отражений». Среди комментаторов тома значатся имена О. Д. Айзенштат, М. Л. Гаспарова, Л. С. Гейро, А. В. Лаврова, А. В. Орлова, Р. Д. Тименчика. Консультантами стали Л. Я. Гинзбург и Д. Е. Максимов. Ту или иную помощь оказывали Н. И. Балашов, С. А. Богданович, М. А. Бородина, Я. М. Боровский, В. М. Глинка, Э. Е. Зайденшнур, Б. Ф. Егоров, А. М. Конечный, К. А. Кумпан, Л. А. Науменко, Л. В. Овчинникова и В. Н. Топоров. Те, кому дорога отечественная филология, увидит в этом перечне много славных имен.

Ашимбаева, Подольская и Федоров приложили максимум усилий, чтобы объяснить литературоведческую стратегию Анненского. Заявлять, будто их выводы утратили актуальность или перестали быть интересны сегодня, конечно, невозможно. Однако в советскую эпоху литературовед не мог позволить себе затрагивать целый ряд тем, например, религиозность или фихтеанство. А ведь Анненский — христианин; его взгляд как на избранных для размышления авторов, так и на их героев обусловлен прежде всего заповедью «возлюби ближнего», недаром однажды ему захотелось заменить слово «отражения» в названиях книг на «влюбленности». «Я назвал книгу „Отражения“ — теперь у меня лучше придумалось заглавие, точнее: „Влюбленности“» (Письмо С. А. Соколову от 11.10.1906; 469). Глубокое понимание философии И.-Г. Фихте породило важнейшее, возможно, категориальное положение эстетики Анненского — соположение *Я* (у Анненского со строчной буквы) и *не-Я,* в его случае укорененных опять-таки в христианской основе.

За «Книгами отражений» и сборником того же 1979 года «Лирика» последовало несколько изданий стихотворений и прозы Анненского, а затем выход его книг стал более или менее регулярным. Логично предположить, что с каждым десятилетием к этому автору прибиваются новые читатели. Хочется верить, что однажды появится критик, который вновь, не прикрываясь нейтральным *мы* или не высказываясь стыд-

[3] Анненский И. Ф. Книги отражений. М.: Наука, 1979. Многочисленные ссылки на это издание даны в тексте с указанием страницы в круглых скобках.

ливо-безлично, заговорит от своего имени о прожитых, прочувствованных, пережитых произведениях словесного искусства, делясь открытиями предельно концентрированного *Я* с читателями, для которых такая субъективность окажется всеобщей высокой истиной искусства.

Следует упомянуть, что сегодня действует интернет-ресурс, сайт «Мир Иннокентия Анненского»[4]. Его создал и поддерживает Михаил Александрович Выграненко.

* * *

То, что метод Анненского и в поэзии, и в критике нашел продолжателей среди ближайших потомков, зафиксировано литературным процессом. Анна Ахматова и Осип Мандельштам открыто называли его своим учителем, декларируя поэтическую преемственность по отношению к символисту. Акмеизм, внимательный к впечатлениям, полученным посредством физиологических чувств, — дитя Анненского.

Однако если читать *прозу* Мандельштама, то, помимо бросающейся в глаза субъективности, можно увидеть другие моменты сходства со стилем Анненского-эссеиста, более глубокие. Сам Мандельштам вполне осознал такой подход лишь в позднем «Разговоре о Данте» (1933) и нашел для него словесное выражение — то самое *исполняющее понимание:*

> Вообразите нечто понятое, схваченное, вырванное из мрака, на языке, добровольно и охотно забытом тотчас после того, как совершился проясняющий акт понимания-исполнения...
>
> В поэзии важно только исполняющее понимание — отнюдь не пассивное, не воспроизводящее, не пересказывающее. Семантическая удовлетворенность равна чувству исполненного приказа.
>
> Смысловые волны-сигналы исчезают, исполнив свою работу; чем они сильнее, тем уступчивее, тем не менее склонны задерживаться.
>
> Иначе неизбежен долбеж, вколачиванье готовых гвоздей, именуемых культурно-поэтическими образами[5].

Да, у Мандельштама материал для анализа в данном случае — произведение поэтическое; да, в стихе «смысловые волны» шумят отчетливее, чем в прозаическом пассаже; но налицо исходная точка — прозрение, мгновенный выход из мрака, слияние с другим автором, и в результате рождение некой третьей литературной личности из двух — и той, что стала объектом анализа, и той, что служит ее субъектом-инструментом.

...А не показать ли читателю *исследовательскую кухню,* чтобы он увидел, как ищутся и находятся мельчайшие связи между произведениями, реплики поэтического и культурного диалога, из которых рождается ткань литературного процесса?..

Фрагменты сочинений Анненского порой *отражались* в произведениях Мандельштама сложными путями. Так, в статье «Что такое поэзия?» Анненский писал:

> Символика звуков и музыка фразы занимают не одних техников поэзии. Синкретизм ощущений, проектируясь в поэзии затейливыми арабесками, создает для нее проблему не менее заманчивую, чем для науки, и, может быть, более назревшую. Не думаю, чтобы кого-нибудь еще дурачили «фолады» Макса Нордау или обижал его жирный смех (206).

---

[4] URL: http://annensky.lib.ru/index.htm (дата обращения: 10.02.2025).

[5] Мандельштам О. Э. Разговор о Данте // Мандельштам О. Э. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. / Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 3-е, испр. и доп. Т. 2. СПб.: Интернет-издание, 2020. С. 134.

Кто такие фолады и что они делают в произведениях Мандельштама, объясняет современный ученый:

> Обсуждая сонет Артюра Рембо «Гласные» с его программным синкретизмом ощущений, Нордау вспомнил моллюска-камнеточца, фолада (Pholas dactylus), который «видит, слышит, осязает, обоняет одною частью тела». Следовательно, символизм, по Нордау, является ретрогрессией к самому началу органического развития с высот человеческого совершенства на уровень моллюска, от сознания человека к сознанию устрицы. <...> память о глумливой биологической метафоре долго жила в подсознании модернистической поэзии вплоть до демонстративного подъема брошенной перчатки в мандельштамовском «Ламарке»[6].

В свою очередь, эпитет «жирный» неоднократно использовался Мандельштамом в богатом смысловом диапазоне: «Был от поленьев воздух жирен» («Когда в далекую Корею...», 1932, 1935), «Готовят жирных голубей» («Импрессионизм», 1932), «Фета жирный карандаш» («Дайте Тютчеву стрекозу...», 1932), «Его толстые пальцы, как черви, жирны» («Мы живем, под собою не чуя страны...», 1933), «Налетели на мертвого жирные карандаши», «Весь день твержу: печаль моя жирна», «О Боже, как жирны и синеглазы» (10 января 1934), «Как на лемех приятен жирный пласт» («Я должен жить, хотя я дважды умер», «Чернозем», 1935) и др. В некоторых случаях ассоциативно-символические ряды образов Анненского служили неочевидным источником размышлений Мандельштама и образности его стихотворений. В «Книге отражений» читаем: «А какие-то глупые версты уже проходят... Знакомое, милое, а выцветает, линяет... изменяет даже... О, только бы Иерусалим не изменил. Горит ли еще на западе его тень?..» (86). Филолог Борис Федорович Егоров указал, что здесь содержится намек на стихотворения А. С. Хомякова «Широка, необозрима...» (1858) и «Мечта» (1835) (591). При этом стихотворение «Широка, необозрима...» стало одним из прецедентных текстов и для стихотворения Мандельштама «Где ночь бросает якоря...» (1923?)[7]. Наконец, сразу два концептуально важных для Мандельштама мотива — буддизм и безотрадный труд — содержатся в статье Анненского «Юмор Лермонтова» из «Второй книги отражений» (1909): «Толстой не мог изобрести для своего буддизма символа страшнее и безотраднее, чем его труд» (137). Мандельштам полагал вслед за Анненским, что нетворческий труд уничтожает личность. Отсюда резкость его высказывания: «Есть блуд труда и он у нас в крови» («Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето», 1931), причем в данном тексте оба мотива соседствуют.

Итак, *исполняющее понимание:* формула Мандельштама, последователя, суть метода — Анненского, первопроходца.

Менее ожидаемое, но от этого не менее явное генетическое следствие прочтения «Книг отражений» — проза вышеупомянутого Юрия Тынянова. О том, что стиль Анненского напрямую повлиял на его литературоведческие работы, писала Н. Т. Ашимбаева. Когда Анненский говорил о Гоголе или Достоевском, то использовал прием монтажа, осознанный позже, в 1920-е годы в связи с кинематографом. В *отражениях* монтируются три точки зрения — *автора* произведения, *героя* произведения и *читателя*-критика. Тот же самый прием использует и Тынянов-прозаик.

---

[6] Тименчик Р. Д. Устрицы Ахматовой и Анненского // Иннокентий Анненский и русская культура XX века: Сборник научных трудов. СПб., 1996. С. 50—54. URL: http://annenskiy.lit-info.ru/annenskiy/articles/timenchik-ustricy.htm (дата обращения: 10.02.2025).

[7] Видгоф Л. М. Некоторые соображения о стихотворении «Где ночь бросает якоря...» // URL: https://mandelshtam.lit-info.ru/mandelshtam/kritika-o-mandelshtame/vidgof-gde-noch-brosaet-yakorya.htm (дата обращения: 23.07.2025).

* * *

Я критика, избирающего отражение как метод понимания, формируется, согласно учению Фихте, в деятельности, в данном случае когнитивной. В это *Я* входит, как уже говорилось, христианская составляющая, которая в случае Анненского никак не выделяется из субстрата отражений: он любит Прохарчина и Достоевского, любит Гоголя и никак не может полюбить ни майора Ковалева, ни Нос, не любит Толстого и любит героев Толстого... Он упрекает Горького в *безлюбии,* но любит горьковскую мысль, как и мысль Чехова. *Исполняющее понимание* позволяет критику вдвигаться все глубже в текст, вживаться в него, достигая стилистического слияния с автором: пассажи о Гоголе или Достоевском можно принять за отрывки из их сочинений. Христианское ощущение человека в мире позволяет Анненскому определить границы своего *Я* и область *не-Я,* но это такое *не-Я,* которое он никогда в себя не впустит — мелкость кавказского майора, гордыня Свидригайлова и Льва Толстого, бесплодная «литературность» трех сестер, «белый экстаз» тургеневской Софи, где белый — знак опять-таки бесплодности и все того же безлюбия. То, что у Анненского «бело», у Брюсова и Мандельштама *бесполо*.

Но вы безвольны, вы бесполы,
Вы скрылись за своим затвором.
Так слушайте напев веселый.
Поэт венчает вас позором.

Валерий Брюсов. «Цепи». 1905[8]

Для вас потомства нет — увы,
Бесполая владеет вами злоба,
Бездетными сойдете вы
В свои повапленные гробы.

*Осип Мандельштам. «Где ночь
бросает якоря...», 1920*[9]

— Нет, не мигрень, — но холод пространства бесполого,
Свист разрываемой марли да рокот гитары карболовой!

*Он же. «Нет, не мигрень, но подай карандашик
ментоловый...», 1931*[10]

Здесь же следует сказать, что Анненский не стремился, как Дмитрий Мережковский или Зинаида Гиппиус, как русские философы начала XX века, к выработке «нового религиозного сознания». Ему не надо домысливать христианство, прибавляя к существующему еще что-то; вполне достаточно и «старого», традиционного, в тех проявлениях, которые естественны для людей его круга.

> Тьма — это все, в ком нет Бога. Все свято и все прекрасно, где есть Бог, отсутствием же его обращается в презренность и ничтожество все самое, по-видимому, законное и нормальное. <...> Для нас <...> Евангелие совершенно особая книга

[8] Брюсов В. Я. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 1. М.: Худож. литература, 1973. С. 429.
[9] Мандельштам О. Э. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. Т. 1. С. 270.
[10] Там же. С. 138.

> и представление о ней не вяжется ни с каким другим, кроме представления о Христе. Мы не садимся, здорово живешь, читать Евангелие, но в церкви это — наши лучшие минуты, когда нам читают Евангелие, и всякий раз в бессмертных словах на дорогом для нас за свою чуждость ежедневному языке мы воспринимаем освежающую душу новизну. Кто из нас полностью прочел, уж не то чтоб сличать четырех евангелистов? А между тем у каждого из нас есть в душе слитый с нашим существом и дорогой для нас символ Христа, символ оправдавшего нас чуда. Евангелие, или возможность всегда оживить этот символ, существует, — и с нас этого довольно. А делить две стихии, которые слились в Евангелии, как они были слиты в Христе, т. е. любовь и чудо, мне, по крайней мере, претит (68).

Эти слова из эссе Анненского «Власть тьмы» не только передают представление среднестатистического культурного верующего человека Серебряного века, но и служат переходом к важнейшей мысли Анненского о Толстом: гений-ересиарх сам хочет быть единственным носителем истины, он сводит все лишь к своему *Я,* подминая или уничтожая любое *не-Я,* ему априори враждебное. Самая жизнь у Толстого сведена к убогой притче — а разве писатель-реалист хоть сколь-нибудь властен над ужасом действительности? Не поэтому ли отвергает Толстой музыку, как отвергает Евангелие?

Анненский, в отличие от Льва Толстого, впускает в свое *Я* столько мучительных *не-Я,* что его личность становится в них неразличима.

Анненский, в отличие от Льва Толстого, — многоголосен, и это не идеологическая позиция, которую можно поменять со временем или с изменением обстоятельств, а природа его личности.

Парадоксально, что, сплавляя несколько точек зрения, Анненский позволяет звучать то одному, то другому голосу, причем не в диалоге, как в романах любимого им Достоевского, но в интерпретационном тексте, откуда реплики, если они присутствуют, не вычленяются. Нетрудно догадаться, что в *отражениях* скрыто зерно диалога, необязательно *Я* и *не-Я,* ибо и то, и другое начало многолики. Отсюда один шаг до теорий М. М. Бахтина, до полифонии как принципа организации текста, а уже от них, как известно, — до интертекстуальности как одного из самых крупных явлений гуманитарной науки второй половины XX века.

Метод Анненского — стремление заглянуть в душу автора произведения, реконструировать психологические процессы, сопровождавшие создание того или иного героя. Такой подход позволяет Анненскому очень близко подойти к еще одному интеллектуальному открытию истекшего столетия — к психологии творчества. Не случайно Л. С. Выготский работал над «Гамлетом»: здесь тоже обнаруживается *анненский след,* стоит лишь вчитаться в оба текста...

* * *

Чтобы выявить еще один аспект эстетической критики Анненского, нужно для начала четко сформулировать, что имеется в виду под *отражениями* и какова, в конце концов, внутренняя смысловая связь всего, что он делал. Здесь понадобится обширный материал, в том числе биографический.

Отражение в прямом общеязыковом значении подразумевает плоскость, на которой объект зеркально удваивается. Анненский же идет вглубь, его отражение объемно, что отметила еще И. И. Подольская: «Мы присутствуем при необычном отражении — не на поверхности, а изнутри» (520). Анненского-критика не интересует социальная действительность, объект его интуиций — сознание писателя, уже получившее жиз-

ненный материал и перерабатывающее его. Возникают персонажи-фантоши[11], ипостаси авторской мысли. Все это становится объектом отражения, которое работает дальше: *создание художника отражается в сознании читателя*. Подольская заметила: «„Отражения“ Анненского не ограничивают, а расширяют внутреннее содержание художественного произведения, то есть <...> обогащают его „идеальную сторону“» (515). Анненский-читатель активен не только в том смысле, что ловит мысль автора произведения, проникает и в его психологию, и во внутренний мир его героя; он также постепенно *открывает* перед тем, кто *открывает* его книгу, собственное мировоззрение, личное ощущение от мира, в котором живет.

На первый взгляд жизнь его была вполне респектабельной; Анненский не позаботился о будущих исследователях и не оставил массив эго-документов, из которых мы узнавали бы о каких-то катастрофических событиях. Он преподавал, двигаясь по служебной лестнице, переводил античных авторов и публиковался. Будучи директором Царскосельской гимназии, Анненский стал — в буквальном смысле — учителем Н. С. Гумилева. В 1901 году вышла в свет трагедия «Меланиппа-философ», в 1902-м — «Царь Иксион», в 1904 году под псевдонимом Ник. Т-о — книга оригинальных стихов «Тихие песни». В 1906 году Анненский принял должность инспектора Санкт-Петербургского учебного округа, в том же году опубликовал трагедию «Лаодамия» и «Театр Еврипида», закончил трагедию «Фамира-кифарэд» и отказался от псевдонима Ник. Т-о, решив выступать как поэт под собственным именем. В 1908-м в журнале «Гермес» появилась его статья «Античный миф в современной французской поэзии». До 1909 года читал лекции по истории древнегреческой литературы на Высших женских историко-литературных курсах Н. П. Раева. В марте 1909-го Гумилев познакомил Анненского с Сергеем Константиновичем Маковским, в то время одержимым идеей издания нового журнала, и Волошиным. После малоприятной истории с ведущим модернистским критиком А. Л. Волынским, которого Маковский просил написать программный текст для будущего журнала «Аполлон» и который мыслил себя как единственного арбитра в будущем издании[12], первый номер «Аполлона» вышел с первой частью статьи Анненского «О современном лиризме». За месяц до этого в Александринском театре прошла премьера трагедии Еврипида «Ифигения в Авлиде» в его переводе. Незадолго до смерти он начал читать стиховедческие лекции в Обществе ревнителей художественного слова (ОРХЛ) при редакции журнала «Аполлон»[13]. Он подал прошение об отставке со службы и начал переговоры в издательстве «Гриф» о публикации новой книги стихов — «Кипарисовый ларец». 30 ноября внезапно умер от паралича сердца на Царскосельском вокзале.

Как мы видим, внешняя канва вполне благополучна — кроме, разумеется, скоропостижной смерти. Безусловно, *отражение* литературной личности Анненского в зеркале современного литературного процесса поначалу было мутноватым. Критики, как уже говорилось, почти проигнорировали «Тихие песни» (счастливое исключение составил отзыв Брюсова), не поняли «Книгу отражений». Анненский все же нашел для

[11] Фантош в словаре XIX века — кукла-марионетка (от фр. fantoche), манекен. Это слово встречается в «Ликах творчества» М. А. Волошина, в мемуарах «В начале века» А. Белого и других источниках. Называя литературных персонажей фантошами, Анненский, по сути, сразу обозначает свой творческий метод, который в те годы еще не был хоть сколько-нибудь общепринятым. Анненского интересуют процессы, происходящие в сознании авторов художественных произведений. Выражением этих процессов становятся эстетические феномены — фантоши-персонажи.

[12] См. об этом: Лавров А. В. А. Волынский и журнал «Аполлон» // Лавров А. В. Русские символисты: Этюды и разыскания. М.: Прогресс-плеяда, 2007. С. 395—406.

[13] Постоутенко К. Ю. [Комментарии] Иванов Вяч. Три неизданные рецензии // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 248.

себя площадку — ею стали журналы «Гермес», «Перевал», «Литературные приложения» к газете «Слово». Как раз к 1909 году его положение начало стабилизироваться. За пять лет, если вести отсчет с «Тихих песен», он все-таки сделал литературную карьеру, что особенно удивительно при его *индивидуальном* образе жизни в отличие от *группового* существования символистов.

При этом художественную идею «Книги отражений» можно определить как *ужас жизни.*

Подчеркну: этот ужас не был для Анненского проекцией каких-либо чудовищных переживаний реальных обстоятельств, как случилось с Федором Сологубом или Максимом Горьким, как было у Афанасия Фета или Николая Некрасова. Любя людей, любя живого Христа, Анненский ощущал *ужасное* как потоп, извне заливающий человеческие души.

В эссе «Господин Прохарчин» читаем:

> Мотив повести — *непосильная* для *наивной души* борьба с *страхом жизни.* Вдумайтесь в природу и смысл этого страха жизни, и вы откроете интересный контраст между данным мотивом и столь возвеличенной в наши дни Чеховщиной. Кажется, ни один поэт не давал читателю лучше Достоевского почувствовать, что такое настроение: вспомните только сон Раскольникова в его «каюте» 12 и потом, когда он проснулся, закат в стеклах и бьющуюся между ними муху, или еще то раннее утро, когда Свидригайлов ощупывал в кармане револьвер 13, а на него глядели закрытыми ставнями желтые домишки Петербургской стороны, еще скользкие от ночного тумана (28).

Книга начинается с почти веселого отражения «Носа». Бесконечные вводные слова, передающие приседающую, искательную манеру маленького человека рядом с сильными мира сего, — проявление иронии у Анненского. Но уже в «Портрете» идет накопление эмоциональных и психологических фактов, формирующих определенное представление о мире. Страх жизни движет Достоевским и его фантошами.

Внутренний сюжет — *ужас жизни, овладевающий душами,* — достигает кульминации в «Горькой судьбине» и удерживается во «Власти тьмы». Затем накал спадает, потому что критик исследует способы, которыми можно заслониться от непосредственного переживания ужасного («Драма на дне», «Три сестры»).

> Ужас и сострадание, которое еще Аристотель за 22 века до нашего времени определил как два главных трагических элемента, являются на двух полюсах художественной шкалы[14] наших ощущений: в ужасе более, чем в каком-либо другом чувстве, для человека весь мир сгущен в какой-то призрак, грозящий именно ему. В сострадании как раз наоборот: человек совершенно забывает о своем существовании, чтобы слить свое исстрадавшееся я с тем не-я, которому это страдание грозит.
>
> Вся история нравственного бытия человека прошла между ужасом и состраданием <...> (58).

Исследователь античности, Анненский воспринимает современного автора и героя как результат воздействия Судьбы, и здесь *ужас* — состояние древнего эллина. Однако перед нами христианизированная античность: не одно сострадание, но вместе с тем незнакомая грекам совесть играют первостепенную роль.

Катарсическое разрешение тема получает в статье «Бальмонт-лирик», и происходит это благодаря гимну поэтическому слову, которое больше не является *служилым,*

[14] В оригинале: ска́лы. Ска́ла в речевом обиходе рубежа XIX—XX веков — то же, что шкала.

то есть не обслуживает внеязыковые нужды, а само становится реальностью художественного произведения.

Этот мотив — по законам музыки — переходит во «Вторую книгу отражений».

Вообще надо отметить, что музыкальное воспитание, которое получали в детстве и юности будущие деятели Серебряного века, давало очень много для поэтического творчества. Композиция музыкального произведения, принципы музыкальной формы, устоявшиеся в XVI—XVII веках, в XIX столетии уже не являлись дискуссионными: каждый образованный человек знал, что такое тема и зачем нужны ее вариации. Когда говорят о «музыкальности» поэзии символистов, следует учитывать не только фонетический аспект, то есть звуковой облик произведения, но и представление о гармонии целого, перенесенное напрямую из абстрактнейшего вида искусств.

Итак, *катарсис после ужаса жизни* — связующий мотив между «Книгой отражений» и «Второй книгой отражений». С него Анненский и начинает в микроцикле «Изнанка поэзии», понимая под изнанкой опять-таки психологию. В «Символах красоты у русских писателей» он показывает, как красота — земное проявление небесной гармонии — лишается бытия, счастья, радости, становясь проклятием. Когда так, то и самое высшее проявление человеческих чувств — любовь к живому Богу и человеку — лишь «белый экстаз», не больше.

В цикле «Иуда» подчеркнута связь между русским реализмом XIX века и модернизмом — та, которую модернисты порой декларативно отрицали. Оставим в стороне риторику манифестов, сосредоточимся на сути вопроса. В целом можно сказать, что благодаря Анненскому преемственное родство между двумя литературными эпохами, публично открещивавшимися друг от друга, непримиримыми и использовавшими любые средства для взаимной дискредитации — о, эта некорректность критики! — становится очевидным и тематически, и собственно художественно. Реконструируя душевное состояние автора и персонажа, Анненский выходит на проблемы бессознательного, темного, тайного, которые становятся сквозными в русском символизме, однако почти не касается фрейдизма — говорю «почти», потому что в тургеневском Аратове критик подчеркивает болезненное состояние.

Так вот, начиная цикл «Иуда» с эссе «Обаяние Достоевского», Анненский сразу ставит риторический вопрос:

> Но преступник, в котором слились мечтатель и мученик, поруганная и изуродованная жизнью любовь, с которой даже смерть не может снять личину ненависти; месть и предательство, которые неотступно молят о чуде и ненасытимо жаждут собственного посрамления, это ли не тот я, которого когда-то учил нас видеть и прощать *в других* Достоевский? (147) —

и переносит на Иуду Леонида Андреева свойства героев Достоевского, их способ взаимодействовать с миром.

И в результате сопоставление:

> Достоевского интересовал только грех, его волновало одно только «как ты смеешь!», и он хищно следил за путями совести, уча нас распутывать самые сложные узлы страстей и интересов. Это и сделало Достоевского великим повествователем, потому что только серьезный и даже намеренно некрасивый *рассказ* может научить нас разбираться в волнующем хаосе жизни, призванной к ответу.
>
> Но что сделал бы со схемами обвинительного акта, или покаянной молитвы, или даже страстной исповеди Леонид Андреев, если его замучили контуры, светотени, контрасты, сгущения теней и беспокойные пятна? Жизнь души мыслится им чаще

всего в тех формах, в которые отлилась окружающая ее природа. Иногда у Андреева не различить даже камень от человека; но это вовсе не артистическая причуда, а вполне правдивое и серьезное изображение того, что и мы можем иногда почувствовать (149—150).

Анненского вообще почти так же сильно, как проблема любимого *ближнего* и безлюбого *не-Я,* интересовали связи между явлениями, порой далековатыми. Так, еще один мост между обеими книгами отражений, на сей раз чисто психологический, — это тема умирающего человеческого сознания, осознающего умирание, испытывающего страдание и все же продолжающего творить. В «Книге отражений» эссе так и названо — «Умирающий Тургенев»; во «Второй книге отражений» Гейне назван не умирающим, хотя он, конечно, находится на грани жизни. Гейне — «прикованный». Герои обоих писателей — порождения распада, дань грядущему тлению. Но, однако, ситуации не идентичны. Подольская отметила:

Статья «Гейне прикованный» имеет очевидную связь со статьей «Умирающий Тургенев». Внешне эта связь ничем не выявлена, но достаточно сравнить внутренне противопоставленные названия статен, а также их начальные строки, чтобы ощутить осознанную самим критиком соотнесенность представлений об одной и той же проблеме. Само слово «прикованный», рождая определенные ассоциации, обогащается дополнительным мифологическим смыслом, превращаясь в своеобразный символ. Это не пассивная обреченность, а сопротивление, борьба, активность. Не менее характерно противопоставление слов-знаков, создающих тональность обеих статей. В статье о Тургеневе — это кладбище, венки из бумажных иммортелей, ленты, гроб и т. п. В статье о Гейне — это арена, плащ, звезды, блестки, цветы. Противопоставлены и начала обеих статей <...> Критик последовательно проводит не только антитезу двух смертей, но главным образом душевной опустошенности умирающего Тургенева и духовной полноты прикованного к постели Гейне (601).

Три следующие части книги посвящены человеческой мысли, эмблемами которой становятся Гамлет, Бранд-Ибсен и опять-таки Достоевский. Гамлет у Анненского максимально лишен человеческого содержания: внутри трагедии он скорее кукловод, пытающийся играть остальными персонажами («Вот художник среди своих созданий»), а во внешнем восприятии — разветвленная мысль, ищущая собственного предела и выбирающая абстракцию: «Именно так относится Гамлет к людям: они должны соответствовать его идеалу, его замыслам и ожиданиям, а иначе черт с ними, пусть их не будет вовсе...» Аналогичен и Бранд, чья связь с Толстым у Анненского так же очевидна, как в случае Тургенева и Гейне.

Но при этом: «Только как же, с другой стороны, и не говорить, если человек говорит, чтобы думать, а не думать о Гамлете, *для меня по крайней мере,* иногда значило бы отказаться и от мыслей об искусстве, т. е. от жизни».

Иное дело Достоевский, эссе о котором венчает книгу.

Сила и свобода светлой мысли — вот что захватывает. И потом — мне еще не отрезаны выходы. Меня еще не учат. Хотя давнее, перегоревшее страдание и сделало мысль «этого» Достоевского уже суровой, и подчас она даже кажется категоричной, но выбор все же возможен. Тот, другой выход, — он еще не стал ни смешон, ни ненавистен. А главное, он есть (184—185).

Меня еще не учат — для Анненского это важнее всего. Сам он, уважаемый педагог, считал, что ему некого и нечему учить, во всяком случае, в искусстве и искусством.

Но искусство как средоточие красоты живого слова, как любовь к живому Богу и человеку, как сила и свобода светлой мысли, конечно, есть *оправдание жизни.* И если *ужас жизни* — лейтмотив «Книги отражений», то ее *оправдание* — лейтмотив «Второй...». Отсюда и стремление *к повышенному чувству речи,* которое за три года, прошедшие со времени публикации первой книги, стало, кажется, еще острее. *Брать* жизнь, как хочет Анненский, поэт может только *словом*.

* * *

Теперь, прояснив лейтмотивы обеих книг и их логическую соотнесенность, можно сделать обещанное предположение о неожиданной и парадоксальной связи написанного Анненским с еще одним явлением отечественной мысли. Это *русский экзистенциализм.*

Представленное в трудах Николая Бердяева и Льва Шестова, это философское течение обращало человека к нему самому, утверждая субъективизм как не только правомерное, но и нравственно естественное миропонимание. В интерпретации современного исследователя позиции Шестова и Бердяева определяются так:

> Если для обыденного сознания, парализованного идеей закономерности мира, первично и закономерно падение камня, а человек и его жизнь — случайность, не входящая в систему «истинного» объяснения реальности, то для Шекспира, как пытается показать Шестов, первична именно жизнь человека и ее внутренние смыслы, в то время как падение камня и прочие трагические вмешательства судьбы — это только случайные обстоятельства, через которые в жизнь входят новые оттенки смысла и значения, и она выявляет все новые и новые составляющие своей бесконечной полноты. Поскольку эта бесконечная полнота жизни не поддается расчленению на абстрактные элементы, она может быть адекватно выражена только в своей собственной целостности, в своей предельной, обнаженной непосредственности, — помимо какого-либо анализа и преломления в чем-то ином. <...> Главной целью философских построений Бердяева оказывается утверждение абсолютной, непререкаемой ценности конкретной, неповторимой личности, поэтому его позицию с полным правом можно назвать радикальным персонализмом. Именно радикализм в исповедывании персоналистских принципов выделяет философию Бердяева на фоне всех современных ему версий экзистенциализма и философской антропологии. Личность у Бердяева не только абсолютно ценна и независима в метафизическом смысле, она еще и метафизически первична. Это означает, что все формы бытия и познания должны быть осмыслены только как моменты человеческого духа, как моменты индивидуальной духовной «истории» личности[15].

* * *

Если обе книги отражений вынесли к читателю — в конце концов, не все же остались слепы к прозрениям Анненского, — результаты многолетних *опытов понимания,* то статья «Что такое поэзия?», буквально начинающаяся с заявления, что автор не знает ответа на заглавный вопрос, может быть названа своего рода комментарием к их тексту. Или послесловием, где в краткой, почти афористичной форме дан вывод из написанного.

Это если отталкиваться от даты публикации — 1911 год. Но текст «Что такое поэзия?» был написан значительно раньше, в 1903-м, и представляет собой набросок предисловия к «Тихим песням».

---

[15] Евлампиев И. И. Концепция человека в русском экзистенциализме // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2005. №10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-cheloveka-v-russkom-ekzistentsializme (дата обращения: 18.02.2025).

Так что перед нами не *синтезис*, если применять логическую схему рассуждения «тезис — антитезис — синтезис», а исходный первый пункт триады. Анненский начинает с определения природы *Я,* а не завершает им труд; и в этом случае «Книга отражений» и «Вторая книга отражений» представляет собой грандиозное доказательство, утверждение основного содержания жизни и мысли эссеиста.

> С каждым днем в искусстве слова все тоньше и все беспощадно-правдивее раскрывается индивидуальность с ее капризными контурами, болезненными возвратами, с ее тайной и трагическим сознанием нашего безнадежного одиночества и эфемерности. Но целая бездна отделяет индивидуализм новой поэзии от лиризма Байрона и романтизм от эготизма.
>
> С одной стороны — я, как герой на скале, как Манфред, демон; я политического борца; а другой я, т. е. каждый, я ученого, я как луч в макрокосме; я Гюи де Мопассана и человеческое я, которое не ищет одиночества, а напротив, боится его; я, вечно ткущее свою паутину, чтобы эта паутина коснулась хоть краем своей радужной сети другой, столь же безнадежно одинокой и дрожащей в пустоте паутины; не то *я,* которое противопоставляло себя целому миру, будто бы его не понявшему, а то *я,* которое жадно ищет впитать в себя этот мир и стать им, делая его собою.
>
> Вместо скучных гипербол, которыми в старой поэзии условно передавались сложные и нередко выдуманные чувства, новая поэзия ищет точных символов для *ощущений,* т. е. реального субстрата жизни, и для *настроений,* т. е. той формы душевной жизни, которая более всего роднит людей между собой, входя в психологию толпы с таким же правом, как в индивидуальную психологию (206).

* * *

Остается отметить несколько черт поэтики Анненского, выросших из мироощущения его эпохи. Стремление к активному читателю-сотворцу, достраивающему произведение в своем отражении, определяло открытую структуру произведений всех современников эссеиста. Критика как форма словесного искусства, равная поэзии и прозе, — тоже примета модернизма в целом. «Тоскливый осадок жизни», «*налет жизни* на тайне души» — подобные выражения встречаются у многих авторов, также обозначая мироощущение эпохи.

Парадоксально, но, любя античность, Анненский заимствует в эллинской системе ценностей негативное отношение к физическому труду, иронизируя над «благословенным трудом», который в его понимании — проклятие. Когда Мандельштам писал о «блуде труда», он, осознанно или нет, продолжал внутренний диалог с учителем.

Метод Анненского неразрывен, как писал он сам в «Предисловии» ко «Второй книге отражений», с его личностью. А личность очевидно чуждалась теоретизирования. Вот почему в работе с терминологией он ближе к Мережковскому, избежавшему в программной статье «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1893) прямого определения, что же такое символ, и вместо этого очертившему лишь объем понятия. То же касается и понимания Анненским художественного образа: сказать, что *образ* есть *обрезанное,* конечно, недостаточно.

Аратов в «Кларе Милич» дан в некотором отступлении от текста — психология этого героя у Тургенева глубже и богаче. Однако Анненскому нужно было показать крах позитивистского мировоззрения, оттого кое-что он и полагал несущественным. Понимание «На дне» Горького кажется несколько тенденциозным... Однако здесь мы видим тот же самый принцип, который использован везде: Анненский порой иллюстрирует собственную мысль с помощью чужих сюжетов и персонажей.

В конце концов, потому и *отражения.*

* * *

Не сразу заметно, что один из основных мотивов статьи Анненского «О современном лиризме», ставшей его предсмертным манифестом, — это «комната», в которой живут современные поэты, не желающие сталкиваться со внеэстетической реальностью. Откажемся от вульгарного осуждения стеклянного дворца, которому мы обязаны высокой культурой Серебряного века, сформированной далеко не в последнюю очередь Анненским и теми поэтами, о которых он писал. Отметим мимоходом, что этот мотив отозвался в знаменитом стихе Иосифа Бродского: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку...» (1970). Скрытая реминисценция уже не персонально на Анненского — думается, он должен был быть особенно дорог Бродскому благодаря Ахматовой, через всю жизнь пронесшей и передавшей младшим поэтам любовь к учителю, — а на весь Серебряный век звучит в том же стихотворении дальше: «Не выходи из комнаты; считай, что тебя продуло». *Считай, что тебя коснулся ветер на всем Божьем свете,* и далеко не только блоковский («Двенадцать»), а всеми ощущавшийся в ту эпоху.

Статья эта была бы, останься Анненский в живых, не только продолжена третьей частью «Оно» (можно допустить, что в ней развернулись бы тезисы, намеченные в «Что такое поэзия?»), но и издана как отдельная книга, быть может, третья в ряду *отражений*. Ее стилистика стала базовой для дальнейших работ о поэзии в 1920-е годы. Субъективный взгляд критика-эссеиста выражается в частом употреблении слова «люблю» и ясно артикулированном пристрастном отношении к поэтам — в том смысле, когда *пристрастие* близко к *пристальности*.

Можно добавить лишь, что для тех современных читателей, кому интересна поэзия рубежа XIX—XX веков, «О современном лиризме» станет если не учебником — хотя почему нет? — то, по крайней мере, путеводителем.

Самое же важное, что здесь без деклараций, даже без прямого словесного обозначения проведена ключевая для Анненского мысль об *имманентной нравственности искусства* (формулировка И. И. Подольской), по самой своей природе не позволяющего автору создавать шедевры без опоры на базовые, ничем не отменимые человеческие ценности.

Только в их неотступном присутствии работал сам Анненский — поэт, переводчик, эссеист.

Территория памяти

Александр МЕЛИХОВ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ!

«Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы» (М., 2017). В этой книге ее автор Наталья Громова повествует, в частности, о триумфальном вхождении одаренной «фабричной девчонки» в советскую литературу: ее приветствуют Чуковский и Горький. И понемногу она возносится до того, что признает Маршака недостойным руководить детской литературой.

Но уже 21 сентября 1933 года она приходит к обидному выводу: «В литературе ко мне относятся, конечно, несерьезно. За исключением разве „Молодой гвардии“. Я стою на глубоком отшибе от плеяды признанных — Корнилов, Прокофьев, Гитович и др. Имя мое упоминается, только когда говорят о детской литературе. Обо мне ходят анекдоты как о приспособленке. Высмеивают мой „энтузиазм“, „увлечение заводом“. Сегодня Б. Корнилов сказал — „что я слыхал, будто бы у тебя было где-то напечатано стихотворение:

Лаской вымолила у Вани я,
Чтоб вступил он в соревнование“?

Пускай. Торопиться нельзя, нельзя выказывать желание „признания“ — ни словом, ни делом. Я иду честным и очень трудным путем. Я буду заниматься историей завода,

Александр Мотелевич Мелихов родился в 1947 году в городе Россошь Воронежской области. Окончил матмех ЛГУ, работал в НИИ прикладной математики при ЛГУ. Кандидат физико-математических наук. Как прозаик печатается с 1979 года. Литературный критик, публицист, главный редактор журнала «Нева». Произведения переводились на английский, венгерский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский языки. Лауреат многочисленных литературных премий, в том числе премий им. Искандера (2022), правительства Санкт-Петербурга (2023), «Книга года» (2023) и Царскосельской премии за роман «Сапфировый альбатрос», премии им. Гончарова за роман «Тризна» (2023), премии «Неистовый Виссарион» за вклад в развитие критической мысли (2024), премии «Литература без границ» за роман «Испепеленный».

буду отдавать ей свою лучшую энергию, то мизерное пока еще мастерство, которое у меня есть, буду работать над „проблемными“ рассказами, над „женскими стихами“, над детскими книгами. Меня вывезет жизнь, мое нелитературное участие в ней, моя принадлежность к партии. Я не сомневаюсь в том, что я талантлива. У меня нет культуры, нет жизненной закалки, нет глубины ума. Все это будет. Я сделаю книги, нужные и любимые теми, кто будет их читать...»

В литературу ее выведет «принадлежность к партии»...

Учение Маркса было всесильно, потому что льстило невеждам, ставя пресловутую классовую принадлежность выше таланта и просвещенности. И оно же развращало их, внушая иллюзию, будто им уже некуда тянуться: принадлежность к партии становилась тормозом. Боюсь, Ольга Берггольц не осталась бы в истории литературы, если бы не война. И только война могла породить эту потрясающую книгу: «Ольга. Запретный дневник» (СПб., 2010; составление, вступительная статья, комментарии, подбор иллюстраций: Н. Соколовская, А. Рубашкин).

Вот цитата из вступительной статьи.

«Знаменательны и свидетельства Берггольц о поездке в Москву, куда ее, предельно истощенную, друзья отправили в марте 1942 года. Она провела в столице меньше двух месяцев, постоянно порываясь вернуться: дышать там — после „высокогорного, разреженного, очень чистого воздуха“ ленинградской „библейски грозной“ зимы — было нечем. „Здесь не говорят правды о Ленинграде...“; „Ни у кого не было даже приближенного представления о том, что переживает город... Не знали, что мы голодаем, что люди умирают от голода...“; „Заговор молчания вокруг Ленинграда“; „Здесь я ничего не делаю и не хочу делать, — ложь удушающая все же!“; „Смерть бушует в городе... Трупы лежат штабелями... В то же время Жданов присылает сюда телеграмму с требованием — прекратить посылку индивидуальных подарков организациям в Ленинград. Это, мол, «вызывает нехорошие политические последствия»“. „По официальным данным умерло около двух миллионов...“ „А для слова — правдивого слова о Ленинграде — еще, видимо, не пришло время... Придет ли оно вообще?..“ И — через все дневниковые записи и письма этого периода рефреном идет: „В Ленинград — навстречу гибели, ближе к ней... Скорей бы в Ленинград!“ Именно Ольгу Берггольц Ленинград выбрал в те годы своим поэтом».

И что же помогло ей возвыситься и удержаться на этой высоте? Прежде всего, разумеется, поэтический дар, умение преображать ужас в величие и красоту: чудовищную ленинградскую зиму она называет библейски грозной, а воздух, насыщенный копотью, если не смрадом тления, для нее высокогорный, разреженный и очень чистый. Преображение низкого в высокое — в этом и заключается главное назначение поэзии, она защищает нас если не от ужасов, то от унижений, на которые горазда так называемая правда жизни.

Но сколь бы ни был высок дух, плоть нуждается — да, в пропитании, это само собой. Но она нуждается еще и в плотских радостях. Пускай и редких, но все-таки манящих, чтобы было чего ждать. Возможности присесть и передохнуть. Хоть немного согреться. Хоть немного насытиться.

И обнять любимого человека. Чтобы эта надежда хотя бы очень слабо, но светила впереди.

Жди меня, и я вернусь всем смертям назло.

Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви.

Не знаю, что скажут по этому поводу психологи и социологи — не уверен, что они когда-нибудь интересовались этим вопросом, — но у меня есть серьезное подозрение,

что не партийные лозунги, а любовь помогла обычным людям превратиться в героев, сумевших выдержать то, что выдержать, казалось бы, невозможно.

Ольга Берггольц для страшных тюремных воспоминаний не находит никаких высоких слов, высоких оправданий — именно поэтому она ими почти раздавлена. Мечтает написать Сталину, каким сиянием, какой надеждой окружено его имя в тюрьме, но поэт не может слагать гимны, если знает, что его никто не услышит.

«У меня отнято все, отнято самое драгоценное: доверие к Советской власти, больше, даже к идее ее...»

«Я все ругаю себя разными словами — „маловерие“, „пороху не хватило“, „испугалась трудностей“, — но нет! Не трудностей я боюсь, а лжи, удушающей лжи, которая ползет из всех пор...»

Апрель сорок первого.

«Все-таки пока не воюем, и за то правительству спасибо. Будем верны знаменам. С верностью знаменам и писать».

Она из последних сил держится хотя бы за призраки чего-то высокого.

Четвертое июня.

«А надо всем этим — близкая, нависающая, почти неотвратимая война. Всеобщее убийство, утрата Коли (почему-то для меня несомненно, что его убьют на войне), утрата многих близких, — и, конечно, с войной кончится своя, моя отдельная жизнь, будет пульсировать какая-то одна общая боль, и я буду слита вместе с нею, и это будет уже не жизнь. И если останусь жить после войны и утраты Коли, что маловероятно, то оторвусь (как все) от общей расплавленной массы боли и буду существовать окаменелой, безжизненной каплей, в которой не будет даже общей боли и уж совсем не будет жизни. Так или иначе — очень мало осталось жизни. Надо торопиться жить. Надо успеть хоть что-нибудь записать из того, как мы жили. Надо успеть полюбоваться собой, нарядиться, вкусить от природы, искусства и людей... Не успеть! О, боже мой, не успеть! М. б., я зря отказалась от партии, предложенной А.? Чувство временности, как никогда. Чувство небывалого надвигающегося горя, катастрофы, после которой уже не будет жизни. Если наше правительство избежит войны — его нужно забросать лавровыми венками. Все — только не она, не Смерть. Только бы не „протягивать руки помощи“, — пусть они там разбираются, как умеют. Войны не избежать все равно. Мы одни в мире. Наши отказы, отступления, перерождения ничему не помогут. Мы все равно одни. Но не надо ввязываться ни во что. Это не обеспечит нам будущего — спокойного. Если бы еще советизация Европы — любой ценой, но она невозможна. Да и „любая цена“... Это значит — моя погубленная жизнь, во мне и в миллионах „меня“, т. к. я теперь знаю, что все — как я, что все — только Я».

Жесточайшие тюремные уроки не пошли впрок ее искренности.

Коля — это ее муж поэт Николай Молчанов, о котором Ольга отзывалась так: «Донской казак по происхождению, высокий, удивительно ладный, он был необычайно, строго и мужественно красив, и еще более красив духовно». «Красив духовно» тогда означало — аскетичен, он считал, что эпоха реконструкции не терпит любовных и семейных нежностей, однако женская любовь на эти уловки не поддалась. В тридцатом году Ольга писала, что «сошлась с Николаем. Сознательно добивалась этого. Все время хотелось его ласк и поцелуев. Иногда я просто болела им. Его брови меня мучили, и то, когда он, которому я по плечо, шел рядом, и руку мне стискивал — ну, умри, а целуй, а будь моим!»

И двенадцатого июня она снова записывает: «Только одна отрада — Колька».

И вот — ВОЙНА!

А в начале сентября отца, военного хирурга, высылают из города, считает Ольга, на верную смерть.

И все-таки среди хлопот за отца ей хочется «безумно покрутить с Юрой», Юрием Макогоненко, ее будущим мужем и будущим профессором ЛГУ, «а ведь это вот-вот, и, переглядываясь с ним, вдруг чувствую давний хмельной холодок, проваливаюсь в искристую темную прорубь.

Это я знаю: любовь к любви, не больше. Он славный, но какое же сравнение с Колькой?! Но он очень мил мне».

Первая бомбежка, и все-таки «Юра поцеловал мне указательный палец, выпачканный в губной помаде. Вчера мы забрались в фонотеку. Слушали чудесные пластинки, и он так глядел на меня. Даже уголком глаза я видела, как нежно и ласково глядел».

Советское пуританство требовало этим возмущаться — идет великая война, а они вот чем заняты! — хотя на самом деле следовало бы восхищаться силой жизни: сильна, как смерть, любовь! И большой вопрос, сумели бы они выстоять, если бы не ее воодушевляющая и ослепляющая сила. Если бы существовал обычай награждать чувства, помогающие побеждать, я бы выдал орден Мужества не только Долгу, но и Любви.

А бомбежки продолжаются.

«Доколе же? Хорошо — убейте, но не пугайте меня, не смейте меня пугать этим проклятым свистом, не издевайтесь надо мной. Убивайте тихо! Убивайте сразу, а не понемножку несколько раз на дню...»

Любовь только передышка, но без этой передышки было бы не выжить.

«Ээх! Но все-таки сдаваться нельзя! Собственно, меня не немцы угнетают, а наша собственная растерянность, неорганизованность, наша родная срамота... Вот что убивает!.. Но дело обстоит так, что немцев сюда пускать нельзя. Лучше с ними не будет — ни для меня, ни для народа. Мне говорят, что для этого я должна писать стихи и все остальное. Хорошо, хоть это мучительно трудно — буду».

«Если б не было гриппа и если б я была уверена, что Юра влюблен и желает меня, у меня б было приличное состояние».

Кто-то, может быть, и сейчас осудит ленинградскую мадонну, но я считаю, что героев и победителей нужно не судить, а учиться у них, брать у них уроки. Если влюбленность помогает выстоять в ужасающих обстоятельствах, значит, нужно брать ее на вооружение.

«Я бываю такая страшненькая, жалкая. М[ежду], п[рочим], когда с 15 до 16 я дежурила в Союзе, он пришел туда, сидел очень долго со мною, мы хорошо разговаривали, однажды он поцеловал мне руку — за стишок; раза два попробовал прикоснуться головой к плечу, я сделала непроницаемое лицо и вид, что не заметила, — от счастливого страха. Дура. Мы сидели, не затемняясь, в сумерках, небо было розовое от далеких пожаров — Ленинград еженощно в кольце пожаров. Будущий читатель моих дневников почувствует в этом месте презрение: „героическая оборона Ленинграда, а думает и пишет о том, скоро или не скоро человек признается в любви или в чем-то в этом роде“. (Хуже всего, если я смотрю выжидающими глазами.) Да, да, да! Неужели и ты, потомок, будешь так несчастен, что будешь считать, будто бы для человека есть что-то важнее любви, игры чувств, желаний друг друга? Я уже поняла, что это — самое правильное, единственно нужное, единственно осмысленное для людей. Верно, война вмешивается во все это, будь она трижды проклята, трижды, трижды!! Времени не стало — оно рассчитывается на часы и минуты. Я хочу, хочу еще иметь минуту вневременной, ни от чего не зависящей, чистой радости с Юрой. Я хочу, чтоб он сказал, что любит

меня, жаждет, что я ему действительно дороже всего на свете, что он действительно (а не в шутку, как сейчас) ревнует к Верховскому и прочим».

«А может, это действительно свинство, что я в такие страшные, трагические дни, вероятно, накануне взятия Ленинграда, думаю о красивом мужике и интрижке с ним? Но ради чего же мы тогда обороняемся? Ради жизни же, а я — живу. И разве я не в равном со всеми положении, разве не упала рядом со мной бомба, разве не влетел осколок в соседнее окно, в комнату, где я сидела? (Артиллерийская стрельба стала слышнее — немцы или мы по ним? Ведь ими взято Детское, Павловск. Господи, они же вот-вот могут начать штурм города — и с воздуха, и с суши, уцелеть можно будет чудом, — и вот рухнет все с Юрой... Тем более что его и Яшку все время хотят взять „политбойцами“.) Да что и перед кем тут оправдываться? Я делаю все, что в силах, и, невзирая на ломающую меня болезнь, на падающие бомбы и снаряды, пишу стихи, от которых люди в бомбоубежищах плачут, — мне рассказывали об этом сегодня».

А как же любимый муж, страдающий помимо всего еще и эпилепсией, последствием контузии во время военных учений? Никто не забыт.

«Только что был большой припадок у Кольки, наяву. Едва очнувшись, он шептал мне — „любовь моя“, — и у меня все рвалось внутри. Я никогда, никогда не оставлю его, ни на кого не променяю! Я люблю его как жизнь, — и хотя эти слова истерты, в данном случае только они точны. Пока он есть — есть и жизнь, и даже роман с Юрой. Если его не будет — кончится жизнь».

Четырнадцатое января сорок второго.

«О Коля, сердце мое, неужели ты погибаешь? Твое сегодняшнее лицо стоит передо мной неотрывно... Оно страшнее той дикой ледяной ночи, которую я провела с тобой 11 января. Я не в силах была остаться рядом с тобой — я начинаю сама сходить с ума, я изнемогаю от сознания своего бессилия перед снедающей тебя болезнью, — быть рядом с тобой, ничем тебе не помогая, а только слушать твой бред и глядеть в твое лицо — нет, я не могу, это гибель и мне, и тебе. Солнце и жизнь моя, единственный мой свет, что я могу еще сделать для тебя, кроме того, что делаю? Ничего! Ничего.

Скоро мы вздохнем с пищей... Но все равно — мы уедем отдыхать, мы уедем в глубокий тыл, к маме, к хлебу, к тишине... Держись! Держись еще немного, мой единственный, мое счастье, изумительный, лучший в мире человек! Держись! <...> Скорее бы утро, чтоб узнать, что ты жив, и начать что-то делать для тебя. А я должна писать. Я должна что-то делать, чтоб выжить, чтоб не сойти с ума, не лечь... Потом, потом, если ты погибнешь, я лягу».

И вот он погиб.

«О, Коля... О, как же это случилось... Какая жизнь у тебя была трудная и горькая, как мало счастья ты видел, и умер, не дождавшись его... Нет, мне надо было быть с ним в последние его минуты. Может быть, он узнал бы меня, и я успела бы сказать ему, объяснить ему, как я люблю его. Может быть, он умер бы счастливым... Господи, хоть бы скорее приехала Муся. Жива ли она? Жив ли Юрка? Господи, Господи... Нет, нельзя жить».

Март сорок второго.

«Я совершенно не понимаю, что не дает мне сил покончить с собою. Видимо — простейший страх смерти. Этого-то страха мы с Колей и боялись, когда думали о смерти друг друга и о необходимости, о потребности умереть после смерти одного из нас. Но он бы все-таки не струсил, а я медлю; люминала, который остался после него, наверное, хватило бы на то, чтоб отравиться. Нет, я не тешу себя мыслью о самоубийстве. Мне просто очень трудно жить. Мне надоело это. Я не могу без него. Меня кор-

чит мысль о том, как страшно и бессмысленно погиб этот изумительный, сияющий человек. Я ужасаюсь тому, что осталась без его любви. Но пусть бы даже разлюбил — я и недостойна была этой священной его, рыцарской любви, — только пусть бы жил, пусть бы жил... Нет! Нельзя, недостойно, бессмысленно жить».

Но невозможно жить без радостей, без этих духовных витаминов.

«Хочу быть с Юркой. Я не грешу этим перед Колей, — мертвого я люблю его, как живого, и плотью и душой — больше всех.

Но ведь там же НЕТ, НЕТ Коли. Я вернусь туда, — а он не придет. Там будет все так же, но его не будет. Нет, на свете не существует ничего, кроме его смерти».

«В немыслимой тоске по Коле я не ощущаю живого чувства к Юре, но, когда подумаю, что этот ладный, милый, с ясными добрыми глазами и крылатыми бровями парень лежит с пробитым осколком черепом — хочется визжать, выть по-собачьи от тоски».

Первое апреля сорок второго.

«Позавчера — огромные письма от Юрки, — пламенные и нежные до безбоязненности. Он пишет, что любит меня, что жаждет моей любви „давно, безраздельной“; узнав, что ребенка нет, зовет в Ленинград. Наверное, он и в самом деле любит меня; странно, что это удивляет меня, вызывает какое-то недоумение, сомненье, — а вот Колина любовь была для меня несомненна и вызывала изумление гордое, я гордилась собой за то, что он меня любит. Я все еще ощущаю, и особенно после Колиной смерти, Юрку как чужого и испытываю к нему иногда неприязнь за то, что Коля ревновал меня к нему, не любил его, я оставляла часто Кольку ради Юрки, когда была влюблена в него. И из-за этого я испытываю к нему неприязнь, что-то отталкивает меня от него. Я не могла бы сказать сейчас, что люблю его. Я чувствую к нему нежность, чуть покровительственную, он нравится мне, он мне мил и дорог. Позавчера была почти счастлива от его писем и думала о Ленинграде уже не как о месте гибели, но как о месте жизни, где дышать можно будет».

«Я — баба, и слабая баба. Мне нужен около себя любящий, преданный мне мужик. Иногда я думаю, — а, смерть на носу, солнце мое, Колька, — я отдам Юрке остатки сердца, — куда их мне, отдам ему счастье, которого он жаждет... Да, так и надо, надо отпустить сердце. Но он стоит передо мною таким, как я видела его последний раз: со скрещенными, сведенными на груди руками, голый, мокрый (это он от холода так скрепил руки), с болезненной гримасой, растоптанный, размолотый беспощадной машиной войны... Нет, отпустила я его руки, устала и не могла превозмочь усталость, устала от него. Предала его. Нет, это неправда, — не предала, а оказалась слабой и малодушной. Как зовет меня к себе Юрка! Но ведь это — изменить Коле! Я НЕ ИЗМЕНЯЛА ему, — никогда. Отдать сердце Юрке — изменить ему...»

Девятое апреля сорок второго.

«Вчера получила письмо от Юрки от 3/IV, полное любви и преданности. 3/IV он был жив. Оказывается, я написала-таки в одном из писем — „люблю“. Сама не помню, что писала. Ну, и хорошо, что написала, — он пишет, что счастлив, и, м. б., верно — счастлив. Почему же не обрадовать человека, если сам так несчастен. Я несчастлива в полном, абсолютном значении этого слова. Сегодня все время приступами — видение Коли во второе мое посещение госпиталя на Песочной: его опухшие руки в язвах и ранках, как он озабоченно подставлял их сестре, чтоб она перевязала их, и озабоченно бормотал, все время бормотал, мешая мне кормить его, расплескивая драгоценную пищу. И я пришла в отчаяние, в ярость и укусила его за больную, опухшую руку. О, сука, сука! Он был неузнаваемо страшен, — еще в первый день, в день безумия, он был красив, и тут — вдруг не он, хуже, чем во сне».

«Я думаю, что вот так хочу в Ленинград, а ведь там тоже нет Коли. Там пустая квартира на Троицкой, — некуда, некуда деться. Там Юрка, — но как же я лягу с ним на ту же постель, где 8 лет лежала с Колей, столько радостей и горя испытывая. Если б он еще был жив, — другое дело! А тут — еще раз похоронить его. И я знаю, что Юрка будет внутренне раздражать меня, никогда, никогда не станет он мне так близок, как Николай, хотя вчера я о нем грустила и думала с нежностью».

«О, как я глубоко, глубоко жалею, что не была с ним в его последние минуты! Он наверняка пришел в себя (доктор сказал — „скончался тихо“), он ждал меня, и я проводила бы его с улыбкой, счастливым, успокоенным... Так пусть же со мной будет все дурное, что может быть!»

«Юрочка пишет: „Писем нет, беспокоюсь, жду, целую, сообщи, когда прилетите“. Скучает, наверное. Я отправила ему ласковую телеграмму, где написала: „Юринька, родной“ (самое желанное ему слово), написала, что тоскую, что скоро прилечу. Это, наверное, обрадует его. Боже мой, ничего нельзя жалеть для человека, ходящего под ежеминутной смертью».

«Был днем некто Фефа. Он бывал на Троицкой, когда был жив Коля. (О, что я говорю: „когда был ЖИВ Коля“. Измена! Значит, я признаю его мертвым? Нет, милый псо, нет, — не бойся, не бойся, солнышко, я не признаю тебя мертвым, — я не дам тебе умереть.) Я, видимо, пьяная, хотя вино после голода ни разу еще не приносило желанного самозабвения. Коля! Коленька! Псоич, солнце. Сердце мое... Ты слышишь, — нет? Ты слышишь, я тебя окликаю. Сколько раз, когда я просыпалась около тебя, мне вдруг казалось, что ты — мертвый, и я звала тебя: „Псо!!“ И ты открывал возлюбленные, милейшие, святые свои глаза и глядел на меня с неизменной любовью. Песинька. Родненький. Милый мой. Это неправда, что тебя нет. Ты там. Ты на Троицкой. Если ты не постучишь, не ляжешь рядом со мной, — значит, меня нет. Коля. Коленька. Мой милый. Крест мой, мученье мое. Жизнь моя — вернись! Ведь ты же любил меня. Как же ты не веришь, что я так мучаюсь среди чужих людей. Ты ведь знал, что я останусь одна без тебя. И главное — не рассказать. А я все думаю: увижу его, лягу рядом с ним, вздохну и скажу: „Ох, если б ты знал, до чего я МУЧАЛАСЬ по тебе!“ И он обнимет меня и прошепчет: „Псоич мой!..“ То есть, как это? Так вот и не рассказать... Псоич мой. Нет. НЕТ».

Двадцать шестое апреля сорок второго.

«Ленинград чист, он жив, он есть. Я вернулась сюда к новому мужу, к новой любви и счастью — я вижу это теперь. <...> Я хочу жить. Я не боюсь смерти, — но мне не хочется расставаться с Юркой. <...> Он любит меня страшно, не скрывая этого ни перед кем, сияя от счастья, как мальчик, получивший долгожданный подарок, он ходит почти бегом, он говорит громким, возбужденным голосом, он всем, ежечасно — хвастается мною, моими стихами, моими успехами. Даже постороннему человеку трудно не радоваться, глядя на него. Какие восторженные слова говорит он мне — обо мне же, о моих стихах. Не устает глядеть на меня, не устает целовать, трепещет и боится ежеминутно, что „уйду“».

«Пусть он радуется со мною и мне. Я не жалею и не буду жалеть на него ни ласки, ни приветливости, ни любви. Пусть он будет счастливым! В первые дни возвращения, когда еще особая обида на него за Колю (как будто бы он в чем-то виноват!) держала меня, и я скупилась на приветливость и заводила разговоры, чтоб сказать ему: „Я все же любила Николая больше тебя“, — вдруг меня озарила мысль: „А может быть, мне еще придется видеть его в нарывах и язвах, умирающего от газов“. Бог знает, сколько еще муки придется выдержать и ему, и мне. Нет, нельзя жалеть ни любви, ни ласки,

и она исходит уже свободно из души, почти не удерживаемая мощной, угрюмой и больной памятью о Николае...»

А между тем поэзия, высокие слова и высокие смыслы оказываются необходимыми не только экзальтированным поэтическим натурам.

«Три раза выступала с „Февральским дневником“ — потрясающий успех, даже смущающий меня. В Союзе — просто ликование. В 42й и у торпедников — бойцы и моряки плакали, когда читала. Особенно большой фурор — у торпедников, — просто слава».

«Я не считаю стыдом, что упиваюсь сейчас „личной жизнью“, но уж хватит, надо что-то делать. Тот восторг, та настоящая человеческая радость, с которой реагируют люди на „Февральский дневник“, — ко многому обязывает меня».

И если личная жизнь подарила восторг и настоящую человеческую радость бойцам и морякам — да здравствует личная жизнь!

Рецензии

МАГ И ШАХТЕР ИЗ ТУДЫ́РКИ

Александр Курапцев. Иван-душа. — СПб.: Реноме, 2024 (Б-ка Литературного клуба XL).

Первые стихи Александр Курапцев написал в десять лет, на распад СССР. Распад Родины ударил по автору тем больнее, что дом его оказался не в России, а на Украине, что русскому поэту добавляет сложностей. Тем не менее юный поэт успел издать в Донецке сборник «Лоскуты» (2011). Он ехал в трамвае и любовался своей первой книжкой так заразительно, что одна пассажирка тоже захотела полюбоваться и вдруг купила книгу. Затем, уже менее юный, поэт вступил в Межрегиональный союз писателей. В 2014-м Курапцев с семьей из-за известных событий покинул Донбасс и стал поэтом петербургским. В лучшем-городе-на-земле он издал свой второй сборник «Иван-душа» через 13 лет после первого, стараясь о первом забыть как о неудачном. Тем не менее новая книжка оказалась по духу более донбасской, чем петербургской.

Книга издана в серии «Библиотека клуба XL» — одного из старейших ЛИТО Петербурга (28 лет) — и по инициативе оного, поскольку сам автор избегает продвижения своих текстов — как стихов, так и рассказов — занятый их почти непрерывным сочинением. Высокая производительность автора, как ни странно (или благодаря этому), не снижает высокого уровня его произведений. Профессор Александр Кораблев из Донецка в предисловии к книге пишет, что в сборнике «есть желание жизни, чувство слова, мужественная зрелость, творческая свобода». А также, что «донецкий поэт, не переставая быть им, становится русским больше-чем-поэтом».

Дискурс в книге — преимущественно донбасско-шахтерский и только ближе к финалу — петербургско-ленинградский, поскольку составители выбирали для книги в основном старые стихи, очарованные экзотичностью донецких степей и утомленные северностоличным нарративом.

Взгляд поэта Курапцева — это взгляд демиурга, он не утомляет читателя переживаниями своей богатой души, а, сам интересуясь внешним миром, присматривается к оному, расщепляет на элементы и, исходя из общности элементарных частиц для вселенной, возводит быт, бытие в ранг космический. Сам же автор настолько прячется,

уходит из текста, что там, где необходимы личные чувства, вводит лирического героя, в честь которого и назвал книжку. (Не Александр-душа, а Иван-душа — Ванька-дурачок и смельчак, общерусский герой, погруженный в современные обстоятельства.)

Книга разделена на пять частей, озаглавленных римскими цифрами. Читатель сам способен понять или вложить свое осмысление в это тематическое разделение. Мы осмысляем их таким образом: I часть — о времени, о вечности:

Младенец ловит небо ртом,
и небом ловит рот младенца,
его заботливое детство,
чтобы забыть его потом.

II часть — о шахтерском бытии (автор не просто жил в шахтерском Дзержинске, но и трудился шахтером, как и его компания):

во глубине донецких руд
забьют на труд и водку пьют
пока буржуй и жмот и плут
оттяпывает бабки.

И в данной книге, и в творчестве в целом поэт зачастую игнорирует пунктуационные знаки и прописные буквы, что, на наш взгляд, в рамках его поэтики не имеет оснований.

III часть — про войну на Донбассе:

Правда зависит от точки прозрения,
от приговоров и снов,
падают яблоки с древа забвения
с ревом и свистом в окно.

Тема войны всегда реализовывалась автором в гуманистическом ключе, он чужд милитаристской романтике.

IV часть — о жизни и смерти, так сказать, о вечном:

...отворяешь дверь в апрель — и идешь с ума
до четвертого угла, если повезет,
всех отметит по делам батя-чернозем.
Приголубит, приютит и не возвратит
соль, созревшую в горсти, сладкую, как Стикс...

V часть — о бытии сиюминутном, принимаемом как непреходящее. Здесь донбасская тематика сменяется питерской:

на поле марсовом на сникерсовом поле
гуляли хипстеры с брадами в кока-коле
жевали чипстеры хрустящие зело
смартфоны самокаты наголо

Уже из приведенных отрывков стихов ясны многие особенности поэтики Курапцева: словотворчество (игра в слова); смешение современных реалий с архетипическими образами, возводящими современные факты в ранг исторических и даже равных мифу; связанная с этим интертекстуальность; детальное знание действительности; сочетание высокой и низкой лексики; ироничность. В результате тонкую книжку (49 стихотворений) не получится прочесть одним махом в послеобеденный отдых — это не «легкое чтиво», каждый текст заставляет отложить книжку в сторону и подумать-повспоминать.

А в процессе таковых раздумий открывается, что Курапцев работает в методе магического реализма, притом конструируя его особенное ответвление. Строится оно на введении в житейские обстоятельства на равных правах с современными «хипстерами» и «порталами новостными» советских мифологем. Явления и персонажи советского дискурса в художественном мире «Ивана-души» (как и в целом в творчестве автора) не погибают с недоснесенными памятниками, а живут, действуют и определяют сознание. «И мы встаем, идем, кричим ура!», «ржавеет мой пластмассовый наган», «всякий сам себе Ленин» и др. И Ленинград живет одновременно и в одной плоскости с Санкт-Петербургом.

Диссонанс между «тонкостью» книжки и масштабностью в ней заключенного делает сборничек «большой книгой». И за счет глобальности разрабатываемых вопросов — вопросов жизни и смерти и смысла жизни, и за счет интертекстуальности: в стихах органично живут факты античных мифов («Эй, Харон, на хрена тебе лодка?»), мировой литературы («у монитора горлум корчится»), Древней Руси («не шеломом, так мутным стаканом»), советской истории («и любили ильича / якоже всеведа»), постмодерна («и орут они хором / Янку или Г. О.).

Собственно, формально стихи Курапцева как раз постмодернистские, но с твердой идейной основой — он не осмеивает и разрушает, а заново собирает из осколков, разбросанных постмодерном, мир на твердых ценностных основаниях.

А ценности у автора традиционные — «дом, которого нет, и Родина, которая в дыму» (Кораблев). Дыма в книге действительно очень много, и герой, давно привыкший в нем жить, уже не столько бьется в попытке этот дым рассеять — бесполезно, — сколько строить и жить в дыму, не сдвигаясь со своей идейной основы. Иван-душа — дитя разрушенной империи, беспросветного шахтерского труда, войны — всю свою жизнь провел в мире, «затянутом дымом», научился в нем жить, как рыба в воде, и не потерял светлого взгляда на мир, иронически осмысляя трудности, стремящиеся к трагедии.

> он повсюду теперь — этот город по имени Ленинград,
> он наш, и мы никому его не сдадим.

Дмитрий БОБЫЛЕВ

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

У БЕРЕГОВ ИСПАНИИ

Часть 5

Монастырь Воплощения. Миновав высящуюся слева колокольню церкви Св. Мартина (XIV век), мы выходим к монастырю Воплощения, туда, где когда-то стояла Тереза, пришедшая в обитель, чтобы принести здесь монашеские обеты. Монастырь Воплощения был основан в XV столетии, и во времена св. Терезы он был новоустроенной обителью. Многое здесь дошло до нашего времени без изменений. Как и прежде, стены вековых кипарисов и лавров бросают спасительную тень на монастырские строения.

Паломники, пришедшие сюда, оказываются в приемной — «локутариос». Здесь несколько решетчатых перегородок, через которые насельницы обители ведут беседы со своими близкими, пришедшими навестить их. И хотя 3 ноября 1536 года Тереза приняла в этой обители монашеский постриг, это не прервало ее общения с внешним миром. К Терезе тянулись не только насельницы монастыря, но и простые жители Авилы. Даже отец Терезы приезжал к ней за духовными советами и руководствовался ими вплоть до своей смерти в 1543 году[1].

Пройдем вдоль кованых решеток и скамеек, стоящих вдоль стен. Надпись, помещенная неподалеку от Распятия, сообщает, что именно здесь в 1555 году Тереза сподобилась созерцать страждущего Иисуса Христа, пригвожденного ко кресту. «Вид этих ран смутил меня, — вспоминала св. Тереза. — Я испытала вдруг такое раскаяние за мою недостаточную благодарность к Его ранам, что мне показалось, что сердце мое разрывается, и я пала ниц перед Ним, проливая потоки слез, умоляя Его дать мне навсегда силы больше не оскорблять Его»[2].

В духовном наследии испанской мистики есть сонет с такими начальными строками: «No me mueve, mi Dios, para quererte...» Русский поэт И. И. Козлов сделал вольный перевод этого стихотворения, озаглавив его «Сонет святой Терезы».

Любовью дух кипит к Тебе, Спаситель мой,
Не радостных небес желаньем увлеченный,
Не ада мрачного огнями устрашенный
И не за бездны благ, мне данные тобой!

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

[1] Сикари А. Портреты святых. Т. II. Милан, 1991. С. 46.

[2] Цит. по: Симоно Э. Заметки о «Кармеле» // Вестник русского христианского движения, № 129, Париж; Нью-Йорк; М., III, 1979. С. 61—62.

В Тебе люблю Тебя; с любовию святой
Гляжу, как на кресте Сын Божий, утомленный,
Висит измученный, висит окровавленный,
Как тяжко умирал пред буйною толпой!

И жар таинственный мне в сердце проникает;
Без рая светлого пленил бы Ты меня;
Ты б страхом был моим без вечного огня!

Подобную любовь какая цель рождает?
Душа в любви к Тебе надежд святых полна;
Но так же и без них любила бы она![3]

Считая, что Христос осуждает ее за чрезмерное общение с миром, Тереза стала строже относиться к себе. С тех пор ее образ жизни изменился: больше уединения, меньше праздных разговоров; иной делается ее молитвенная жизнь. «Я стала больше любить покаяние», — пишет св. Тереза. Впоследствии, движимая миссионерской ревностью, Тереза щедро делилась духовным опытом со своими последовательницами. (На стене в этой же комнате посетители могут видеть карту Испании, на которой отмечены города, где появились монастыри, основанные неутомимой подвижницей.)

Перейдя из помещения для посетителей в приемную для духовенства, паломники попадают в маленькую комнату с кирпичным полом, каменными стенами и потолком из темных дубовых брусьев. Здесь такие же кованые решетки; у одной из них — картина, изображающая беседу св. Терезы с духовником обители — св. Иоанном Креста (де ла Крус). Хуан де ла Крус (1542—1591) был одним из ближайших сподвижников св. Терезы. Выходец из небогатой семьи, он рано вступил в орден кармелитов. Ему было 25 лет, когда он познакомился с Терезой. Эта встреча определила его дальнейшую жизнь.

Завершив свое богословское образование в Саламанкском университете, Хуан принял сан священника, после чего был приглашен св. Терезой в обитель Воплощения. Мать Тереза собственноручно раскроила и сшила для о. Хуана бедную монашескую одежду из грубой шерсти[4]. Будучи старше о. Хуана почти на 30 лет, мать Тереза тем не менее ценила его духовный опыт, и они нередко беседовали на религиозные темы в одной из приемных — «парлаторис» — обители Воплощения. На картине, которую могут видеть паломники, Хуан де ла Крус беседует с Терезой в Троицын день: он сидит на стуле, а она перед ним на скамье за решеткой, разделяющей комнату. Он говорит ей о божественной тайне Пресвятой Троицы.

В 1962 году в Мадриде вышла на русском языке книга «Дух русского христианства». Ее автор — профессор Мадридского университета Георгий де Вильярдо. В своей монографии де Вильярдо рассказывает о русском эмигранте, который в 1930-х годах жил в небольшом местечке в Кастилии. Изгнанник подружился с местным настоятелем прихода, и однажды, когда оба они сидели в садике приходского дома, старый священник стал рассказывать русскому историю святой Терезы. Она столь сияла светом «седьмого жилища», что рядом с нею — так выражался священник — казался бледным солнечный свет. Речь зашла и о житии св. Иоанна Креста, который, чтобы быть в состоянии созерцать истинный духовный свет (так снова говорил священ-

[3] Козлов И. И. Полное собрание стихотворений. Л., 1960. С. 145 (1828 г.).
[4] Сикари А. Указ. соч. С. 65.

ник), считал темнотою свет этого мира. Священник имел в виду знаменитую «темную ночь» св. Иоанна[5].

Тогда русский рассказал о преображении Серафима Саровского, как об этом говорится в его беседе с Мотовиловым. После длительного молчания священник, с полными слез глазами сказал: «Друг мой, неужели вы думаете, что *эти* принадлежали к двум различным Церквам?»

Изложив суть этой беседы, де Вильярдо ставит риторический вопрос: не был ли разве прав этот священник католической деревушки? Ошибался ли он, представляя себе блаженные души святой Терезы, святого Иоанна Креста и старца Серафима соединенными и неразлучными перед Престолом Превечного? Конечно, указанные испанские святые и великий русский старец имели весьма различное умонастроение, и, кроме того, их разделяли какие-нибудь триста лет...Что же соединило их в сердце старого священника? Попросту любовь Христова. Именно Сам Господь Иисус Христос указал старому священнику истинную тропу, по которой постоянно осуществляется невидимое соединение...[6]

Тот же автор рассказывает о том, что в середине 1950-х годов один русский епископ, которого ни в коем случае нельзя было заподозрить в «проримских тенденциях», ознакомился с французским переводом «Восхождения на гору Кармил» св. Иоанна Креста. После чего он сказал: «Вот книга, которая должна быть переведена с испанского оригинала на русский язык, чтобы наши увидели, что на Западе существует *настоящий православный дух*»[7].

Пора начать осмотр монастырского храма, под сводами которого св. Тереза ежедневно молилась более двадцати лет. Однако по всей Испании с часу дня до четырех вечера — время сиесты, и храмы в эти часы обычно закрыты. Так что паломники должны решать, как провести время под знойным солнцем. Но вот к монастырю подъезжает автомобиль, из которого выходят несколько католических священников. Судя по всему, они здесь впервые, и привратница-монашка отпирает двери храма, чтобы уважаемые гости смогли осмотреть его в неурочное время. Пользуясь оказией, разноязыкая паломническая и туристская братия тоже входит под своды храма.

Следуя за почетными посетителями, прочая публика осматривает в храме все то, что связано с памятью св. Терезы. Вот нижние хоры, где молилась подвижница; вот деревянная дверца, прикрытая стеклом, — это исповедальня, где нес свое служение о. Хуан де ла Крус. Слева от престола вверху — железная решетка с оконцем — здесь была келья св. Терезы. При монастыре есть небольшой музей св. Терезы. В трех комнатках развернута выставка, повествующая о ее жизненном пути; посетители могут осмотреть скромные покои св. Терезы; здесь она удостоилась явления Младенца Иисуса. Покидая стены монастыря, паломники благодарят почетных гостей за возможность осмотреть обитель. Здесь стремятся побывать священнослужители из многих епархий Испании и из-за границы. Одним из них был папа Иоанн XXIII (1958—1963). Мемориальная доска, укрепленная на монастырской стене, сообщает, что кардинал Анджело Мария Джованни Ронкалли (будущий папа) посетил монастырь Воплощения 26 июля 1954 года. Неподалеку — бронзовая статуя св. Терезы: испанская подвижница с посохом в руке решительно делает шаг вперед, словно отправляясь на свое новое, миссионерское служение...

Церковь Св. Викентия. Следующая остановка на пути «Рута Терезиана» — церковь Св. Винцента (Викентия). Храм Св. Викентия, воздвигнутый в конце XII — начале XIII ве-

[5] Вильярдо Г. Дух русского христианства. Мадрид, 1962. С. 164.

[6] Там же. С. 164—165.

[7] Там же. С. 180.

ка, находится в северо-западном углу Авилы, «вне стен». Эта базилика — одна из самых замечательных церквей романской эпохи в Испании. Посреди церкви, справа от престола, под роскошным готическим навесом, находится гробница св. Викентия и двух других мучеников, казненных на скале, которую можно видеть в крипте под алтарем[8]. Но не только эти святыни привлекают в базилику богомольцев: в паломническом маршруте по местам, связанным с жизнью св. Терезы, церковь Св. Викентия значится как «Обитель босоногих (descalces)». И для того, чтобы это название стало понятным, надо мысленно снова вернуться к обители Воплощения, которую мы только что посетили.

Монастырь, где св. Тереза провела более 20 лет своей жизни, принадлежал к ордену кармелитов, основанному в Палестине, у горы Кармил, монахом Бертольдом. В 1226 году устав кармелитов был утвержден папой Гонорием III, а затем, в 1248 году — папой Иннокентием IV. В 1238 году кармелиты, теснимые мусульманами, переселились на Кипр, а затем перебрались в Западную Европу, где основали ряд монастырей.

В XIV—XV веках орден кармелитов испытывал большие лишения, и для того, чтобы не оттолкнуть от монашеского братства будущих насельников, его строгий устав был смягчен. По просьбе генерального капитула Собора, собравшегося в Нанте в 1432 году, папа Евгений IV дал кармелитам некоторые послабления, и устав ордена был немного смягчен. По этому смягченному уставу жил и монастырь Воплощения, где подвизалась Тереза.

Со временем испанская подвижница все острее стала ощущать несоответствие монашеской жизни уставу ордена и евангельскому идеалу. (Именно это впоследствии и побудило Терезу покинуть свою обитель и основать новый монастырь со строгим уставом.) «Мы соблюдаем устав Кармеля безо всякого смягчения, так, как он утвержден в 1248 году, папой Иннокентием IV»[9], — писала св. Тереза. Тереза Авильская и Хуан де ла Крус выступили против «обутых» — приверженцев смягченного устава. По словам испанской подвижницы, «тысячу жизней лучше бы нам, ветвям, потерять, чем отделиться от нашего ствола, а Обутые („смягченные“) от него отделились»[10]. Так было положено начало реформе «Босоногих» (Descalzos), и обитель св. Викентия вскоре стала оплотом этого движения.

В 1881 году французский поэт Поль Верлен написал стихотворный цикл под названием «Мудрость»; там есть такие строки:

Согласно мнению Терезии Святой,
Корона нищеты превыше всех регалий.
Не углубляется наставница в детали,
И речь ее, подчас, нам кажется скупой.

Однако суть ясна, ее поймет любой,
Недаром нищету святые восхваляли:
Свободен выбор твой, все толком взвесь вначале
И отправляйся в путь, ведомый нищетой.

Кто может помешать? Желаний нет в помине,
В число избранников ты сам войдешь отныне,
Всесильный властелин, всесильный раб мечты,

[8] Бекер Р. Очерки испанской архитектуры. Авила // Зодчий. 1904. № 11. С. 126.
[9] Мережковский Д. С. Испанские мистики. Брюссель, 1988. С. 83.
[10] Там же.

Великий в щедрости, презревший все земное,
Как неусыпный страж хранишь совсем иное!
Свободный! Подданный царицы-нищеты![11]

В дальнейшей истории «босоногих» были драматические периоды. Несмотря на то, что кармелиты разделились на две ветви, во главе ордена— «старого и нового Кармелей» — стоял один генеральный викарий — о. Буэро. Недовольный реформаторской деятельностью Терезы, он приказал ей вернуться в обитель Воплощения и прекратить устроение новых монастырей «босоногих». С 1571-го по 1574 год Тереза находилась в опале, но она вынесла испытание сравнительно легко, потому что верила: гонение продлится недолго.

Но и впоследствии энергичная деятельность Терезы Авильской и Хуана де ла Крус восстановила против них часть «обутых» кармелитов. Соперничество между кармелитами облегченного устава и «босыми» кармелитами все усиливалось и вылилось наконец в настоящий конфликт. В 1577 году св. Хуан де ла Крус был похищен из авильского монастыря Воплощения и увезен в монастырь «обутых» в Толедо, где с ним стали обращаться очень сурово. Это делалось для того, чтобы заставить его отказаться от устава «босых» и вернуться в лоно старого ордена. Однако после почти шестимесячного заключения ему удалось бежать и укрыться у «босых» кармелиток[12].

Именно в том же 1577 году св. Терезе снова было видение Христа с обнаженным и окровавленным телом, однако бичуемого уже не римскими воинами, каким она видела Его 20 лет назад, в обители Воплощения, а римскими священниками, и услышала из Его уст: «Вот что сделали со Мной начальники Церкви!»[13] Но св. Тереза со смирением переносила все преследования, которым подвергались кармелитки строгого устава. В 1578 году, в самые тяжелые дни гонений «обутых» на «босоногих», она так отозвалась о противодействовавшем реформе генеральном викарии «обоих Кармелей» о. Николае Дориа: «Я его очень люблю и почитаю в Господе»[14].

Прошло еще два года, и ненужное противостояние было упразднено: в 1580 году буллой папы Григория XII кармелитский орден был официально разделен: из него выделился строгий орден «босых» кармелиток, а в 1593 году «босоногие» получили своего собственного генерального настоятеля.

Монастырь Св. Фомы. В самом начале 1560-х годов св. Тереза пребывала в поисках своего пути на ниве миссионерского служения. Ей по-прежнему было тесно в старой Авиле, обнесенной крепостными стенали. И не случайно, что следующая обитель, лежащая на нашем пути — «Рута Терезиана», — также находится «вне стен». От базилики Св. Викентия проследуем мимо главных ворот города, мимо собора-крепости, завершая обход стен Авилы. Перед нами — старинная церковь Св. Петра (Сан Педро), стоящая на краю площади Св. Терезы. Напротив, у городской стены, установлен памятник св. Терезе. Неподалеку отсюда — монастырь Божией Матери Благодатной — обитель, где в юности Тереза прожила около года. Но теперь наш путь лежит на юго-восток, мимо этой обители.

Улица Св. Христофора выводит паломников к старинным постройкам бывшего монастыря Св. Фомы (Санто Томас), выстроенного в 1482—1493 годах по повелению католической королевской четы — Фердинанда и Изабеллы. «Среди церквей особенно за-

[11] Верлен П. Романсы без слов. СПб., 1998. С. 223. Стихотворение XXV из цикла «Мудрость» (перевод А. Ревича).

[12] Симоно Э. Указ. соч. С. 67.

[13] Мережковский Д. С. Указ. соч. С. 131.

[14] Там же. С. 137.

мечателен храм святого Фомы, выстроенный на некотором расстоянии от города. Там находится могила Дон Хуана, единственного сына Фердинанда и Изабеллы, — писал в 1877 году П. А. Чихачев. — Храм святого Фомы составляет часть монастыря доминиканцев. В просторном здании монастыря 80 келий, где размещаются 60 монахов. Это, несомненно, одно из редких мест в Испании (так же как и в Италии), где столь многочисленные конгрегации уцелели после реформы, коснувшейся монастырей»[15].

Но в начале XX века монастырь Св. Фомы был обращен в духовную семинарию[16], а сегодня в обширных помещениях бывшей обители размещается музей восточного искусства. Однако храм — действующий, и если пройти по его правой стороне, до угловой капеллы, то там можно увидеть картину «Видение св. Терезы», принадлежащую кисти местного художника, жившего в XIX веке. Надпись сообщает о том, что именно в этом храме св. Тереза удостоилась видения Христа. Это было во время мессы — 15 августа 1561 года.

Похоже, что гнездо аиста — непременный атрибут авильских обителей. Но и паломники могут посмотреть на монастырь с высоты птичьего полета. «Чудный вид открывается с эспланады, на которую выходит одна из сторон храма, — пишет Чихачев. — Взгляд охватывает суровую панораму высоких гранитных плато, окаймляющих Авилу на севере горной цепью, зимой блистающей снегами»[17].

Монастырь Св. Иосифа. Вплоть до 1562 года Тереза жила в своей прежней обители Воплощения. Здесь подвизалось около 200 монахинь, и в монастыре постоянно возникали различные проблемы: психологические, материальные, дисциплинарные. Однако Тереза вспоминала впоследствии, что это не отвлекало ее от общения с Богом, как будто она была в уединении. Однако постепенно, во время разговоров с подругами по монастырю, выяснилосъ, что у некоторых из них имеется стремление к более строгой жизни. Биограф св. Терезы Рибейра пишет: «Слово за словом, эти молодые девушки, которым все казалось легким, дошли до того, что стали спрашивать себя, полушутя, полусерьезно, почему они не живут по примеру босых францисканок и почему не основать бы подобный монастырь. Самой сдержанной кажется сама св. Тереза: „что касается меня, я колебалась, будучи вполне счастливой в общине, где я жила. Там я чувствовала себя хорошо, и келья, которую я занимала, мне подходила“»[18].

Тем не менее Тереза прислушивалась к советам подруг, мечтавших о создании маленького скромного монастыря с небольшим количеством сестер (12 — по числу апостолов), где царили бы глубокое молчание и подлинная бедность и который был бы «уголком рая».[19] Тереза и несколько монахинь хотели жить по строгим правилам босоногих кармелиток, а одна благочестивая женщина, по имени донья Гиомар, предложила свои услуги по устройству новой обители[20]. Сам провинциал — главный начальник кармелитского ордена в Старой Кастилии — о. Анджело да Салазар — согласился на устройство новой обители, после чего началось ее строительство.

Однако Терезе пришлось столкнуться с завистью и соперничеством со стороны некоторых мирян и даже клириков, которых раздражало развитие преобразованного ордена, особенно со стороны кармелитов облегченного устава. Это проявилось отчетливо после того, как только что выстроенная за ночь стена новой обители внезапно рухнула и чуть было не задавила насмерть племянника Терезы Гонзалво. Городские власти

---

[15] Чихачев П. А. Испания. Алжир. Тунис. М., 1975. С. 21.

[16] Бекер Р. Указ. соч. С. 127.

[17] Чихачев Н. А. Указ. соч. С. 22.

[18] Симоно Э. Указ. соч. С. 62—63.

[19] Сикари А. Указ. соч. С. 48.

[20] Подробнее см.: Боткин С. Святая Тереса // Вестник Европы. 1915, август. С. 120.

начали расследование , и о. Анджело был до того испуган этим, что взял свое согласие обратно, потому что «слишком трудным казалось ему идти одному против всех»[21].

Однако, к счастью, все обошлось благополучно: вскоре было получено разрешение от папы Пия IV основать новую женскую обитель св. Иосифа в Авиле, и Тереза сразу почувствовала, как отступились ее недоброжелатели — светские и церковные. И вот после многих затруднений и помех в Авиле был выстроен первый монастырь босых кармелиток. 24 августа 1562 года он был освящен во имя св. Иосифа-плотника. Первые четыре насельницы приняли здесь свое пострижение. А в декабре 1562 года сюда перебралась и сама св. Тереза. Все ее имущество при выходе из богатого монастыря Воплощения было: соломенная постель, железные вериги и ветхое залатанное монашеское одеяние. Как повествуется в житии св. Терезы, войдя в новоустроенную обитель, она увидела самого Христа, возложившего на ее голову корону в знак благодарности за все пережитое ради Него[22].

...Монастырь Св. Иосифа находится в получасе ходьбы от обители Св. Фомы. Чтобы добраться до него, надо вернуться к церкви Сан Педро, а затем, идя по улице Св. Роха (покровителя прокаженных), повернуть влево и выйти на узенькую улочку, названную в честь Св. Хуана де ла Крус — сподвижника св. Терезы. Хотя монастырь Св. Иосифа был выстроен за пределами старой Авилы, тем не менее обитель спрятана в тесных кварталах, и ее приходится долго искать. Однако колокол, зазвонивший к вечерне, помогает найти дорогу.

При входе в обитель паломники видят надпись: «Это первый монастырь, который основала св. мать Тереза де Иезус, реформатор ордена кармелитов, уроженка и покровительница этого города. Первая месса совершена здесь в день св. апостола Варфоломея 24 августа 1562 года». Посетители, желающие войти внутрь храма, должны сначала приобрести входной билет в небольшой музей, устроенный при монастыре. Система довольно странная, но, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят.

Музейчик весьма скромный; здесь представлена экспозиция на тему «Св. Тереза в изобразительном искусстве». Здесь же можно видеть устройство обычной кельи босоногих кармелиток: небольшая каморка, убогая кровать; вместо подушки — полено, а сбоку, на табуретке — чернильница и перо. Смотритель торопит: он должен закрывать музей, а перед этим — провести последнюю группу посетителей по храму.

Входим под своды монастырской церкви. Слышны голоса монахинь, читающих вечерние молитвы, но видеть их нельзя: насельницы скрыты от взоров посетителей перегородкой. Интерьер храма блистает позолотой; справа от престола — скульптура св. Терезы; вверху, слева от престола — массивная железная решетка с обращенными наружу шипами. Там обычно находилась «мать-основательница», присутствовавшая за богослужением. Несколько минут стоят посетители у гробницы св. Маврикия, слушая пение невидимых глазу насельниц, сопровождаемое органной мелодией. Ключник торопит, и вот небольшая группа паломников тянется на выход, где на них с портрета смотрит св. Тереза.

Монастырь Св. Иосифа стал первой обителью, основанной св. Терезой, а всего, до времени своей кончины, она приняла личное участие в устройстве 17 монастырей босоногих кармелиток. Она дала своим духовным дочерям монастырский устав и стала им духовной матерью. Быстрый рост монастырей реформированных кармелиток не давал покоя их противникам: босоногие бедняки служили им живым укором. И вот в результате капитул кармелитов, собравшийся в Италии 21 мая 1575 года, запретил Терезе основывать новые монастыри и приказал ей немедленно удалиться

[21] Мережковский Д. С. Указ. соч. С. 89—90.

[22] Боткин С. Указ. соч. С. 121.

в одну из ее обителей. Испанская подвижница получила предписание не покидать стен монастыря. Но Тереза спокойно приняла новое испытание. Она удалилась в Толедо, где поселилась в келье основанного ею монастыря. Вдали от мирской суеты она начала писать историю своей реформаторской деятельности и мистический трактат «Внутренний замок». Заканчивать свое сочинение Терезе довелось в авильском монастыре Св. Иосифа, куда она снова вернулась впоследствии. Последние строки ее книги «Внутренний замок» гласят: «Это окончено в обители св. Иосифа, в Авиле, в году 1577, накануне дня святого апостола Андрея»[23].

Профессор Георгий де Вильярдо, опубликовавший свою книгу «Дух русского христианства» в 1962 году, незадолго перед этим получил письмо от одного русского православного христианина. В этом письме были такие строки: «Я с восторгом читаю (труды) испанских святых. У меня шесть больших томов святой Терезы Авильской. Прочел ее житие; прочел ее систему, которую можно назвать „пирамидой молитвы“, сооруженной святой, как самым совершенным архитектором, дабы дойти до Бога, достичь непосредственно Бога еще в этой жизни. Святой Иоанн Креста — поэт во всех своих духовных проявлениях и даже в своей прозе; поэт, чьи поэтические образы несравнимой духовной красоты. Родство двух этих святых писателей со славянскими святыми поразило меня настолько, что в конце концов я уже не знал, что принадлежало одним и что — другим»[24].

Поэт русского зарубежья Ив. Новгород-Северский написал небольшое стихотворение «Возглас святой Терезы»:

О, красота,
Превосходящая
Земную красоту!

О мой Творец,
Ты возвышаешь нас
Над тварною любовью[25].

В мае 1984 года Авилу посетила делегация Русской православной церкви во главе с тогдашним архиепископом Львовским и Тернопольским Никодимом. В сопровождении архиепископа Хосе Антонио Флоридо гости посетили монастырь, где св. Тереза была настоятельницей в последние годы жизни. В «Журнале Московской Патриархии» об этом рассказывалось в статье «Две недели в Испании».

Монастырь благоговейно и бережно хранит память о св. Терезе. После осмотра обители монахини-кармелитки исполнили для гостей несколько религиозных гимнов на испанском языке. Для нас было неожиданностью услышать мелодии грузинской и украинской народных песен в этих гимнах. В институте при монастыре, где молодые послушницы получают образование, епископ Авилы Фелипе Фернандес Гарсиа устроил прием в честь делегации Русской православной церкви. Во время обеда хор молодых людей исполнил под аккомпанемент гитары несколько народных испанских песен.

Монахинь-кармелиток отличает глубокая преданность служению Богу и людям в целожизненном молитвенном подвиге. В наше время в экуменических кругах особенно много говорится о значении и месте женщины в служении Церкви. Очевидно, что монашеские ордена наиболее удачно и целенаправленно разрешают проблему

[23] Внутренний замок. Брюссель, 1992. С. 158.

[24] Вильярдо Г. Указ. соч. С. 180

[25] Новгород-Северский Ив. (Пляшкевич Ян). Аве Мария. Париж, 1957. С. 8.

женской диаконии в Западной церкви. При личной строгости жизни, в соответствии с уставом монастыря, монахини-кармелитки несут миссию благотворительного служения обществу, в котором они живут. При монастырях в Испании существуют приюты для беспризорных детей, для больных. Монахини посещают и обслуживают больных и одиноких людей на дому, работают в школах, неся тем самым в мир практическую евангелизацию[26].

Кончина св. Терезы. У стен монастыря Св. Иосифа оканчивается наше путешествие по местам, связанным с жизнью испанской подвижницы. Паломники, посещающие Авилу — град св. Терезы, бывают несколько разочарованы, когда выясняют, что они не смогут посетить здесь ее могилу: подвижница была похоронена в другом городе. Терпеливо пережив свое заточение, св. Тереза дождалась снятия опалы и в последние годы своей жизни продолжала основывать новые обители.

Последний монастырь был основать св. Терезой в Бургосе в 1582 году, когда ей было уже 67 лет от роду. Ее силы уже убывали, но, несмотря на это, она направилась в город Альба-де-Тормес, чтобы остановиться в основанном ею ранее монастыре. Терезу пригласила в этот город герцогиня Альба; она и ее супруг — герцог Альба — были благоговейными почитателями подвижницы, как и испанский король Филипп II[27]. Однако силы Терезы были на исходе, и, прибыв в Альбу после трудного путешествия, она пожелала немедленно лечь в постель. «Боже мой, — сказала она, — как я устала! Вот уже более 20-ти лет я не ложилась так рано»[28].

Это было началом конца, и вот настал момент, когда Терезу спросили, хочет ли она быть похороненной в Авиле, в том монастыре, который она так любила. Она была чрезвычайно удивлена и сказала: «Можно ли спрашивать о таких вещах? Разве у меня есть что-то свое? Разве мне не дадут немного земли здесь?»[29] 4 октября 1582 года св. Тереза скончалась в Альбе, где ее тело и было предано земле. Монахини из Альбы-де-Тормес рассказывали о трогательном чуде. Перед окном кельи, где умирала Тереза, было маленькое засохшее дерево, которое никогда не цвело и не приносило плодов. И вот после ее кончины все дерево покрылось белыми, как снег, цветами[30].

Подвижническая деятельность Терезы была по достоинству оценена Римско-католической церковью; правда, и здесь не обошлось без борьбы вокруг ее имени. 24 апреля 1614 года папа Павел V объявил имя Терезы благословенным, а в 1622 году папа Григорий XV причислил ее к лику святых Римско-католической церкви. Испанский драматург Диамант избрал св. Терезу героиней религиозной драмы; поэт Мурильо написал в честь св. Терезы поэму. В день канонизации святой был устроен поэтический турнир[31].

В том же 1622 году испанские католики во главе с королем Филиппом IV обратились к римскому престолу с просьбой присвоить св. Терезе титул «покровительницы Испании», какой уже носил св. апостол Иаков. Но в связи с этим ходатайством возникли непредвиденные сложности; «благодаря интриге ревнивых рыцарей ордена св. Иакова, ходатайство короля и народа не было удовлетворено в Риме, — отмечал отечественный исследователь в начале XX века. — Несмотря на это, Тереза стала популярнейшей святой в Испании, где слава ее росла с каждым годом. И в 1812 году,

---

[26] Анатолий, епископ Уфимский и Стерлитамакский. Две недели в Испании // Журнал Московской Патриархии. 1984. № 11. С. 59.

[27] Мережковский Д. С. Указ. соч. С. 140.

[28] Сикари А. Указ. соч. С. 58.

[29] Там же.

[30] Там же. С. 59.

[31] Христианство. Энциклопедический словарь. Т. III. М., 1995. С. 21.

в момент наивысшего напряжения испанского самосознания (борьба против наполеоновской оккупации страны. — *Авт.*), кортесы (парламент. — *Авт.*) в Кадиксе опять возбудили вопрос о признании св. Терезы патроном Испании, что, однако, и на этот раз не осуществилось»[32]. Этот спор закончился пять лет спустя: в 1817 году испанский парламент объявил св. Терезу покровительницей (патронессой) Испании[33].

Похожая история была и с другим ее титулом. Еще до канонизации св. Терезы (1622) Саламанкский университет объявил ее «доктором богословия». И только через 350 лет, в 1970 году, папа Павел VI официально подтвердил этот титул. Св. Тереза стала первой женщиной, провозглашенной «Учителем Церкви».

КАДИС — «КОРАБЕЛЬНОЕ ПРИСТАНИЩЕ» ФЛОТА РОССИЙСКОГО

> Ходить в испанскую землю, к городу Кадиксу безмерно опасно: волнение страшное морское, уму непостижимое.
>
> *П. И. Потемкин, 1667 год*

За кормой остался Гибралтар, а впереди открывались безбрежные просторы Атлантики. Перед паломниками-мореходами вырисовывалась главная цель экспедиции, о которой мы мечтали все эти месяцы — по пути Колумба к берегам Нового Света. Краткая «лоция» этого маршрута имелась в архивах Посольского приказа; в статейном списке российского посольства, прибывшего в Испанию в 1667 году во главе со стольником Петром Ивановичем Потемкиным, сообщалось: «А ити от испанския земли, от города Кадикса, от пристанища корабельного, до Западныя Индии, на кораблех Окияном, девять недель благополучным ветром»[34].

Современный Кадис, один из крупнейших морских портов Испании, лежит к северо-западу от Гибралтарского пролива — явно не на пути «российских колумбов». Но тем не менее мы решили идти в гавань этого города, и ладьи «Вера», Надежда» и «Любовь» легли на новый курс, огибая южную оконечность Иберийского полуострова.

Тамошние ветры оказались встречными, и «лодейным пилигримам» нелегко пришлось на этом не очень длинном, но трудном отрезке пути. Хорошо было Федерико Гарсиа Лорке, который в свое время продвигался по этому пути в обратном направлении:

> От Кадиса до Гибралтара дорога бежала.
> Там все мои вздохи море в пути считало[35].

Наша российская специфика не такова: мы везде ищем трудности, чтобы потом самоотверженно бороться с ними. Впрочем, так поступали и наши предшественники; «потемкинское» посольство 1667 года жаловалось на то, что «от Архангельского города послом, или посланником, на кораблех морем, великим окияном, ходить в испанскую землю, к корабельному пристанищу, к городу Кадиксу, безмерно опасно: волнение страшное морское, уму непостижимое»[36].

---

[32] Боткин С. Указ. соч. С. 134.

[33] New Catholique Encyclopedia, vol. XIII, New-York — Sydney, 1967, p. 1016.

[34] Статейный список посольства стольника и наместника Боровского Петра Ивановича Потемкина в Испанию в 7175 (1667) году // Древняя российская вивлиофика. изд. 2-е, часть 4. М., 1788. С. 452—453.

[35] Испанские поэты XX века. М., 1977. С. 453.

[36] Статейный список посольства... в 1667 году. С. 455.

Что же влекло нас в гавань старинного Кадиса? Мы знали, что именно там начался заключительный этап регаты «Колумб-500». Именно здесь жители и гости этого города могли лицезреть уникальную картину: крупнейшие парусники мира собрались сюда для участия в гонке через Атлантику. Часть кораблей пришла из Генуи, где нам посчастливилось присутствовать при их старте, остальные добрались до Кадиса Бискайским заливом из стран Западной и Северной Европы. Правда, все эти парусники давно пересекли океан и поделили призовые места, так что в Кадисе нас ждали обычные будни.

Но Кадис велик и славен своей историей; именно здесь перекрещивались пути и перепутья большой европейской политики, в которой большую роль играли флотилии великих морских держав. В имени города Кадис живет седая древность: здесь около 1100 года до н. э. финикийцы построили колонию Гадир (или Гадес). Кадис был крупной финикийской колонией, которая управлялась из метрополии, лежащей на другом конце Средиземного моря. Два ближневосточных финикийских города — Тир и Сидон — в те времена контролировали морские пути, богатея на торговле. Именно об этом говорится в Библии: «Око Господа на всех людей... на Тир и Сидон, ибо он очень умудрился. И устроил себе Тир крепость, накопил серебра как пыли, и золота, как уличной грязи» (Захария, 9, 1—3).

В средиземноморских колониях финикийцы вводили свою религию и своих национальных богов: Астарту, богиню Сидона, и Ваала (Мелькарта, Геркулеса) — бога Тира. Мелькарту был посвящен большой храм в Кадисе, в котором справлялись большие празднества. Отсюда и возникло название «столбы Мелькарта» или «Геркулесовы столбы», которое в древности было дано скалам на берегах Гибралтарского пролива[37].

Но не зря предупреждал пророк Захария жителей Тира (а заодно и Сидона): «Вот Господь сделает его бедным и поразит силу его в море» (Захария, 9, 4). Со временем ближневосточные финикийцы утратили свое влияние в Средиземноморье, и Кадис перешел под власть Карфагена — африканского государства (в пределах нынешнего Туниса), также основанного финикийцами. Карфагеняне (или пуны, как называли их римляне) соперничали на море с Римской империей, и в ходе Второй Пунической войны (218—201 гг. до н. э.) они потеряли свой флот и южную часть Иберийского полуострова. Последнее владение карфагенян на полуострове — Гадес — пал в 206 году до н. э. и перешел под власть Рима.

Одни правители сменяли других; дольше всех здесь держались арабы, но в ходе Реконкисты в 1248 году при содействии кастильского флота (состоявшего из судов, построенных приморскими городами) был взят крупнейший центр арабской Испании — Севилья, а вслед за ней в руки короля Фердинанда III Святого перешли и другие южные города, в том числе Кадис, Херес, Санлукар и другие[38]. С тех пор значение Кадиса возрастало, и он стал естественным портом отправления для кораблей, шедших к берегам Южной Америки. Когда три колумбовские каравеллы, вышедшие из небольшого порта Палос, в 1492 году открыли Вест-Индию, то Кадис на долгое время взял в свои руки всю торговлю с Новым Светом.

Именно из Кадиса 25 сентября 1493 года отправилась к берегам Америки вторая экспедиция Христофора Колумба. Сюда же она и вернулась 11 июня 1496 года. Это были трудные времена для отважного генуэзца: Колумб возвратился в Испанию на двух оставшихся кораблях и высадился в Кадисе в жалком виде, одетый в рясу францисканского монаха, опоясанный веревкой. А в октябре 1500 года Колумба в Ка-

[37] См.: Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании. Т. I. М., 1951. С. 17.

[38] См.: Кудрявцев А. Е. Испания в средние века. Л., 1937. С. 98.

дисе высадили чуть ли не в кандалах[39]. Но вскоре удача вновь улыбнулась мореплавателю: четвертая колумбовская экспедиция, снаряженная в Севилье, отправилась через океан из Кадиса 2 мая 1504 года, а 7 ноября того же года жители Кадиса вновь приветствовали первопроходцев.

Так что Кадис был выбран для старта «Колумбиады-500» не случайно: «здесь каждый камень Христофора знает». Поэтому и мы с вполне понятным волнением вглядывались в очертания города, появившегося на горизонте в ранней предрассветной мгле. Точно так же вглядывался в открывавшуюся панораму русский писатель Василий Петрович Боткин (1811—1869), посетивший Кадис в августе 1845 года. Правда, двигались мы к гавани Кадиса из разных городов: В. П. Боткин пароходом из Севильи, а мы — под парусами из Альхесираса. Но тем не менее в какой-то момент на подходе к Кадису наши курсы совпали, и поэтому предоставим слово нашему предшественнику.

«При впадении своем в океан Гвадалквивир расширяется; в продолжении двух, трех часов пароход наш шел по океану, — пишет Боткин. — Вдали лежал белый, как снег, Кадис. Чем ближе подъезжаешь к нему, тем вид его становится величавее. Город расположен на мысе, выдавшемся в море: узкой полосы земли, связывающей его с материком, не видать, и Кадис с своими ослепительно белыми зданиями, украшенными башенками, издали походит на громадный, лежащий в океане замок. Вид с высоких берегов города на ярко-голубое море очарователен. Невозможно представить себе этой мягкой, яркой прозрачности воздуха, в котором мачты самых дальних судов обозначаются с ясною определенностью»[40].

Капитан флагманской «Надежды» направил ладью в гавань Кадиса; туда же потянулись «Вера» с «Любовью». Шли скромно и, не привлекая особого внимания, поравнялись со старинной крепостью города. Тогда мы не ведали, что еще в XVIII веке, согласно традиции, крепость Кадиса приветствовала иностранные суда, входившие в порт, таким числом пушечных выстрелов, которое соответствовало рангу командующего кораблем или эскадрой. Впрочем, суда наши были мирные, паломнические, и пушек на борту не было, если не считать сигнальных ракетниц. И как определить с берега ранг поросшего щетиной капитана Аркадия, стоявшего на руле «Надежды»?

С нашей стороны залпов не последовало, молчали и крепостные пушки. Этому тоже были свои причины, и одна из них — королевский указ от 15 декабря 1776 года о том, как следует салютовать русским кораблям, входящим в испанские порты. «Король повелевает приветствовать русские суда, прибывающие в испанские порты, таким же числом пушечных выстрелов, сколькими они салютуют при входе в порт»[41], — говорилось в этом указе, изданном по договоренности с Россией. А другая причина отсутствия салюта та, что эти пушки служат теперь лишь украшением крепостных стен. Но вообще-то, этого указа никто не отменял...

---

[39] Там же. С. 173, 176.

[40] Боткин В. П. Письма об Испании. Л., 1976. С. 92—93 (В. П. Боткин был братом основоположника русской клинической медицины С. П. Боткина) *(прим. авт.)*.

[41] Цит. по: Россия и Испания. М., 1991. Т. I. С. 364—365.

Contents

Prose and Poetry

Elizaveta Evstigneeva. Autumn Iambs. *Poems* • 3
Mikhail Serebrinsky. Trainman Angarsky. *Grotesque Story* • 7
Boris Kovalev. Art of the Rearguard. *Poems* • 65
Vera Zamyslova. A Story of Lost Laughter. *Prev. by S. Nikolaenko* • 69
Anna Alikevich. Poems • 90
Yana Ishmukhametova. Poems • 94
Darya Mandur. Time of the Genies. *Short Story* • 99
Sasha Nikolaenko. Pas-de-Calais, 2025. *Short Story* • 108
Galina Klimova. The Heart Beats, Breaks from the Edge... *Poems* • 114

Non-Capital Russia

Nikolai Ivenshev. Where the Pheasants Sit. Labyrinth. Where the Pheasants Sit. Organics. Effigy of a Wife. With Last Greetings. Chevron. Skeleton in Installments. Fresh Meat. *Short Stories. Prev. by L. Zvonareva* • 117
Irina Dmitrievskaya. The Gulf War. Knight on a Black Horse. *Short Stories* • 153

Favorite Corners of Russia

Vladimir Sutyrin. Tsaritsyno. *Three Visits to the Sacred Corner* • 165

Publicistic Writings

Dmitry Lanko. School and the Finnish Economic Miracle • 179
Mikhail Gundarin. Adventures of a Russian in His Own Country. *A Portrait of the Prose Writer Yevgeny Popov in Three Stories and Three Component Parts* • 203

Criticism and Essays

On the 250th Anniversary of Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. **Albert Izmailov.** St. Petersburg Hoffmanniana • 214
Vera Kalmykova. Too Much for a Naive Soul, or the Fear of Life in Innokenty Annensky's „Reflections" • 219

Petersburg Bookman

Territory of Memory. *Alexander Melikhov.* Long Live Private Life! **Reviews.** *Dmitry Bobylev.* The Magician and the Miner from Tudyrka • 233

Pilgrim

Archimandrite Augustine (Nikitin). Off the Coast of Spain. *Part 5* • 243

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал «Нева»
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9
Телефоны: (812) 314-72-50, 312-49-23
E-mail: nevaredaction@mail.ru, officeneva@mail.ru

Рукописи принимаются только в электронном формате

Сайт «Невы»: neva-journal.ru
По вопросам, связанным с интернет-сайтом, обращайтесь
по адресу web@neva-journal.ru

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет АО «Почта России», подписной индекс П1743.

Свежий номер журнала в Санкт-Петербурге можно приобрести в магазинах прессы у станций метрополитена.

По вопросам, связанным с оптовой и мелкооптовой продажей, приобретением отдельных номеров журнала за последние годы, обращайтесь:

в Санкт-Петербурге — в редакцию журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. (812) 312-49-23, e-mail: officeneva@mail.ru).

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-83135 от 26 апреля 2022 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: ООО «Журнал «Нева»

Сдано в набор 21.11.2025. Подписано в печать 19.12.2025.
Выход в свет 09.01.2026. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 $^{1}/_{16}$. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 650 экз. Свободная цена. Заказ № 3

Адрес издателя ООО «Журнал «Нева»: Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 18

Отпечатано в типографии ООО «ИПК „БИОНТ“»
199026, Санкт-Петербург, Средний пр., 86
Тел. (812) 207-58-43

Дорогие друзья и читатели! К нашему большому сожалению, финансовое положение журнала остается сложным. Мы старались справиться своими силами, но рост стоимости печати и коммунальных расходов создал критическую ситуацию. Мы верим в наше общее дело и надеемся на ваше участие. От всей души благодарим за любую помощь!

Реквизиты для банковского перевода:
Наименование — название организации: ООО «Журнал «Нева»
ИНН: 7810328498
КПП: 784101001
Расчетный счет: 40702 810 6 5500 0029700
Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044030653
Корсчет: 30101 810 5 0000 0000653
В графе «Назначение платежа»
важно написать «финансовая помощь»

Еще проще помочь нам переводом по QR-коду

Благодарим вас, дорогие друзья!

Журнал «Нева» выходит с периодичностью
1 раз в месяц и распространяется по подписке

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ
осуществляет **АО «Почта России»,** индекс П1743

Объединенный каталог «Пресса России», индекс 73276

Агентство подписки «Урал-Пресс», индекс 73276

Интернет — neva-journal.ru

ISSN 0130-741X
14006
9 770130 741005